1.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

1 ЯНВАРЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ — Стихи 3

ЗАХАРИЯ СТАНКУ — Как я тебя любил *(Повесть. Предисловие Леонида Леонова)* 7

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ — Поезд *(Стихи. Вступление Андрея Вознесенского)* 71

ЭЛИСЕО ДИЕГО — Из «Книги чудес дона Хосе Северино Болоньи» *(Стихи. Вступление Павла Грушко)* 74

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Острова в океане *(Роман. Окончание)* 89

АЛИ ЛАМЕДА — Вьетнамские сонеты 168

Наши публикации

Неизвестные письма И. С. Тургенева (Из архива семьи Виардо) 170

Критика

О. РОССИЯНОВ — «Мир выстроится вновь» (О сопротивлении фашизму в венгерской поэзии) 205

Настоящее и будущее литературы

(«Круглый стол» журнала «Иностранная литература»)

ЖОРЖИ АМАДУ. ПААВО РИНТАЛА. ЮЛИАН КАВАЛЕЦ. ФРАНЦ ФЮМАН ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ. МИХАЙ БЕНЮК. ПЬЕР ГАМАРРА. ГЕНРИХ БЕЛЬ. ИВАН СКАЛА. АНА МАРИЯ МАТУТЕ. ХИРОСИ НОМА. ДЖОН ЧИВЕР. ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ. ЖОРЖ СИМЕНОН. МАКС ФОН ДЕР ГРЮН 21

Публицистика

НОРМАН МЕЙЛЕР — Майами и осада Чикаго *(Отрывки из книги. Вступление С. Вишневского)* 22

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Вл. Гусев — Живой «покойник» роман. В. Феонова — «Друзья народа» бросают вызов 24

Наши гости

МАРИАН ТКАЧЕВ — Встреча с поэтами Вьетнама (Суан Миен, Ань Тхо, Нонг Куок Тян в «Иностранной литературе») 25

Изобразительное искусство за рубежом

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА — Иржи Трнка — художник-поэт 25

Среди книг

Издано в СССР

Т. Гончарова — Первые годы свободной Кубы ◆ Ю. Кагарлицкий — В преддверии нового ◆ А. Тишков — Рассказы о лисьих чарах и других вещах необычайных 25

Издано за рубежом

Т. Проскурникова — Америка рассерженных ◇ Ида Радволина — Горькое право не спать ◆ В. Ивашева — К большему небу ◆ С. Прожогина — Новая жизнь Си Моханда 26

Из месяца в месяц (Хроника) 27

Авторы этого номера 28

На обложке: Иллюстрация чехословацкого художника ИРЖИ ТРНКИ к книге для детей «Сад».

На вкладках работы Иржи Трнки.

Макет обложки, титульного листа и рисованные рубрики выполнены художником Б. Кузнецовым.

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ

Стихи

Перевод с болгарского ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

***

«Русь, куда ж несешься ты...»
Н. В. Гоголь

Мир помнит тот восторг и изумленье,
когда казались бледными слова...
И странная чудесная молва
распространилась по земле мгновенно
о величайшем чуде из чудес,
о том, что безмятежным утром ранним
обычный человек — майор Гагарин —
достиг недосягаемых небес.
Мы знаем,
что берет любую крепость,
любой рубеж
советский человек.
И мы живем в необычайный век,
когда творит он
свой великий эпос.
И ныне, в космос устремляя взор,
следим за удивительной победой.
И даже звезды нам хотят поведать
о людях,
покоряющих простор.

Куда летишь ты, Русь?
Своей ракетой
врезаешься в космическую высь
и даришь неизвестный раньше смысл
всей жизни
на мятущейся планете.
Ты посылаешь сыновей в полет,
делами их история согрета.

Отвага,
гордость,
красота —
все это
и есть советский удивительный народ!

Дух Эллады

Может ли такое быть —
можно ль песню осудить?

Песня всюду —
в земном дыхании.
Песня всюду —
в лунном сиянии.

И разве боятся суда
тонкие пальцы
дождя,
танцующие на душистых
зеленых клавишах —
листьях?
И разве боятся суда
лучи золотые и знойные,
заря
и морская вода,
то гневная, то спокойная?
И песни весенних гроз
и птиц,
плененных рассветом,
дурманящий запах роз,
вспыхнувших ярким цветом?

Кто солнечный судит восход
и все,
что звенит и цветет?
Не может этого быть!
Песню нельзя осудить!
Песнями жизнь согрета.
Песня — юность людей.
Ее подарил планете
вместе с огнем Прометей.

Сегодня в оковах
Эллада,
ее надежды и радости.
Но гремит,
как протест,
на планете громадной
песня
Теодоракиса.
И это — голос
музы народной,
гневной
и вдохновенной.
И это — дух
прекрасной Эллады,
и древней,
и современной.

Не забывай...

Прошло уже немало лет.
Земля больная отдохнула
от крови, ужасов и бед.
Уже давно не свищут пули,
и воздух дымом не горчит,
и в селах не пылают хаты,
и не разносятся в ночи
глухие грозные раскаты.
И эхо звонкое в лесах,
в горах высоких и зеленых
нам говорит, что на часах
глаз не смыкает оборона.
Сегодня родина в цвету,
и пульс ее совсем спокоен.
Но оставайся на посту
и помни,
ты навеки —
воин!

Сегодня родина цветет,
с полей несется смех и пенье.

Сегодня родина ведет
другие трудные сраженья.
Как трудно урожай снимать
с сухой земли неплодородной!
Как трудно тайны постигать,
что издавна хранит природа!
Как нелегко снимать с сердец
сырое наслоенье гнили,
что столько бесконечных лет
века, не торопясь, копили!
Да, труден, труден путь в мечту,
он крут, опасен, беспокоен.
Ты оставайся на посту
и помни,
ты навеки —
воин!

Мечта зовет и манит нас,
но нелегко к мечте пробиться!
По свету ходят и сейчас
те недобитые убийцы,
что сети против нас плетут
и ждут, чтоб только час их пробил.
На нашу радость, жизнь и труд
они глядят в бессильной злобе.

...Но мы сильны.
Страна в цвету.
И все же,
хоть наш сон спокоен,
ты оставайся на посту
и помни,
ты навеки —
воин!

Апрель

Бесконечно люблю я апрель —
этот месяц надежд и кипенья.
Хоть давным он давно пролетел,
но в душе до сих пор его пенье.
Он в сердцах пробуждает мечты
после зимнего сна и застоя,
после мартовской пустоты,
тишины, созерцанья, покоя...
И во власти неясных тревог
ты тоскуешь по знойному лету,
по нехоженым струнам дорог,
по неведомому,
по неспетому...
И встречаешь сверкающий день
ты с волненьем — совсем как
когда-то...

Бесконечно люблю я апрель,
этот месяц надежды крылатой.

Осенние листья

Осенние листья,
они для поэтов —
голос земли, вдохновение,
мысли о краткости жизни и лета,
картины, стихотворения.

А для детей — они просто забава.
Для птиц —
перелетные птицы.
Но природе такая судьба
не по нраву,
она с ней не хочет мириться.

Листопад —
это осени вечная мудрость,
печаль для земли
и награда.
Рождаются листья,
живут, верят в чудо
до грустной поры листопада.

Осенние листья...
Беззвучно,
покорно
летят они в воздухе мглистом.
И ветер настойчивый
зло и упорно
сбивает
последние
листья.

В землю вернуться,
с солнцем проститься,
скрыться под пологом снега,
чтобы весною опять возродиться
в зелени тонких побегов.

■■■

О, до чего огромна ты, Земля!
Стоят в молчанье темной цепью
горы,
и океаны вечные шумят
и отражают звездные просторы.

Но были б дни мои печальны и
темны,
мне тесною Земля была бы старая,
когда б на свете не было страны —
прекрасной маленькой земли —
Болгарии.

ЗАХАРИЯ СТАНКУ

Как я тебя любил

ПОВЕСТЬ

Перевод с румынского Ю. КОЖЕВНИКОВА

Взошедшее на литературном небосклоне после второй мировой войны имя ведущего румынского прозаика и поэта Захарии Станку завоевало с тех пор широчайшую, не только европейскую известность. Однажды поставив себе заданием, по его же собственному слову, «сливаться с гулом масс, чтобы писать о них на их же ясном наречии», он осуществил его с завидным блеском. Кроме того, требуя от писателя активной отдачи усыновляющей его «гражданской среде», он в качестве мастера публицистики и политического памфлета на собственном примере показал, как э т о делается.

В моих неоднократных поездках за Дунай мне всегда казалось, что горьковатый — от горной полыни, что ли,— даже теплый и добрый по весне ветер балканский все еще несет в себе отдаленный свист кнута и как бы детский плач, отголосок не столь уж давней неволи. Но и позже, подобно смежным с Румынией странам, родина Захарии Станку немало хлебнула лишений, горя и слез. Ими пропитаны воспоминания крестьянского подростка из Бэрэганской степи, ставшего впоследствии большим писателем. А с отроческих лет накопленный опыт ненависти к обидчикам бедноты закалил его волю к преодолению социальной несправедливости вообще на земле. Помимо отличного таланта и ярких изобразительных средств родина одарила его и емкой творческой темой. Художническая палитра Станку многообразна, богата и глубоко автобиографична.

Предлагаемая ныне книга, в отличие от прежних с их непрерывно сменяющимся сюжетом и осуждением прошлого во всей его полноте — от преступлений королевской диктатуры до произвола имущих классов, глубоко лирична. Отечественный критик назвал ее «поэмой о жизни и смерти», мне же она представляется скорее чередованием обязательных волнений жизни — детских страхов, радостей, отчаяний,— причудливая игра теней на траве, по которой мы идем! Вообще же это сыновнее подношение умершей — и несмотря на все ее житейские огорченья и беды, с ч а с т л и в о й матери, которую он так любил. Фоном повествованья служит богатейшая фреска великолепно нарисованных простонародных фигур, а главным содержанием — строгая, неутешная, благородная скорбь, происходящая от сознанья, что мы никогда не успеваем оплатить мертвым полученные от них привет и ласку — нашим м а м а м в особенности. Ведь так и не показал море старухе, чего ей хотелось пуще всего на свете!.. Навязчивая, концентрическая повторность основной мелодии напоминает действительно ритмический бег морской волны, всякий раз приносящей на гребне все новое, ранящее воспоминание.

Это очень хорошая книга — добро пожаловать с нею, милый гость, в родной дом нашей литературы!

Леонид Леонов

Не все дети матери моей и отца из тех, что остались в живы собрались перед нашим домом в Омиде. Я сказал *наш до* подразумевая, что это дом всех моих братьев и сестер, но оговорился. Дом в Омиде, где уже много лет живет моя сестра Елис бета, давно не *наш* дом, он принадлежит ей, только ей одной. К тому это вовсе не тот дом, в котором все мы родились и выросли. Мой зя Сэмынцэ, муж моей сестры Елисабеты, как только получил на руки ра писку, что никто из нас не предъявляет на наследство никаких претензи сломал старый дом и на том же месте, только чуть-чуть к югу, постро новый, такой же маленький и темный, как и прежний. Когда разруша дом, это все равно как будто кто-то умирает. Словно кто-то умирае Точно так же, как кто-то умирает... В том доме, который сломал мой зя Сэмынцэ, умер дед, чье имя ношу я теперь, умерла сестра моя Рада брат мой Алексе, в нем умерла моя мать. Отец умер в домике по сосе ству, в каморке между кухней и маленькой кузницей моего зятя. В но вом доме пока еще никто не помер, кроме того, кто его построил в по лица своего и на свои деньги, то есть самого Сэмынцэ, моего зятя. К что теперь печалиться, что теперь жаловаться?! Ведь в других дом нашего села Омида, растянувшегося вдоль тесной и скудной доли Кэлмэцуя, умерло куда больше людей, чем в нашем доме. В некотор умерли все, кто там жил... *Все... Все, кто там жил.* К нам, что были ро дены от Тудора и от Думитры, от Тудора и Марии, от Марии и Ра Окяна, судьба была милостива. Мне думается, что прежде всего он была милостива к моему брату Алексе...

— Дорогой ты мой... дорогой ты мой,— вздыхала каждый раз ма когда вспоминала его,— и пожил-то всего лишь недельку. Не довело ему отведать сладости жизни, зато не узнал он и ее печалей и горесте

Сестра моя Рада умирала тяжело, как и всякий человек, которо прострелят горло. Она слово в слово выполнила то, что говорится в пе не, справедливо, по мнению одних, совсем несправедливо, как говор другие:

Той на свете повезет,
Кто невестою умрет.
А еще счастливей тот,
Кто ребеночком помрет.

Мама моя умерла в полночь, а через несколько лет, тоже в полноч умер и отец. Жил я тогда в Бухаресте и редко приезжал в Омиду. Как-ночью, а было это в начале осени, я неожиданно проснулся, хотя и креп спал. Разбудил меня не какой-то шум, а очень явственное ощущени что меня обволакивает густой запах ладана. Я вскочил с кровати, заж свет, распахнул окна и прошелся по комнатам, чтобы посмотреть, не г рит ли дом из-за чьей-либо нелепой оплошности. Запах ладана не исч зал. Я взглянул на часы: *был час ночи.* Оставив окна открытыми, я лег снова заснул. Проснулся, как обычно, в пять часов. Над городом под мался туманный рассвет. Я умылся, побрился, оделся, проглотил на хо завтрак и в шесть часов был уже в редакции за своим письменным ст лом. Тогда я работал в утренней газете, которая выходила часов око одиннадцати, и половину ее нужно было заполнить утром, написав ст тьи и заметки по поводу самых свежих событий. Часам к девяти м редакционные обязанности на первую половину дня были почти совс выполнены. Я вышел из редакции, пересек Коля Викторией и зашел кафе Капша, где привык в этот час выпивать чашечку черного кофе выкуривать несколько сигарет, прежде чем начинать беготню в пого за темами статей и репортажей для следующего дня. Не прошло и пол часа, как в этом кафе меня застали репортер Сава и мой брат Штефа который искал меня в редакции, чтобы сообщить печальное извест полученное по телефону из Омиды, о том, что этой ночью *умерла ма*

я купил все приличествующее для похорон, нанял машину и поехал з Омиду вместе с моим братом Штефаном.

Через пять-шесть часов, когда мы приехали туда, нас встретила заплаканная, осунувшаяся Елисабета. Я спросил ее:

— Когда она умерла?

— Сегодня в час ночи.

— Откуда ты знаешь, что она умерла в час, не раньше и не позже?

— Потому что, когда она умерла, как раз прошел ночной поезд, я посмотрела на часы, был ровно час.

Я вошел в дом. Мама лежала на кровати, на той самой кровати, где она много лет спала рядом с отцом. Лицо у нее было желтое, словно восковое, и казалось недовольным, глаза закрыты, а губы... Губы побелели и стали как бумага. Она была в новом черном платье, в новой черной безрукавке, в новой черной юбке, новых черных чулках и новых черных ботинках — и это она, которая почти всю жизнь ходила босиком. Желтые восковые руки крестом лежали у нее на груди. В комнате пахло ладаном и расплавленным воском. От курений и дыма воздух был плотен и тяжел. Мамино тело, высохшее и уменьшившееся от долгой болезни, передавшейся мне по наследству, от которой, конечно, умру и я, лежало неподвижно, облаченное в эту черную одежду. Под опущенными веками скрылись красивые мамины глаза, которые на протяжении ее долгой и тяжелой жизни пролили реки слез, пока совсем не пересохли, которые видели, как я постепенно рос и как потом покинул я дом, и бедное село, вытянувшееся среди полей.

— В детстве ты был хилым,— говаривала мне мать неоднократно.— Исполнился тебе годик, потом два, а ты все на ножках не держался. У меня не было сил носить тебя на руках, и я носила тебя на плече. Я носила тебя на плече, пока там кожа не загрубела, как это бывает с волами, у которых от ярма кожа на шее делается как подметка...

Мне захотелось наклониться над ней, расстегнуть на шее и на груди безрукавку, а потом и белоснежную рубашку, погладить ее плечи, особенно то плечо, на котором она носила меня.

Однако я не решился на это. Близкие и дальние родственники из Омиды и соседних сел, явившиеся оплакать мать и принять участие в ее погребении, смотрят на покойницу, а насмотревшись, взглядывают и на меня. Сестра моя Елисабета рассказывает:

— Мы обе спали вот здесь, в комнате, при зажженной лампе, ведь мама всегда боялась темноты и спала только при свете. Она проснулась, окликнула меня и попросила зажечь свечу. «Зачем тебе свеча?» — «Я умираю. Чувствую, что вот-вот умру».

Я припустила свет в лампе, вышла из дома и бросилась к сестре Ляне, чтобы позвать ее, потому что мама умирает. Вернувшись, я зажгла свечу и вложила ее маме в руку. Тут подоспела и Ляна.

— Пойди домой,— сказала ей мать,— разбуди мужа и пошли его за батюшкой. Пусть придет причастить меня. А потом скажи мужу, чтобы сбегал на почту и позвонил по телефону в Бухарест: пусть придут мои сыновья, хочу на них посмотреть, потому как давно не видела. Пусть скажет мальчикам, чтобы поторапливались, может, мне и удастся повидаться с ними.

Наступил час ночи, как раз в это время прошел поезд и в доме зазвенели стекла. Мама лежала, прислонившись спиной к стене, и держала в руке свечу. Вдруг она вскрикнула. Такого крика я еще никогда не слыхала. Кровь хлынула у ней горлом, и через несколько минут она похолодела... Быстро умирает человек, а помрет, тут же становится холодным!..

Сестра моя Елисабета умолкает. Глаза у нее сухие. Она уже привыкла к покойнице, привыкла и к смерти, отнявшей у матери душу.

Три дня *смерть кружит по дому*, кружит по двору и *держит за рук душу* покойницы или покойника. Душа, разлученная с телом, рыдает, н слезы ее не видны, как не видна и сама душа.

— Зэрикуцэ,— обращается ко мне сестра Евангелина,— Зэрикуц почему ты так долго не приезжал домой?

Так же осуждающе она смотрит и на брата Штефана. Родственни ки слушают, молчат, но в их взглядах тоже осуждение.

Обычно единожды сказанные слова растворяются в воздухе. Н слова, произнесенные моей сестрой, свинцовым грузом ложатся на серд це. (Этот груз давит на меня и сейчас, когда я пишу эти строки.) Поче му я не приезжал домой? Не приезжал — и все. И почему сестра уко ряет меня?

Вдруг меня пронзает мысль, что *отец-то жив*. Мама умерла, это пра да, но отец жив и должен быть где-то здесь, неподалеку. Горят желты свечи, горят белые свечи, и дым от них наполняет всю комнату.

Я оборачиваюсь к сестре Елисабете и прошу ее:

— Отведи меня к отцу.

Пробравшись между близкими и дальними родственниками, м выходим во двор.

Я бреду за сестрой, и мы огибаем дом. Во дворе две копны соломы и круглая куча навоза. За копнами соломы разрослись густые, колючи кусты акации. Отец сидит на толстом обрубке дерева и курит, подста ляя солнцу непокрытую голову. Лицо у него коричневое и суровое, ка земля, и только волосы на висках серебрятся. У него такие же сухи глаза, как и у моей сестры Елисабеты. Видно, что он давно не брилс Рубаха словно просмоленная, и это у отца, который любил всегда бы чисто одетым. Поверх рубахи черная куртка с заплатами на локтях, в ногах старые стоптанные постолы.

Сначала отец смотрит на меня, потом на Штефана и словно н узнает ни меня, ни его. Я сознаю, что должен найти какие-то слова дл отца, и вот, подыскивая их, неожиданно для себя спрашиваю:

— А ты что делаешь? Давно тут сидишь, на бревне?

— Ничего. Ничего я не делаю. Не делаю ничего, просто сижу н солнышке, грею кости... Сегодня ночью, когда умерла твоя мать, я пр мерз до костей... Промерз до костей и никак не могу согреться... Вот сижу на солнышке, почти с самого утра сижу здесь на припеке...

Скулы мои напрягаются, я до крови закусываю губу...

Мой брат Штефан, который моложе меня и, возможно, чувствител нее, захлебывается глубокими, почти нечеловеческими рыданиями.

Отец поднимается со старого отполированного обрубка, подходит брату моему Штефану и укоризненно обращается к нему:

— Что на тебя нашло, глупенький?

— Мама,— всхлипывает Штефан,— мама умерла.

Отец молчит.

Я по-прежнему до боли сжимаю челюсти, кусаю губу. Замечаю, чт отец смотрит во двор, словно что-то ищет.

— Здесь, на нашем дворе, стоял тополь...

— Да,— отзываюсь я,— был тополь.

Я показываю, где когда-то высилось дерево:

— Там.

— Да,— подтверждает отец,— там и стоял наш тополь. На то самом месте.— Но что же случилось с нашим тополем?

— Ты его спилил,— отвечаю я.— Я был совсем маленький, а ты то да под тополем искал клад, про который говорил дедушка, и спилил ег

— Правда-правда,— отзывается отец,— я и забыл, что спилил.

— Отец, ты много деревьев спилил за свою жизнь?

— Много. Но много и посадил. Бывало, когда пилил дерево, прямо душа разрывалась, словно губил человека.

Он вновь садится на обрубок и продолжает:

— Может, и этот чурбан остался от того тополя.

— Нет,— говорю я.— Тополь мы распилили на дрова и сожгли. Целую зиму топились дровами от этого тополя. Чурбан, на котором мы сидим, остался от шелковицы...

Отец удивлен:

— От какой шелковицы?

— От той, что росла перед домом.

Он удивляется еще больше:

— Шелковица перед домом как стояла, так и стоит.

— Нет, отец. Шелковица, что теперь растет перед домом, это отросток той, про которую мы говорим, а от нее остался только вот этот обрубок.

Я умолкаю, молчит и отец, только Штефан продолжает всхлипывать.

Середина августа. Небо чистое, голубое и теплое. В воздухе пахнет сожженной от зноя, испепеленной солнцем землей, созревшей и пересохшей гравой, листьями, которые уже готовы увянуть и умереть. Когда дует ветерок со стороны железной дороги, до нас доносится крепкий запах подсолнуха и поспевающего винограда.

В глубине двора, возле колючих зарослей акации, торчат высокие и толстые стебли конского щавеля и лебеды... Конский щавель... Лебеда... Я ел похлебку из лебеды, ел похлебку и из конского щавеля и все-таки выжил. Я выжил и вырос.

— Клад,— вдруг заговорил отец,— тот клад, про который ты вспомнил, я искал много лет. Все думал, найду его, откопаю и звоном золота отпугну нужду от порога нашего дома. Не нашел я его. Может, не судьба мне была его найти... Может быть, никому из нашего рода не дано было его отыскать.

В доме и во дворе тишина. Никто не причитает по матери, не голосит.

Сестра моя Елисабета входит в дом и, помешкав у печки, выносит полный фартук калачей. Мертвые с мертвыми, а живые с живыми. Покойнику уже больше ничего не надо, а живому хочется есть, хочется пить, и его надо накормить, дать ему напиться. Сестра каждому из нас протягивает по два-три калача.

— Ешьте, ешьте, вы, верно, уж проголодались.

Отцу кроме калачей Елисабета подает несколько прямоугольных кусочков сахара.

— Вы, папа, кушайте хлеб с сахаром. Сахар, он успокаивает.

Отец жует теплые калачи с сахаром. Ест и молчит.

Не успел он прожевать последний кусок хлеба и проглотить последний сахар, как на колокольне загудел большой колокол, а вслед за ним назвонил и малый: динг-динг-динг! Отец смотрит на меня и говорит:

— Колокол звонит по покойнику... по покойнику... Кто же помер?

Я молчу, хотя вижу, как он смотрит на меня, ожидая ответа. Молчу, потому что не знаю, что ему ответить. Он забыл, что это мама, моя мать, и ни кто иной, умерла в нашем селе Омиде, растянувшемся вдоль тесной и скудной долины Кэлмэцуя.

Мой брат Штефан наелся теплых калачей, успокоился и теперь вытирает платком глаза, хотя они давно уже высохли и слезы исчезли, как только он принялся за еду.

Все бы так и шло, как оно шло, если бы нежданно-негаданно не явилась из Сайеле моя сводная сестра Константина. Маленькая, смуглая, черноглазая, вся обливаясь потом, она почти бегом прибежала

сюда через поля. Прежде чем войти в дом и попричитать над матерь она, увидев нас, подошла поздороваться. Почти спокойно подала ру мне, Штефану, а потом бросилась на грудь отцу:

— Батюшка, батюшка, ведь умерла моя матушка! Что же дела мне без матушки, как на белом свете жить без родненькой?!

Отец слушал, слушал, потом, словно опомнившись или пробуди шись ото сна, слегка отстранил ее, слегка оттолкнул рукой.

— Нечего тебе, Константина, столько шума поднимать. Ты-то ло кая, как-нибудь обойдешься. Всегда умела выйти сухой из воды. А п том, как я слыхал, твоя родная мать — та, что в Сайеле,— здорова-зд ровехонька.

Константина перестала причитать и заговорила другим тоном:

— За что же вы, батюшка, так со мной разговариваете? Ведь ма моя в Сайеле — это одно, а здешняя матушка — совсем другое. М мать в Сайеле до сих пор не отдала мою полоску земли, не отдала м по документу мою ластовку, не отдала моей полосочки, что мне прина лежит по всем правам. А здешняя моя матушка, моя названная мату ка, была такая добрая и все бумаги давным-давно выправила, когда была совсем молоденькой.

Отца утомила болтовня Константины, он устал от ее бесконечно потока слов.

— Раз так, пойди поплачь над ней. Чего тут мешкаешь?

Константина семенит по двору, и вскоре до нас доносится ее голо

— Матушка, матушка, зачем же ты померла, матушка? На кого ж ты меня покинула?.. Пятерых я родила Диге, матушка, а Дига все рав мне не верил, матушка, все колотил меня Дига, матушка, говорил, ч я вертихвостка, матушка, говорил, чтоб я на парней не заглядывала а я на них все глядела, матушка, ведь на то и даны человеку глазынь чтобы видеть красу на свете, матушка, чтобы той красе и радовать Пока жил мой Дига, матушка, колотил меня он, матушка, бил, пока с не преставился, а теперь мне, моя матушка, по ночам все снится, мату ка, как колотит меня Дига, матушка!..

Отец закуривает другую цигарку. Затягивается редко, но глубок как бы смакуя каждую затяжку. Бросив окурок на землю, он наступа на него ногой и говорит:

— Штефан, пойди позови сюда сестру свою Елисабету.

Брат уходит и приводит сестру.

— Пойди скажи Константине,— обращается он к Елисабете,— пус замолчит, а если не замолчит, я приду и убью ее. Убью и похороню зав ра вместе с твоей матерью.

Моя сестра Елисабета отвечает:

— Будто ты не знаешь Константину! Ведь она шальная баба.

— Шальная или не шальная, скажи ей, чтоб затихла, и еще скаж что если она не замолчит, я приду и убью ее. Убью и похороню завт вместе с твоей матерью.

Елисабета на мгновение забывает о горе, которое пришло в дом, на губах у нее появляется легкая улыбка:

— Уж не такой ты человек, чтобы испортить мамины похороны.

Елисабета советует Константине замолчать, и та умолкает, но всл за тем подходит к нам и останавливается в нескольких шагах от от

— Стало быть, ты не хочешь, чтобы я причитала по матушке, пр гоняешь? Ладно. Не буду я сегодня причитать. И завтра не буду, если б тебе и захотелось. А вот когда ты помрешь, то кто мне запретит тог причитать? Я и по тебе когда попричитаю, и по маме попричитаю, и вас обоим попричитаю, пока не напричитаюсь вдоволь.

Моя сестра Евангелина чувствует, что происходит что-то непотребное. Она подходит и, обняв Константину за плечи, слегка подталкивает ее:

— Пойдем со мной, Константина, оставь отца в покое!

Моя сводная сестра позволяет увести себя на другой конец двора. Хлопнув калиткой, она совсем уходит со двора. Но, забыв о слове, данном отцу, ухватившись руками за колоду возле колодца, начинает причитать:

— Матушка, матушка, зачем ты умерла, матушка, на кого ты меня покинула, матушка?

Начинают голосить и все родственники Константины. Женщины причитают сначала по матери, они называют ее по имени, припоминают все многочисленные несчастья, которые ей довелось пережить со времен девичества и до последней ночи, когда она умерла. У нас в Омиде да и по всей долине Кэлмэцуя люди достаточно хорошо знают друг друга. Каждый знает о другом все, все, вплоть до самых мелочей.

Но вскоре все женщины, за исключением моих сестер, собравшиеся в нашем доме и во дворе, забывают про мать и начинают причитать по своим покойникам.

Велико число усопших, господи, и когда думаешь о них, невозможно не спросить, как же все они умещаются на таком маленьком кладбище? Но вот — умещаются.

— Илие, Илие... Зачем ты умер, Илие?.. Ты умер, Илие... На кого ты покинул меня, Илие?

Моя сестра Евангелина тихо говорит:

— Это Марица Крынгуш. Не прошло еще недели, как ее муж утонул в Дунае. Он грузил на баржи зерно, упал в Дунай, течение затянуло его, и он утонул.

— Сколько детей осталось после него?— спрашиваю я сестру.

— Только пятеро,— отвечает она,— только пятеро. Могло бы остаться и больше, но двоих Марица сбросила. Чьокоша поставила ей на живот горшок, и она двоих сбросила. Сама бы могла от этого умереть, да вот не умерла.

— Это хорошо,— говорю я,— хорошо, что она не умерла.

— Чем же это хорошо?

— Откуда мне знать? Просто так говорю.

У нас в Омиде, в тесной и скудной долине Кэлмэцуя многие говорят, что лучше умереть, чем жить. И вовсе не шутят.

Уже к вечеру явился поглядеть на усопшую и мой брат Ион, адвентист. С ним, конечно, притащилась и его жена Оленка.

— Батюшка, мы очень опечалены, что умерла мама... Мы очень опечалены тем, что мама умерла, и нам очень жалко, что ты, человек еще молодой, остался вдовцом.

— Так было суждено,— отвечает отец,— с судьбой не поспоришь, так уж было суждено!

— Давно мы здесь не бывали,— произносит моя невестка Оленка, опуская глаза в землю.— Покойница не любила меня. С той поры как я вместе с Ионом перешла к адвентистам, покойница невзлюбила меня, даже смотреть на нас не хотела, а если и смотрела, то через силу.

Отец молчит. Молчит и брат мой, Ион-адвентист. Молчит невестка моя Оленка. Снова гудят колокола: данг, данг, данг — динг, динг, динг!

Над селом спускаются сумерки. Невдалеке проходит поезд, длинный товарный состав. Некоторое время над нами клубятся черные тучи дыма, пахнущие каменным углем.

Мой брат-адвентист и моя невестка входят в дом, смешиваются с

людьми, которыми набита комната. Потом они протискиваются к по стели, на которой лежит мать, становятся на колени и целуют ее жел тую, сухую и холодную руку...

Я молчу. Время идет. Я стою, почти прижавшись к отцу, и молчу А когда мне надоедает молчание, говорю:

— Уже вечер. Стало прохладно. Пойдем в дом.

— Нет,— отвечает отец,— не пойду, мне тепло. Мне даже жарко словно на мне горит рубаха.

— Тогда давай походим по двору, а то у тебя затекли ноги от сиде ния на этом чурбане.

— Пожалуй, ты прав,— говорит отец,— ноги у меня затекли или мне только кажется.

Я протягиваю руку, чтобы помочь ему встать.

— Нет, не надо, я и сам встану.

Отец делает попытку встать, но тут же опускается на чурбак. О плачет... Я сажусь рядом с ним, беру его за руки и пытаюсь их погла дить. Но руки у отца такие загрубевшие, узловатые и мозолистые, что он не ощущают моей ласки. Его ладони похожи на кору старого дерева. *Они словно кора...*

Только теперь я ощутил, какие жесткие, узловатые и мозолисты руки у отца, какие они грубые и какие многострадальные! О, господ боже мой! Разве не такие же руки и у мамы?..

Чего только не вынесли руки отца, чего только не выстрадали руки матери, пока они вырастили всех нас, пока вырастили меня... А я. Я даже и не думал об этом до сих пор... Даже и не думал...

Отец время от времени тихо вздыхает и продолжает плакать. Если собрать все его слезы, они наполнили бы целый ковш. Но у людей не в обычае собирать слезы других. Не в обычае у них собирать и собствен ные слезы.

— Ах! Какой человек! Какой человек! Чистый, как слеза!

Все мы когда-то были «чистыми, как слеза». А потом... Да что так думать, что случается с нами потом? Жизнь, она все марает.

— Душа в душу жили мы с Марией... Иногда только ссорились Бедные люди чаще ссорятся, чем богатые. Ссорятся, а неведомо из-за чего... Кто знает, из-за чего ссорятся...

Снова звонит колокол... Снова он гудит... Это по маме звонит боль шой колокол: данг... данг! По каждому человеку когда-нибудь да зво нит колокол, когда-нибудь да звонит... Нет, не по каждому покойнику звонят колокола. По убитым на войне никакие колокола не звонят. По убитым на войне гремят пушки, стреляют винтовки, трещат пулеметы

Осенью, когда мне исполнилось четырнадцать лет, из нашего села из Омиды, что растянулось вдоль тесной и скудной долины Кэлмэцуя ушли на войну сотни людей, все один к одному: парни в расцвете лет мужчины в полном соку. Больше половины из них домой не вернулись *Нет, не вернулись.* Какой по ним звонил колокол? Никакой колокол по ним не звонил. Мертвым все равно, звонит по ним колокол или нет. А если так, то не лучше ли сказать, что колокол звонит не по мертвым, а ради живых, ради тех, кого оставил после себя покойник, чтобы они лили слезы и оплакивали его?

Теперь в нашем доме и во дворе собралось более сотни людей, бо лее сотни живых людей, близких и дальних родственников, друзей и просто знакомых, и все ради одной покойницы. *Все они думают об одной смерти, о смерти матери.* Никто из них не думает о собственной смерти или о смерти кого-нибудь из собравшихся. Правда, женщины, родствен ницы они нам или нет, пришедшие в наш дом, на наш двор, чтобы по прощаться с матерью, оплакивают в этот багровый закатный час своих

покойников. Но слезы этих плакальщиц не утешают никого и не отзываются болью в сердцах тех, кто их проливает. Люди, по которым голосят и плачут теперь женщины, давно уже умерли, а кто-то из них — да будет им земля пухом — умер так давно, что давно и позабыт. Женщины, которые причитают и плачут, вспомнили их только потому, что увидели умершую мать, и причитают они привычными, пустыми словами, и забудут они об этих покойниках тут же, как только разойдутся по домам.

Мой брат Ион-адвентист, который был в доме и стоял на коленях у постели матери, выходит во двор и садится на чурбак. Он видит, что я курю, и ему хочется закурить. Но он сдерживается. Новая вера приучила его сдерживать почти все желания. Глаза у него сухие, но губы вздрагивают, словно вот-вот, совсем недавно, он чем-то до смерти был напуган. До того, как стать адвентистом, мой брат Ион курил почем зря. Теперь он не курит, ни цуйки, ни вина в рот не берет, не ест свинины. Святой, да и только. После смерти душа его отправится прямо в рай, может быть, даже покрыв голову попоной,— шагай в рай, грехов не бойся, попоной прикройся... да, попоной прикройся... Отправиться в рай или в ад может всякий, даже попасть туда может. Конечно, если есть где-нибудь этот рай... Ну, конечно, если и ад где-нибудь существует... Но вот как выбраться оттуда... А возвращаться еще никто не возвращался ни из ада, ни из рая. Умерев, человек отправляется по дороге, с которой ему уже не сойти. Теперь умерла мама, и душа ее отправилась в безвозвратный путь.

— Ты веришь в существование души?

— Верю или не верю, но мне было бы тяжелее, если бы я не верил.

— Ты по доброй воле лишаешь себя многого,— обращаюсь я к брату,— не пьешь, не куришь, не ешь свинины...

— Это правда. Здесь, на земле, я многого лишаю себя, но зато *там* у меня будет все.

Забыв, что умерла мать, что ее еще не похоронили, я улыбаюсь. Согнав с лица улыбку, опять обращаюсь к брату:

— А что, если *там* ничего нету? Вот это будет дело!

Вся кровь отлила у брата Иона от лица, язык заплетается.

— Не может этого быть... Нет... не может быть...

— Ну, а все же...

— Это ужасно, даже подумать об этом страшно!

— Ну, а ты все-таки подумай! Напрасно ты себя иссушаешь. Ни за что, ни про что лишаешь себя радостей... Ни за грош, ни за денежку...

Я тушу окурок, потому что он обжигает мне губы, и закуриваю другую сигарету. Табачный дым горький, во рту у меня горько, я ощущаю горечь во всем теле, я уверен, что если бы укусил себе палец, как это делал когда-то, и пососал кровь, то убедился бы, что и она горькая, словно сок одуванчика. Моя невестка Оленка говорит:

— Стояла я на коленях возле маминой постели, и она даже не рассердилась, не прогнала меня. Потом я встала и поцеловала ей руки. Мама и на это не рассердилась и не прогнала меня. А прежде... прежде она бы разгневалась: «Не касайся моей руки, поганая!» Для мамы каждый адвентист был поганым, даже Ион. Когда она гневалась, она и мне иногда говорила, что я поганая. Теперь-то она уже ни за что не скажет... ни за что... Вот она какая, *смерть!*.. Мертвый человек уже ничего не может сказать. Ничего, ничегошеньки не скажет мертвый человек.

Кажется, брат мой Ион хочет что-то сказать, но никак не решится.

Моя невестка Оленка все не унимается:

— Бедная матушка! Умерла. Не будем о ней ничего говорить, кро-

ме хорошего. После смерти душа покойника три дня и три ночи броди по дому, в котором он жил. Все-то она слышит, про что говорят, все он видит, что там делается. Только после трех дней и ночей берет ее чер ный ангел за руку и через семь воздушных застав ведет на небо. А душ грешников низвергаются в адскую бездну сразу же после первой за ставы.

Моя невестка Оленка со страхом оглядывается направо и налево и убедившись, что кроме нас ее никто не слышит, продолжает:

— Я думаю, что до пятой заставы матушкина душа вознесется лег ко, а вот после пятой...

Оленка замолкает и смотрит на нас. Она лукаво подмигивает, слов но хочет показать, будто знает про мать больше, чем каждый из нас На самом деле она ничего не знает. Она глупа и не может даже постиг основ своей новой веры.

Совсем стемнело. Скоро взойдет луна. На высоком небосводе пока зались звезды. Все односельчане разбрелись по своим домам. Колоколь умолкли и будут молчать до завтрашнего утра. *Тоска по матери прони зывает меня.* Никогда, никогда, даже ребенком я не тосковал по ней так как сейчас.

Я оставляю отца вместе с братом моим Ионом-адвентистом, вмест с невесткой моей Оленкой и иду в дом, где, вытянувшись на постели, с свечой, зажатой в скрещенных на груди руках, вечным сном заснул мама! Я приехал, чтобы увидеть, как она спит вечным сном! Мама зас нула вечным сном, а я живу. Это хорошо, что я живу, или плохо? Это н хорошо и не плохо... не хорошо и не плохо... Не так и не этак. Я живу — и все. Разве этого мало? *Ведь это — все.*

Трудно сосчитать, сколько желтых и белых свечей горит в комнате и ото всех них поднимается черная копоть, пахнущая растопленным сгоревшим воском. Не знаю почему, но мне вдруг приходит в голову, что если меня поджечь, то я горел бы как свеча, распространяя запах рас топленного воска.

У постели я вижу коленопреклоненную Стану Рыжую, как называл ее мать, с которой она за тридцать лет, а то и больше, не перемолвилась ни единым словом. А теперь Стана стоит на коленях перед остывши телом матери и словно исповедуется шепотом:

— Сестрица, сестрица, из-за чего мы поссорились с тобой, сестри ца? Что мы делили в этом мире, когда делить нам было нечего? А если нам нечего было делить в этом мире, то нечего будет делить и на том свете, дорогая сестрица...

Покосившийся старый забор отделяет наше хозяйство от хозяйства дяди Войку. Дядя Войку — один из старших братьев моего отца. Васи ле — сын дяди Войку и моей тетки Бизарки, а Стана — жена Василе Уже давным-давно умерла моя тетка Бизарка, а вот теперь умерла и мать.

Мама ничего не слышит, ведь она умерла, а с тех пор как она умер ла, она ничего не может ответить Стане.

— Это я запалила вражду, сестрица Мария, это я и покойная мо свекровь, да простит ей бог, это мы вдвоем начали ссору, сестрица Ма рия...

Близкие и дальние родственники, все, кто находится в доме, напря гают слух и слушают, о чем это с великой печалью в голосе говорит Ста на Рыжая, как называла ее мать. Слушает ее и сестра моя Евангелина Она подходит к Стане, берет ее под руку, помогает встать и выпроважи вает во двор.

— Хватит, Стана, оставь маму в покое. Довольно тебе причитать

Да попроси она тебя неделю назад помириться с ней, ты бы наотрез отказалась.

Стана вздрагивает и, отстранившись от Евангелины, сухо говорит:

— Неделю назад, говоришь... Неделю назад... Так неделю назад Мария была еще жива. Как же это я *тогда* решилась бы сказать то, что сказала *сейчас? Ведь тогда Мария была жива, а теперь она померла. А покойнику можно сказать все, что хочешь, все равно он не слышит.*

На кухне во дворе кипят горшки с чорбой, пекутся калачи, почти изжарилось мясо. Мой зять Сэмынцэ принес из корчмы от Бучука несколько бутылок цуйки и оплетенные бутыли с вином. Перед домом под шелковичными деревьями накрыт большой стол. Сам не зная для чего, я считаю глиняные миски: пятьдесят две. Спрашиваю сестру Елисабету:

— Это все твои?

— Мои,— отвечает сестра и добавляет,— у меня и тарелки есть, только я их не принесла, боюсь, как бы не побили. Люди у нас тут не научились еще обходиться с тарелками. Многие, как заведутся деньги, накупают тарелок, вилок, металлических ложек. Все это запрут в шкаф и хранят, а пользоваться боятся. Вот так и я сегодня вечером...

— Правильно делаешь, что бережешь тарелки,— говорю я.

Умерла мама, умерла. Завтра мы ее похороним. Мы закопаем ее в землю и больше никогда-никогда не увидим. Моя сестра все хлопочет неподалеку. Около каждой миски она кладет новую деревянную ложку.

— Я все это недавно купила,— сообщает сестра.— Проезжали тут мимо со своими возами гончары и ложкари. У меня был мешок с подпорченной кукурузной мукой. Я и отдала эту прогорклую муку за горшки, миски да ложки. Дай, думаю, возьму, все равно прогорклая мука мне не нужна. А это хорошо, когда в доме много чашек и ложек. Вот видишь, я права оказалась: все пригодилось, и мне не нужно бегать по селу, у всех одалживать. Не сегодня-завтра, когда буду женить сына, опять понадобятся миски, опять понадобятся ложки...

Из-за холма выплывает луна, багровая, огромная, как жернов.

— А тебя, если хочешь,— предлагает сестра,— могу накормить с фарфоровой тарелки. Как ты, хочешь?

— Нет, не хочу. Мне и так есть не хочется.

— Хочется не хочется, а есть надо. А то завтра ноги не будешь таскать.

Она права. Но мне все равно есть не хочется.

— Я совсем недавно съел теплый калач. Немного попозже проголодаюсь, вот тогда и дашь мне поесть.

— На тарелке?

— Нет, в миске. Когда я ем из миски, всегда вспоминается детство.

— И к чему это тебе вспоминать детство, когда ты стал мужчиной что надо? Жили мы тогда плохо.

Луна поднимается все выше. Простым глазом видно, как она поднимается. И кажется, что прямо на глазах становится все желтее и желтее.

Константина зажигает лампы и развешивает их на гвозди, вбитые и в стену дома и в шелковичное дерево. Люди, оставшиеся для ночного бдения у тела матери, молча усаживаются за стол. Около матери сидит одна только кривая тетка Чуря из Кырломана. Самая любимая моя тетка Уцупэр из Секары, женщина энергичная и решительная, прислала сказать отцу, что сможет прийти только завтра к обеду: «И что это вздумалось Марии умереть как раз тогда, когда у Дицы начались родовые схватки?»

Я возвращаюсь к отцу и нахожу его там же, где оставил. Он курит одну цигарку за другой и молчит. Молча сидит и брат мой Ион. Я обращаюсь к обоим:

— Пойдемте в дом, постоим около мамы. Никого там нет, все уже уселись за стол. Около мамы осталась одна тетка Чуря.

Отец морщит нос.

— Эта Кривая! Никогда-то она мне не нравилась!

— Все же она наша родственница, родня как-никак.

— Да,— вздыхает отец,— родственница. Приходится ее терпеть. Родственников дает нам бог. Нравятся они или не нравятся, а терпи.

— Я попрошу, чтобы она пошла ужинать и оставила нас возле мамы одних.

— Просить ее! Да чего ее просить! Можешь и так сказать, пусть себе идет за стол. С чего это ты должен просить ее? Что она, господь бог, что ли?

Конечно, тетка Чуря не господь бог. И вообще все люди не боги, хотя некоторые из них калечат жизнь — и свою и чужую,— чтобы казаться богами.

На пороге отец бросает докуренную до половины цигарку и входит в комнату, где лежит мама. Вхожу и я, а вслед за мной мои братья, Штефан и Ион-адвентист. Отец бьет поклон и осеняет себя крестом. Я тоже кланяюсь и крещусь. Кланяется и крестится брат Штефан. Только Ион-адвентист стоит, сложив руки на груди. Лицо у отца осунулось и стало белым как мел. Глаза глубоко запали, сухие, жесткие губы побелели, словно от них отлила вся кровь. Пока мать была жива, я никогда не слышал, чтобы отец произносил слова любви, никогда не видел, чтобы он ласкал ее. А теперь слышу, как он шепчет:

— Мария, Мария... Как я любил тебя, Мария...

Я вижу, как он ласково проводит рукой по ее щекам, по подбородку, как гладит совсем еще недавно морщинистый лоб, который теперь стал гладким и ровным, словно у девушки. Смерть разгладила морщины на мамином лице, на лбу и словно омолодила его. Только упаси бог от омоложения, которое приносит смерть... После прикосновения смерти начинается гниение... Тление! О боже!

— Мария, Мария... Как я любил тебя, Мария!..

Все те же слова. Все те же и те же слова. Они повторяются раз, десять раз, сто, тысячу раз. Ион-адвентист слушает их и молчит. Его сухие бескровные губы вздрагивают. Во мне закипает гнев, но я стараюсь владеть собой. Однако это не мешает мне обратиться к отцу самым что ни на есть вкрадчивым голосом:

— Если ты так любил маму, почему же никогда не говорил ей об этом, когда она была жива?

Отец вздрагивает. Мой вопрос удивляет его.

— Как я мог это сказать и с чего бы стал это говорить? Твоя мать и так знала, что я ее люблю. А раз знала, чего ради я должен был ей повторять? Она ведь тоже за всю жизнь не сказала мне ни одного любовного слова.

Тетка Чуря не стала дожидаться, когда ее пригласят поужинать вместе с другими родственниками. Увидев, что мы входим в комнату, она тут же шмыгнула за дверь, боясь, что за столом ничего не останется.

— Мария, как я тебя любил, Мария!

Мы все любим. Все несем в сердцах цветы любви, а когда любовь умирает, в тех же сердцах храним пепел любви, холодный пепел умершей любви...

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Не знаю уж в который раз повторив эти слова, отец оборачивается ко мне. Со вчерашнего дня у него уже успела отрасти борода. Если раньше такая борода у него отрастала за неделю, то теперь она выросла за сутки.

— Ты прав, сынок. Эти слова нужно было сказать твоей матери, когда она была жива. Тогда б она была счастлива.

Глаза у отца сухие, но мне кажется, что в этот момент все слезы мира подкатили к его горлу.

— А теперь как мне быть? Посоветуй, сынок, что же мне делать? Что же мне делать теперь?!

— Что тебе делать? Завтра мы похороним маму, а потом пройдет время, и ты забудешь ее. Все люди, рано или поздно, забывают умерших...

— Я бы хотел, чтобы она еще пожила немножко, чтобы она умерла попозже, чтобы мы умерли вместе.

Моего брата Штефана не видно и не слышно. Он исчез. Сестра Евангелина говорит мне, что Штефан вышел во двор и, взяв из скирды в глубине двора охапку соломы, разостлал ее и улегся. Возможно, он спит, а может быть, плачет, кто его знает, что с ним творится.

Я гляжу на лицо матери. Оно спокойное и гладкое. Холодное как лед. А каким страдальческим, мокрым от пота было оно, когда среди зимы после трех суток мучений мать, бившаяся словно рыба об лед, родила наконец моего брата Штефана! Мы, дети, знали, что мать рожает. Все мы буквально громоздились тогда друг на друга в одной комнатушке, и мама рожала у нас на глазах в поте лица своего и в мучениях. Бабка Диоайка, повитуха, принимавшая и меня, пожилые женщины, пришедшие помочь матери, сестра моя Евангелина, год как вышедшая замуж и тоже ходившая на сносях, с радостью выставили бы нас вон, чтобы мы не слышали ужасных криков, от которых мороз подирал по коже, и *не видели того, что мы видели.* Но как нас можно было выгнать из дома, когда на улице сугробы были выше человеческого роста и мела метель? Даже ни к кому из соседей мы не могли пойти, потому что мать уже давно была на ножах со всеми соседями. Пот лил с нее градом, глаза вылезали из орбит, и мы удивлялись, как это они не выскочат совсем. Голый живот ее ходил ходуном, а ребенок все никак не мог отделиться от тела матери.

— Да отвернитесь вы, чего глазеете!

Но чем громче кричала бабка Диоайка, чтобы мы не глазели на мать, не смотрели, как она рожает, тем больше мы пялили глаза.

— Да не глядите вы на мать, нечего вам тут смотреть.

Но моя сестренка Рица отвечала:

— А вот есть чего!

Вьюга вскружила весь воздух до самого горизонта и даже, казалось, за его пределами. Через окошко, заиндевевшее изнутри и занесенное снегом снаружи, мы пытались посмотреть на улицу, но дальше двух-трех шагов ничего не видели.

Когда Евангелина вынесла ведро с кровью и околоплодными водами, моя сестренка Рица схватилась ручонками за живот и принялась кричать:

— Сейчас я рожу мальчика! Мальчика! Мальчика! Я, как мама, рожу мальчика! Мальчика!

Отец, скорчившись, сидел в сенях перед печкой. Время от времени он подпихивал в нее кочергой пук мокрой соломы. В печке мокрая солома сначала трещала, потом, подсохнув, занималась огнем. Едкий дым наполнял холодные сени. Холод пробирался под дверь и проникал в комнату. Отец шептал:

— Помоги ей, господи, разродиться... Помоги ей, господи, разродиться и выжить... выжить ей и ребенку...

Я выскочил во двор и облегчился в сугроб возле двери. Отец увидел меня и поманил к себе. Я сел верхом к нему на колено.

— Но-о, моя лошадка, но-о...

Отец смотрел на меня, подбрасывал на колене, слышал, как я кричу «но-о, моя лошадка», но я для него не существовал.

— Помоги ей родить, господи... Помоги ей родить и выжить,— непрерывно повторял он шепотом.

Так он твердил в тот день, когда родился мой брат Штефан.

А теперь мой брат в глубине двора спит на соломе или плачет, скрывшись от нас, а отец, стоя у тела матери, все повторяет:

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария...

Умерла мама, умерла. Она не слышит, что говорит отец, а *может быть и слышит*. Что мы знаем о покойниках? Ничего или почти ничего. Возможно, что мы узнаем о покойниках немножко больше, когда сами умрем. Но когда умрем, мы *ничего не сможем рассказать живым из того, что услышим, как покойники, и увидим, как покойники.* Мамино тело не слышит причитаний отца, но, может, их слышит ее душа...

Я склоняюсь над руками отца — боже, какие они загрубевшие и узловатые,— беру их в свои руки и целую. Он настолько погружен в свои мысли, настолько окружен какими-то своими видениями, что сначала не замечает этого. Заметив же, что я держу его руки в своих руках, он почти вырывает их и резко спрашивает:

— Что это ты?

— Ничего. Просто мне захотелось...

Мама лежит неподвижно. Горят желтые и белые свечи. В доме пахнет покойником. Пахнет воском и дымом. Пахнет ладаном. Но ощутимей всего пахнет покойником... *Пахнет покойником...* Умерла мама... *Это мама тот покойник, которым пахнет в доме.*

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Что-то обрывается внутри меня и тут же рассыпается на тысячи, на миллион частиц. Я падаю и задеваю головой о край кровати, на которой, вытянувшись, лежит мама,— мама, умершая прошлой ночью, мама, от которой все сильнее и сильнее пахнет покойником.

— Мама, мама... Почему я не умерла вместо тебя... Лучше бы мне умереть, а тебе бы жить и жить...

Константина причитает, стоя у окна. Это она произнесла слова: «Лучше бы мне умереть, а тебе бы жить и жить...»

Отец снова приходит в себя:

— Пойди скажи Константине, хватит ей юродствовать.

Я подхожу к Константине, но мою сводную сестру не так-то просто утихомирить. Мне помогает невестка моя Оленка. Она осторожно обнимает Константину за плечи и провожает к колодцу.

— Не замолчишь,— говорит Оленка,— суну головой в колодец, чтобы остыла.

Близкие и дальние родственники, собравшиеся из окрестных сел чтобы провести ночь около покойницы, еще не вылезли из-за стола. Званые и незваные гости съели уже чорбу, жареное мясо, от калачей и крошек не осталось. Но прежде всего была выпита цуйка, да и вино тоже. А поскольку люди начали ворчать, что они не утолили жажды, мой зять Сэмынцэ снова отправился к корчму к Бучуку и принес от него еще несколько бутылей вина.

— За вино завтра расплатится мой шурин из Бухареста.

Это я «шурин из Бухареста», это я заплачу за вино.

Константина напилась допьяна и уселась на край колодца. Малейшая неосторожность, одно неловкое движение — и она полетит в колодец.

Колодец перед нашим домом самый глубокий в селе. Когда мы были маленькими, мама все время пребывала в страхе, как бы кто-нибудь из нас не свалился в колодец.

— Не лазайте, милые, на колодец. Поскользнется нога — и все тут конец вам будет.

Она все время боялась, что мы упадем в колодец и утонем. Она все время жила в страхе, что, играя на полотне железной дороги, мы попадем под поезд и колеса перережут нас, раздавят, *убьют*. А мимо нашего дома днем и ночью проходили пассажирские и товарные поезда.

— Не ходите вы, миленькие, на железную дорогу, неровен час, задавит вас поездом.

В вечном страхе жила наша мама, *но жила*. А теперь все страхи прошли, ничто не пугает ее. Лицо у нее ясное, после смерти оно разгладилось и помолодело. Но теперь мама умерла, она не просто заснула, а действительно умерла, умерла навсегда. Единожды умерев, люди умирают навсегда. Навсегда.

Люди умирают дома, умирают на постели, умирают на завалинке и во дворе, умирают в поле и в лесу, они сгорают в огне и тонут в воде, их убивает пуля и дубина, обрушившаяся на голову, они гибнут тысячами на войне, и в мирное время они умирают тоже тысячами *естественной смертью*.

Но никакая смерть не хороша, никакая, никакая... Разве только смерть врага, но если подумать да поразмыслить, то и она не покажется хорошей.

Мама умерла дома, в постели. Дедушка со стороны отца умер на свежем воздухе, сидя на завалинке, и смерть за несколько часов до того, как взять его душу, отняла у него голос.

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Горят желтые и белые свечи и постепенно уменьшаются. И пламя от них становится все меньше и меньше. *Пламя, оно дает свет, оно же дает и дым.*

Горит, как свеча, тает, как свеча, которая горит, и все тает, тает. Мама сгорела — это жизнь сожгла ее, она сгорела до тла и погасла.

Когда-то мне часто снился сон, будто лечу я среди звезд на крылатом коне. Звезды прямо на глазах у меня вспыхивали, разгорались и гасли.

Жизнь матери только частично протекала на моих глазах. Возможно, что эта часть ее жизни была самой несчастной, это было время, когда она родила всех моих младших братьев и сестер, когда она родила и меня. Случались ли когда-нибудь в ее жизни радостные дни? Выпадали ли на ее долю когда-нибудь счастливые часы?

— Да не лезьте вы на колодец!.. Не играйте на железной дороге!.. Не лазайте на деревья!.. Не ходите одни в лес!..

Ей было страшно за все: и за то, что мы делаем, и за то, что мы можем натворить. Говорила она всегда ясно и ласково, мы выслушивали ее, но наставлениям ее не следовали. Ведь дети так редко внимают советам своих родителей.

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Перед домом за накрытым для ужина столом люди едят, пьют — больше всего пьют — и становятся все более шумными и веселыми. Хорошо поджаренное мясо, острый перец, теплый сытный хлеб, цуйка и вино развеяли печаль и распалили жажду жизни.

Смерть? Смерть, она существует и не существует. Смерть, она существует только для тех, кто еще не умер. А мертвые уже не боятся смерти. Мама, пока была жива, очень боялась смерти. Она боялась за свою жизнь, за жизнь отца и особенно за нашу жизнь, за жизнь ее детей. Она умерла, а мы живем. На лицах наших залегли глубокие складки печали и страдания, но все-таки это лица живых людей. У матери лицо гладкое и ясное, но это лицо покойницы. Никогда до сих пор я не видел у матери такого спокойного, такого ясного лица, лица человека, полностью примирившегося с самим собой.

А может быть, мама все-таки чувствует еще что-то? Может быть,

она еще думает? Может быть, мама довольна, что избавилась от всех тягот жизни и перестала жить?

— Пойдемте, батюшка, пойдем, Зэрикуцэ, пойдемте во двор, я вам дам чего-нибудь поесть. Возле мамы останутся Рица и Елисабета.

— Я тоже останусь,— говорит сестра моя Стела, одетая в черное с ног до головы.

Стела самая младшая из всех нас. Четыре года назад она вышла замуж за машиниста на железной дороге. За четыре года родила от него четверых детей, четырех девочек, а месяц тому назад он погиб при крушении поезда. Его привезли домой в дешевом гробу, разрезанного на куски. Стела похоронила его и оплакала.

Мы выходим из комнаты, где лежит на постели мама, но не для того, чтобы поужинать, а чтобы хоть немножко отдохнуть. Пока мы стояли около покойницы, у нас все кости словно вошли одна в другую.

Елисабета и Рица молчат, а сестра моя Стела заходится в плаче:

— Мамочка, мама, умер у меня муж, дорогая мама, оставил мне четырех девочек, мама...

Мама не знала бы, что ей ответить, если б даже была жива.

— Мамочка, мама, как я выращу своих девочек, мама?..

Мама, она должна все знать, должна найти ответ на любой вопрос... На любой вопрос... На все вопросы... Она бы не знала, что ответить Стеле, или, возможно, ответила бы так:

— Трудись, дорогая, трудись и вырастишь девочек. Хуже ли, лучше ли, но вырастишь. И с другими такое бывало.

У нее тоже умер муж, когда она была совсем молоденькой... совсем молоденькой, почти девчонкой. Она осталась с двумя детьми — правда, с двумя, а не с четырьмя. Вторично она вышла замуж за человека, который сидит теперь при луне за домом на деревянном обрубке, курит и повторяет шепотом, как и раньше, когда стоял возле кровати, на которой она лежит уже мертвой:

— Мария, Мария, как я тебя любил, Мария!..

В ночи раздается паровозный гудок. Земля тихонько вздрагивает. Поезд вырывается из глубокой выемки и мчится мимо нашего дома. Отец говорит:

— Вот сейчас ровно сутки, как она умерла... Вот сейчас, сию минуту...

Ровно сутки! Только одна ночь и один день! Что они значат в бесконечном течении времени, эта ночь и этот день? Мне кажется, что мама умерла давным-давно, что она всегда была мертвой, никогда не была живой, не жила совсем. *Она умерла всего двадцать четыре часа назад, но она такая же мертвая, как и человек, который первым жил на белом свете и первым умер.*

В то время как моя сестра Стела причитает в доме и вопрошает мать, как же ей вырастить четырех дочек, которых оставил ей погибший муж, отец снова присаживается на старый чурбак. Он хотел походить по двору, подвигаться, поразмяться, но у него ничего не получилось.

— Не знаю, что такое, но у меня вроде ослабли ноги, мальчик, совсем меня не держат.

Говорит, что не знает, почему у него ослабли ноги! Знает. Он прекрасно видит, что я уже не мальчик, а взрослый мужчина, и все же называет меня *мальчиком*. Для него я так и останусь веснушчатым и курносым мальчишкой.

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария! Как я любил тебя!

Я тоже любил мать. *Сильно, очень сильно любил я ее, но так и не удосужился сказать ей об этом. Она умерла, умерла, а я так и не сумел ей сказать, что люблю ее, не успел поблагодарить за то, что родила меня на свет.*

А ведь она могла бы и не родить меня. Если бы она не захотела меня рожать, то пошла бы к Диоайке или к Унтурике, завязав в уголок платка несколько медяков, и сказала бы:

— Опять я затяжелела, бабуся. У меня и так полон дом ребятишек. Не нужно мне больше. Избавь ты меня.

— Как ты желаешь? Вытянуть его из тебя или горшок на живот поставить?

— Хочешь тяни, хочешь ставь горшок, бабушка, только бы не так больно было да поменьше крови ушло.

Правильно ли поступила мать, родив меня на свет? Ей была ведома та жизнь, которая выпадала на долю всем людям в долине Кэлмэцуя, и все же она отважилась родить меня, родить и тех, кто явился после меня: Елисабету, Штефана, Стелу.

Небольшое облачко наплывает на луну, и прозрачная ночь сразу меркнет. Отец продолжает курить свою цигарку. Облачко проплывает, и луна вновь показывается во всей своей красе.

Позабыв обо всем, что было, отец говорит:

— Погляди-ка, стемнело и луна взошла!

— Давно уже ночь, отец, уже перевалило за полночь.

— Может быть, и так,— отзывается он,— может, и за полночь перевалило.

Он поднимает глаза к небу и внимательно смотрит, словно изучает его по частям. Ему ведома каждая звезда, каждое созвездие. Он знает, когда восходят звезды и когда закатываются. Как-то раз, это было очень давно, я спросил его:

— Откуда ты так хорошо знаешь небо?

— Я часто смотрел на него, смотрел и все думал. Бескрайни божьи просторы и так прекрасны!

— А есть ли бог?

— Есть ли, нет ли... Тебе бы хуже стало, если бы он был?

— Да нет.

— Тогда чего спрашиваешь?

Некоторое время отец молчит. Молчит и жадно вглядывается в небо. Может быть, он ищет то место, где находится рай. Никто ведь не знает, где же находится подобное место. Словно подслушав мои мысли, отец медленно и отчетливо, с глубоким сожалением в голосе произносит:

— Рай. он не на небе и ад не под землей...

Он огорчен тем, что не знает, куда же поместить душу матери.

— Она была такая робкая, а вот придется ей скитаться в одиночестве от звезды к звезде, от светила к светилу... Может, хоть ангел будет ее сопровождать, а может, и никто не будет... Хотя нет... ведь она может повстречаться со своим первым мужем, с Раду Окяном... Наверно, он уже давно поджидает ее на небе...

Всех нас кто-нибудь поджидает на том свете, только не на небе, нет, *не на небе, не на небе, а в земле.*

Мама боялась не столько смерти, сколько земли, которая будет давить на гроб, куда ее положат, когда она умрет,— гой земли, которая в конце концов проломит крышку гроба, навалится ей на грудь и будет давить, *все давить.*

— Выложите мне, милые, могилу из кирпича и выведите свод, а гроб не поскупитесь заказать Тутану-младшему из самых толстых досок.

Могилу со сводом из кирпича выкладывает теперь ее внук Стэникэ, младший сын Евангелины, который смыслит в строительном деле, а гроб ей сколотит Тутанов сын из самых толстых досок, какие только найдутся на складе пиломатериалов на станции.

И как мама могла знать, что много-много лет спустя будет ей

выкладывать сводчатый склеп тот самый внук со странной точкой на глазу, который почти до семи лет считался немым? Как могла предчувствовать, что кости ее будут покоиться и обратятся в прах в гробу, который действительно выстругает и сколотит младший сын Тутана?

Незадолго до смерти мама исповедовалась у отца Теофила и приняла от него святое причастие. Моя сестра слышала, как она говорила ему:

— Нету у меня времени, батюшка, чтобы каяться, нет уже времени...

В чем согрешила мама и в чем ей нужно было каяться перед самой смертью? Возможно, она подразумевала вечные ссоры с соседями, а возможно, и что-нибудь иное. Не знал я этого тогда, не узнал и потом, да и узнавать не хочу. Она оставила мне в наследство немногие свои воспоминания, поскольку была неразговорчива, да болезнь крови, от которой умерла сама, от которой и я умру когда-нибудь. Отец проще, чем она, открывал свое сердце и рассказывал то о том, то о сем.

О, боже, какой большой писатель вышел бы из меня, если бы отец передал мне свой сильный и яркий дар рассказчика! Но я унаследовал от него только вспышки гнева, упрямство, неутолимую жажду справедливости и ненасытный голод по человечности. Все это скорее мешало, чем помогало мне в жизни. Больше, пожалуй, мешало, но не только это затрудняло мне жизнь, но и многое другое.

Перед тем как мама родила на свет моего брата Штефана и так тяжко заболела, что чуть было не умерла, отец отправился в Руший-де-Веде, чтобы продать на базаре состарившихся волов и купить себе молодых. Старые волы стоят дешево, их покупают на убой мясники, а молодые — очень дорого. Кроме денег, которые отец должен был выручить за старых волов, в кошельке у него была нешуточная сумма: шесть бумажек по двадцать лей каждая. Он сидел на передке телеги и понукал волов, время от времени слегка подстегивая их хворостиной. Рядом с ним, под рукой, лежала дубинка, которой при необходимости он мог раскроить не одну голову.

Высоко в небе сияла полная луна, а по обе стороны дороги тянулись высокие заросли кукурузы — настоящий густой шелестящий лес. Была, как и сейчас, середина августа, и по ночам уже чувствовалась прохлада. Боясь, что какой-нибудь злодей застанет его врасплох, и думая, что я заснул в телеге, отец вел разговор с волами:

— Эх, волы вы мои волы, какие вы были молоденькие, когда купил я вас у Кэпручиу-барышника, какие вы тогда были молоденькие. Восемь лет прошло с тех пор, восемь лет вы трудились вместе со мной и с моей Марией весной и летом, осенью и зимой и вот теперь состарились, мои милые. И я вместе с вами состарился, и Мария моя постарела, вот так-то, круторогие...

Мы двигались к Руший-де-Веде по шоссе. Щебень, которым совсем недавно было засыпано шоссе, скрежетал под колесами, от него кровоточили копыта у волов. Волы слушали, что говорил им отец, но разве они понимали? Они медленно и равнодушно шли вперед, молча двигались сквозь время, которому нет начала и нет конца.

— Эх, волы мои милые, состарились вы вместе со мной и моей Марией; трудились вы вместе с нами, а теперь состарились; и гоню я вас на базар на продажу; продам я вас мяснику, а он вас и *зарежет*...

Я видел, как режут цыплят, видел, как режут индюков и индюшек, козлят и ягнят, козлов и баранов, я знал, как режут телят и коров, знал, что режут и быков: полоснут по горлу ножом, полоснут — и конец. У нас в Омиде скотину резали во дворе у корчмаря Бучука или у другого корчмаря, Томы Окы, но совсем не каждый день. А в городе все по-другому. В Руший-де-Веде и в Турну люди и за стол не сядут, если

нет мяса. Мясники едва поспевают их обслуживать. И наши волы... наши волы...

— Эх, волы мои родные, мои милые, будь у меня все, что надо, кормил бы я вас и не гонял на работу, жили бы вы у меня на дворе и умерли от старости. Но я — бедный человек, мои милые, дом у меня полон детей, потому и должен я вас продать мясникам на убой...

Волы медленно шагают вперед, двигаются через время, которому нет ни начала, ни конца, и тянут за собой телегу. Скрипит щебень под колесами, а волы ничего не понимают, что там говорит им отец. *А может, они все понимают, но пресытились такой жизнью и покорно подчиняются судьбе.*

— Давай-давай!.. Шагай, Рыжий! Шагай, Серый!

В небе над нашими головами сияет луна, щедро рассыпаны звезды, скользят какие-то тени. Кто знает, может быть, тени, которые мы видим на небе, вовсе не тени, а души умерших. А у волов тоже есть душа? Если нет у них души, то почему? А если у них есть душа, то куда же она девается, когда волов зарежет мясник и мясо их продадут на базаре?

Я привык к нашим волам, привык к Рыжему и Серому. Это добрые волы, они никогда не бодались. Я вырос возле них, ползал у них между ног, держался за их рога, и они ни разу меня не боднули, не сделали мне ничего плохого.

— Норовистые волы мне не нужны, а то, избави бог, еще детишек забодают.

Волы были добрые, покладистые, но теперь они уже не могут работать. *Теперь отец продаст их в городе мясникам на убой.* Я представил себе, как им перерезают горло, как с них сдирают шкуру, как их разделывают и подвешивают куски мяса на крюки в мясной лавке Тоне, потому что не кто иной, как дядя Тоне, мамин брат, мясник, купит наших волов.

— Шагай, Рыжий... Шагай, Серый...

Неожиданно для самого себя я издал пронзительный крик. Так кричат испуганные дети, которым приснился страшный сон. Отец спрыгнул с телеги, подошел к волам, отвел их на обочину дороги и снял с них ярмо.

— Что с тобой? Что случилось?

— Мне приснилось,— слукавил я,— что мясники режут наших волов.

— Эх, сынок, сынок, твой сон в руку. Так оно и будет.

— Сегодня?

— Может, и не сегодня, а через день, через два-три...

Я выскочил из телеги и собрал кучу сухой травы. Отец поджег ее и на обманчивом скудном огне на обочине дороги мы испекли несколько початков кукурузы, которые наломали тут же, в поле, и съели их. Кукуруза была мягкая, сладкая. Горе мое прошло. Волы щипали траву возле дороги.

Луна побледнела, небо стало голубоватым, приближался рассвет. Отец снова запряг волов в телегу.

— Пошел, Рыжий... Пошел, Серый...

Он посадил меня рядом с собой, закурил цигарку и начал рассказывать:

— Могло ведь быть и так, что ни тебя бы не было на свете, ни твоих братьев, ни сестер, кроме Георге и Ляны, которые родились до того, как меня забрали в солдаты. Служил я в Турну, в резервном кавалерийском полку. В те времена в наших местах еще не было никакой железной дороги. Люди путешествовали в дилижансах, дилижансы возили и почту, и даже деньги. Дилижанс, который следовал из Турну в Буха-

рест, до Александрии сопровождал кавалерист из нашего полка. А от Александрии его охранял кавалерист из Бухареста. В Александрии наш кавалерист получал под охрану бухарестский дилижанс и следовал с ним обратно в Турну. В обратный путь отправлялись всегда вечером и прибывали ночью, в темноте. Как-то раз был я в Турну. Сидели мы в казарме, ужинали. Вдруг приходит сержант и говорит мне:

— Тудор, завтра утром твоя очередь сопровождать бухарестский дилижанс в Александрию.

— Слушаюсь, господин сержант.

Тут поднимается один солдат, Илие Алимош из Олоджи, и говорит:

— Пошлите меня, господин сержант. Мне сообщили, что у меня жена заболела. Я бы хотел заглянуть домой, повидать ее.

— Как хочешь, если Тудор не возражает.

— А что мне возражать, господин сержант. Если Алимош поедет вместо меня завтра, значит в другой раз, когда наступит его черед, поеду я.

Сказано — сделано. На следующий день утром Илие Алимош верхом на лошади и вооруженный до зубов отправился с дилижансом в Александрию. В Олодже, где дилижанс остановился, чтобы принять письма, солдат повидался с больной женой. Поехали они дальше. Дилижанс из Бухареста прибыл в Александрию с запозданием. В Турну он должен был быть в десять часов. А его не было ни в десять, ни в одиннадцать, и в полночь он не приехал. Подняли тревогу. Послали несколько человек навстречу посмотреть, не случилось ли чего по дороге. Меня тоже послали. Далеко нам ехать не пришлось. Только мы выехали из Турну через Фынтына-Дроний, свернули вправо, поднялись на взгорок— тут у моста и нашли перевернутый дилижанс. Пассажиры все были крепко связаны, рты заткнуты тряпкой, а сопровождавший дилижанс *кавалерист и кучер* лежали убитые. Вот так! А что бы случилось, если бы жена Илие Алимоша не заболела и он сам не отпросился бы у сержанта сопровождать бухарестский дилижанс вместо меня? *Погиб бы я,* а не Илие Алимош. А если бы я погиб, я бы не женился на твоей матери и не было бы ни тебя, ни Рицы, ни Штефана, ни Елисабеты, ни Стелы, никого бы из вас не было вовсе. Понял? Ни один из вас не появился бы на свет божий.

— Да. Понял. Мне... Мне было бы очень жалко.

Отец расхохотался. Он покатывался со смеху. Никогда он так не смеялся, сколько я его помню. Ему никогда не было так смешно с тех пор, как он трудился вместе с Рыжим и Серым, с волами, которые состарились у нас, с волами, которые уже стали непригодны к работе, за что отец и хочет продать их в городе мяснику на убой!.. *На убой, потому что они уже стали непригодны к работе.*

А что делается с людьми, когда они уже не могут работать?

— Папа, почему ты смеешься?

— А как же не смеяться? Ведь если бы ты не появился на свет божий, тебя бы не было, а если бы тебя не было, то как бы ты мог жалеть об этом.

Я решаюсь попросить отца:

— Не продавай сегодня волов. Подержим их еще. Продай их в другой раз.

Отец удивляется.

— Что это тебе пришло в голову? Почему не продавать?

— Если ты продашь... если ты продашь их мяснику, он их зарежет.

— Зарежет, для этого он их и покупает.

— И тебе не жалко?

Лицо у отца мрачнеет:

— Жалко, но что поделаешь. Если хотим жить и работать, нужно купить других волов, пару молодых и сильных...

Лицо у отца становится совсем печальным, глаза грустными-грустными. Рассвет постепенно затопляет пространство своим свежим рассеянным светом. В поднебесье, словно подвешенный золотой колокольчик, заливается жаворонок. Он поет свою утреннюю песню.

Отец продаст волов мясникам. Мясники зарежут их и продадут мясо...

— Шевелись, Рыжий... Поспешай, Серый...

У меня маленькие уши, очень маленькие, прильнувшие к голове. Глаза же не больше, не меньше, чем у других. И все же своими маленькими ушами я слышу не только звуки вокруг себя, но и дальние отзвуки воспоминаний, а порой и совсем далекие воспоминания других людей. И глазами своими, такими, как они есть, то зеленоватыми, то голубыми, то серыми, я вижу не только то, что видят другие люди. Я заглядываю ими далеко в память, а иногда и в глубокие дали памяти других.

На наш двор, на соседние дворы, на все село, на холмы и поля вокруг снизошла прохлада. Только в комнату, где лежит, вытянувшись на постели, мама и горит множество желтых и белых свечей, она не проникла. В комнате по-прежнему душно, пахнет ладаном и растопленным воском, пахнет стеарином, пахнет покойником, а покойница — это мама, мама, которая родила меня и кормила своей увядшей грудью, носила меня на руках, а потом на плече, пока кожа на нем не огрубела и не затвердела.

Со стороны ворот дует легкий ветерок и, пролетев мимо кухни, доносит горячий запах свежего хлеба и аромат яблок. Растет тут неподалеку одна яблоня, и плоды ее уже поспевают. Цветом эти яблоки, чей аромат доносится до нас,— красные, а на вкус они кислые, зато созревают раньше винограда.

Здесь у нас, в тесной и скудной долине Кэлмэцуя, осень всегда наступает не слишком рано и не слишком поздно, а именно тогда, когда нужно. У нас в саду есть еще одна яблоня. Она кривая, полузасохшая и совсем невидная, но яблоки на ней, поспевающие к Петрову дню, необычайно сладкие. Как только с яблони опадал цвет, мы, дети, целыми днями глазели на нее и нам казалось, что яблоки растут прямо у нас на глазах. Мы с нетерпением ожидали лета, когда можно будет сбросить с себя старую и тяжелую одежду, когда можно будет купаться в речке и бегать по просторным полям, но больше всего ждали лета потому, что уже в начале его каждый из нас съедал хотя бы по яблоку с этой кривой и полузасохшей яблони.

— Мама, яблоки уже начали поспевать.

— Начали-то начали, только поспеть не поспели.

— А когда они поспеют?

— К Петрову дню.

— А когда Петров день?

— Через неделю.

— Тогда ты нам дашь яблочек?

— Дам, дам.

Ах, какой длинной казалась нам эта неделя! В неделе семь дней, а за каждым днем следует ночь. Летом ночи короткие, зато дни... Мы считали каждый день по пальцам...

— До Петрова дня осталось шесть дней.

— До Петрова дня пять дней.

— До Петрова дня...

— Завтра Петров день... Петров день... Мама, завтра Петров день... Петров день, мама.

— Знаю, детка.

— А мы будем собирать яблоки?

— Будем. Как только солнце начнет клониться к закату, мы их и соберем.

Я гляжу на солнце. Оно еще не достигло зенита.

— Как долго ждать, когда солнышко начнет закатываться!

— Пойди к ребятам, поиграй.

Я отправляюсь играть с ребятами. Мы идем купаться на речку. День проходит. Близок уже и закат. Все собираются вокруг кривой и полузасохшей яблони. Мы, дети, мигом взбираемся на нее; ветви гнутся, но выдерживают нас. Срываем одно яблоко за другим и аккуратно кладем в корзинки.

— Остались еще яблоки на яблоне?

— Нет, мама.

— Тогда слезайте, только тихо и осторожно, не поломайте веток. На следующий год яблоня снова будет цвести и опять принесет вам яблок.

Мать разбирает яблоки. Самые красивые складывает в новую корзину и, наполнив, ставит на верхнюю полку, откуда мы ее достать не можем. Остальные она уносит в дом и где-то их прячет.

— А нам не дашь яблочек?

— Нет, не дам.

— Даже попробовать?

— Завтра дам, в воскресенье.

Мы знаем, что просить бесполезно, но все-таки просим.

Ни одна ночь не казалась мне такой длинной, как та, что отделяет Петров день от другого, отмеченного в календаре, висящем на стене, красным числом. Ночью мне снится, что я ем сладкие яблоки. Я просыпаюсь, напрасно глотаю слюну, с трудом засыпаю опять, вновь пробуждаюсь и снова вижу все тот же сон. К концу ночи я уже не могу совладать с собой, потихоньку одеваюсь, выскальзываю из дома и убегаю со двора. Перейдя железную дорогу, поднимаюсь на холм и с вершины его караулю восход солнца. Я зову его шепотом и вполне уверен, что, хотя у солнца и нет ушей, оно все-таки слышит меня и внемлет моей мольбе:

— Солнышко, солнышко, вставай поскорее, доброе солнышко, ведь мне так хочется попробовать яблочка.

Солнце услышало меня и поднимается над горизонтом. По невидимым ступеням оно начинает свое восхождение, пускаясь в свой ежедневный путь.

Било сзывало в церковь. Потом раздавался колокольный звон. Кончалась заутреня. Из церкви выходили женщины, и у всех в руках были корзины с яблоками. Вместе с ними идет и мама. Она направляется домой и останавливается у калитки, где мы поджидаем ее.

— Это тебе, Зэрикуцэ, на помин души...

Она раздает по яблоку всем моим братьям и сестрам. А потом... потом мимо нашей калитки проходят другие дети, проходят женщины, идут и мужчины. Мама останавливает их и каждому дает по яблоку, освященному в церкви:

— На помин души...

Она шепотом произносит имена, которые я уже слышал, и имена, которых не слышал до сих пор. Я стою возле нее, держусь за юбку и ем яблоко. Все кажется золотистым — и воздух, и солнце, и даже пыль на дороге. Все, что я вижу, все в золоте, в золоте и то, чего я не вижу, что только чудится мне.

Я ем яблоко, и это столь долгожданное яблоко представляется несказанно сладким. Оно тает во рту, растворяется в крови, во всем моем теле, а я сам растворяюсь в золотом солнечном свете и в воздухе, который в этот Петров день тоже золотой.

— Мама, дай, пожалуйста, еще яблочка.

— Возьми, Зэрикуцэ. Это на помин души Османа.

— А кто он был, Осман?

— Турок, кем же ему еще быть, тоже человек. У него была другая вера, но все равно он был человеком... Великое это дело, Зэрикуцэ, быть человеком!

Я никогда не знал, кто такой был Осман, «тоже человек», не знаю и до сих пор. Не пойти ли и не спросить у мамы? Но если даже я пойду и спрошу, она все равно не ответит. Теперь мама умерла и ни на что уже не ответит... Ни на что...

— Мама, кто такой был Осман?

— Турок, кем же ему еще быть, тоже человек!

Я оставляю отца одного сидеть на чурбаке. Нет, не одного. С цигаркой. Когда у человека во рту горящая папироса, он не одинок. Я подхожу к яблоне с округлой кроной, срываю два яблока и возвращаюсь к отцу. Он не удивляется. Он бросает цигарку и растаптывает ее ногой, потом откусывает яблоко и жует.

— Та кривая яблоня,— говорит он,— которая совсем засохла, давала яблоки послаще. Помнишь?

— Да, помню.

Близкие и дальние родственники из других сел, собравшиеся, чтобы попрощаться с покойницей и принять участие в похоронах, так напились и наелись, что забыли, ради чего явились сюда. Они проходят мимо нас с отцом, словно не замечая. Некоторые идут тяжело, нетвердо держась на ногах. Другие шагают бойчее, не опуская головы к земле. У женщин заплетаются языки. Все они разбредаются по двору и по саду. Некоторые ложатся прямо на траву, кто вытягивается во весь рост, кто свертывается калачиком и тут же засыпает. Другие, у кого хмель еще не совсем затуманил голову, вытаскивают из скирды охапки соломы, расстилают ее на траве и потом ложатся.

Шум на нашем дворе затихает, затихает и суета на селе. Только время от времени раздается гудок товарного поезда на станции, где-то на другом конце села хрипло лает собака да поет от скуки сонный сторож. Отец закуривает новую цигарку. Закуриваю вместе с ним и я. На кухне пекутся последние калачи, последние булки.

Почти изо всех сел долины Кэлмэцуя явилась к нам многочисленная родня, чтобы попрощаться с мамой и принять участие в похоронах. Завтра нахлынет еще больше родственников.

— Пойдем посмотрим в последний раз на Марию. Поглядим и на сынков ее из Бухареста.

Нужно приготовить еды и вина на всех, кто завтра будет в нашем доме, на нашем дворе и возле двора.

— Позаботьтесь, милые, чтобы на моих похоронах никто не остался голодным или обойденным чаркой вина.

— Позаботимся, мама.

О своих похоронах она говорила так, словно это будут похороны совсем другого, незнакомого человека.

Говорила! А теперь уже больше не говорит. Ни словечка не проронит, ни словечка. Мой брат Ион ходит по двору, держа под руку свою сербиянку. Они устали, им бы лечь где-нибудь поспать, но они боятся отца. Отец чувствует это и подзывает их.

— Вы заморились, спать хотите. Так не стесняйтесь. Никто не обидится, а мать уж меньше всего. Найдите себе местечко и ложитесь.

Мой брат Ион-адвентист молчит, но Оленка, моя невестка, выпаливает:

— Мы бы пошли под навес, на пригорок.

— Ступайте с богом.

Они уходят, держась за руки. Выходят со двора, пересекают желез-

нодорожную насыпь, поднимаются на холм. Луна ярко освещает две фигуры, взбирающиеся по склону. Вот они перевалили за гребень холма, и их больше не видно.

«Приятного вам сна,— желаю я им обоим про себя,— приятного сна».

Никто мне никогда не желал приятного сна, никто и никогда. Возможно, это и к лучшему. Ведь, может быть, самый приятный сон это тот, которым спит теперь мама, сон без сновидений, без забот, без пробуждения. Моя сестра Евангелина проявляет обо мне заботу:

— Зэрикуцэ, ты ведь устал, дорогой, пойдем ко мне, я тебя уложу, сосни хоть немножко.

До сих пор Евангелина всегда меня называла «братцем», как старшая сестра. Теперь, когда мама умерла, она по необходимости должна заменить нам мать... *Заменить мать!* Но никто не может заменить матери.

— Пойдем, Зэрикуцэ, а то завтра ты совсем раскиснешь.

— Не раскисну.

Ни родные, ни друзья не знают, какой я двужильный. Однажды я работал целую неделю, не смыкая глаз, потом поспал два часа и еще проработал неделю без перерыва. Мне нравится подвергать испытанию свое тело и дух. Может показаться, что я насмехаюсь над жизнью. Ни в коем случае. Я ценю жизнь ровно настолько, насколько она этого заслуживает.

Мимо меня проходит сестра моя Евангелина. Сделав несколько шагов, она оборачивается и говорит:

— Ты знаешь, что я начала слепнуть? Через год, от силы через два, я уже ничего не буду видеть. Ты слышишь? Я ничего не буду видеть... Зачем мне будет жить тогда?

Молчу и притворяюсь, что ничего не слышал.

— Вот мама ничего больше не видит, но ведь она умерла, а я...

— Я тебя отвезу к доктору. Возможно, он найдет для тебя лекарство.

— Не хочу я к доктору. Если хочешь потратить на меня деньги, свези меня к знахарю. Я слыхала, что в Сяке живет знахарь, который лечит от всех болезней.

— Ладно, свезу тебя к знахарю.

Дует ветерок. У нас во дворе опять пахнет подсолнухом, спелыми яблоками, виноградом. Мне делается прохладно, отцу тоже. Мы закуриваем. На этот раз курим, чтобы согреться. Отец взглядывает на небо и говорит:

— Через час взойдет солнце. В хороший день будем хоронить твою мать, сынок, в хороший день.

Он бросает наполовину выкуренную цигарку и растаптывает ее ногой, а сам дрожит, словно его бьет озноб.

— Отец, что с тобой?

— А что может быть? Ничего! Мне вдруг стало холодно. А так — ничего.

Неожиданно его охватил озноб. Меня тоже. Губы мои похолодели и стали дрожать. Через несколько мгновений я уже лязгаю зубами. Теперь отец, в свою очередь, спрашивает меня:

— Что с тобой, сынок?

— Ничего,— отвечаю,— ничего. Просто зубы стучат, а так ничего. Но со мной это и раньше бывало.

— Я помню. Ты лязгал зубами и тогда, когда умер твой дядя Войку.

— И я помню.

— Пойди к колодцу,— советует отец,— достань ведро воды и напейся так, чтоб живот стал полным. Тогда не будешь лязгать зубами.

— Но мне вовсе не хочется пить.

— Хочется тебе не хочется, пойди выпей воды.

Слова отца звучат как приказание. Мне не хочется досаждать ему своим непослушанием.

— Хорошо, пойду.

Я действительно ухожу. Жена моего двоюродного брата по прозвищу Рыжая разговаривает с Папелкой. Они говорят о матери и жалеют, что она умерла. У них просто сердце разрывается от жалости, но что можно поделать.

— Жизнь — она жизнь, а смерть — она смерть.

Я знаю, что смерть — это смерть. Но зачем она, смерть? До сих пор смерть несколько раз посещала наш дом. Один раз она забрала моего брата Алексе, в другой раз мою сестру Раду. Теперь она явилась и взяла мою мать. Чей же теперь черед? После того как она забрала маму, за кем она явится в наш дом? За мной? Возможно, и за мной! Но нет, меня смерти придется искать в Бухаресте и забирать меня оттуда. От Омиды до Бухареста расстояние нешуточное. Но это для людей длинный путь, а для смерти... *Смерть, она переносится с места на место быстро, как мысль.*

И я бы хотел путешествовать со скоростью мысли, но не только мысленно.

Папелка зачерпывает воду пригоршней из колоды возле колодца, обмывает себе ноги и уходит. То же делает и Рыжая. А моя мама никогда уже не будет мыть ноги. После смерти старухи из Стэникуцэ обмыли ее в деревянном корыте тёплой водой с мылом, потом мои сестры обрядили ее во все новое. Теперь мама никогда не вымоет себе не только ног, но и лица.

Я достаю воду из колодца. Бадья полна до краев. Вода в ней холодная, почти ледяная. Я пью, пью и пью, пока весь не наливаюсь водой. Зубы перестают лязгать, они совсем уже не стучат. Я сразу чувствую себя лучше, но только на какое-то мгновение. Вдруг у меня начинает кружиться голова и земля уходит из-под ног. Я хватаюсь руками за забор. Как бы не потерять сознания! Воздух становится все более прозрачным, звезды бледнеют. Некоторые из них падают, оставляя за собой огненный, быстро исчезающий хвост.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

Я оборачиваюсь. У колоды остановилась Филимона. Она в голубом ситцевом платье и босиком. Несет на спине охапку свежей мокрой от росы травы.

— Умерла мама,— говорю я ей,— моя мама умерла.

Филимона пристально глядит на меня. Воздух совсем поголубел, вот-вот появится солнце. Филимона молчит, смотрит на меня и молчит.

— Каждому приходит свой смертный час, ночью или днем. Тетя Мария умерла ночью, в темноте.

— Она умерла не в темноте,— возражаю я,— а при свете. В комнате горела лампа, и в руках она держала свечку, которую зажгла Елисабета.

— Не стоит из-за этого ссориться. Я хотела сказать, что тетя Мария умерла ночью.

— Ни из-за чего не стоит ссориться,— отвечаю я,— ни из-за чего.

— Ты прав,— говорит Филимона.— Жизнь такая короткая, и зачем нам самим заполнять ее разными дрязгами?..

Восходит солнце. Оно свежее и молодое, словно за ночь выкупалось в прозрачной и холодной реке. Воздух наполняется светом и ароматом трав и цветов. Пахнет спелыми яблоками и виноградом. Пахнет шелковицей и алычой.

Я гляжу на Филимону, Филимона смотрит на меня.

— Ты устал.
— Да, устал.
— Отдохнешь вечером, после похорон.
— Почему?
— Как это почему? Мертвые с мертвыми, живые с живыми. Похороните покойницу, придете домой, поедите и будете отдыхать. Смерть, она многим людям доставляет хлопоты.

У Филимоны большие, грубые, изуродованные руки. Такие же изуродованные у нее и ноги. Руки, ноги и все тело ее как у одинокой женщины, которая работает за семерых...

Много лет назад еще в школе ее спрашивали:
— Филимона, кем ты хочешь быть?
— Инженером.

Она сбежала с жандармом и загубила свою жизнь. Но глаза у нее все такие же миндалевидные, брови по-прежнему густые, губы пухлые. Она сбрасывает мокрую траву к забору, вытягивает из колодца бадью с холодной водой, долго пьет и потом поясняет:

— Пока я тут стояла с тобой, что-то холодно мне стало, ужас как холодно. А потом вдруг в жар бросило и пить захотелось. Что бы это значило?

— А что может значить? Ничего.

Снова запахло яблоками и виноградом, навозом и землей.

Филимона подходит к колоде и моет ноги. Все женщины, которые приходят к колодцу за водой или просто попить, обязательно моют ноги. Вымыв ноги, Филимона выпрямляется и говорит:

— У меня есть корова. Каждое утро я хожу на насыпь железной дороги, рву траву, а потом тащу ее на себе. Все время живу в страхе божием: ведь если обходчики поймают меня, обязательно поколотят. С самой весны меня всего три раза ловили.

— И били тебя?

— Били, как же не бить, ведь я у них ворую эту траву. Первый раз меня поколотил Чьонтул, другой раз Питкайе, но хуже всех дерется Бурсук. Ты ведь знаешь, что я вдова.

— Знаю.

— А вдове ни от кого нет защиты на свете.

— Знаю и это, дорогая Филимона. Порой мне кажется, что я слишком много знаю, а иногда — что не знаю ничего...

— Бывает,— соглашается она,— бывает...

Мой брат, Ион-адвентист, спускается с холма, держа за руку свою сербиянку. Моя невестка Оленка смотрит на меня, глядит на Филимону и не понимает, о чем это мы можем разговаривать.

— Легли мы под навесом на кучу сухого бурьяна,— говорит Оленка,— думали заснуть, а сон так и не пришел.

— Что, холодно было?

— Да нет, не холодно. Лошади...

— А что вам сделали лошади?

— Ничего не сделали, что они могут сделать! Просто паслись рядом на жнивье. Ходят потихоньку стреноженные и колокольчиками позвякивают. Мотнет лошадь головой, колокольчик и звенит.

Колода наполовину полна водой. Мой брат, Ион-адвентист, моет руки, потом лицо.

— Умоешься холодной водой, словно помолодеешь.

— Чего тебе молодеть? Ты и так еще молодой! — отзывается моя невестка.

— У меня корова,— говорит Филимона,— молоком детишек кормлю. И продаю тоже, судейским писарям. По утрам они пьют кофе с молоком. Горожане! Без кофе с молоком жить не могут.

Вдруг лицо у нее мрачнеет, будто она разозлилась на весь мир. Она взваливает на спину траву и уходит. Перед тем как уйти, смотрит мне прямо в глаза:

— Мы еще с тобой повидаемся после похорон. После похорон. Обязательно увидимся.

— Увидимся.

Я закуриваю. Губы у меня горькие, во рту горько, теплый дым тоже горький. Мой брат, Ион-адвентист, вытаскивает бадью воды и снова пьет. Пьет и никак не может напиться, словно бездонная бочка. Я тоже пью воду. Голова у меня необычайно тяжелая.

— Пьете воду натощак,— говорит моя невестка,— только дураки пьют воду натощак.

Я молчу, молчит и мой брат. Мы не знаем, дураки или нет пьют воду натощак. Чего не знаем, того не знаем.

Невестка не унимается.

— Я вам принесу винца.

Мой брат Ион возмущается.

— Какое еще вино? Ты ведь знаешь, что я адвентист. Сама меня на это толкала: «Переходи в адвентисты, Ион! Переходи в адвентисты!» Я и перешел. С тех пор не курю, не ем свинины, не пью больше цуйки, не пью и вина. Это ты меня сделала адвентистом.

Слова злые, горькие и гневные падают, как камни.

— Я? Да вспомни-ка получше. Ты сам захотел стать адвентистом, вот и стал.

— Хватит,— говорю я им,— довольно препираться, хоть сейчас не ссорьтесь. Потом найдете время поругаться. Что там бог?! Ведь умерла мама.

Моя невестка принесла кувшинчик с вином, который я опоражниваю единым духом. Мой брат Ион смотрит с завистью.

— Тебе хорошо,— говорит он,— хорошо, что ты не адвентист: ешь, пьешь, куришь.

— Да,— отвечаю,— мне хорошо, даже очень хорошо.

— Поди, и со шлюхами якшаешься?

— А почему бы нет?!

Невестка цыкает на него:

— Ион!

Она произносит всего лишь одно слово: «Ион!» — и мой брат-адвентист становится робким, как ребенок.

— Извини,— обращается он ко мне.— Нехорошее слово сорвалось с языка. Это нечистый попутал. Верно, он здесь где-нибудь бродит.

Через насыпь железной дороги переходят два солдата и останавливаются около нас. Оружия при них нет, только полупустые ранцы за спиной. Выглядят они усталыми и голодными. Достают воду и пьют прямо из бадьи, как лошади. Потом моют руки, ополаскивают лица. Чтобы высушить их, несколько минут стоят, повернувшись к солнцу и подняв руки. Солнце быстро высушивает и лица и руки. Заметив солдат, сестра моя Елисабета выносит им полный подол калачей.

— На помин души нашей матушки.

Солдаты берут калачи.

— Царствие ей небесное.

Они принимаются есть. Моя сестра, внимательно приглядевшись к ним, спрашивает:

— А как у вас с документами?

Солдаты проглатывают недожеванный хлеб и делают удивленный вид.

— В порядке. Все в порядке. А тебе-то что?

— Жандарм,— шепотом произносит сестра,— старшина Чоб. На-

ткнетесь на него, и если бумаги не в порядке, обязательно арестует. Арестует и со связанными руками отправит в полк, в Турну.

Солдаты молча поправляют ранцы за спиной, поднимаются на железнодорожную насыпь, спускаются с нее и исчезают в густой, словно лес, кукурузе, поля которой тянутся до горизонта и еще дальше, за горизонт.

— Дезертиры,— говорит моя сестра.— Худо им придется, если поймают жандармы.

Звонит колокол: данг-данг-данг, динг-динг-динг! Ни единого облачка на голубом небе, таком голубом, словно это цветущее льняное поле. Сияет солнце, а колокол все звонит и звонит...

Солнце освещает землю ради всех, кто на ней живет, а колокола... А колокола на звоннице звонят только по матери, только по моей умершей матери...

Когда я был мальчишкой — сколько времени прошло с тех пор? Почему я не умер тогда, ведь столько детей умирало — я лазил на звонницу и звонил по покойникам, получая за это несколько грошей. Я думал, что, когда подрасту, стану могильщиком и буду зарабатывать на жизнь, копая могилы. Умрет кто-нибудь, я выкопаю могилу, заработаю немного денег, куплю хлеба, помидоров, кусок брынзы — вот и сыт. Вода, она даровая. Чем не жизнь!

У нас в Омиде, в тесной и скудной долине Кэлмэцуя, много народа умирало. Много умирает и теперь. Не знаю, кто умер на прошлой неделе, а вот вчера... Вчера умерла мама.

— Тяжко мне будет,— говорила она нам,— в первый день, и во второй, и в третий, тяжко мне будет и днем и ночью лежать в земле совсем-совсем одной среди полной тьмы, лежать и лежать, дожидаясь страшного суда... до самого страшного суда... А ведь никто не знает, когда он будет, этот судный день...

— Не бойся ты этого страшного суда. Никого ты не опечалила, никому зла не причинила.

— Откуда вы знаете, что я никому не сделала никакого зла? Может, и сделала. Может, причинила зло делом, а может быть, пожелала зла в мыслях. *А это все равно.*

— Совсем не все равно. Если нас судить за мысли...

— Больше всего я боюсь темноты и одиночества... *Темноты и одиночества.*

Всю жизнь она спала при зажженной лампе, даже во время войны, когда керосин был дорог и достать его было трудно.

Мимо прошел длинный товарный поезд. Задрожали стены дома, задребезжали, зазвенели стекла. Преодолев подъем и оказавшись на равнине, состав прибавил скорости и исчез. Словно с неба опустилась глубокая тишина. Но продлилась она недолго. Среди кукурузных полей за железной дорогой раздались выстрелы. Потом воздух прорезал крик. Моя сестра Елисабета сказала:

— Дезертиры! Выследил их все-таки старшина Чоб.

Вновь зазвонили колокола: данг-данг, динг-динг!..

Колокольный звон (а церковь у нас совсем рядом), выстрелы, ослепительное солнце разбудили и самых заспавшихся из гостей. Зевая, стряхивая солому с помятой одежды, они направляются к дому, потом подходят к колодцу, пьют воду, тщательно моют руки и лица.

— Проголодался, Типей?

— Как не проголодаться! В животе словно мыши скребутся!

И мужчины и женщины — все твердят одно и то же.

— Что-то есть хочется! Крепко проголодались!

— Погодите немножко,— просит их сестра Елисабета,— сейчас накроем столы.

Услышав ее, гости затихают. Сестра подходит ко мне и шепчет:

— Обязательно сегодня нужно похоронить маму. Если мы отложим похороны на один день, они съедят нас вместе с потрохами.

— Корми их досыта, ставь им вина вволю, пусть едят, что хотят. Мама велела, чтобы на ее похоронах все были сыты и довольны.

— Хорошо. Все сделаю, как ты говоришь. Только платить кто будет?

— Об этом не беспокойся,— отвечаю я ей.— Это не твоя забота.

— С тех пор, как я знаю тебя, ничего у тебя за душой не держалось, да и теперь не держится. Видно, придется тебе умирать на рогоже.

— На рогоже ли, в раззолоченном ли дворце смерть все равно смерть.

— Оно, конечно, так! Только лучше все-таки умирать не в бедности. А лучше бы и совсем не умирать.

Сестра моя улыбается, но улыбается только потому, что слезы навертываются ей на глаза, а она не хочет, чтобы все видели ее плачущей. В это время перед домом в тени шелковицы снова накрывают длинный стол. На деревьях, которые только теперь удосужился я окинуть взглядом, полно ягод. На одной шелковице ягоды, когда поспеют, синие, даже иссиня-черные, на другой — белые. Белая шелковица сладкая, как мед, и еще слаще, а иссиня-черная — кисловатая.

Мне почему-то неприятно садиться вместе со всеми за стол. Тело мое как будто сжалось, съежилось, словно от мороза, но не так, как это бывает зимой, а совсем по-иному. Одно дело зимний холод, здоровый и порой даже приятный, другое — *холод смерти.* Я пробираюсь среди всех этих непрошеных гостей и дальних родственников, про которых сам не знаю, в каком они родстве с нами состоят. Некоторых знаю, других когда-то знал, но забыл, а большинство мне не случалось видеть, возможно, и не увижу их больше никогда.

Я протягиваю руку и срываю с шелковицы несколько белых ягод. Мой зять Сэмынцэ запил с самого утра.

— Шелковица! Да брось ты ее, шурин, от нее только в животе бурчит.

Он подносит мне налитый до краев стакан.

— Полынная... выпей... желудок укрепляет.

Я беру стакан и выпиваю единым духом. Во рту у меня было горько, теперь стало еще горше. В ушах звенит, голова раскалывается. Люди, приглашенные или не приглашенные какой-то из моих сестер, усаживаются за стол. Время от времени звонит колокол. Сестры мои суетятся, приносят большие горшки с чорбой, корзины с хлебом, блюда с жареным мясом. (Прямо как свадебный пир! Но нет, это поминки!) Те же самые родственники, те же самые свойственники явились бы к нам, если бы какая-нибудь из моих сестер выходила замуж, и ели бы из этих же самых мисок точно такую же еду, и пили бы все то же вино, ту же полынную, ту же водку из этих же самых стаканов и кружек...

Теперь мама снова осталась одна во всем доме. После того, как мы похороним ее, *она останется совсем одна в земле, а теперь она осталась одна в доме.* Нет, не совсем одна: около нее моя невестка Оленка.

Моя невестка следит, как бы не выпала из мертвых маминых рук свеча, не подожгла бы постель и весь дом.

Если посмотреть иначе и рассудить правильно, то и в земле мама не будет совсем одинокой. Вокруг нее будут и наши и чужие покойники, *все усопшие,* которые были когда-то живыми и прожили ровно столько, сколько им было дано прожить в тесной и скудной долине Кэлмэцуя.

Со двора вместе с братом моим Штефаном идет отец. Глаза у брата распухли и покраснели от слез.

— Пойдем, сынок,— зовет меня отец,— пойдем в дом, побудем с покойницей, пока люди не насытятся.

— Люди никогда не насытятся ни едой, ни питьем, не пресытятся они и жизнью.

Не успеваем мы войти в дом, как от ворот окликает отца сельский горнист Кире, низкорослый и щуплый, с морщинистым, помятым лицом. До него горнистом в нашем селе был Диш, Диш-ветеран: это он трубил сигнал к атаке под Гривицей. Красивый и гордый, стройный, как тополь, стоял он под турецкими пулями и трубил в горн, а доробанцы[1] лезли на бастионы. Многие из них попадали тогда в ров, полный воды и грязи. Но когда ты мертв или смертельно ранен, тебе уже все равно, падаешь ли ты в сухой ров или в ров, наполненный грязью.

Ту-ту-ру-ру! Ту-ту! Ту-ту-ру-ру! Ту-ту!

— Ура, ребята, вперед!

Ту-ту-ру-ру! Ту-ту!

Пала Гривица, пала Плевна, окончилась и война.

Диш остался сельским горнистом, горнистом в селе Омида, который оглашает различные вести и распоряжения.

Ту-ту-ту-ту!

— Всем людям выходить на барщину!

Ту-ту-ту-ту!

— Всем людям возить камень!

Хрипло и жалобно звучал горн, тот самый горн, который призывал на штурм Гривицы.

Умер Диш после того, как его жена и зять Дырыялы погибли от холеры и были положены в один гроб прямо друг на друга... Эх, не все ли равно...

Раньше в нашем селе Омиде горнистом был Диш, а теперь Кире низкорослый и щуплый, сморщенный, словно винная ягода. Зато горн остался тот же самый, который возвестил стремительный штурм Гривицы.

Когда-то этот горн прикладывал к своим губам Диш, теперь ничего не осталось от этих губ. Человек умирает, и все превращается в прах: и глаза, и лицо, и тело. Становятся прахом и губы, те самые губы, которые шептали слова любви, которые пробуждали страсть других губ, которые целовали другие губы.

Мамины губы тоже превратятся в прах.

— Зэрикуцэ, выздоравливай, Зэрикуцэ, не умирай, сынок! Сколько я трудов положила, чтобы вырастить тебя! Не умирай, Зэрикуцэ!

Я напряг всю свою волю, собрал все свои силы скорее из любви к маме, чем к жизни, и одолел болезнь, не умер.

Шептала ли мать своими губами слова любви отцу? Я этого не слыхал, не слышали их и остальные, кто жил в этой комнате. Теперь мамины губы посинели. Они мертвые, синие и не смогут уже произнести ни словечка.

Кире, держа горн под мышкой, проходит мимо и говорит отцу:

— Тудор, дозволь мне сыграть для покойницы на трубе.

Отец удивляется.

— Зачем это играть на трубе? До сих пор ты играл на трубе только ветеранам. Когда умирали ветераны, только тогда ты и играл.

— Это правда.

— А когда умирали женщины, ни разу не трубил.

— Правда,— соглашается горнист Кире,— для женщин я никогда не играл на трубе, но Мария — совсем другое дело. Сколько детей от

[1] Гривица — местечко под Плевной, во взятии которого участвовали румынские войска во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Доробанцы — пехотинцы румынской армии.

родила?! Десять! Двенадцать! Нарожать и вырастить столько детей — это потруднее, чем бежать со штыком наперевес на врага. Так я думаю.

Люди больше не едят и не пьют. Отец опускает голову. Лицо у него суровое и печальное, кажется, что оно вылеплено из глины и обожжено.

— Играй,— говорит он горнисту,— если уж так тебе хочется сыграть на трубе, играй.

Мы входим в сени, это сени нашего дома, но теперь я их совсем не узнаю, потом в комнату, где, вытянувшись на постели, спит вечным сном мама. В ее мертвых руках белеет свеча. Свеча горит, и от нее вьется струйка дыма.

В комнате тяжелый воздух: пахнет растопленным воском, пахнет ладаном, пахнет покойником. Лицо у матери посинело, посинели и губы, стали почти черными. Отец становится на колени возле кровати, подпирает голову руками и говорит так тихо, что скорее угадываешь, чем слышишь, что он говорит:

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Я и брат мой Штефан стоим, прислонившись к двери. *В этой комнате всех нас родила мама.* В этой комнате вырастила она нас, научила говорить, поставила на ноги, чтобы мы вышли в широкий мир искать в нем свое место. Из-под этой двери зимой проникал холод и пробирал нас до костей. Через эту же дверь летом врывалась удушающая духота.

— Мария, Мария...

Я не слышу, что там дальше шепчет отец. И не хочу слышать, мне и не нужно слышать, что он шепчет.

Выпив, не переводя дыхания, большой стакан красного вина и произнеся «да будет тебе, Мария, земля пухом», Кире, стоя на крыльце, подносит к губам трубу и начинает тихонько трубить.

Небо голубое, солнце сияет над миром, дует легкий ветерок и тихо колышет листья тутовых деревьев. С обоих деревьев падают ягоды, белые и иссиня-черные. Стоит ясный погожий день. *В такой день только бы и жить, только бы и радоваться.*

Тщедушный Кире играет на своем помятом горне сигнал *отход ко сну.*

— Не умирай, Зэрикуцэ, не угасай, мой сыночек.

Я не умер и не угас. Не умерли и мои сестры, кроме Рады, которой мой двоюродный брат, Николае Димозел, начальник почты, случайно из дробовика попал в горло. Она хрипела и билась в объятиях матери, кровь хлестала у нее из горла, а мама, как и все мы, смотрела на нее полными ужаса глазами и не знала, что делать. Мой двоюродный брат, бросив ружье, убежал в поле и спрятался там в кукурузе, боясь, как бы отец не разыскал его и не убил. Вечером, вернувшись с работы, отец нашел Раду уже мертвой. Она умерла на закате солнца и лежала еще теплая. Больше, чем Христос, распятый на кресте, мучилась и страдала мама.

Мы не умерли, мы не угасли. А теперь умерла сама мама, угасла она сама.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту... Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Спать, спать, всем ложиться... Спать, спать, всем ложиться...

Поздний вечер, в казарме играют отбой. Солдаты должны лечь под жесткие одеяла, закрыть глаза и спать. Но мало закрыть глаза, чтобы заснуть. Солдаты тоже люди, все они остались людьми. К тому же они еще молоды.

— Дануца моя... Теперь моя Дануца спит. Накормила ребенка, ребенок сытый заснул, спит и моя Дануца, заснула и спит крепким сном... А что, если моя Дануца не спит? Что, если она оставила ребенка одного в доме, а сама вышла в сад и там за стогами сена встретилась с Тэуне, соседом? Тэуне молодой и бравый, а жена у него старая уро-

дина, разжиревшая толстуха, ходит — еле переваливается. На всех женщин в селе заглядывается Тэуне. Почему бы ему не заглядываться и на мою жену?

Отход ко сну.

— Ну как, солдатики, спим?

— Спим,— отвечают солдаты, вытянувшись под одеялами из жесткого конского волоса.— Так точно, господин сержант, *спим.*

Сержант, старый служака, поседевший в полку, смеется. Смеются и солдаты.

Спать, спать, всем ложиться!

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Горнист Кире играет отход ко сну. *Отход к вечному сну моей матери играет он на трубе, и звуки эти хватают за сердце.*

Ту-ту.. ту-ту-ру-ту...

Ближние и дальние родственники, знакомые и друзья, пришедшие попрощаться с покойницей и принять участие в похоронах, сидят за столом под шелковицами. Никто больше не ест, никто больше не пьет, никто не разговаривает. Все молчат, молчат и слушают, как Кире трубит в горн, тот самый, который принадлежал раньше Дишу. Все молчат и слушают, как помятая медная труба провозглашает *отход ко сну.* Щемящую тоску и глухие рыдания далеко вокруг разносит эта труба, до самой околицы и еще дальше — туда, где кончается поле. А для многих людей в нашем селе и мир кончается там, где кончается поле. Кто знает, может, звуки горна слышны и на небе, ведь небо уж не так далеко, совсем не далеко...

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Умерла мама.

Отец стоит на коленях возле кровати, на которой лишь несколько дней назад, пока мама окончательно не слегла от своей болезни, он спал вместе с нею ночь за ночью, год за годом. И сколько прошло этих лет? Они не считали. Теперь на этой кровати лежит только мама. Она вытянулась и спит вечным сном. Вечный сон имеет свое начало. Для мамы вечный сон начался в тот миг, когда она умерла. И будет длиться вечный ее сон... до каких же пор? Вечный сон матери будет длиться куда дольше, чем ее хрупкая жизнь. Ее вечный сон будет длиться всегда.

Но что же это такое — всегда?

Мне кажется, что мы, люди, придумали некоторые слова только для того, чтобы спотыкаться о них, чтобы было обо что спотыкаться. На нашем пути к этому *всегда* мы спотыкаемся о смерть. Кто знает, возможно, мы спотыкаемся и о жизнь...

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Вот мама молодая! Меня еще нет на свете. Где же я тогда был? Никому неведомо. Возможно, нигде меня не было. Я могу вообразить, какой мама была в молодости. Она была белокурая, высокая и стройная. Почти девочка, но уже вдова с двумя детьми на руках. Она вошла в дом отца, вот в этот дом, где лежит теперь мертвая на постели, и нашла в нем еще двух детей, мою сестру Ляну и моего брата Георге.

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария! Как я любил тебя, никогда не говорил об этом, никогда!

Отец произнес это отчетливо и громко.

Я гляжу на него, и мне становится страшно: а что, если и с ним что-нибудь случится? За мать, как это говорится, беспокоиться уже нечего. Мама умерла и ничего больше пережить не может. Ее можно терзать, резать, кромсать на куски, но убить ее нельзя — она и так умерла. Никто не умирает дважды, никто дважды и не рождается. Я боюсь за жизнь отца. Глаза у него сухие, но все его тело содрогает

ся от рыданий, от молчаливых болезненных рыданий, каких до сих пор я еще не видал. Он встает с пола, наклоняется и целует мамин холодный лоб, холодные щеки, которые тоже начали синеть, холодные губы, которые уже давно были синими и теперь чернеют, становятся черными...

Я гляжу на отца... Неотрывно смотрю на него. Никогда я не видел, чтобы он так плохо выглядел. Отец с трудом разжимает застывшие пальцы матери, берет горящую свечу и передает ее мне:

— Подержи минутку.

В комнате душно. Тяжелый воздух пахнет воском и ладаном, пахнет покойником.

Это мама пахнет покойником, мама, не кто-нибудь другой, а моя мама...

На крыльце Кире дует в старую трубу, и она все трубит и трубит. Отец вспоминает, что когда-то, давным-давно, мама была молодой, и в те самые далекие-далекие времена он тоже *был молодым, совсем молодым.*

В детстве люди не знают, что значит быть ребенком. Также и в юности они не знают, что значит быть молодым. Только в старости они начинают все понимать, но тогда уже поздно, слишком поздно... Слишком поздно? Никогда не бывает слишком поздно... Нет, бывает.

Отец еще раз целует холодные и синие мамины губы, которые уже начали чернеть, и *впервые с тех пор, как я знаю его,* целует ее холодные и посиневшие руки.

Но мамины руки безжизненны, так же безжизненны, как и ее глаза, как и ее губы.

Мамины руки не ощущают, что отец целует их. Они остаются неподвижными и холодными, почти ледяными. Слишком поздно он целует их, слишком поздно... Порой случается, что в жизни что-то приходит слишком поздно. Одна только смерть никогда не мешкает. Мама была уже не молодой, но и совсем не старой. Она могла бы прожить еще много лет, как бабушка из Кырломану.

— А бабушка из Кырломану пришла?

— Нет. Как же она могла прийти, когда умерла десять лет назад. Ее задавила телега, в которой ехали дружки на свадьбу.

— А тетушка Уцупэр?

— Придет попозднее. Дица рожает.

Не знаю, кто это спрашивал, не знаю, кто отвечал. Если люди мне незнакомы, я не знаю и их голосов, а если не различаю их голосов, совсем их не знаю.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту... Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Два ребенка и два ребенка — будет четыре. Так же как два несчастья и два несчастья тоже будет четыре. С самого начала их дом был полон детей. А потом они пошли один за другим...

— Что ни год, то и рот.

— Каждый рождается на свет со своим счастьем или несчастьем.

— Почему же с несчастьем? Было бы нужно, чтобы каждый только со счастьем рождался.

— А кто это сказал, что так нужно?

— Не знаю.

— Ну и я не знаю.

Отец берет у меня горящую свечу и снова вкладывает ее в мамину руку. Это не так-то просто: мамины пальцы окоченели. Поцелуй отца, запоздалый и потому напрасный, уже не мог их согреть... Что умерло, то мертвым и пребудет. Кире продолжает трубить. Его горн все звучит и звучит:

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Отход ко сну.

Отец, сгорбившись, выходит из комнаты. Он протискивается среди собравшихся гостей. Я следую за ним. Он выходит во двор и останавливается перед Кире:

— Хватит тебе трубить. Довольно.

Отец поднимается на железнодорожную насыпь, переходит полотно и начинает взбираться вверх на холм прямо по крутому склону.

Родной брат отца, дядя Алисандру Наста, говорит мне и моим братьям, Штефану и Иону:

— Пойдите за ним, как бы он чего не сделал.

— Ничего он не сделает,— говорю я и тут же спрашиваю: — А ты почему не пойдешь за ним?

Дядя прикладывает руку к левой стороне груди.

— Сердце у меня плохое стало. Если я взберусь на такую кручу, оно не выдержит, помру. Мало вам одного покойника в доме? Хотите, чтоб было два?

— Нет, не хотим!

Я бросаюсь догонять отца. Мои братья, Ион и Штефан, остаются на месте, но сестра Елисабета бежит за мной и говорит вполголоса:

— Не ходи за ним. Может быть, ему хочется побыть наедине со своими думами, со своим горем.

— Вот этого-то ему и не нужно.

— А откуда ты знаешь, что не нужно?

— Так мне кажется.

— Тогда и я с тобой пойду.

— Не беспокойся. Позаботься лучше о гостях, накорми их еще, напои.

— Кое-кто и так уже напился. Как бы нам не испортили похороны.

— Ничего, не испортят.

Кире в последний раз протрубил в свой горн.

Когда я служил солдатом в кавалерийском полку, сигнал *отход ко сну* подавался у нас поздно вечером. Вернувшись с учений, мы сначала ужинали мамалыгой с вареной капустой или с похлебкой, чечевичной либо фасолевой, потом отправлялись на конюшню чистить лошадей. У меня был тогда старый, высокий конь по кличке Вася. Обрядив коней на ночь и засыпав в кормушки сена, мы шли в казарму. Здесь мы чистили свои мундиры, ваксили до блеска сапоги и наконец залезали под одеяла.

Спать, спать всем ложиться.

— Опять ты не спишь, желторотый? Сыграли отбой, а ты все не спишь!

— Сплю, господин вахмистр.

В казарме помещались шестьдесят человек, тридцать спали на верхних нарах, тридцать на нижних. На узких нарах лежали соломенные тюфяки, и на каждом отдыхал солдат — вполне понятно, насколько может солдат отдыхать.

А утром...

Услышав за спиной мои шаги, отец останавливается и оборачивается. Он вовсе не удивлен, что я иду за ним. Возможно, он бы удивился, если бы, обернувшись, не увидел меня. В руке у него цигарка.

— Спички кончились. Нет ли у тебя огонька?

Я даю ему прикурить, закуриваю и сам. Воздух, еще не совсем утративший ночную влажность, так чист, что табачный дым кажется более горьким и кислым, чем обычно. Мы делаем несколько глубоких затяжек и бросаем окурки в траву. Отец глядит на них: они продо

жают тлеть, и дым от них поднимается тонкими струйками, словно от свечей.

— Сами горят,— произносит отец.

— Табак сухой, бумага сухая, вот и горят.

Отец наступает на окурки ногой, сначала на тот, что бросил сам, потом на другой. Увидев удивление на моем лице, решительно произносит, словно совершая невесть какое дело:

— Пусть не горят!

Идем молча, словно вступили в царство самого молчания. Но тишина длится недолго. Сзади нас настигает колокольный звон:

Данг-данг-данг... динг-динг-динг...

По покойнику в колокола звонить должны дети, потому что только у них душа безгрешна. Какие дети или какой ребенок звонит теперь по маме?

Мы шагаем по тропинке, среди кукурузного поля. Отец идет впереди, я чуть-чуть сзади. Он останавливается и спрашивает:

— Почему это звонят колокола? Разве кто-нибудь умер?

Он опять забыл о маме, снова забыл, что она умерла.

— Не знаю,— отвечаю я,— не знаю. Узнаем, когда вернемся. Спросим у кого-нибудь.

— Только бы не умер какой-нибудь ребенок,— говорит отец.— Мне было бы очень горько узнать, что умер ребенок. Дети не должны умирать. Они должны жить, расти, чтобы стать взрослыми.

Мне нечего ему ответить, и я молчу. Молчит и отец. Сделав пять-шесть шагов, он произносит:

— Чтобы стать взрослыми... Не велика эта важность быть человеком! Сегодня ты есть, завтра тебя нету.

Мы снова идем, все шагаем и шагаем.

— Да,— соглашаюсь я,— не велика важность быть человеком.

Дорогу нам преграждает канава, обсаженная дикой колючей акацией. Мы находим проход в этой живой изгороди. По ту сторону изгороди в нос ударяет запах спелого винограда. *Виноградник!..* Я так давно не взбирался на холм возле нашего дома, так давно не бывал в этих местах, что вовсе забыл — ведь здесь, на холме, у нас есть свой виноградник. Многое забывает человек, почему бы и мне кое-чего не забыть. Ради чего я должен был бы помнить обо всем?

— Это наш виноградник,— говорит отец.— Виноград уже поспевает. Если хочешь, можем отведать.

— Если хочешь... Если ты голоден, давай поедим.

— Почему бы и не попробовать?

Я сажусь в траву на краю канавы в тени акаций, отец скрывается в винограднике. Здесь он знает каждую лозу. Пропадает он что-то долго, видно, ищет... Отец возвращается с двумя гроздьями темно-вишневого цвета.

— *Рошиоара,*— говорит он,— *рошиоара поспела.*

Так он называется, этот сорт винограда,— рошиоара. Ягоды у него мелкие, плотно посаженные одна к другой, и сладкие. Мы сидим на мягкой траве у края канавы и едим виноград. Отщипываем одну ягодку, вторую, третью... Данг-данг-данг... динг-динг-динг...

Отец кладет на траву кисть, от которой отщипнул всего несколько ягод, поднимается и уходит с виноградника. Я следую за ним.

— Ты оставил виноград на траве. Хочешь, я принесу?

Динг-данг-данг...

— Не надо,— отвечает отец,— я не забыл. Я нарочно положил его: пусть полакомятся муравьи.

— Я здесь не видел никаких муравьев.

— Это не значит, что их нет... Муравьев больше, чем людей. По всей земле живут черные, желтые, рыжие муравьи...

Мы направляемся к дому. Возвращаемся по другой тропинке, не по той, которой шли сюда. Весь холм пересечен тропинками. По полю тоже протоптаны многочисленные тропки. Мы продолжаем разговор про муравьев.

Когда я был еще мальчишкой, между черными и рыжими муравьями шла великая война. Черные пришли откуда-то с севера...

Данг-данг-данг...

Теперь солнце стоит прямо над головой. Тени наши уменьшились, сузились до предела, но все равно не могут оторваться от наших ног и вынуждены тащиться за нами.

— Ни один человек не может избавиться от своей тени.

— Может.

— Когда же?

— Когда умрет и его закопают. Человек скрывается в могиле вместе со своей тенью.

Отец, кажется, приходит в себя.

— Часа через два, ну, через три мы ее похороним...

Он не называет маму по имени, вообще никак не называет ее.

— Покойника, кто бы он ни был,— добавляет отец,— обязательно нужно закопать. А то...

Я понимаю, что он хотел сказать: «Если покойника быстро не закопать, он начинает разлагаться».

Покойник, которого нужно было закопать, это и есть моя мама, которая родила и вырастила меня, которая так заботилась обо мне, когда я был дома, и так тосковала, когда меня не было.

— Приезжай почаще домой, Зэрикуцэ, а то нам так без тебя тоскливо.

Но кто обращает внимание на материнские слова! Город полон соблазнов, а молодость, пока ты молод, представляется бесконечной!

— Я приеду, мама.

Но это — слова, брошенные на ветер, подхваченные и унесенные ветром.

Спустившись с холма, мы опять оказываемся на полотне железной дороги. Отсюда виден наш дом и наш двор, полный народа. Столько родственников — и близких, и дальних — собралось, чтобы в последний раз попрощаться с матерью, столько друзей и знакомых, что всем не хватает места во дворе и люди толпятся на улице. Отец говорит:

— В этом доме и меня родила моя мать, которую я никогда не видел. И часу не прошло, как она умерла, родивши меня на свет. В этом доме четыре года прожил я с Думитрой, которая принесла мне двух детей. В этом доме и умерла Думитра, отсюда взяли ее люди, отнесли на кладбище и закопали... Отнесли на кладбище и закопали... Закопали... А она так боялась темноты... В этот дом я привел Марию. Она была совсем девочкой, беленькой, с косами, как спелая пшеница... Столько детей родила она мне в этом доме! Господи! Столько, что я даже и сосчитать не могу... А теперь, опять в этом доме, на той же постели, на которой умерла Думитра, умерла и она... Мария... Мария... Я же тебе ни разу не сказал, что люблю тебя.

Отец садится на откос железной дороги, я присаживаюсь рядом. Он перебирает камешки, откладывает в сторону наиболее гладкие, пересчитывает и, как ребенок, начинает пересыпать их. Я спрашиваю:

— Ты умеешь играть «в камешки»?

— Умею.

— Почему тогда не играешь?

— Не хочу.

Отец молчит и продолжает пересыпать камни. Наконец молчание надоедает ему.

— Камни! — говорит он.— Камням хорошо, ничего они не видят, не слышат, не чувствуют.

Отец снова умолкает. Дует ветерок.

— Камням тоже нехорошо,— продолжает он размышлять.— Придет кто-нибудь с кувалдой, раздробит и убьет.

Мимо нашего дома проезжает мальчик верхом на караковой лошади. Он отправляется в поле пасти своего коня. Вася, мой конь, на котором я ездил, когда был солдатом, тоже был караковой масти. Город, где я отбывал воинскую повинность, находился в низине, словно на дне большой глиняной миски, и вечно тонул в грязи. Люди там жили бедные, ходили чуть ли не в рванье. Казарма наша стояла на вершине холма. Рано утром мы проезжали через город в конном строю и поднимались на холм с другой стороны, где находился наш плац. Мой Вася был неподражаем, хотя и немножко тяжеловат: воинский устав он знал назубок и все команды выполнял как автомат. Прежде чем дать нам лошадей, вахмистр Уреке отозвал меня в сторону:

— Зайдем со мной в чайную, у меня есть одно предложение.

В комнатушке рядом со столовой была устроена солдатская чайная, где за несколько медяков можно было получить стакан чаю, кусок сахару и ломоть черного хлеба. (В столовой нам давали только мамалыгу.)

— Битером угостишь?

— Угощу и сам выпью.

Битером называлась коричневатая крепкая настойка, от стаканчика которой начинало жечь не только во рту, но и в животе. Мы выпили с вахмистром по стопке битера.

— Я могу тебе дать такого коня, на котором тебе и не усидеть, а могу дать и другого, который сам за тебя все делать будет. Могу дать тебе Васю. Это самый старый конь в полку, он все команды сам выполняет, только не натягивай повода.

— Хочу Васю, господин вахмистр. Хоть я и умею обращаться с лошадьми, но хочу Васю. Только... во что мне это обойдется?

— Да пустяки! Всего двадцать лей.

— Для такого бедного солдата, как я, двадцать лей это много.

В конце концов мне стало противно торговаться и я отдал двадцать лей...

— Всю жизнь я прожил вот на этом клочке земли и Мария тоже... Здесь мы прожили жизнь, здесь и умрем.

— А ты бы хотел, чтобы мама умерла в другом месте?

— Нет. Мне бы только хотелось, чтоб она, прежде чем умереть, повидала и что-то другое.

— Мир, он везде одинаков.

— Это так и не так...

Мои сестры убрали со стола. Несколько соседских девушек моют в большой шайке миски, ложки, ножи, вилки. Другие девушки ставят и ставят в печку калачи, готовят еду. После похорон все люди снова вернутся сюда, и еще раз будут есть, и опять будут пить.

Колокола! Мы бы, пожалуй, чувствовали себя спокойнее, если бы не колокола. Чем ближе час погребения, тем чаще и чаще они звонят. Ни на мгновение мы не можем забыть, что в доме покойник, которого через час, через два понесут на кладбище и закопают. Отец не может забыть, что этот покойник его жена, Мария. Я не могу забыть, что покойник — это моя мать, которая родила и вырастила меня, моя мама, которая всю жизнь заботилась обо мне и носила в груди неизбывный страх, как бы чего не случилось со мной в том широком мире, в плавание по которому я пустился очертя голову.

— Если не сможешь приехать, напиши нам, Зэрикуцэ, чтоб мы знали, как ты там живешь.

— Обязательно напишу.

Писал ли я? Да, писал, но, как говорится, раз в год по обещанию.

Сестра моя Елисабета подходит к нам и говорит:

— Пора бы вам возвращаться домой. Скоро придут священники.

— Какие священники? Ведь должен прийти один отец Теофил.

— Нет,— отвечает сестра,— кроме отца Теофила будет батюшка из Стэникуц и батюшка из Бэнясы. Так наказывала мне мама. Много раз она повторяла просьбу, чтобы хоронили ее с тремя священниками и чтобы священники были со всем своим клиром. И я — хоть режьте меня — маминой воли не переступлю.

— И не надо переступать, дочка.

Мы возвращаемся во двор, едва пробираемся сквозь толпу и вместе с братом моим Штефаном входим в дом, чтобы еще раз взглянуть на маму, которая умерла, потому что через час, от силы через полтора, мы ее похороним и больше уже никогда не увидим. А в земле мама начнет гнить, она сгниет, смешается с землей и превратится в землю. Все мы сольемся с землей, все мы станет прахом.

Мой племянник Стэникэ, весь потный, прибегает с кладбища и с таким видом, словно хочет нас обрадовать, сообщает:

— Кончил для бабушки могилу. Могила *просторная, удобная*. Я выложил ее кирпичом и вывел над нею свод.

Он ждет, что ему скажут спасибо, но никто не благодарит. Более скромен Тутан-меньшой, который сколотил гроб и принес крест. На кресте косыми буквами он вывел имя матери. Крест сделан из платана, а это дерево мягкое, через несколько лет крест подгниет, упадет на могилу, а потом и сам превратится в прах. Мне почему-то кажется, что если даже луна упадет на землю, то и она станет прахом и сольется с землей.

Я спрашиваю своего племянника Стэникэ.

— А где ты выкопал маме могилу?

— Я выкопал ее там, где мне указали.

Моя сестра Елисабета поясняет:

— Рядом с дедушкой. То есть там, где были похоронены Алексе и Рада.

Стэникэ смущенно говорит:

— Может, и сбились немного. Когда копали, то вышли на свет не только кости Рады и Алексе, но и еще какие-то старые, похоже, что от мужчины среднего роста. Думаю, что это кости прадедушки.

— Все может быть,— замечает отец,— возможно, что это кости моего отца.

— Что же вы с ними сделали? — спрашиваю я.

— Ничего! А что с ними делать? Положили на траву, на солнышко, пусть и они на солнце погреются. А когда поместим бабушку в ее склеп, окропим их вином и положим с нею рядом.

— Хочу на них посмотреть,— говорит отец.— Будет так, словно я с ними живыми повидался.

Горят свечи. Они горят в головах у матери в старинных подсвечниках, которые кто-то взял на время в церкви. Горит и свеча, зажатая мертвыми мамиными пальцами, которые теперь совсем посинели. Вскоре мамы уже не будет с нами, с живыми, она будет лежать в земле рядом с останками дедушки, вместе с косточками ее сына Алексе и ее дочки Рады, рядом с другими бесчисленными костями.

Отец опять становится на колени около кровати, на которой вечным сном спит мама. Колокола на звоннице звонят все чаще и чаще. Солнце перевалило за полдень. Пришли и священники, все трое в пышных ризах, расшитых золотом и серебром. За ними семенят шесть причетни-

ков. У каждого в руках по кадилу. Сестры разражаются плачем. Громче всех причитает Константина:

— Мама, мама, зачем ты умерла, мама. Уж лучше бы я умерла, мама, а ты бы жила.

Все собравшиеся слышат ее, но никто ей не верит. Константина не только не мамина дочь, но и никакая ей не родня.

Священники располагаются на свободном месте перед домом под шелковицами. Два двоюродных брата отца из села Кароль-Водэ берут его под руки, выводят из дома и между копнами соломы провожают куда-то в сад. Молодые парни вносят в дом гроб, вынимают из маминых рук свечу, берут маму за ноги и за плечи и осторожно кладут в гроб, застланный черным коленкором, приготовленным заранее вместе с подстилкой и двумя пуховыми подушками.

— Вы ей как следует положите голову на подушки, чтобы шея не искривилась.

— Все сделаем, как нужно.

Моя сестра Елисабета следит за тем, чтобы все желания матери были выполнены. Тихо плачет сестра Евангелина. Слезы льются ручьем, но голоса, словно иссякшего совсем, не слышно. Она проходит мимо, хватает меня за руку и шепчет:

— Зэрикуцэ, что же мне делать, Зэрикуцэ? *Я начала слепнуть*. Скоро совсем буду слепой, как чурбан.

— Ты уже говорила. Свезу тебя к доктору или к знахарю, к кому захочешь.

Мои сестры причитают по матери, другие женщины причитают по своим покойникам. Они плачут, если покойника схоронили совсем недавно и боль от потери еще не утихла. У них сухие глаза, если покойник похоронен уже давно.

— Я бы плакала и причитала по Алвицэ,— говорит сестра Евангелина,— ведь только год прошел, как он помер... Только зачем мне по нему плакать и убиваться? Бросил он меня одну с детишками, пошел шататься по белу свету, а когда вернулся, продал землю и проиграл деньги в карты. Вечно он меня ругал и бил смертным боем. Придет домой пьяный и давай колошматить. И все норовил бить по голове своими кулачищами. Может, из-за того, что он бил меня по голове, теперь я и слепну, несчастная.

Я тихо, чтобы не слышали окружающие, прошу ее замолчать.

— Ничего, если и другие услышат, Зэрикуцэ. Ведь все знают, какая у меня была жизнь.

Еще и сейчас видно, какой красивой была моя сестра Евангелина, хотя глаза у нее заплаканы и лицо распухло от слез.

Маму уложили в гроб, поправили ей под головой пуховые подушки — так, чтобы она лежала в гробу прямо. Теперь гроб стоит под шелковицами на двух, составленных вместе, столах. Дневная жара немного спала. Едва-едва дует ветер, чуть-чуть покачивая ветви шелковичных деревьев. На мертвое тело мамы падают черные кисловатые ягоды, на мертвое ее тело падают и белые ягоды, сладкие, как мед. А мама не может протянуть руку, взять ягоду и положить себе в рот.

— Поешь шелковицы, Зэрикуцэ, она сладкая, слаще меда.

Я гляжу на мамины губы. Они, синие, синие и холодные. Сестра Евангелина шепчет мне:

— Погляди, мама после смерти помолодела и стала такая красивая! Теперь она такая же, какой была в молодости, когда я была совсем-совсем маленькой... А завтра...

Сестра моя Елисабета плачет по маме. Причитают и другие сестры— Ляна, Рица, Стела...

Ляна:

— Двадцать лет я была с тобой в ссоре, мама, двадцать лет я не говорила с тобой, мама, двадцать лет я враждовала с тобой, мама...

Стела:

— Выдала ты меня, мама, замуж молоденькой, родила я Флорике, мама, четырех девочек, а Флорика возьми да умри, моя мамочка, четырех на меня он кинул девочек, как же мне их растить, моя мамочка, две руки у меня и никакой помощи...

Рица:

— Мамочка, моя родная мамочка, родила я четырех мальчиков, мамочка, и одну-единственную девочку. Забрала у меня смерть эту девочку, поищи ее на том свете, мамочка, ты возьми ее к себе, мамочка, не оставь ее одну, моя мамочка, не оставь ее одну-одинешеньку, не покинь ее, всеми позабытую. Ты попомни, не забудь, моя мамочка, что звали мою доченьку Нушею...

Все люди боятся смерти, но особенно они боятся *одиночества как на этом свете, так и в загробном мире.* Каков он, этот загробный мир? Теперь мама приобщилась к великой тайне, к страшной и бросающей в дрожь тайне *загробного мира.*

Я мысленно умоляю ее:

«Скажи мне, мама, подай хоть какой-нибудь знак, чтобы я увидел и понял: *существует ли загробный мир?*»

Напрасно я молю, напрасны горячие слезы, текущие по моему лицу. У мамы, после того как она умерла, нет уже ко мне никакой жалости. Она лежит все такая же безмолвная и холодная.

Моя невестка Оленка еще вчера истратила все слезы, которые решила пролить над изголовьем моей матери. Заметив, что в кадилах сгорел весь ладан, кончились и угли, она бежит к печке, набирает полный совок горящих углей и помогает причетникам накладывать их в серебряные кадила.

— А ладан! Где ладан?

— Сейчас принесу.

Она бежит, возвращается обратно, суетится. Воздух вдруг сразу наполняется дымом и запахом ладана. Женщины плачут, причитают. Кто рыдает навзрыд, у кого глаза совсем сухие.

— Мама... мама... — голосит Константина.

Отец Теофил подает знак, чтобы все замолчали. Некоторые умолкают совсем, кое-кто еще всхлипывает.

Теперь, когда священники начали заупокойную службу, глаза у отца высохли и сразу же как будто высохло и одеревенело все его тело.

Священники читают молитвы, дьяконы им подпевают. Раскачиваются кадила, запах ладана и горящих свечей наполняет двор и плывет над полем куда-то за его пределы. Чьокоша, Диоайка, Рыжая, Папелка выносят охапками свечи (в сенях стоит корыто, полное свечей) и раздают их: каждому по зажженной свечке. Сморщенный Кире со своим горном под мышкой стоит в углу двора возле самого забора. Многие подходят ко мне и молча пожимают руку в знак того, что разделяют мое горе. (Никто не может разделить человеческое горе, но это уже другой сказ. А вообще-то земля полнится разными сказами, сказаниями, сказками. Хватит ли времени, чтобы переслушать их все, запомнить и вновь пересказать людям, расцветив их и приукрасив? В молодости мне казалось, что жизнь слишком коротка, а теперь, по крайней мере мне, представляется она слишком длинной.) Хочет мне пожать руку и Веве Слепой. Когда ему говорят, что я стою перед ним, он ощупывает меня обеими руками и тихо, чтобы не нарушать службы, спрашивает:

— Это ты?

— Это я, Веве.

— Соболезную тебе, от всего сердца соболезную.

— Спасибо, Веве.

— Ты еще помнишь, как умер мой брат Джинджис от водки, с перепою?

— Не забыл еще.

— Осенью то было, под дождем хоронили его, а теперь — солнце.

— Откуда ты знаешь, что светит солнце?

— Чувствую. Кожей чувствую.

Священники продолжают петь, дьячки им подтягивают, звякают цепи кадил, дует ветерок, и время от времени на застывшее тело матери, облаченное во все черное, падают с шелковиц ягоды, темно-синие, кисловатые, и белые, сочные и сладкие, как мед, а может быть, и слаще меда. Счастье, что ни одна из них не упала на лицо, если это можно назвать счастьем. А почему нельзя? Несчастья иногда случаются и с покойниками, а не только с живыми. Вода затопляет могилы, огонь сжигает гробы и кресты, если они деревянные, а согласно древнему обычаю, нельзя воздвигать новый на месте упавшего или сгоревшего креста.

— Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй нас...

Священники уже далеко не молодые люди, дьячки тоже не молоды. Голоса их пытаются подняться вверх, но тут же падают, словно подстреленная на лету птица.

Мама, пока была жива, каждую весну сажала клушек на куриные и утиные яйца. Клушки высиживали цыплят и утят, которые росли не по дням, а по часам. Мама вечно боялась, что цыплята перелетят через забор, что соседи поймают их, зажарят и съедят. Поэтому всегда подрезала им ножницами кончики крыльев.

— Господь наш всемилостивейший, помилуй нас... Господи, помилуй, господи, помилуй...

Солнце уже клонится к западу. До заката еще далеко, но солнце уже клонится к западу. (А мы все, живущие, тоже клонимся к закату, а для всех, кто живет, наступает час, когда обрывается жизнь!)

Уже третий раз кипят на огне горшки с едой. Уже третью смену калачей достают из печки и складывают в корыто, подальше от ненасытных глаз. Уже приготовлена кутья на больших подносах и украшена сластями и конфетами. Теперь, когда запах ладана немного рассеялся, во дворе пахнет не только покойником, пахнет и человеческим потом, и кутьей. Забор со стороны колодца сломан в нескольких местах: это ребята виснут на нем гроздьями, чтобы *посмотреть на покойницу*.

Еще позавчера мама была жива. Она лежала больная, но была жива, и никто не спешил навестить ее, никто не стремился ей что-нибудь сказать.

Смерть завораживает и живых, она привлекает их и притягивает. Где бы то ни было, люди всегда толпятся вокруг мертвого человека, желая взглянуть на него. Когда же начинается драка или происходит убийство, кто-то стреляет или кого-то вздергивают на виселицу, толпа становится еще больше, все лезут друг на друга и пялят глаза.

— Аллилуйя... аллилуйя...

Перед тем как маму вынесли из дома, по обоим шелковичным деревьям, по алыче и в зарослях акации прыгали с ветки на ветку и чирикали воробьи. Теперь их не видно и не слышно. Нет, они не исчезли совсем, они просто улетели. Перелетели к соседям. Их вспугнули кадила, целых шесть кадил, искусно выкованных из чистого серебра, которые звякают цепями и испускают дым.

— Господи, помилуй, господи, помилуй...

Прямо над нашим домом широкими кругами летает коршун. Это он молнией падает вниз, хватает когтями бегающего по двору цыпленка и уносит свою жертву куда-нибудь подальше, в поле. Я не люблю ни коршунов, ни ястребов, ни воронов, ни удодов, уж не говоря о совах.

Я люблю жаворонков, они поют на заре, возвещая восход солнца, трепеща в чистом утреннем воздухе над ровными или волнистыми полями, еще покрытыми росой. Не знаю, что может быть чище, чем роса. Возможно, наши сердца, когда мы еще дети!

Моя сестра Евангелина прильнула ко мне, словно боится, что и за ней явится смерть. Она воображает, что я в состоянии оградить ее от смерти или от других несчастий.

— Зэрикуцэ, я начала слепнуть. Что же я буду делать, Зэрикуцэ, без глаз, совсем слепой?

— Будешь жить так же, как и другие люди, лишившиеся зрения.

— Не хочу я жить во мраке, не хочу блуждать в темноте, Зэрикуцэ.

Отец Теофил поворачивается к нам и делает знак, чтобы мы не мешали службе. Я молчу, умолкает и моя сестра.

Под чистым, голубым небом слышны только голоса священников и их причетников.

— Господи, помилуй, господи, помилуй...

Четыре часа. Уже четыре часа пополудни. Мимо нашего дома в сторону Руший-де-Веде проходит пассажирский поезд. Он гудит, и грохочет, и мчится в Турну, к Дунаю. Земля вздрагивает у нас под ногами. Когда поезд скрывается вдали, земля успокаивается. Воздух еще содрогается несколько мгновений, потом успокаивается и он. Всегда так бывает: сначала замирает земля, потом уж затихает и воздух. У нас же, у людей, все происходит наоборот: сначала смиряется дух, тот, который в нас живет, а потом и тело, умиротворяется и тело.

Ох! Если бы наконец устали эти священники, а вместе с ними и весь их причт.

Данг-данг-данг!

Колокола или, точнее, колокольный звон стелется над селом, плывет над домами и садами, словно реют большие усталые птицы.

Люди, толпящиеся во дворе и на улице, соседи и пришедшие издалека, чтобы проститься с покойницей и принять участие в похоронах, и мы, мамины сыновья и дочери,— все смертельно устали. Мы в полном изнеможении, оттого что не спали ночь, оттого что не было сил поесть. Нас истомила печаль, мы устали от бесконечного стояния на ногах и — что греха таить!— от горя. Сначала горе чувствуется очень остро, потом это ощущение притупляется, а по прошествии времени воспоминания об усопшем, который был так дорог при жизни, совсем не вызывают боли. Не вызывают боли и воспоминания о той, без которой невозможно было даже вообразить свою жизнь.

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!

Отец, который только что стоял, словно окаменевший, выпрямил спину и вытянувшись как струна, отчего он казался высоким и мужественным, неподвластным ни смерти, ни горю, теперь вновь принял облик человека, сотворенного из костей и плоти, из слез и крови. Он снова сгорбился и согнулся, голова у него ушла в плечи, но зато он обрел голос:

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

И опять в кадилах выгорели все угли. Константина приносит совок, полный горящих углей, а Папелка спешит за ней с пригоршней угловатых зерен ладана. Через несколько минут в воздухе опять поднимаются тонкие голубоватые струйки дыма, вновь начинает пахнуть покойником.

На неподвижное тело матери при каждом дуновении ветерка падают и падают черные и белые сочные ягоды шелковицы.

— Дует ветер, Зэрикуцэ, сделай себе змей и пойди запусти его.

Из двух скрепленных крестом дранок и листа бумаги я мастерю прекрасный змей. Веревки у меня больше чем достаточно, а хвост — что можно сказать о хвосте?! — лишь бы у змея хватило сил поднять его и размахивать им по воздуху! Все это — жизнь, как говорится, прожитая

минувшая, отошедшая в прошлое. (Почему минувшая? Почему отошедшая в прошлое?)

Теперь ветер дует с Дуная. Сыновья Мьелу Грофу, нового корчмаря, который держит корчму рядом с железнодорожной станцией, запустили змея. Змей покачивается в воздухе то в одну сторону, то в другую и стрекочет, потому что его сделали с трещоткой. Два подростка, мне кажется, что это сыновья Годжиу, скорняка, бегут на станцию. Какое безобразие! Слыханное ли дело: запускать змей с трещоткой, когда все село собралось на похороны! Видно, детишки корчмаря совсем недавно приехали сюда и еще не знают местных обычаев.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй...

Ребята Годжиу прибежали на станцию и обрезали веревку змея. Змей, словно пьяный, закачался в воздухе, рухнул вниз и повис на акации.

— Аллилуйя... аллилуйя... аллилуйя...

Опять зазвонили колокола, сначала редко, потом все чаще и чаще. Священники закончили ту часть службы, которую положено служить в доме покойника, то есть в нашем доме.

Мама умерла. Маму отпели священники, облаченные в тяжелые ризы, расшитые золотом и серебром. Змей, который трещал в воздухе, упал. Только коршун все продолжает кружить над нашим домом, над нашим двором. Змей падает вниз, стоит только обрезать веревку, коршуна же можно подстрелить из ружья или из лука. Как-то раз я сам себе смастерил копье, лук и стрелы, как у древних предков.

— Будь осторожен, Зэрикуцэ, не наколись на копье.

— Не наколюсь, у него конец обгорелый.

Из лука я стрелял вверх, и стрелы летели до облаков и даже до самых звезд.

— Господь всемилостивейший, помилуй нас...

Молчат священники, молчит и причт. Все расступаются. Четверо мужчин поднимают гроб, в котором вечным сном спит мама, и ставят его на носилки, похожие на узкую кровать. Потом они поднимают носилки на плечи: двое спереди, двое сзади. (Покойника, как и всегда, выносят ногами вперед, потому что человек появляется на свет вперед головой, а уходит из мира вперед ногами.)

Священники с причтом идут перед гробом. Сзади начинает вытягиваться похоронная процессия. Мой двоюродный брат Сорян из Стэникуц и Ион-адвентист подхватывают отца под руки, чтобы поддержать его, но отец отталкивает их.

— Не нужно! Я и без вас могу идти.

Сорян и Ион-адвентист на всякий случай идут рядом с отцом. Я с моим братом Штефаном следуем за ними. Все сестры — их пять, а со сводной сестрой Константиной даже шесть — причитают во весь голос:

— Мамочка, мама, покидаешь ты нашу землю...

Действительно, мама покидает теперь навсегда и дом, где родила и вырастила нас, навсегда оставляет и землю вокруг дома: наш двор и наш сад с шелковичными деревьями, акациями, алычой и яблонями, ту землю, на которой она прожила всю свою жизнь. Больше ее нога не ступит на эту землю, глаза ее не увидят ни этих деревьев и кустов, ни нашего дома, к которому столько раз через распахнутые ворота подъезжала на телеге, запряженной лошадьми, тетка Уцупэр из Секары вместе с Дицей, моей двоюродной сестрой...

На плечах четырех мужчин гроб выплывает со двора и движется мимо колодца. Мама не поворачивает головы, чтобы еще раз, ну хотя бы в последний раз взглянуть на колодец, из которого она с первого дня замужества и до позавчерашнего дня, когда болезнь окончательно свалила ее, достала тысячу и тысячу ведер воды — воды для питья, воды

для готовки пищи, воды для стирки, воды для мытья детей, которых с купала в корыте каждую субботу.

— Сегодня суббота. Кончайте, милые, пораньше ваши игры и вашу работу и приходите домой. Я вас вымою в корыте в теплой во с мылом, чтобы были чистые.

Она умывала нас и купала, расчесывала нам волосы, пока мы подросли и не научились сами умываться, причесываться и стричь но на руках и на ногах.

Отец, следуя за гробом, проходит мимо колодца. Ему давно хоче пить. Всех нас мучает страшная жажда, губы пересохли, во рту су глотка горит. Отец обращается к Соряну:

— А вино! Забыли прихватить с собой вино.

— Не забыли. Шесть человек несут по полному ведру и кружке.

— Хорошо,— говорит отец,— не забыли захватить с собой ви это хорошо.

Мы идем шагом, идем совсем медленно, *идем, будто за покойнико*

Умерла мама. *Это она покойник, за которым мы идем, словно покойником.*

Константина — единственная среди нас — догадывается, что нуж отцу. Она проталкивается сквозь толпу, следующую за гробом, и быст возвращается с кружкой, полной вина.

— Возьми, отец, выпей,— протягивает она кружку.

Отец осеняет себя крестом. Медленно шагая за гробом, в котор спит мама, он крестится и шепчет:

— Прости меня, господи, прости меня, господи...

Отец берет кружку, рука у него дрожит. Он шепчет, будучи глубо уверен, что, как бы тихо он ни говорил, бог все равно его услышит:

— Прими ее, господи... Наверно, и ей хочется пить. Прими господи!

Выпив кружку, отец поворачивается к Константине и просит:

— Принеси еще.

Константина приносит вторую кружку. Отец выпивает и ее. Жар кажется, начинает спадать. Яркий дневной свет утрачивает свой блеск становится чуть-чуть желтоватым. По обеим сторонам улицы, по котор движется похоронная процессия, у ворот стоят люди, ребятишки вис на заборах, на деревьях, на шелковицах, на алыче. Мужчины с ведра вина останавливаются и протягивают по кружке всем, кто смотрит похоронную процессию, всем, кого встречает покойница на своем безво вратном пути, на своем пути к кладбищу.

— Царство ей небесное!

— Царство ей небесное!

— Царство ей небесное!

Данг-данг-данг!

Мы двигаемся медленно, совсем медленно, как за покойником, и п койник, за которым мы так медленно идем, это — мама.

— Царство ей небесное!

Все, кто выпивает кружку вина, говорят:

— Да простит ей бог! Царство ей небесное!

Женщины и дети, получающие на помин души по калачу, произнос одно-единственное слово:

— Спасибо!

К кутье никто не притрагивается, хотя у многих при виде нее тек слюнки. Кутью будут есть после похорон.

Прошлогоднее красное вино, которым всех угощают, немного сла ковато, но все пьют его с удовольствием. Оно не бросается в голову, него не захмелеешь, разве если действительно перепьешь сверх всяк

меры. А теперь больше одной кружки никто не пьет. Правда, есть и такие, кто ухитряется выпить не одну дружку. Встав у забора, они получают свою кружку, выпивают ее, пропускают мимо всю похоронную процессию, а потом дворами забегают вперед и вновь оказываются впереди гроба. Мужчины, которые всех угощают вином, делают вид, что не замечают этого.

— Да простит ее бог! Царство ей небесное!

Отец совсем сгорбился и стал как бы меньше ростом, словно кости его вошли одна в другую. Его сухие глаза глубоко запали и спрятались в глазницах. За одну ночь у него поседели ресницы, и за ту же ночь стали совсем белыми брови и виски. Даже голова, кажется, усохла и уменьшилась. Кожа на лице повисла складками. Он идет медленно, совсем-совсем медленно, как и все мы. Он идет так, *как идут за покойником*. А покойник, за которым так медленно идет отец, как ходят только за покойником, это мама. Это его Мария покойница, и за ней вместе с нами медленно-медленно бредет отец, *как ходят только за покойником*.

— Мария, Мария! Как я любил тебя, Мария!..

Зачем он повторяет это сейчас?

Данг-данг-данг!

Это бы нужно было говорить ей тогда, когда они были молодыми, даже позднее, когда мама уже родила всех нас и не покладая рук работала вместе с отцом, выбиваясь из сил, потому что работать было необходимо, чтобы всех нас поставить на ноги.

Она вырастила нас, всех нас подняла и худо ли, хорошо ли, но поставила на ноги. Мы покинули дом. Мы выпорхнули из него, как куропатки, и затерялись в мире. И только теперь вернулись домой. Мы вернулись все вместе и одновременно, чтобы проститься с мамой, чтобы проводить ее на погост и положить рядом с другими нашими покойниками, а может, и поверх других наших покойников на сельском кладбище... на сельском кладбище... Все дороги ведут в Рим... Все дороги ведут на кладбище...

— Мама, мама... Ты умерла, мама, и теперь уходишь на тот свет, мама, там ты встретишь моего Флорику, мама, моего мужа, мама, его насмерть раздавило поездом. Ты скажи ему там, мама, что оставил он меня с четырьмя дочками, а растить-то их мне не на что... Не на что мне их растить, мама, *не на что мне растить девочек*...

Отец слышит, как причитает Стела, он слышит ее, как и все, кто идет за гробом. И, не в силах сдержаться, возвышает голос:

— Глупости! Что скажет покойница Флорике? Будто он не знает, сколько детей оставил после себя? Знает! *Мертвые, они все про нас знают, только мы ничего не знаем про мертвых... Ничего... Ничего...*

Мой двоюродный брат Сорян говорит отцу:

— Дядя Тудор, а может, Флорика позабыл про своих детей. Ведь когда он попал под поезд, он был выпивши. Был день получки, выдали ему денежки, зашел он с приятелями в корчму и хлебнул там немножко.

Пахнет спелой шелковицей и алычой, пахнет твердой землей, обожженной на солнце, пахнет ладаном и кутьей, пахнет покойником. Это мама — покойница, от которой пахнет покойником, это она — покойник, за которым мы идем так медленно, как ходят только за покойником.

Женщины причитают — их не остановить. Они словно только и ждали повода. Каждая голосит по своим усопшим. У каждого из нас есть свои усопшие. Земля подобна кораблю, круглому кораблю, какими их делали в древние времена. И этот огромный корабль, совершенно гигантский по сравнению с нашими ничтожными человеческими мерками, полон живых людей, но еще больше на этом корабле мертвых. Живые разговаривают, поют, плачут. Мертвые молчат. Может быть, предназначение мертвых и есть молчание. Но откуда мы знаем, что мертвые не

говорят между собой? Мама теперь умерла. Она молчит. Но если бы приехал домой двумя днями раньше и застал ее в живых, она сказа бы мне:

— Смотри, Зэрикуцэ, будь осторожен, как бы не приключилось тобой чего-нибудь дурного.

Она всегда думала о каждом из нас, ее никогда не покидала тр вога: «Как бы не приключилось чего-нибудь дурного». Случалось с на на свете и плохое, не только хорошее, но мы никогда ни о чем ей не г ворили. А теперь, если бы ей даже нужно было нас предостеречь, о этого сделать не сможет. Мертвые молчат. А мама... Мама тоже мерт

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Спать, спать всем ложиться.

Кире протолкался между нами, опередил четырех мужчин, несущ на своих плечах гроб, обошел стороной священников и причетников оказавшись рядом с мальчиком, который с крестом идет во главе пр цессии, затрубил в горн.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Труба издаст печальные, тоскливые, хватающие за сердце зву Плакальщицы голосят еще громче. Отец обращается ко мне:

— Кто это нанял Кире, чтобы он сегодня трубил в свою трубу?

— Не знаю,— отвечаю я,— не знаю. Думаю, никто не нанимал. Э он так, по доброй воле.

Труба, играющая отход ко сну, вызывает слезы у всех, кто идет гробом. А это значит, что рыдает все село.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Мы подходим к первому перекрестку по дороге от дома, откуда дв нулись с покойницей на кладбище. Процессия останавливается. Гр опускают на землю. Раскачиваются, тихо позвякивая, кадила. Свяще ники поют:

— Господи, помилуй...

Труба Кире молчит, а слезы все текут и текут по лицам людей.

Не плачут только священники и причетники. (И что бы с ними стал если бы они лили слезы по каждому усопшему, по каждой усопшей Сорян шепотом, чтобы не мешать службе, спрашивает отца:

— А почему не приехал отец Георге?

Георге — это сын отца, самый старший из нас, родившийся еще первой его жены, Думитры.

— Его даже и не извещали. Живет он в Плоешти, там у него св заботы.

— Представляю себе.

— Где тебе представить. У него умерла попадья, оставила пятер на его шее. Быть молодым попом да еще вдовцом — хуже божьей ка и не придумаешь.

Звонят колокола. Те, кого одолевает жажда, выпивают по круж вина. Кутья, прикрытая чистыми полотенцами, остается неприкоснов ной. Звякают кадила, звякают цепи.

Когда я был подростком и жил в Турну, мне случалось видеть ар стантов. В полосатой одежде, закованные в кандалы, медленно, как сег дня мы, брели они под конвоем, и цепи их гремели и звякали... С ж лостью я смотрел на них и провожал их взглядом, хотя и знал, что это убийцы. (Каждый из них убил по одному, а то и по нескольку челове Но мало ли и таких, кто убивал людей и во время войны, и не во вре войны?)

Окончилась и эта часть панихиды. Священники умолкли. Пот ру ями стекает по их лицам. День жаркий, а облачение у них тяжел Тяжело им и в черных ботинках. Мы двигаемся дальше. Снова слышат

причитания и жалобы. Отец, который все это время не сводил глаз с посиневшего лица матери, смотрит, как гроб снова поднимают на плечи, и шепчет, едва шевеля губами:

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Он шепчет тихо-тихо, совсем тихо, чтобы было слышно только ему, только ему и матери. Он снова забыл, что мать умерла, забыл и о том, что мертвые не слышат и не видят. Иначе зачем бы ему все время вытягивать шею и шептать ей едва слышно горячие слова любви?

Ту-ту... ту-ту-ру-ту... Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Вновь затрубила труба Кире, опять всколыхнула воздух.

Ожили холмы, поля и воды.

Ожили и глаза у людей, идущих за гробом, ожили и потекли из них слезы. Мы знаем, а лучше бы, верно, не знать, что видят только живые глаза и что только живые глаза могут лить слезы. Мертвые глаза гаснут и высыхают. А теперь... Теперь ожило и воскресло все, даже земля. Только мама осталась мертвой, только мама, потому что мертвые, единожды умерев, уже не воскресают.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту... Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Труба Кире все звучит и звучит, льются и льются слезы. *Льются только звуки и слезы.* Каким бы был этот мир без слез? Мир без слез был бы еще хуже, чем мы его знаем. Нам, людям — несчастные мы, несчастные,— слезы нужны как вода, как воздух, как хлеб. Нет, это неправда. *Нам не нужны слезы.* Мы скорее нуждаемся в улыбках, *нам нужно как можно больше улыбок.*

Мой двоюродный брат Сорян больше не в силах переносить всхлипывания, причитания и в особенности трубу Кире, его старый солдатский горн.

— Хоть бы кончилось поскорей все это! — говорит он отцу.

У отца удивленно поднимаются брови:

— Что кончилось?

— Да похороны.

— Нет. Пусть не кончаются. Они кончатся, и я ее больше никогда не увижу.

— Но тетя Мария уже померла.

— Знаю. Но я хочу ее видеть и мертвую, и такую хочу ее видеть... Ведь потом... Потом я ее совсем не увижу.

— Ты должен привыкнуть, что больше не будешь видеть ее.

— Привыкнуть-то я привыкну, но мне будет тяжело.

Снова подходит Константина, маленькая и чернявая, с кружкой вина.

— Возьми, отец, выпей, а то опять в горле пересохло.

Отец пьет вино. Он запрокидывает голову и несколькими большими глотками опоражнивает кружку.

Данг-данг-данг.

Женщины, с которыми мать была в ссоре и не успела помириться, стоят возле ворот, у заборов, и видно, как у них в глазах светится ненависть. Смерть матери не погасила злобы в их сердцах.

Почему мы любим? Почему ненавидим?

— Я хочу всегда ее видеть, пусть мертвой, какая она есть. Не знаю, смогу ли жить без нее.

— Ничего, будешь жить, дядя Тудор.

— А зачем мне жить?

— Мы и так не знаем, зачем живем, зачем умираем.

Губы у меня пересохли, язык прилип к гортани, в горле першит. Я, кажется, ссохся от жажды, которая вот-вот одолеет меня совсем. Мужчина с ведром вина подходит к нам и начинает соблазнять, поигрывая кружкой:

— Выпьешь?
— Нет.
— Тогда я сам выпью.
Он наполняет кружку и подносит ее ко рту.
— Царство ей небесное.
Похоронная процессия выбирается на шоссе и, свернув налево, д жется под уклон. На крыльце дома Костаке стоит доктор Бута. На го ве у него котелок. Он смотрит на запыленных, обливающихся потом л лей, поглядывает и на покойницу. Ее он хорошо знает: она часто п ходила к нему.
— Господин доктор, дайте мне лекарство, чтобы я выздоровела.
— О-хо-хо... Были б у меня лекарства, от которых бы люди выз равливали... о-хо-хо... давным-давно я бы стал богачом.
Оборванный и босой мальчишка, который несет крест, три свящ ника в тяжелых облачениях, причетники, позвякивающие кадилами, в торых давно уже погасли угли и сгорел весь ладан, мужчины с ведра вина, плакальщицы, все мы дети и родственники покойной,— есть на посмотреть, если встать на обочину дороги и взглянуть на процессию стороны.
На кресте крупными, косыми буквами написано одно только МАРИЯ, имя матери.
В детстве, когда нас, школьников, каждое воскресенье гуртом во ли в церковь, я гордился, что мою мать зовут так же, как и божью терь,— Мария. А теперь имя матери черной краской написано на кре Большие кривые буквы неуклюже начертаны Тутаном-младшим. М нравились эти буквы. Они мне всегда говорили, что так зовут мою ма Об этом же они будут мне говорить и тогда, когда маму закопают в з лю на кладбище... *В землю на кладбище.*
Ту-ту... ту-ту-ру-ту...
Это опять Кире со своим помятым горном, который когда-то п надлежал Дишу и только после смерти Диша перешел к Кире.
Дырыялэ, зять Диша, умер от холеры, от той же холеры умерл жена Диша. Поэтому их и похоронили обоих в одном гробу, жену Ди положив вниз, а Дырыялэ сверху, и Губан засыпал их негашеной из стью. Во время чумы или холеры людей хоронят тотчас, как они умир ют, чтобы они не распространяли заразу. Бывает, что холерных зака вают даже прежде, чем они испустят последний дух. Чего с ними вози ся? Все равно помрут.
Мама умерла не от холеры. Она умерла от болезни, которая час часом подтачивала ее тело и которую мне оставила в наследство.
— Выпей, дядя Агосте.
— Выпью, Константина, выпью. Царство ей небесное.
Эта болезнь, которая подтачивала и в конце концов одолела ма будет подтачивать и так же одолеет меня.
Моя сестра Стела причитает:
— Мамочка, мама, когда ты встретишь моего мужа, мама, ты сп си его, зачем он умер, мама, зачем покинул меня одинешеньку, за оставил одну-одинешеньку с четырьмя девочками на руках...
Из пяти моих сестер, которые идут теперь за гробом матери, при тают и оплакивают ее, самая измученная — Стела. Но самая несчаст из всех пяти — Евангелина, моя старшая сестра. Она все время держ ся за меня, словно я могу избавить ее от несчастья.
— Зэрикуцэ, я слепну, Зэрикуцэ, что я буду делать слепая, Зэ куцэ?
— Не знаю, сестра, честное слово, не знаю.
— Как же ты не знаешь? Ведь ты живешь в Бухаресте, ты долж знать. Ты все должен знать.

Я иду в двух-трех шагах от гроба, в котором вечным сном спит мама, и все-таки не могу удержаться от улыбки.

— Ну уж не все. Все знать невозможно.

Процессия движется мимо второго колодца. На край этого колодца всегда влезал Трэкэлие, чтобы достать воды и напоить лошадей, когда мы возвращались из ночного.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй...

Мы угоняли лошадей вечером, уезжали куда-нибудь подальше от села на жнивье и возвращались на рассвете.

— Зэрикуцэ, будь с лошадьми поосторожней. Смотри, как бы они не сбросили тебя.

Я был осторожен, на лошади сидел плотно, кони слушались меня, но случалось, что и скидывали с себя. Счастье, что я ни разу не попал под копыта.

По лошадям я просто сходил с ума! Хотя у них и не было крыльев, они мчались, как ветер, будто летели. Мы всегда держали трех-четырех лошадей для работы. Лошади у нас были ухоженные, настоящие кони. Были еще кони и в самом нашем доме, в той комнате, где мы спали и ели, где мы мечтали и вели разговоры, ссорились и дрались между собой.

— Хватит вам ссориться и драться. А то услышит и увидит это нечистая сила и возрадуется.

Но кровь водою не станет. Мы и ругались, мы и мирились.

Коней в нашем доме было два, всего лишь два. Один был красный, как огонь, другой белый, словно снег. На красном коне скакал на иконе святой Димитрий, на белом — святой Георгий.

Однажды, когда я работал в Руший-де-Веде на кожевенном заводе, я на три дня приехал домой. Все наши перед ужином сотворили молитву, я — нет. Мама это стерпела, но когда увидела, что я и перед сном не молюсь,— расплакалась.

— Ты потерял веру, Зэрикуцэ, среди чужих людей ты совсем потерял веру.

Я перекрестился, чтобы не огорчать ее, но она все равно была расстроена. Почувствовала, что крещусь я без всякой веры.

Другая развилка дорог, и вновь останавливается процессия. Снова гроб опускают в дорожную пыль.

— Господи, помилуй...

— Господи, помилуй...

Динг-динг-динг...

Теперь звонят колокола и маленькой деревянной церковки на кладбище, где у всех святых на иконах выцарапаны глаза, где все святые безглазые. Это Диоайка, повитуха и колдунья нашего села Омида, что растянулось вдоль тесной и скудной долины Кэлмэцуя, выскоблила, когда я был еще совсем маленьким, им всем глаза, творя свои заговоры для отвода смерти.

Долина Кэлмэцуя! Вот она, долина Кэлмэцуя, раскинувшаяся перед нами, вдоль которой мы и движемся сейчас похоронной процессией, направляясь к кладбищу. По ее дну течет на юг и впадает в озеро Сухайя возле самого Дуная бурная и мутная речушка, скорее даже ручей, который зовется Кэлмэцуй.

В незапамятные времена, когда люди только что появились, а может, еще и не появились на земле, Кэлмэцуй должен был быть шире и глубже теперешнего Дуная. Но по мере того как утекало время, вода все убывала, равнины сглаживались, холмы округлялись, у гор стачивались острые зубцы.

Время все перемалывает, все сглаживает и стирает.

Священники поют:

— Господи, помилуй... Господи, помилуй...

Неподвижно стоит гроб, неподвижно лежит в гробу мама, котор умерла два дня назад и которую мы несем хоронить на кладбище.

Родственники подталкивают нас в спину, и мы вспоминаем, ч нужно обойти вокруг гроба. Священники поют усталыми голосами. Пр четники побрякивают кадилами, в которых давно уже сгорели угли и н ту ладана.

Мы смотрим на мать. Лицо ее совсем посинело, глаза высохли ил быть может, ушли в глазницы, губы стали черными. Почернели и ру особенно пальцы, как будто смерть начинается с ногтей.

А мы и вправду не знаем, где начинается смерть. Не знаем, где о начинается и где кончается.

У нас в селе не сажают цветов на усадьбе возле домов, немного и на огородах возле реки. Цветы растут только в полях, по канавам, о ружающим виноградники, на межах, да и то это скудные полевые цвет

Прежде чем гроб вынесли из дома, несколько девушек отправили за железнодорожное полотно, поднялись на холм и вернулись отту с охапками цветов. Я долго смотрел на них. В течение многих лет я видал подобных цветов. Их положили маме под голову, рассыпали н круг подушки, уложили в гроб вдоль тела покойницы.

Некоторые цветы были выдернуты из земли вместе с корнями. Вм сте с корнями и землей, оставшейся на них, в гроб попали и муравьи. Э черные-пречерные, словно нарочно вымазанные муравьи. Как будто п репугавшись, они с невероятной быстротой забегали по маминым рука по лицу, стали забиваться под рубашку, не желая вылезать оттуда. Т перь все мамино тело покрыто муравьями. *Мы не успели еще и похор нить ее, а муравьи уже завладели ею.*

— Господи, помилуй нас... Господь наш всемилостивейший, пом луй нас...

Отец падает на колени рядом с гробом и смотрит на мамины мер вые руки, на ее мертвое лицо, смотрит и на цветы, вырванные из земл которые тоже начали умирать. Он замечает муравьев и пытается собра их с маминого лица. Отец собирает их по одному и давит между пальц ми. А муравьи все откуда-то ползут и ползут, словно в гробу настоящ муравейник. Некоторые из них заползают маме в уши, другие пытают забраться под веки, они лезут в ноздри, тычутся в уголки совсем поче невших губ.

Священники покончили со своими молитвами и на второй развил дорог. Они молчат. Не слышно даже звяканья кадил. Священники дел ют знак, чтобы подымали гроб.

Отец целует мамины руки. Он крепко целует их, потом целует ее лоб, на котором суетятся муравьи, и в губы, по которым тоже бегают м равьи. Все стоящие вокруг гроба молчат, молчат и смотрят, как отец ц лует мамины руки, которые он никогда не целовал, когда она была ж вой, как он целует ее в лоб и в губы.

Мой двоюродный брат Сорян берет его под мышки.

— Ну, хватит, хватит, а то нас вечер застанет на дороге.

— На какой дороге? Все дороги ведут в одно место, все дороги в дут на погост...

Отец позволяет поднять себя. Процессия двигается. Что это вспо нил Кире? Он плачет. Слезы текут по его лицу и скрываются в бород

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Спать, спать всем ложиться...

Справа от нас склон, покрытый виноградниками, между которы тянутся узкие полоски, засаженные подсолнухом. По ту сторону хол расстилается кажущаяся бескрайней равнина, на которой возвышают

курганы: курган Годжиу, курган Малаиу, Сторожевой курган, Козий курган, курганы, имеющие названия, и безымянные. Курганы... Курганы... Кто насыпал, когда и зачем на равнине Делиормана столько курганов? Кладбище зажато между железной дорогой и шоссе, ведущим к станции и дальше по селам, которые испокон веков льнут к воде Кэлмэцуя. С левой стороны высохшая пойма, где пасутся белые стада гусей и пестрые стада уток, сам Кэлмэцуй, а за ним село Виорика: там живет сводный брат отца Алисандру Наста и другие близкие и дальние родственники.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

— Что ты сказал, Сорян?

— Я сказал, что надо идти, а то нас вечер застанет на дороге.

— А брат мой Алисандру... Я не вижу моего брата Алисандру.

— Он остался дома. Говорят, у него ноги не ходят.

— Кривая Чуря тоже осталась дома.

Динг-данг...

— Кто? Тетка Чуря? Она тоже дома, еду готовит.

— Правда-правда. Людям и *после этого* нужно есть и пить.

Мы двигаемся медленно, идем как можно медленней, совсем-совсем медленно, как ходят только за покойником. И все-таки с каждым шагом, как бы он ни был мал, мы приближаемся к кладбищу, приближаемся к тому месту, где погребем маму. А потом? Что мы будем делать после того, как похороним ее?

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Спать, спать всем ложиться.

Я знаю эту дорогу. Тысячу раз бегал по ней босиком и тысячу раз шагал по ней и позже, когда уже не было нужды бегать босым.

— Зэрикуцэ, сбегай на станцию, отнеси отцу поесть. Он там грузит вагоны. Знаешь, где его найти?

— Знаю.

В одну руку я брал горшок с чорбой из щавеля или из фасоли, в другую — узелок с горбушкой хлеба или куском мамалыги. Мне приходилось идти мимо кладбища. В полдень, средь бела дня я не боялся ни крестов, ни могил, ни сов, которые, как мне было известно, прячутся на звоннице. Я приносил отцу обед. Он съедал его быстро — я даже не успевал оглядеться,— и не только потому, что бывал страшно голоден: отец боялся пропустить свою очередь за мешками. Каждый раз, принеся ему обед, я видел, как он обливается потом в серой от пыли, прилипающей к телу рубашке. Зерно грузили со склада или прямо с возов. Отец взваливал на спину пятипудовый мешок, и я слышал, как у него хрустели кости. Потом он поднимался по мосткам и высыпал зерно в вагон. Густая пыль висела в воздухе, и грузчики глотали ее с раннего утра до позднего вечера. Тогда платили за работу серебряными или никелевыми монетами. Получив деньги, грузчики шли вдоль железной дороги, на переезде сворачивали на шоссе и направлялись к корчме Букуреску. Там на голодный желудок они пили ракию, пока в кошельке не оставалось ни гроша. Отец вознаграждал себя за труд одной-единственной стопкой цуйки, которая стоила пять грошей. Протягивая корчмарю или корчмарке еще десять грошей, он говорил:

— Дай и парнишке баранку.

Это я был тем парнишкой, которому отец покупал баранку.

От цуйки у отца краснело лицо. Едва он приходил домой, мать, взглянув на него, тут же принималась его ругать, забывая, как трудно ему пришлось работать весь день.

— Опять ты выпил!

— Выпил. Стопочку, одну-единственную.

— Она же денег стоит. Ему,— она тыкала пальцем в меня,— ты

купил баранку, а этих,— тут она показывала на остальных детей, сг дившихся вокруг нее,— а этих чем я буду кормить?

У нее было чем накормить, мало, но было. Отец делался мрачным не подходя к накрытому столу, голодный ложился спать после цело дня непосильной работы. Вслед за ним голодными ложились и м Мы засыпали, и нам снились сны. Снилось, и это была сущая прав что нам нечего есть, что мы умираем с голоду. Мы просыпались, в ж лудках у нас урчало. Мама всегда жалела нас, мама, которая умерла которую мы провожаем теперь на кладбище, разводила огонь, подог вала еду и звала детей к столу. Отцу она ничего не говорила. Отец в ходил из дому и начинал работать во дворе, обряжать скотину. На ули было еще темно, рассвет наступал лишь через час, через два. Привыч заставляла нас приниматься за работу задолго до рассвета.

Вместе с соседскими ребятами мы отправлялись за речку на огор ды, которые арендовали болгары. Там нам всегда, с ранней весны , поздней осени, находилась работа. Если случалось, что в доме был хл мама давала нам по куску.

— Хлеб — это дар божий, смотрите не уроните на землю.

Хлеб мы берегли как зеницу ока. Съедали его в полдень. Случало что несколько крошек ускользало между пальцами и падало на земл Мы не подбирали эти крошки, на них тут же набрасывались муравь На болгарских огородах, в поле, на винограднике, где бы нам ни случ лось остановиться или присесть, всюду мы видели муравьев. По вс земле бегают муравьи, муравьи черные, желтые, рыжие.

На земле куда больше муравьев, чем людей. И откуда появило теперь столько муравьев, и как они попали к маме в гроб, и почему о бегают по ее телу, которое лишь два дня назад было живым?

В надежде, что и ему что-то перепадет, к нам протискивается отуп ченный цыган, низкорослый и смуглый, с пухлыми и яркими, словно по крашенными, губами, по прозвищу Губан. Выпив кружку вина, он пр тягивает руку:

— Дюжина ребятишек у меня дома, целая дюжина.

Мой брат Штефан роется в кармане и дает ему несколько лей.

— А *после* зайти к вам домой? Может, что останется после м минок...

— Приходи, Губан.

Цыгана зовут Юсуф, но почти никто не помнит его настоящего им ни, и все зовут его Губан.

Все дети похожи на него как две капли воды: все они маленьк черномазые, с большими глазами и пухлыми красными губами. Ког в тесной и скудной долине Кэлмэцуя свирепствовала холера, Губа было поручено хоронить мертвых. Это он положил Дырыялэ прямо г его тещу, жену Диша.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

В воздухе плывут печальные звуки. На станции гудит паров Теперь, в конце лета, там грузят зерно: приходят пустые составы, уход полные. Перегоняя вагоны с места на место, все время трудится мане ровый паровоз, который время от времени подает сигналы.

— Давай, давай!.. Шевелись!.. Поторапливайся с погрузкой — ско вечер!

Опускаются сумерки! Наступает вечер, а потом и ночь с ее непр глядной тьмой. Я не боялся света, не боялся и темноты, но, пока жи здесь, всегда боялся кладбища и упырей. Проходя ночью мимо кладб ща, направляясь со станции домой или из дома на станцию, я вспомина о вурдалаках, меня охватывал страх, и я пускался бежать во весь ду Домой я прибегал мокрый как мышь.

— Чего ты так бежал, Зэрикуцэ?

— Упырей боялся, мама.

— Нет никаких упырей, Зэрикуцэ. Зря ты их боишься.

Мама прижимала меня к себе, ласково гладила по голове, уговаривала, и я успокаивался.

А теперь мы идем за ее гробом, идем медленно, совсем медленно, как ходят только за покойником. Ох уж этот Кире! Лучше бы его совсем не было с его горном!

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Динг-динг-динг...

На звоннице деревянной церквушки тоже два колокола, как и в большой церкви, но колокола эти маленькие и старые, очень-очень старые, и звук у них такой, словно всхлипывает ребенок. Эти маленькие колокола звонили, когда умер мой дед и бабка, они звонили по прадеду и по прабабке, звонили они и по их предкам. Это очень древние колокола, может быть, им триста, четыреста, а может, и все пятьсот лет!

Отец оборачивается ко мне и хрипло произносит:

— У меня в горле пересохло.

Я выхожу из рядов, отыскиваю глазами Константину и делаю ей знак. Она понимает меня и быстро приносит кружку вина. Отец берет кружку и пьет. Я смотрю на его лицо — оно словно вылеплено из темной глины и обожжено. Из-под бровей чуть поблескивают его серые глаза.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Мы идем медленно, совсем медленно, как ходят только за покойниками. Мама, это мама, а не кто иной, тот покойник, от которого пахнет покойником, за которым мы идем так медленно, как ходят только за покойниками.

Я боялся не только вурдалаков, которых никогда не видал, но и сов, гнездившихся где-то неподалеку от звонницы. Когда мне их доводилось видеть днем, меня не пугали ни их огромные круглые глаза, ни крючковатые клювы. Ночью я их не видел, но зато слышал их крики, которые вонзались в меня, словно нож. По ночам крики сов доносились даже до нашего дома. Маме они тоже не нравились:

— Ах... Не слышать бы их никогда!

Теперь мы проводим маму на кладбище и похороним там. С вечера до утра будет она слышать, как кричат совы. Нет, она не будет их слышать. Она не услышит, как кричат совы, так же как она не слышит теперь колокольного звона. Мама умерла, а мертвые ничего не слышат.

Но откуда я знаю, что мертвые не слышат? А может, они и слышат. Может быть, слышит даже прах, в который превращаются покойники, ведь нам не известно, что есть и чего нету в потустороннем мире. Ничего не известно. Ничего.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Может быть, Кире знает. Не знает и он ничего. Может быть, знает труба Кире, которая некогда принадлежала Дишу. Ведь эта труба старше и Кире, и Диша, ведь это она послала на смерть стольких мужчин в самом расцвете лет. Нет! И труба эта тоже ничего не знает.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Звуки горна не посылают нас на смерть, они только погружают нас в глубокую печаль.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

К смерти мы идем в одиночку, хотим мы этого или не хотим. С каждым проходящим мгновением мы приближаемся и приближаемся к смерти, все ближе подходим к границе жизни.

Снова слышатся причитания. Среди женских голосов выделяется уже охрипший голос моей сестры Стелы:

— Мамочка, мама, если встретишь ты моего Флорику, спроси его, мама, зачем же он помер, зачем меня покинул одну-одинешеньку с че-

тырьмя детишками малыми. Как же теперь я их выращу, мамочка, к
же я их теперь поставлю на ноги...

Среди жалоб и причитаний слышу и свое имя. Я еще не умер,
слышу свое имя, которое звучит среди имен усопших, среди имен наш
и чужих покойников. Впрочем, здесь, на похоронах, имена жив
сплошь да рядом перемешиваются с именами усопших. Всем нам да
только одна жизнь и только одна смерть, хотя некоторые и говор
«Жизнь одна, а со смертью — две». Но жизнь, которую нам дает смер
вовсе не жизнь.

Это сестра моя Евангелина произносит мое имя:

— Я начала слепнуть, Зэрикуцэ. Как я буду жить слепой, Зэ
куцэ?..

Остальные сестры причитают по умершим детям.

— Ионел мой, Ионел... Придет к тебе бабушка, принесет тебе м
слезы... Был ты, Ионел, словно цветочек, затоптали тебя лошади ко
тами, и скончался ты, Ионел, сынок мой родненький...

Я пытаюсь вспомнить, как это случилось, что Ионела затоптали л
шади, но голова у меня слишком тяжелая. Я не знаю, когда родил
Ионел, не знаю, когда он умер. По правде говоря, я не знаю, кто так
был Ионел. Зато тут же вспоминаю Василе, моего друга Василе Ме
Его сбросила лошадь, он попал ей под ноги, она наступила ему на ше
и он умер.

Мы движемся к кладбищу, мы идем так тихо, как ходят только
покойниками.

(Как-нибудь уже ближе к осени я снова приеду в село, чтобы п
вестить кладбище, отыщу кресты над могилами моих умерших друз
если они еще сохранились, ведь деревянные кресты так быстро гнию

— Ионел... Ионел... Придет к тебе бабушка, ты встреть ее на д
роге, ведь она принесет тебе мои слезы...

Мертвые не уносят *туда* с собой ничего, даже слез. У мертвых с
хие глаза.

День клонится к вечеру, но солнце еще освещает наши лица. До з
ката пока далеко. Освещает оно и лицо матери. Вдруг мне приходит
голову мысль: ведь *сегодня последний день, когда солнце светит ма
ри в лицо.* Последний день. Когда мы похороним ее, солнце уже
будет освещать маму, и она сама не увидит больше солнечного све
Это самый последний день, самый последний час, последн
мгновения...

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Кире... Все время Кире со своей трубой, которая теперь принад
жит ему, а некогда принадлежала Дишу.

Ветеран боев под Гривицей день и ночь проводил в корчме. Он п
в долг цуйку, ракию, дрожжевую водку.

— Налей мне, Тома.

— А деньги есть?

— Нет, нету, но завтра-послезавтра кто-нибудь умрет, я буду игра
на трубе, заработаю несколько грошей и расплачусь с тобой.

— А если не умрет?

— Умрет, как это не умрет...

Редкая неделя проходила без того, чтобы кто-нибудь не умир

Мы проходим мимо дома Флеройу, который стоит на границе меж
селом и кладбищем. Впрочем, никакой границы здесь нет: одно село,
земле, где обитают живые люди, почти примыкает к другому селу, п
землей, где находятся все наши покойники, куда переселимся и все м
когда умрем... *Все мы...*

Хотя я, выйдя из дома, шел вместе со всеми так медленно, как ход
только за покойником, я все-таки добрел до кладбища... Как медле

ни иди, все равно дойдешь до кладбища. Вот и все — хотя нет, есть тут и что-то иное.

Я смотрю вверх. Восточная часть неба покрыта облаками, но это редкие, белые облачка, от которых не бывает дождя. Было бы очень печально, если бы тело мамы пришлось опускать в землю насквозь промокшим под дождем.

— А не все ли равно?

— Может быть, и не все равно.

Земля, в которой погребены наши покойники, каменистая. Под гробами усопших сочится вода и тонкими струйками стекает в Кэлмэцуй, от которого кладбище отделяет только шоссе. Это узкое шоссе зимой занесено снегом или покрыто грязью, а летом пылью. Сейчас конец лета, и на шоссе лежит толстый слой пыли. Я вдруг замечаю, что все мы покрыты пылью, что вся похоронная процессия движется в густом облаке желтоватой пыли.

На мертвом и уже посиневшем лице матери, на ее застывших, прикрытых веками глазах лежит тонкий слой белесоватой пыли. Мама ляжет в могилу с запыленным лицом, и это она, которая всегда любила быть чистой, как цветок! Она лежит в покрытом черным коленкором гробу, обряженная и одетая, в черном головном платке, в белой накрахмаленной кофте, черной безрукавке, черной юбке и черных туфлях. Все это было куплено заранее, еще в молодые годы,— ведь никто не знает, когда придет смерть, а к ее приходу нужно быть готовым,— и хранилось в сундуке, переложенное ветками базилика, ни разу не надеванное в ожидании похорон.

Еще за день до смерти мама шутя сказала моей сестре Евангелине:

— Когда я умру, вы меня оденете во все черное. Мой первый муж и не узнает меня.

— Ничего. Узнает с первого взгляда.

— А как он узнает?

— По лицу, по глазам, по походке, да по всему. Ты, мама, не похожа ни на одну женщину в мире. *Ты всегда была сама собой.*

Кто-кто, а отец доподлинно знает, что его жена, родившая ему и воспитавшая кучу детей, без устали трудившаяся вместе с ним, с ее проницательными глазами, тонкой талией, красивыми и трудолюбивыми руками, которые, кажется, никогда не знали ни сна, ни отдыха, действительно не похожа ни на одну женщину в мире.

Пока мама была жива, руки ее никогда не отдыхали. Теперь ее руки уже не будут работать, они отдохнут. Они станут прахом и наконец обретут покой. *Но откуда мы знаем, что земля отдыхает?* Из земли поднимается трава, из нее тянутся ввысь стебли цветов и стволы деревьев. Тело матери может превратиться в тополь с прямым и тонким стволом, который будет гибко раскачиваться, с серебристыми листьями, которые будут беспокойно трепетать... Такими же беспокойными были все дни моей матери, такими же беспокойными, полными всяких страхов, были и ее ночи...

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Вслед за трубой подают свой тонкий голос и маленькие древние колокола со звонницы деревянной церквушки. Звуки сталкиваются, перемешиваются и вздымаются ввысь, словно шествуют по ступеням серебряной лестницы. Возможно, что по этой незримой для нас, а видимой только для нее лестнице и поднимается мама на небо. Одна? Нет. Она всегда была одинока и всегда боялась одиночества.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй...

Два ангела, один справа, другой слева, поддерживают маму под руки, но не возносят ее на небо, а парят с нею в воздухе над самым кладбищем. Теперь на кладбище две Марии: одна, облаченная во все

белое, как невеста (а мама никогда не была невестой, не играла свадьбы ни с первым своим мужем, ни со вторым), молодая и красивая, которая витает, словно белое облачко, а другая — мертвая, облаченная во все черное покойница, лежащая в гробу. Большими удивленными глазами смотрит Мария, витающая в воздухе, на Марию, лежащую в гробу.

Она смотрит и спрашивает ангелов, поддерживающих ее под руки:

— Разве это я?

— Это ты, Мария.

— Как же я постарела! И когда я успела так постареть!

— Никто не замечает, как наступает старость, Мария.

Видение исчезает. Неожиданно появилось оно и тут же исчезло, чтобы возникнуть вновь.

Мы медленно идем, приминая начавшую уже желтеть кладбищенскую траву. Похоронная процессия растекается по узеньким тропкам среди крестов, между старых и новых могил.

Мама смотрит на нас оттуда, сверху, и спрашивает, чего это мы плачем. Она чувствует себя легкой, как дым, легкой, как облачко пар, совсем-совсем легкой...

Ангелы устали держать ее под руки. Один из них поворачивает голову и подзывает облако. Облако подплывает ближе. Оно похоже на корабль с распущенными парусами. Мама поднимается на корабль, который покачивается, еле заметно покачивается, но не движется ни к западу, ни к востоку, не плывет ни на север, ни на юг. В корабле есть окошечко. В этом окошечке появляется мамино лицо. Она смотрит на нас, и лицо ее становится печальным. Она глядит на нас, на лицо той, которая лежит в гробу, и ей становится грустно-грустно...

— Мама, мама, что же мы будем делать без тебя, мама?

Это голосит Константина. Она притворяется несчастной, истерзанной неутолимым горем. Отец сердито смотрит в ее сторону.

— Константина... Как была сумасшедшая, так и осталась.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

И опять все сестры причитают по матери, снова все женщины оплакивают своих усопших. Одни плачут навзрыд настоящими слезами, у других сухие глаза, и они голосят, чтобы только голосить. Их покойники умерли уже давно, боль утраты давно миновала, и осталось лишь воспоминание, и то лишь туманное, и то почти исчезнувшее совсем.

Если подойти к Чьокоше и спросить, какого цвета были глаза у ее мужа, умершего лет этак тридцать тому назад, она бы ответила:

— Голубые! Да нет, вроде бы зеленые... Нет, нет, погоди... наверно карие.

Но это не мешает ей голосить и звать мужа, который был и которого давно уж нет.

— Стоян мой, Стоян, на кого ты покинул меня, Стоян...

На многих покинул ее Стоян Конч, на всех, кто желал ее, и даже на тех, кто не желал ее, но кого желала она сама, статная и широкая в кости Чьокоша Конч.

Облегченно вздохнув — ведь все покойники такие тяжелые или это только так кажется тем, кто несет их на плечах,— четверо мужчин опускают гроб около вырытой могилы и ставят его поперек на два соседних могильных холмика. В жизни — я подразумеваю жизнь живых людей — царит великая теснота, на кладбище эта теснота еще больше, хотя мертвые ничего не едят, а, наоборот, их самих поглощает земля, в которую они в конце концов и превращаются.

Глаза матери совсем ушли в глазницы, словно бы их туда утопили. На закрытые веки и на длинные ресницы тонким слоем легла пыль. Губы почти совсем почернели. Могила со сводом, выложенная в

обожженным кирпичом, похожа на печь для хлебов, на печь в сельской пекарне.

Звонят колокола: данг-данг-данг... динг-динг-динг...

Согласно стародавнему обычаю трубят в трубу у нас только по мужчинам, которые служили в армии. Так повелось еще со времен дедов и прадедов у нас в Омиде, в тесной и скудной долине Кэлмэцуя. Мама нарожала кучу ребятишек: Евангелину и Иона она родила от первого мужа, с которым у нее жизнь не задалась, потому что вскоре его прибрала смерть, та самая, которая теперь отняла у нас и ее. От отца она родила Рицу и Алексе, прожившего всего только семь дней, потом Раду, меня, Елисабету, Штефана, Стелу. Хотя она и не родила, но вырастила детей отца, оставшихся ему от Думитры, его первой жены. Родить столько детей и вырастить их, выкормить их сначала своей грудью, а потом хлопотать о них, словно клушка о цыплятах, наверно, куда труднее, чем отслужить три-четыре года в армии. Так решил Кире и потому явился на похороны матери со своим горном. Точно так же думают и все остальные.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Все люди, явившиеся проводить маму до кладбища, сгрудились вокруг свежей могилы, похожей на печь в сельской пекарне, в которую поставят гроб вместе с мамой и где она обретет вечный покой, обратившись в прах. Прахом станет все: и ее глаза, и ее губы, и лицо ее, и ладони, и живот, в лоне которого вынашивала она нас, и ее руки, на которых она нас качала, и ее груди, вскормившие нас молоком, и ее плечи, носившие нас на себе,— все-все станет прахом.

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Отец Теофил обращается к Кире:

— Довольно. Нам еще нужно отслужить молебен.

Ту-ту...

Обрывается звук горна, принадлежавшего раньше Дишу, а теперь — Кире. Умолкают плакальщицы. Смолкли и колокола. Только совы, вспугнутые мальчишками, звонящими в колокола, вылетев со звонницы, где у них устроено гнездо, садятся на телеграфные столбы и начинают ухать:

Кукуваy... Кукуваy...

Так они будут отпевать маму каждый вечер, каждую ночь.

Священники принимаются — уж в который раз за этот день — читать молитвы.

— Господи, помилуй... Господи, помилуй... Господи, помилуй...

Звякают кадила. Горят свечи. Пахнет сухой землей, увядающей травою, растопленным воском, пахнет покойником, пахнет кладбищем.

Пока священники читают свои короткие молитвы, мои сестры припадают к гробу. Они целуют мамины холодные руки, ее потухшие сухие глазницы, ее щеки, которые приобрели уже землистый цвет.

Совы кличут беду, но беда уже пришла. Что может быть хуже смерти? Отец с трудом протискивается среди людей, становится на колени и целует мать, которая уже умерла и которую через несколько минут мы похороним. Целует ее так, как никогда не целовал, никогда... С отчаянием в голосе он произносит:

— Мария, Мария, как я любил тебя, Мария!..

Плачут не только его глаза, от рыданий, кажется, содрогается все его тело. Отец быстро поднимается, чтобы еще раз запечатлеть в своей памяти покойницу, и всхлипывает. Мой двоюродный брат Сорян берет его под руку и отводит в сторону. Мы, мамины сыновья, тоже целуем ее глаза, целуем в губы, в щеки, целуем ее руки.

Теперь на теле мамы, на ее лице и на руках суетится бесчисленное множество муравьев — желтых, черных, рыжих. Вьются над ее мертвым

телом и пчелы, некоторые пьют сок из цветов, положенных в мам гроб.

— Да будет ей земля пухом!

Кто-то говорит:

— Все!

Динг-динг-динг...

Ту-ту... ту-ту-ру-ту...

Мы отходим в сторону, сестры разражаются плачем.

— Мама... Мама... Мама...

Кире еще раз трубит в свой горн.

Мой племянник Стэникэ вместе с другими накрывает гроб крышк опускает его в могилу и осторожно толкает его под свод, сложенный необожженного кирпича. И муравьи, и пчелы так и останутся в мамин могиле. Муравьи, может быть, и найдут себе выход, но пчелы...

Стэникэ еще не успел заложить кирпичами вход, как раздался гол моей сестры Елисабеты:

— А кости... Вы забыли кости!

— Какие кости?

— Кости Алексе и Рады, дедушкины кости...

Кости дедушки! Я слышу эти слова, и мне кажется, что я нахожу среди огромных языков пламени.

Эти слова слышит и отец, их слышат и мои братья, Ион и Штефа Отец до крови закусывает губу. Я говорю ему:

— Иди с ними. Я вас нагоню.

Никто не требует никаких объяснений, почему я отхожу от могил Маму я больше не увижу: ее покрыли гробовой крышкой, а гроб оп стили в могилу. Рядом с ямой лежат три кучки костей: тонкие и хрупк косточки моего брата Алексе, который прожил на свете всего неделю, его белый череп, величиной с небольшую тыкву. (Если бы Алексе бы жив, он бы стоял сейчас рядом со мной.) Тут же другая кучка — э кости сестры моей Рады. Они крупнее, чем кости Алексе. Мне говорил что заряд дроби попал ей в шею. Возможно. Но почему тогда изреш чена ее белая, похожая на гипсовую, черепная коробка?

Константина, словно предвидела, что нечто подобное случится, по ходит с бутылкой вина, которую ей как-то удалось сохранить, и кроп вином кости Алексе и Рады.

— Помилуй их бог...

— Прости их, господи...

Стэникэ берет кости и череп Алексе и кладет их на крышку гр ба, в котором неподвижно лежит мертвая мама. Туда же, на крыш кладет он и кости Рады.

— Ты забыл кости дедушки.

— Я не забыл. Только не знаю, куда их положить?

— Клади рядом с гробом Марии.

Дедушкины кости лежат на траве. Они желтые — ребра, череп, р ки, ноги...

В бутылке осталось еще немного вина. Константина говорит:

— Упокой их души, господи.

Она подносит бутылку ко рту и, выпив все, что осталось, повт ряет:

— Упокой их души, господи.

— Осталось еще вино, Константина?

— Ничего не осталось.

Дедушкины кости кладут возле гроба, так и не окропив их вино Кто-то в шутку роняет:

— Окропим, когда снова будем здесь хоронить кого-нибудь вас...

«Кого-нибудь из вас» — это значит из нашей семьи.

Отец вместе с моими братьями поджидает меня за кладбищем на шоссе. Я спрашиваю:

— Пойдем домой?

— Нет, не могу — тошно.

— Тогда пойдем в корчму,— предлагаю я,— тут рядом. Пойдем в корчму и напьемся. Напьемся до потери сознания, чтобы все забыть.

— Нет,— возражает отец.— *Покойница за всю жизнь не видела меня пьяным. Зачем же ей видеть теперь меня во хмелю.* И вас она никогда хмельными не видала.

— Мертвые не видят. После смерти люди уже не видят ничего.

— А ты откуда знаешь, что мертвые не видят?

— Ведь глаза-то тоже умирают!

— А душа... У души есть свои глаза... а они не умирают и не гниют.

Моему брату, Иону-адвентисту, не нравится мой разговор с отцом. Мой брат Штефан все плачет, видно, источник его слез не иссяк. Люди начинают возвращаться с кладбища. Они обходят нас, поднимаются на насыпь железной дороги и направляются к нашему дому: от кладбища до него путь по железнодорожному полотну короче. А там женщины уже накрыли обильный стол, как того и хотела мама.

— Пойдем на виноградник,— предлагает отец.— Посидим лучше на винограднике, пока гости не наедятся. Я уже ими сыт по горло.

Никто из нас не успел ничего ответить, как рядом остановилась телега. Довольно бодро с нее слезает тетка Уцупэр из Секары. В телеге сидит и держит вожжи маленький, усатый, убеленный годами старик. Он улыбается мне:

— Что, не узнаешь?

— Как же, узнаю! Ты — дядя Лауренц, дядя Лауренц Пьеле.

— Я немножко постарел.

Тетка Уцупэр не плачет, не причитает, даже лицо ее не кажется опечаленным.

— Значит так, Тудор,— умерла Мария. Жалко, что я раньше не сумела приехать. Я бы тоже посмотрела, какова она в гробу.

Отец молчит, молчит и смотрит в землю. Тетка Уцупэр продолжает:

— Опоздала я, а все Дица...

— А что с Дицей? — испугавшись, спрашиваю я.

Тетка из Секары улыбается:

— Ничего. Что ей сделается? Родила двенадцатого ребенка — девочку. Ножками шла вперед — верный признак, что вредная будет девчонка,— еле-еле вытащили ее живой.

Тетка вплотную подходит к отцу и, явно желая ему польстить, говорит:

— Я ей сказала, чтобы окрестила новорожденную Марией. Здесь умерла Мария, а в Секаре родилась другая... Колесо жизни, оно все вертится и вертится...

Отец слушает тетку Уцупэр и как будто не слушает. Он ничего не говорит, а я приглашаю тетку Уцупэр и дядю Лауренца Пьеле:

— Поезжайте к нам домой — там поминки. А мы придем попозже. Сами понимаете...

Тетка Уцупэр садится в телегу и прижимается к своему Лауренцу, словно девушка к возлюбленному, с которым она только что обвенчалась. Как трогательна эта любовь, которая длится уже сорок лет и нисколько не увяла, не поблекла.

— Но, пошел!

Как и всегда, лошадью правит тетка Уцупэр. Скрипят колеса те-

леги. Мы глотаем поднятую ею пыль. Пройдя мимо кладбища, пересекаем железнодорожное полотно и начинаем взбираться на холм. Тропинка узкая, и мы идем гуськом: впереди я, за мной отец, сзади мои братья, Ион-адвентист и Штефан. С нами мог бы быть и Георге, но его не пригласили на похороны, потому что наша мать — ему мачеха. К тому же несколько лет назад у него умерла жена. Ему еще не было тридцати, а он уже остался вдовцом с пятью маленькими ребятишками. Расти их, батюшка! Корми и обстирывай, батюшка! Одевай их, батюшка!

Солнце скрывается за вершину холма за Кэлмэцуем. Воздух неподвижен. На все ложится багровый отсвет заката. Облака рассеялись, растаяли и исчезли. Совы — их пять или шесть, так я никогда и не знал, сколько их живет на кладбище,— пролетели над самыми нашими головами, возвращаясь к себе, на звонницу деревянной церквушки.

Жнивье, кукурузные поля и поля подсолнечника. Все головы подсолнухов повернуты к солнцу, которое скрылось далеко-далеко за линией горизонта.

Запах кладбища остался позади. Мы подходим к нашему винограднику. Вдоль восточной его стороны между кустами винограда и канавой, заросшей колючей высокой акацией, тянется полоска необработанной земли. В густой траве, достающей нам до пояса, шныряют зеленоватые ящерицы и таятся коричневые жабы. Мы приминаем эту траву, вытаптываем место, чтобы сесть.

— Кажется, я с самого утра не курил,— говорит отец.— С самого утра и до вечера — это долго, очень долго. Есть ли у кого-нибудь закурить?

Я протягиваю ему пачку сигарет. Мы все закуриваем, кроме Иона-адвентиста, которому закон запрещает курить. От дыма становится горько во рту, и воздух, как мне кажется, тоже напоен горечью.

Покурив, мы тщательно тушим окурки, чтобы не поджечь сухую траву. Ведь если загорится трава, огонь может переброситься на поле и тогда уже неведомо, кто, когда и как сумеет остановить пожар. Дневной свет медленно-медленно угасает. Ночью не будет непроглядной темноты. Ночь будет прозрачной, освещенной лунным светом, как и накануне.

Уже два дня, как умерла мама. Умерла! Что же мы будем делать теперь? Со смертью, которая пришла и забрала человека, ничего не поделаешь... *Ничего не поделаешь...* Мой брат, Ион-адвентист, грызет ногти. Со вчерашнего дня он ничего не пил, ничего не ел. Штефан все никак не успокоится, он все плачет и плачет. Даже удивительно, откуда берется столько слез.

Мы довольно далеко от кладбища, но нам слышно, как там ухают совы. Исчезли последние отсветы солнца. Стемнело. Как пахнет созревающий виноград! Как пахнет начавший уже сохнуть бурьян! Это запах здоровой земли! (Все мы когда-нибудь превратимся в землю, станем здоровой землей.)

Данг-данг-данг... динг-динг...

Маму, которая умерла позавчера, мы похоронили. Прошло уже несколько часов, как похоронили мы ее. В ту самую землю, на которой она жила и страдала, закопали мы маму, в ту самую землю, на которой мы еще будем жить... Сколько мы еще проживем... Прах, поднявшийся из праха. Прах, превращающийся в прах...

Колокола звонят по покойнику. Только по усопшему гудят колокола. По покойнику, который уже похоронен, колокола не звонят. Колокола звонят только по умершему, который ожидает своих похорон.

— Что случилось?

— Ничего. А что могло случиться? Кто-то умер в селе.

— Кто?

Отец вскакивает и широко распахивает ворот рубахи, словно до сих пор она давила ему шею и не давала свободно дышать. Он направляется куда-то во тьму. Я бросаюсь за ним. Не знаю почему, но я боюсь, очень боюсь оставить его одного. Я беру отца за руку и спрашиваю:

— Хочешь, я найду спелый виноград, и мы поедим. Может, нам легче станет.

— Пойди поищи.

Отец осторожно высвобождает свою руку, возвращается к моим братьям и вновь ложится на траву.

— Не знаете ли вы, кто это умер в селе? — спрашивает он.— Колокола звонят по новому покойнику.

— Не знаем,— отвечает Ион-адвентист.— Но если хочешь, я сбегаю в село, спрошу и тут же вернусь.

— Не стоит бегать,— говорит отец.— Я думал, вы знаете. А раз не знаете, то не знаете.

В нескольких шагах от них я выбираю на ощупь и на вкус кисть винограда и подношу отцу.

— Ешь. Ты уже несколько дней почти ничего не ел.

Отец берет кисть винограда, отрывает от нее по ягодке и кладет в рот.

— Сладкая эта рошиоара,— говорит он,— слаще всякого другого винограда.

Снова редко и печально звонит колокол по покойнику, по новому покойнику. Отец вздрагивает и, хоть знает, что ответа не получит, однако спрашивает:

— Кто же это помер? А? Кто бы это мог помереть?

Всходит луна, огромная, круглая. Вначале она багровая, но по мере того, как поднимается выше и выше, становится все желтее. По дороге вдоль виноградника идет человек. Он бредет одиноко по глубокой пыли проселочной дороги. Бредет и насвистывает, чтобы не чувствовать себя совсем одиноким. Я подымаюсь ему навстречу. Заметив меня, он останавливается и замахивается палкой. Однако здоровается:

— Добрый вечер.

Когда я отвечаю, он узнает меня и смеется:

— Чуть было палкой тебя не огрел.

Надо бы тоже рассмеяться, но мне не до смеха

— Ты один? — спрашивает он меня.

— Нет, не один.

— Понимаю. С дядей Тудором.

— И с братьями...

Я умолкаю, молчит и он.

— Заходи на виноградник,— приглашаю я,— заходи, отведаем винограду.

— Зайду, если приглашаешь, с удовольствием даже, хотя и сыт по горло. Я наелся и напился на поминках тети Марии. Все, кто там был, все напились и наелись до отвала. Давно не было у нас в селе таких поминок. Некоторые до того упились, что решили, будто они на свадьбе... Пьют и кричат: «Горько...»

Человек сворачивает вслед за мной на виноградник. Он здоровается с отцом, с моими братьями. Штефан, который чаще меня навещал родное село и знает здесь всех наперечет, спрашивает:

— Дядя Кытикэ, не знаешь ли, кто это помер?

Кытикэ смеется.

— Знаю, как не знать!

Кытикэ — сельский сторож. Он охраняет виноградники и поля, за что ему и платят крестьяне.

— Тома Урсу скончался.

— Да разве он был жив? Я думал, он давно уже умер.

— Многие думали, что он давно помер, а он все жил. Ему уже за девяносто было, а он все жил и неведомо сколько бы еще прожил...

Сторож срывает кисть винограда и начинает отщипывать одну ягоду за другой. Отец, отведав всего несколько ягод, откладывает гроздь в сторону.

— Старик жил у Гуцэ Урсу, единственного своего внука. Он отдал Гуцэ и дом, и землю, телегу и плуг, волов и лошадей — все хозяйство за то, чтобы Гуцэ кормил его до самой смерти. Договорились они об этом, когда Томе Урсу уже за шестьдесят перевалило. Кто же мог думать, что человек проживет еще столько лет? Совсем в детство впал от старости. Иногда узнает, кто с ним разговаривает, иногда не узнает. Однако насчет еды — тут-то и зарыта собака,— поесть он был здоров, ничего не скажешь. Прямо требовал себе еды, а если не наедался, опять требовал. Если же ему не давали, ходил побираться по соседям, выставляя внука на посмешище. Так и сегодня в обед случилось. Застал его внук, когда Тома побирался, привел домой и запер в комнате. Там он связал ему руки и ноги и давай молотить кулаками по голове. Уж бил он его, колотил, пока Тома не помер. А ребятишки Гуцэ, которые подслушивали под окном, перепугались и давай кричать: «Караул! Тятька прадедушку убил». Набежали соседи, да уже поздно было. Явились жандармы. «Ты за что его убил, а?» «Да ел он... уж так он много ел, просто не напасешься». Проходил я мимо ворот, посмотрел, как сидит связанный Гуцэ Урсу и плачет...

Уже поздно. Колокол больше не звонит. Он будет звонить завтра с утра. Отец обращается к нам:

— Как вы думаете, люди... те, что у нас дома, разошлись уже после поминок?

Ему отвечает сторож Кытикэ:

— С едой они покончили, а вот пить еще пьют. Сэмынцэ им таскает из корчмы одну бутыль за другой. «Пейте, люди добрые,— приговаривает,— пусть будет моей теще земля пухом. Пейте, мой бухарестский шурин за все заплатит». Это ты и есть бухарестский шурин?

— Да, это я.

Сторож прощается с нами и, насвистывая, уходит к кургану Годжиу. Там у него шалаш, где он скрывается от дождя, куда порой водит и женщин.

— Почему ты не ешь виноград? — спрашиваю я отца.— Съел только несколько ягодок.

— Словно желчи отведал.

Отец молчит, молчу и я. Молчит и мой брат Штефан. Он уже больше не плачет, но со вчерашнего дня его лицо распухло от слез. Иона-адвентист говорит неуверенно:

— Я бы сходил домой, посмотрел, что там делает моя жена.

Никто ему не отвечает. Тогда он обращается ко мне и Штефану:

— Вы тут присмотрите за отцом.

Он уходит. Сначала мы слышим его шаги, потом они стихают.

Луна все поднимается и поднимается. Теперь она совсем желтая, словно сделана из чистого золота. Даже пятна на ее поверхности кажутся золотыми.

Поле живет своей жизнью. Дует ветерок. Покачиваются ветви деревьев, их верхушки, трепещут и шелестят листья. Кукурузные поля, похожие на настоящий лес, шуршат пожелтевшими и начавшими уже сохнуть листьями. Где-то на жнивье ржут лошади, которых выгнали в

ночное. Со стороны станции раздается два-три выстрела. (Это, видно, жандармы перепились в корчме у Букуреску и палят в луну.) В траве вокруг нас кишат ящерицы, жуки, букашки. Разве спит когда-нибудь поле? Никогда... Никогда, никогда...

— Никогда уже больше ее не увижу, никогда. Она умерла. Сегодня на склоне дня мы похоронили ее. Ее задвинули под кирпичный свод, который вывел Стэникэ. На ее гроб положили кости Алексе и Рады, а рядом — кости отца, какие от него остались. Она там не одна, но я ее больше никогда не увижу.

— Ты можешь посмотреть на ее фотографию,— говорю я.— Посмотришь на фотографию и увидишь ее как живую.

Отец молчит. Я не понимаю, почему он молчит, когда я *обнадежил его.* Мой брат Штефан тихо-тихо, словно стыдясь чего-то, выдавливает из себя:

— Мама никогда не фотографировалась. Мы будем хранить ее образ в своей памяти до тех пор, пока сможем его хранить, а потом...— тут Штефан вновь захлебывается слезами,— потом забудем. Все люди забывают усопших. Значит, и нам доведется ее забыть?

Налетел порыв ветра, согнул деревья и умчался дальше. За ним последовал еще порыв, потом еще... Если бы мы были на берегу, а ветер дул с моря, как теперь он дует с равнины, все море покрыли бы бурные волны.

— Зэрикуцэ, приезжай как-нибудь домой, возьми меня и отвези на поезде к морю, чтобы и я поглядела, какое оно, море.

В другой раз она просила повезти ее и показать горы. Она видела Олт, видела Дунай, но ни моря, ни гор никогда не видала.

— Я тебя повезу, мама, ты увидишь и море, и горы. Я тебе все покажу.

Мы сидели перед домом под шелковицами и разговаривали. Лицо у нее было осунувшееся, она худела с каждым днем, руки ее стали тонкими, и нить жизни становилась все тоньше и короче. Я так и не свозил ее на море, так и не свозил ее в горы. Никуда я ее не свозил. Она родилась в селе Кырломану на берегу Кэлмэцуя, два года жила с первым мужем в селе Стэникуц, тоже на Кэлмэцуе, а всю остальную жизнь здесь, в Омиде, все на том же Кэлмэцуе. Однажды она была на Олте и раз или два на Дунае. Три или четыре раза ездила в Турну к разным докторам. Вот в Руший-де-Веде она бывала часто: ездила навещать своего брата, дядю Тоне, а после его смерти — своих племянников. Видела она лес у Кароль-Водэ, рощу в Сайеле, дубраву под Адынкатой — все это по дороге в Руший-де-Веде. Кроме этого, каждый день и каждую ночь видела она небо над головою и ту землю, по которой ходила.

— Повези меня, Зэрикуцэ, на поезде к морю. Хочу я посмотреть, какое оно, море.

Я так и не свозил ее на море. Она родила меня, носила на руках, а потом на плече, пока не набила себе мозоли, она вырастила меня и не раз дрожала за мою жизнь. А я так и не повез ее посмотреть море, так и не показал ей горы, никуда не свозил ее.

Я встаю и иду на виноградник. Я не ищу спелую кисть, а срываю несколько сухих листьев и жую их. У листьев неприятный кисловатый вкус, от них щиплет язык, вяжет во рту.

— Повези меня, Зэрикуцэ, покажи мне...

Куда я могу ее повезти? *Я уже отнес ее на кладбище.* Теперь она лежит в подобии печки вместе с костями Алексе и Рады, рядом с останками деда. Она там вместе с муравьями, которые свободно бегают по ее телу, и с пчелами, которые жужжат в могильной тьме, отыскивая хоть какой-либо просвет, обещающий им спасение.

Алексе плакал у нее на руках, а она ходила из угла в угол по ком нате, в которой прожила столько лет, в которой и умерла. Мама ука чивала его и уговаривала, как уговаривала и меня, когда я быва больным:

— Не плачь, ты ведь с мамой... Не плачь, ты ведь с мамой... Н плачь, ты ведь со мной...

Я помню, как в этой же комнате она качала и Раду. Моя сестрен ка, которой заряд дроби попал в шею и в голову, исходила кровью, би лась в предсмертных судорогах, а мама, о, господи, каким голосом, какой нежностью шептала ей:

— Не плачь, ты ведь с мамой... Не плачь, ты ведь с мамой... Н плачь, ты ведь с мамой.

От костей Алексе осталась небольшая кучка, белая, словно сахар От моей сестры Рады то же. Вот и все, больше ничего. И от деда... Те перь молчит Алексе, молчит и Рада, безмолвны дедушкины останки Молчит и мать...

Я выплевываю листья, которые незаметно для себя изжевал Слышны шаги — сначала по тропинке, потом по пыльной дороге, иду щей вдоль канавы, которой окопаны виноградники. Раздается покаш ливание. Человек пробирается через лаз в живой изгороди и под ходит к нам. Это мой брат, Ион-адвентист. У него в руках две бу тылки.

— Я, конечно, не пью... Это я вам принес. Может, пить хочется

Мы молчим. У нас нет никакого желания разговаривать. Наше молчание пугает моего брата. Жалобно, словно провинившийся ребе нок, он начинает оправдываться:

— Вы не сердитесь... Я думал... Я думал, вам хочется пить. Я по шел домой, потому что меня самого замучила жажда. Есть я не ел но жажда совсем замучила. Почти целое ведро воды выпил, а вам принес вина и цуйки принес. Думал, выпить хочется...

Отец берет бутылку и выпивает все до последней капли. Потом вытягивается на траве, подложив руку под голову.

— Как у меня болит голова,— шепчет он.— Как болит голова, ре бята!

Отец засыпает. Он лежит, раскинувшись на траве, озаренный лун ным светом, и спит глубоким сном, наконец-то сраженный усталостью и выпитым вином. Ион-адвентист жует виноград, Штефан, приложив шись к бутылке с цуйкой, тоже засыпает. Я спрашиваю моего брата Иона:

— Ну, что там дома?

— Ничего. Что там может быть! Гости напились, наелись, теперь спят во дворе, кто где пристроился.

— А сестры?

— С ног валятся от усталости.

— Завтра отоспятся.

Наступила полночь, миновала полночь. Луна клонится к закату. Она вся золотая, и воздух от нее кажется золотистым. Отец даже не шевелится во сне — как лег, так и спит, словно окаменел. Уж не умер ли? Я наклоняюсь над ним. Он дышит. Я тоже ложусь на траву. Не успеваю улечься поудобнее, как тут же засыпаю, не успеваю по-на стоящему заснуть, как уже вижу сны.

(Окончание следует)

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ

Поезд

Вступление и перевод с английского
Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО

Уильям Джей Смит — прекрасный американский поэт. Кремневые скулы, невозмутимость, прорисовка век выдают в нем индейца по происхождению. «Чероки»,— устало, но с достоинством поправит он вас, когда вы радостно станете лепетать ему про ирокезов и прочий куперовский ассортимент. Чероки — древнейшее из индейских племен.

Замечательный поэт, Смит в прошлом году обрел звание Поэта при Библиотеке Конгресса. Для американских поэтов это ежегодный титул типа премии. Стих его современен, напряжен. Свои книги он издает в обложках из алюминия. Порой он включает в свои сборники переводы из советских поэтов. Мне довелось видеть, с каким восторгом аудитория, далекая от английского языка, слушала его перевод «Телефона» Чуковского — так снайперски адекватно звучали стихи! Я рад, что среди его отличных переводов моих стихов есть «Аэропорт в Нью-Йорке», и я отвечу ему переводом его стихов о вокзале нью-йоркской подземки, написанных в 1969 году. С первых же строк «Поезда» меня охватило странное волнение. Оно не объяснялось только превосходным стихом и близостью автора. Голову кружила близость иная.

«Снег сырой, как газета...»

Вспомнились дачные гости далекой переделкинской зимы. Среди них Назым Хикмет. Было порядком выпито. Я пошел его проводить.

Поэт был смертельно болен. Его покрывала испарина. Чтобы не простынуть на улице, он снял ковбойку и обернул грудь старыми газетами. Газеты были и русские и зарубежные. У хозяина дачи их лежало навалом.

Мы вышли. Назым все останавливался, чтобы отдышаться. До его дома было шагов триста, но шли мы около часа. Шел снег. В сумерках он шуршал, как газета. На груди у поэта шуршали события. Понятно, я тогда написал стихи об этом. Давно это было.

Но этот газетный снег не отпускал меня, неотвязно стоял в сознании, чтобы сегодня — надо же! — прошуршать в стихах американского поэта. Окунемся в этот снег. Странный, пропитанный копотью, тревожный снег Уильяма Джея Смита.

«Какой поезд придет перевез
меня через этот огромный город?
Надпись на схеме мет

Снег сырой, как газета,
шрифт, пропитанный смогом,
этот город офсетный
я б забыл, если б смог бы.
Опускаюсь в метрошку,
ожидаю в туннеле сабвея —
потрясает до дрожи,
как Евангелие от Матфея.
Сеет сажа на рельсы, как плохой дымоход...
Что за поезд придет?

Память движется цепью, точно скрипы вагонные.
Вновь я мальчик. Я с мамой
бегу по торнадо в агонии.
Как вуаль ее платья лилова! Как дует! Идти и идти нам.
Из домов развороченных
спальни
свисают, как части интимные.
Вылетают гробы из кладбища. Циклон в апогее.
И валялись столбы в проводах, точно в черных спагетти.
Нас тошнит. Как мне боязно, мама! Хочу голубой небосвод...
Что за поезд придет?

Твердь Земли — ты эмблема покоя (по Дарвину).
Устаревшие данные!
А носило ли вас, как в разболтанном сейнере,
в паническом землетрясении?
Кони, трупы животных,
люди, пачки с разорванным хлопком.
Ненасытно
земная зевота
разевается и захлопывается.
Нас родившая мать поглощает обратно в живот.
Что за поезд придет?

Мы не ждем катастрофы. Мы пьем лошадиными дозами.
Груды трупов наяривают бульдозеры.
Наш голубенький шарик превращаем в пустыню.
Человек на Луне шарит лапами в шлаках остылых.
И привозит оттуда
каменюги с мертвящим названием,
чтоб прибавить их к грудам
земных бездыханных развалин.
Но расстреливаемый, прозревая, бросает убийцам:
«Хватит! Бросьте знамена!»
И падает навзничь под блицем.
Мир шуршит, как газета.
Пахнут кровью дешевые роли.
Все страшнее в кассете
непроявленный ролик.

На глазах у растерянных
телекамер и линз журналистских
возле хижин расстреливают
ьрохотулек людей луноликих.
Два десятка убитых. Незначительный эпизод...
Что за поезд придет?

Снова мальчика вижу, уменьшенного памятью.
Сыплет спелый шиповник.
Я иду с моей маленькой матерью.
Все меня увлекало —
тишина лесовая,
вода в форме лекала
и индейские палочки для рисованья...
Я забыл тебя, мама,
у ручья со светящимся донышком.
Завтра в мраке чулана
я найду тебя стонущей.
И дубинка обидчика
будет тяжко лежать на ступенях.
Жизни рожа обычная
обернется тупым преступленьем.
Я ползу к тебе, мама, на коленях по собственной жиже блевот...
Что за поезд придет?

Что за ночь? Что за поезд придет? Что за дерево?
Сикомор? Надежда? Дорога потеряна!
Чей-то час на курантах пробьет?
Наша дохлая вера, как рыба, вверх брюхом всплывет.
Брода не существует. Он выдуман, стерва.
По курятникам, крошкам с пластинками стерео,
по безвыходным рельсам бреду сквозь трясины болот.
Я дороги не вижу.
Здесь «назад» означает «вперед».
Сквозь дерьмовую жижу
прошепчу сквозь заляпанный рот:
«Что за поезд придет
перевезти меня через этот огромный город?»

ЭЛИСЕО ДИЕГО

Из «Книги чудес дона Хосе Северино Болоньи»

Перевод с испанского и вступление ПАВЛА ГРУШКО

Счастливый признак отличает стихи Элисео Диего: они узнаются даже по отрывкам. В современном языке поэт находит застенчиво лучащиеся слова, запечатлевая свои мгновенные ощущения, то, что возникло у вас на глазах и может вот-вот улетучиться. Поистине с неистовым любопытством относится он к вещам и крайне уважительно к словам: будто голуби, слетаются они на его зов.

Как выписано дерево, как прост
набросок листьев на вершине лета.
Но тем суровее изнанка света —
тяжелый след труда на дне борозд...

Один из самых известных поэтов социалистической Кубы (отнюдь не больше других печатавший свои произведения), он оттачивает стихи, будь то классический или современный размер, до той степени совершенства, которая отличает канатоходцев, не позволяющих себе небрежности: не потому ли образ канатного плясуна, чья «выдумка рождает светлый праздник иного мира, оступись — и смерть, здесь каждый шаг осмыслен и прекрасен»,— не потому ли образ этот один из любимых у поэта? Элисео Диего — поэт «русла», того поэтического русла, в которое после впечатляющих, но не вечных разливов, на время скрадывающих очертания берегов, неизменно возвращаются воды, чтобы не иссякнуть и тогда, когда река обмелевает. Поэт католический, Диего в полной мере служитель Человека. По мнению уругвайского писателя Марио Бенедетти, «этот честный христианин, не задумываясь, отлучает от своей души, жизни и своего времени любую фальшивую непорочность, любое фарисейство». В его стихах лирический поток органично сливается с философскими раздумьями.

Первая книга двадцатидвухлетнего Элисео «В темных ладонях забытья» была опубликована в 1942 году. За три десятилетия он издал лишь пять книг: «Дивертисменты», «Квартал Хесуса дель Монте», «По диковинным поселкам», а после революции — «Глухое сияние». Последняя книга, «Образчики мира, или Книга чудес дона Хосе Северино Болоньи», вышедшая двумя последовательными тиражами и, по единодушному мнению критиков и читателей, одна из лучших кубинских книг, стоит несколько особняком. Замысел прост и неожидан: в ней поэт беседует с гаванским типографом прошлого века Болоньей (редкое издание «Каталога типографии» хранится в Национальной библиотеке им. Хосе Марти, где работал поэт). Книга эта — своеобразная шахматная партия, где на хитроумные маневры типографа, который «ходит» картинками, поэт отвечает своими наблюдениями над природой мира и общества, стихами об истории человечества и своего народа, искавшего на благодатной земле Кубы землю обетованную, а находившего лишь «марионеток, цепи, стервятников: насмешку, а не рай!..»

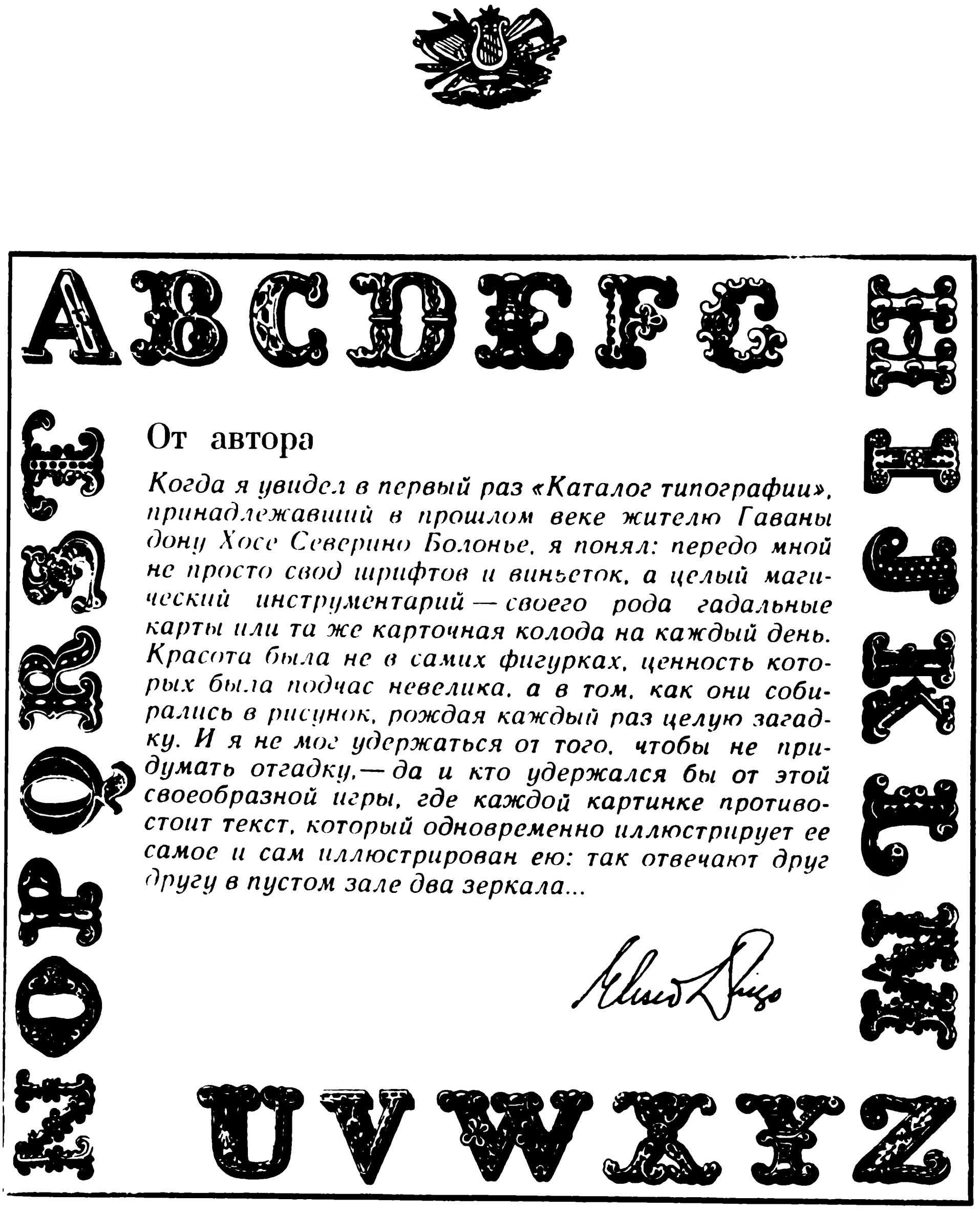
Новое время наделило это произведение качествами, почти отсутствовавшими в предыдущих книгах,— улыбкой, добрым юмором: как солнце сквозь облака скорби прорываются эти стихи, согревая своим добрым сиянием читателей. Преобразования последних лет дали новое дыхание замечательному поэту — Диего активно участвует в литературной жизни Кубы, в работе Союза писателей и деятелей искусств, в строительстве нового социалистического общества, в воспитании нового человека.

Знакомство с Элисео Диего во время его пребывания в Советском Союзе стало для меня большой творческой радостью. Человек открытой и доброй души, он написал стихи, полные любви и уважения к нашей стране.

Так вот какие здесь мосты, река
и площади!..—

удивленно воскликнул он в стихотворении «Встреча в Ленинграде» (цикл стихов о Советском Союзе был опубликован в русском издании журнала «Куба»). Как переводчик, я многим обязан Элисео: он терпеливо объяснял мне в Москве и позже в Гаване, где мы с ним виделись, фон и подтекст многих стихотворений, не таких уж и простых, когда вчитываешься глубже. Не для красного словца хотелось бы назвать Диего соавтором перевода.

А еще одним соавтором кажутся мне крепнущие из года в год связи между нашими братскими государствами, помогающие взаимному познаванию двух стремительно сближающихся народов.



От автора

Когда я увидел в первый раз «Каталог типографии», принадлежавший в прошлом веке жителю Гаваны дону Хосе Северино Болонье, я понял: передо мной не просто свод шрифтов и виньеток, а целый магический инструментарий — своего рода гадальные карты или та же карточная колода на каждый день. Красота была не в самих фигурках, ценность которых была подчас невелика, а в том, как они собирались в рисунок, рождая каждый раз целую загадку. И я не мог удержаться от того, чтобы не придумать отгадку,— да и кто удержался бы от этой своеобразной игры, где каждой картинке противостоит текст, который одновременно иллюстрирует ее самое и сам иллюстрирован ею: так отвечают друг другу в пустом зале два зеркала...

В НАЧАЛЕ КАТАЛОГА, КАК ПОВЕЛОСЬ, ИДУТ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

I

Нет, не девица хрупкая она...

Нет, не девица хрупкая она:
садовница, вся в глине и разводах,—
она цветы растит, забыв про отдых,
всем естеством земли умащена.

Не томная жеманница: весна —
сама любовь, горящая в народах,
из ничего творит красу, в чьих водах
природа строгая отражена.

Красиво сложена, крепка, невинна.
И мы в просторах необъятных этих
с древнейших пор охотимся за ней.

Владыка света, добрая судьбина
людей, светающих в сквозных столетьях,
идущих робко по обрыву дней.

II

День до краев и время вперехлест!..

День до краев и время вперехлёст!
Земля текучим воздухом согрета,
расшита пряжей солнечного цвета:
полдневный свет во весь свой летний рост!

Как выписано дерево, как прост
набросок листьев на вершине лета.
Но тем суровее изнанка света —
тяжелый след труда на дне борозд.

В бездонно голубеющих просторах
так незлобивы взбалмошные тучи.
Все так уместно в ровном полусне.

А память в эту пору — робкий шорох,
тревожащий легко покой могучий
в нерасторжимо цельной тишине.

III

В осенние сады туман течет,
уже не пахнет воздух пряным лугом,
на свет печальный щурится с испугом
навечно разлученный с летом плод.

Во мглу уходит время, чей исход
нас угнетает, как разлука с другом.
Тягучий сумрак нашим стал досугом.
Как пес, ворчит безмолвье у ворот.

В туман бежит октябрьская юница —
ее вернуть своей тщетой осенней
и пламенные розы не смогли.

А по лугам все гуще мгла струится:
что это — память, дымка сновидений?..
И нет земли, а есть лишь дух земли.

IV

По миру желтых листьев кавалькада...

По миру желтых листьев кавалькада
разносит весть: все ближе холода,
зима без милосердья и стыда
спешит из ледяных чертогов ада.

Рожок луны закрыла волн громада,
ревущий норд рвет снасти без труда,
и нет конца пустынным чудам льда,
повсюду смерти вечная прохлада.

Пора нерасточительных забот,
костра, чью память мы щепой питаем,
скорбя, что свет природы всей погас.

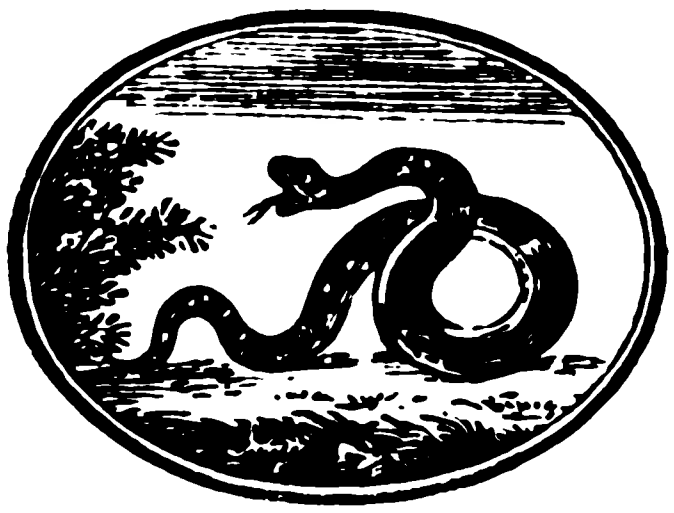
Царит в ночном безмолвье зимний гнет,
все гуще мрак, и мир необитаем,
и дремлем мы, не закрывая глаз

ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ ОБРАЗЧИКИ:
ПО ОДНОМУ ОТ КАЖДОГО ВИДА

Возница

В холодном и безрадостном краю —
откуда ты бредешь с твоей двуколкой?
С хлыстом тончайшим, спящим на плече?
С конем, издевку прячущим под челкой?

Что за поклажа на твоем возке,
когда в ночи ползут дневные тени?
И отчего, ловя твой беглый взгляд,
мы ежимся от смутных наваждений?



Змея

Извилистая тварь, избыток жизни:
любой из завитков ее живучих
от кончика до кончика закручен
по прихоти, холодный мудрый глаз —

колючая сухая драгоценность.
Цепь из свистящих бешеных извивов.
Явленья времени: лицо, изнанка,
опять лицо, все внове, все экстаз!

Звери

Животное, вмещенное в обличье
себя же самого: флажками вьются
недолгие рога, а шерсть густая
скорей груба, но тем и хороша.

Убрать штришок — и ладное творенье,
в котором жизнь звериная являет
подвижную строптивость, распадется,
исчезнет целый вид, его душа.

Ураган

Скрипят дубравы, стонут камыши,
объятые испугом до корней.
Свои ладошки бледные листва
открыла реву туч, бегущих мимо.

Но что это, как объяснить, смотри:
среди ревущих туч холодный взгляд,
немая отрешенность и покой —
бесстрастный ветер с ликом херувима.

Путник

Среди глухих общественных ущелий
из плит мирских и мрамора святого
ты странствуешь, в потемках растворяясь,
твои пожитки — горести и страх.

Куда бредешь, откуда? Из бесстрастной
искусственной природы человека —
к нездешней, неизведанной и чуждой?
Твоя судьба — всю жизнь бродить впотьмах.

Судьбы

Лик отвернув, по воздуху гравюры
ты карты разбросал: теперь судьба их
находится в руках прозрачных ветра!
Сутулый... Кособокая тулья...

Ты вечно одинок под Темным Древом.
Что на кону стоит? Что будет бито —
здесь, перед робкой желтизной пространства,—
твоя душа или же вся земля?

Это

С жезлом, в расшитой мантии, в короне,
обременяющей людскую сущность,
мечты и настроенья,— ты лишь это.
Немая щедрость мраморных палат

для столь невечного уединенья!
Твое лицо плывет от грусти к скорби.
Безлюдье... Только крыса прошуршала
туда, откуда нет пути назад.

Ремесла

Ты кто?.. Топор под мышкою, пила...
Какое ремесло ты изучил?
Есть топоры, и древо жизни есть.
Ножовки часто пилят по живому.

Ты разрушитель, статный лицемер,
приходишь, уходя... Тебе вослед
никто из мертвых окон не глядит,
как ты идешь с пилой к другому дому.

Рай

Гулять, ведя за ручку дочерей,
на воздухе, столь чистом и прозрачном,
что грусть развеет ясностью своей,
в каком бы ни был настроенье мрачном.

Быть там, где бытие — простой пейзаж,
где замыслам сопутствуют удачи,
где кроны девственные, где мираж,—
и все навеки так и не иначе!..

Ожидание

Старуха на террасе — на отшибе
жилья, в конце всего, на кромке круга.
Смешная роскошь — зеркало на ножках
и веер-собеседник, друг досуга.

Кого так ждет опрятная старушка,
так наклонясь, так вглядываясь в сад,
когда ее призыв в безмолвье тонет
и звезды — точно листья в листопад?

Жатва

Военные ученья, испытанье
могущества, визг сеньорит и слава!
Отважные полки и легионы
в полях чеканят шаг — аж звон в ушах!

Чуть впереди полковник одинокий.
Со странными, со смешанными чувствами
мы смотрим на плоды военной жатвы —
прошли, ушли, все вышли, тишь да прах..

Хлебцы, рыба

С разложенной на стылом камне рыбой
и хлебцами в корзине камышовой
торговка дар двойной нам предлагает,
торжественно откинута рука —

пыл жизни и законченная форма
в ее непреходящем постоянстве...
А там — на таинства простолюдинки
свет заревой течет издалека.

Юница

Вся в ленточках и кружеве, а шляпка —
сплошной эфир: вот так идет юница,
как герб отцов, в руке сжимает веер,
гуляет при луне, покинув дом.

Конечно, то, что с нею за калиткой
гуляет верный бобик,— утешенье.
Но после, позже?.. Кто же ей поможет
в ее затем, и дальше, и потом?!

Оратай

То, что под плугом острым,— не земля,
где сеет яства и насущный хлеб
худой оратай этой пустоты,
а вымысел, простертый бесконечно:

пространство нашей памяти — земля
и не земля, хоть и дает плоды.
При всем при том оратай как живой —
все тот же землепашец, что и вечно.

Герольд

К чащобе он спешит, опереженный
старинным эхом собственного рога.
Плащ по ветру — в унылые пространства,
какую весть несет он, как стрела?

Кем послан всадник и кому известье?
Когда бы знать! Но мы и тем довольны,
что видим, как несется через пустошь
стремительный герольд — туда, где мгла.

Воздух

Как робко прикасается пичуга
ко времени — не гнущий ветку вес,
простой напев и чудо из чудес!
Не ветер ли в тебе дрожит упруго,

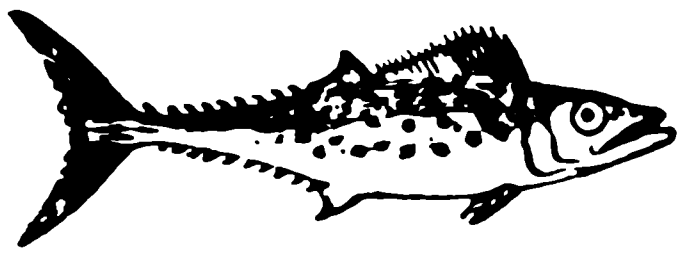
не радость ли, не скорость ли, не свет?
Сторожкое крыло и глаз дичливый.
Ты птица по случайности счастливой.
И вправду, где же ты: была и нет!

И СНОВА ОБРАЗЧИКИ, НА ЭТОТ РАЗ — С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИМЕРАМИ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА ГАВАНЫ

Поношение Карибского моря

Карибский глянец, синие накаты,
улыбчивая злоба и каприз.
Ты дремлешь на изнанке светлой карты,
где хитроумный трудится Улисс.

А здесь, в глубинах сонного провала,
не боги, не сирен игривых скоп —
твое расплывчатое покрывало
ткут челноки зубатых Пенелоп.



Где райских островов великолепье —
земля легенд и грез?.. Карибский край,
мы здесь нашли марионеток, цепи,
стервятников: насмешку, а не рай!

Не благовестье, а былые свары,
не новь, а долгий обморок, не миф,
а ведьмовского шабаша кошмары
и черепа взамен заморских див.

В день урагана, бездны бесноватой,
ты полдень топишь в полуночной мгле,
весь свет сводя к заре подслеповатой,
весь мир сварив в клокочущем котле.

В твоих сквозных и стынущих глубинах
покой нерасторжимый отражен,
конечная ничейность дней пустынных,
слепое зарождение времен.

Погожий летний день с возней, и визгом,
и смехом детворы — простые дни
ее нехитрых игр на солнце низком
и в сказочно причудливой тени,—

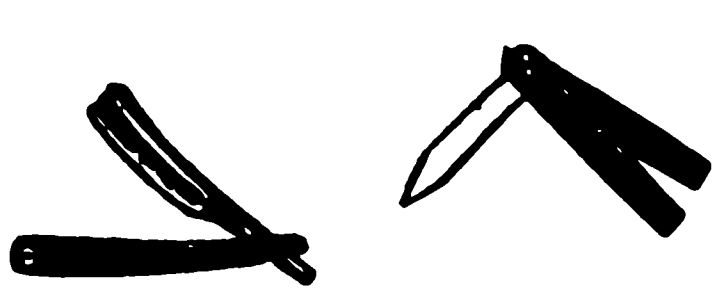
как часто тащит пенный вал слепящий
туда, где смерти свет, где тишина,
где жизнь дрожит своей изнанкой спящей
в соленой пустоте глухого дна!..

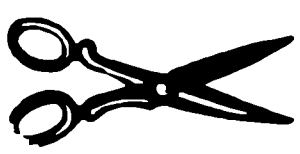
Но дом наш здесь, хоть ты и смотришь зверем.
И в даль глядим мы из-под рукава —
надеемся, шумим, упрямо верим
в росистые чудные острова!

Весь инструмент человека

Вот весь инструмент на свете.
Весь инструмент, который человек сработал,
чтобы лучше утвердиться на свете.

Вот острые бритвы,
которыми каждое утро
бреется время.

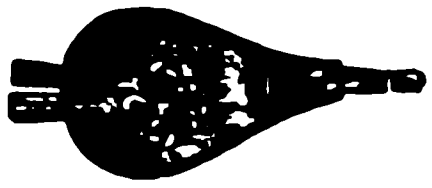




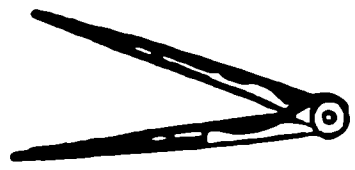
А это ножницы, чтобы резать сукно,
вырезать из бумаги грифонов, цветы и маски,
перерезать все хитросплетенья
и в конечном счете
самое жизнь человека,
ведь жизнь тоньше нитки...

А это ножовки и пилы —
то есть те же ножи,
у которых на лезвии
появились зазубрины,
что и позволило использовать их
как пилы.

Вот ложка — намек на писклявое первое
и шамкающее третье, а в общем —
намек на крайнюю немощность человека.



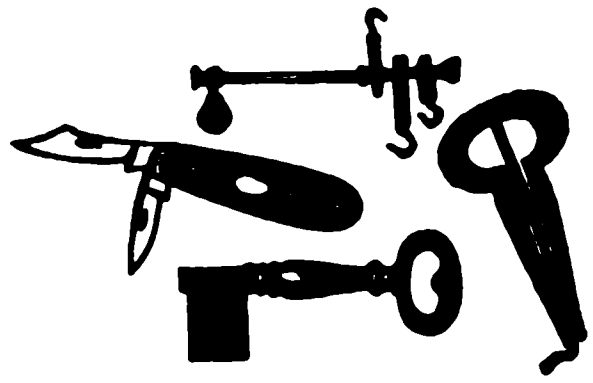
А это мехи, чтобы раздуть пламя,
которое оживит железо,
из которого смастерят топор, с чьей помощью
с плеч долой хитроумная голова человека.



Вот циркуль,
чтобы тютелька в тютельку
вымерить Красоту,
дабы избыток ее не затопил, не разбил, не разъял
скромное сердце в груди человека.

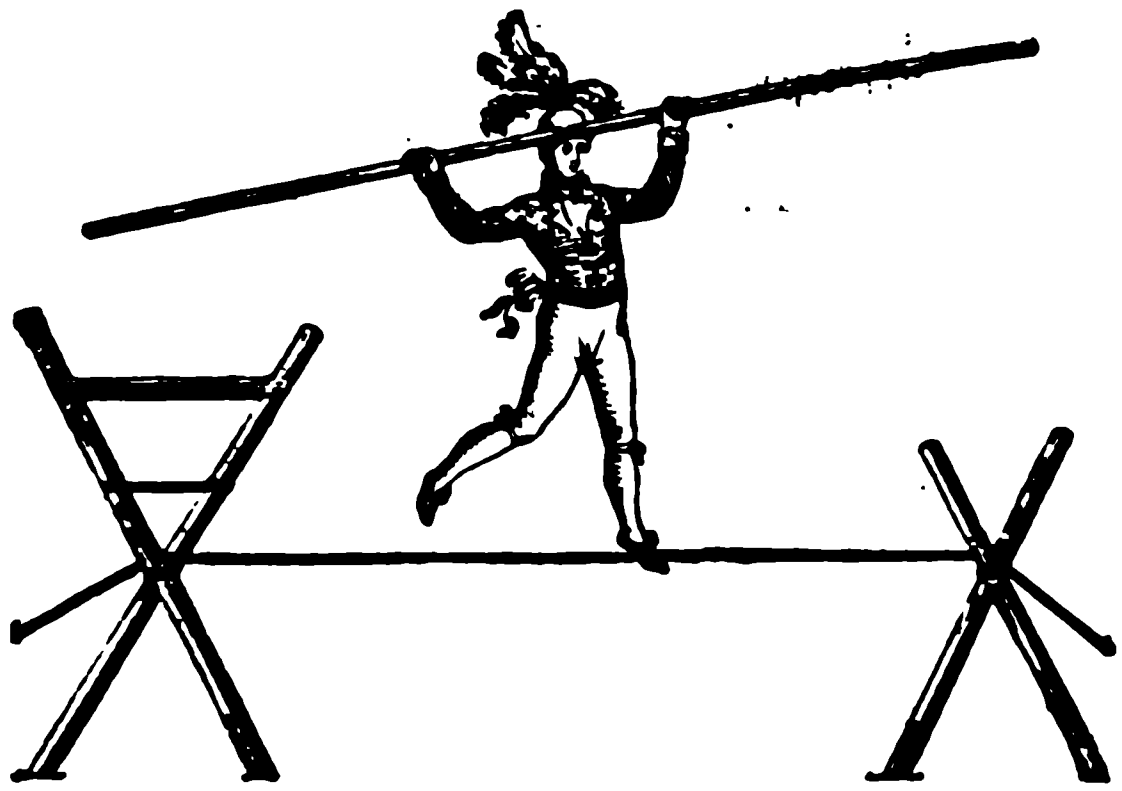
А вот мастерок, с чьей помощью каменщик
скрепляет необходимые материалы,
чтобы быть счастливым
и защититься от разного рода напастей.

А это безмены, ключи,
перочинные ножички и лорнетки
(если только это лорнетки,
что еще не доказано) —
инструмент, который служит лишь для того,
чтобы раз и навсегда
укрепить положение человека.



А это очки, которые надо надеть, чтобы увидеть,
не свершилось ли, наконец, то необходимое,
то долгожданное, то простое и невероятное,
благодаря чему инструмент
перестанет причинять зло человеку.

И, наконец, вот ступа, чтобы из разных кусочков, семян,
порошочков и крошечек приготовить самим себе зелье
на случай, если в конце концов и в свое время
не мытьем так катаньем, так или этак
не научимся укрощать, приручать, использовать
весь инструмент человека.



Рисковые
труды
канатоходца

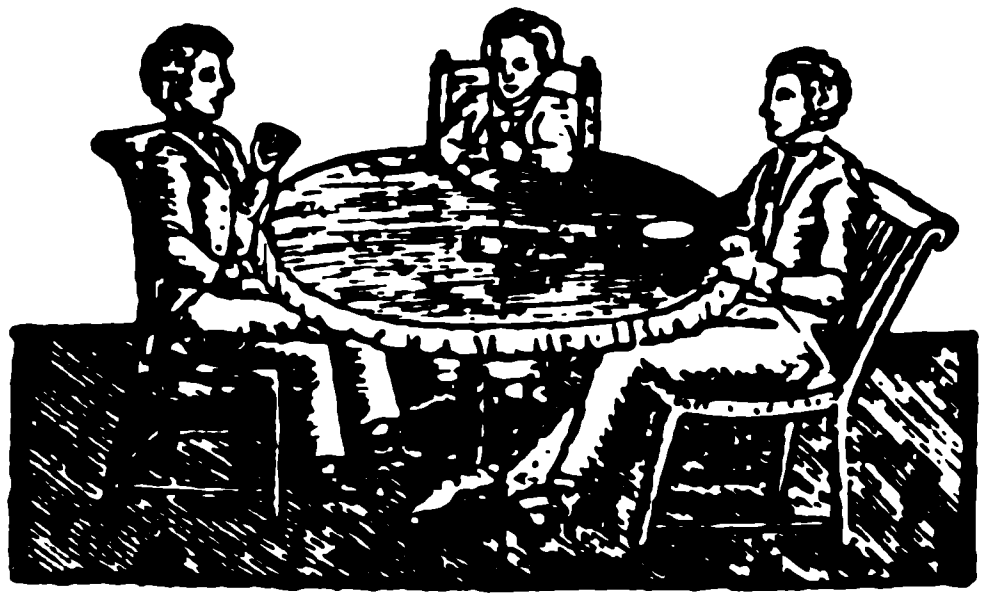
А вот канатоходец — он творит
диковинные чудеса из воздуха!
Плясун канатный — он не то, что мы:
там, где кончается природа воздуха,
его природа только начинается,
здесь выдумка рождает светлый праздник
иного мира, оступись — и смерть,
здесь каждый шаг осмыслен и прекрасен!

«Подумаешь — труды канатоходца!
Его дорога не труднее нашей,
тропинка, и не более того.
Конечно, снизу властно манит пропасть,
но разве эта пропасть не прекрасна:
вся светится сиреневым и желтым,
лиловым, красным, голубым и охрой —
веселые платочки кружевные,
сомбреро, шляпки...»

«Но ведь каждый шаг
настороженного канатоходца
свободно может стать последним шагом,
лишь глазомер и ритм хранят его
от бездны...»

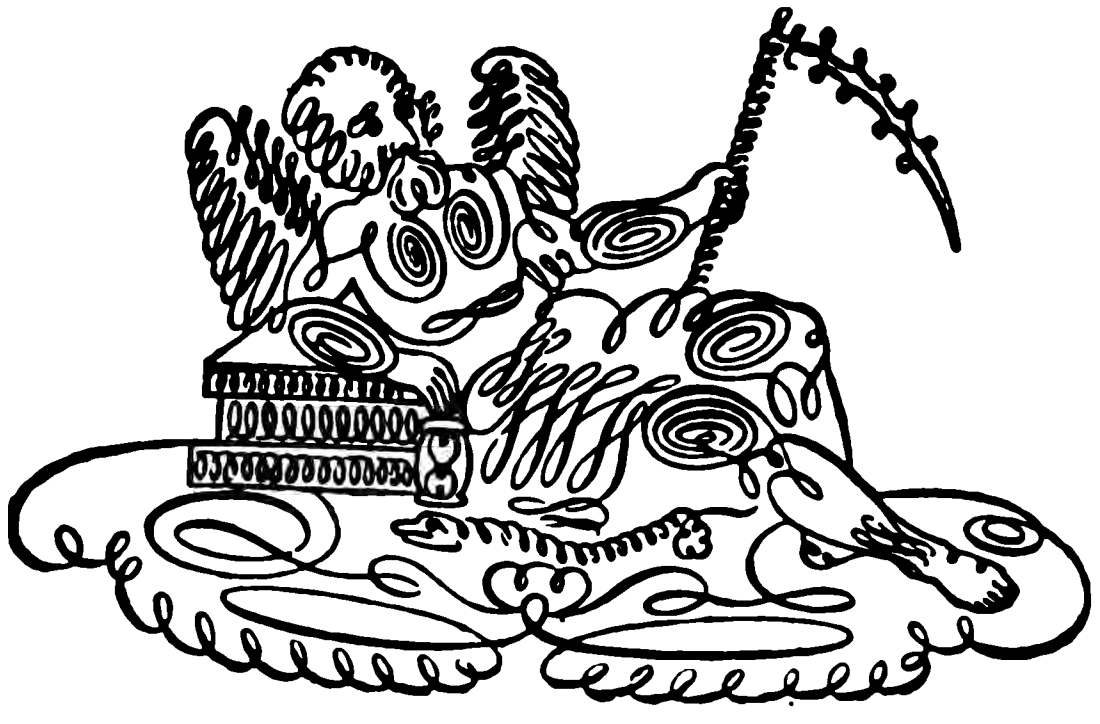
«И рисковая решимость
ступить на то, что не назвать иначе,
как нитью жизни, когда верить можно
лишь в этот краткий миг в твоем движенье
из прошлого в грядущее — все это
не снять со счетов...»

«Все же не пойму —
подобный риск для столь воздушной славы:
бесстрастный воздух весит много больше,
да и барыш не так уж и велик,
чтоб жить по доброй воле в страхе! Нет,
в хожденье по канату есть, наверно,
то, что его за все вознаграждает,
о чем нам всем и невдомек...»
«ВАЛЯЙ!» —
мы говорим артисту, привалившись
к надежной спинке кресла, прирастая
к спасительному полу: покупаем
входной билет, и уж отсюда — дудки!



Игра в карты

Три сеньора за столом играют в карты.
Почему играют в карты три сеньора?
И во что играют в карты три сеньора?
Что за карты?
Что за три сеньора?
Три сеньора, что играют в карты?



Строфы
о времени

Кто из смертных видел Время?
Шаг его бесшумный слышал?
На щеке
ощущал его дыханье?..
В листопаде и в ленивом
ветерке
время прячется волшебно.
Понедельник, следом вторник,
и в окне —
утро, схожее с другими.
Неужели мы все там же —
в том же дне?

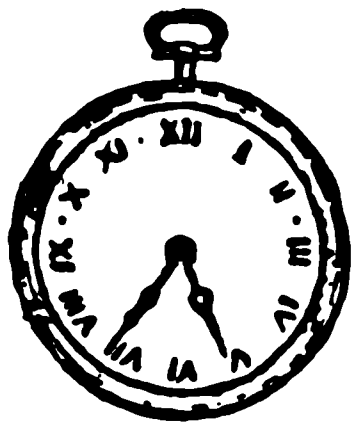
Значит, жизнь не убывает?
И едва наш облик в зеркале
погас —
возникает новый облик?
Кто внутри, а кто снаружи
в этот час?

Первым — юный или старый?
Время — фокусник известный:
старика
юной тенью наделяет!
Погляди, как поступь Времени
легка,

как струится Время в кронах,
оплетает наши письма —
волшебство!
И вовек не разобраться,
чей же это почерк — наш
или его?

Но, узнав его поближе,
каждый смертный удивится
и поймет:
этот недруг — друг наш верный,
он во всем без исключения
живет...

...сдачу нам детьми сдает.



ВОТ И ВЫШЛИ ВСЕ ОБРАЗЧИКИ МИРА, ЧТО И ЕСТЬ КОНЕЦ КНИГИ ЧУДЕС БОЛОНЬИ

А здесь, в цилиндре мага,
я прятался доселе,
любезные зеваки,—
последний в карусели,
где чудеса простые, машинки, корабли...
Я с креслами прощаюсь из-под моей тульи,
уже на их сиденья седая пыль осела —
удел всех в мире донов —
Хосе, и Элисео,
и ваш (прошу прощенья!), и...
всех чудес земли!

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Острова в океане

РОМАН

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

Часть третья

В море

I

Они подходили к длинному белому берегу с кокосовыми пальмами далеко позади. Бухту перегораживал риф, и сильный восточный ветер разбивал о него волны, то и дело открывая проход туда. На берегу не было ни души, а песок был такой белый, что резал глаза своей белизной.

Человек, стоявший на мостике, разглядывал берег. Вон там, казалось бы, должны быть хижины, но никаких хижин не было. Ни хижин, ни лодок в лагуне.

— Ты ведь бывал здесь раньше,— сказал он своему помощнику.

— Да.

— Разве не там должны стоять хижины?

— Там они и были. Деревня и на карте значится.

— А сейчас ее нет как нет,— сказал старший.— Лодок в зарослях тоже не видно?

— Ничего не вижу.

— Придется войти в бухту и стать на якорь,— сказал капитан.— Проход этот я знаю. Здесь раз в восемь глубже, чем кажется.

Он посмотрел вниз, в зеленоватую воду, и увидел на дне большую тень своего судна.

— Хороший грунт есть восточнее того места, где была деревня,— сказал его помощник.

— Знаю. Трави якорь с правого борта. Там я и стану. При таком ветре — он день и ночь дует — насекомых не будет.

— Да, сэр.

Они стали на якорь, и катер, не столь уж большой, чтобы кто-нибудь, кроме владельца, мог назвать его судном, хотя бы мысленно, лег по ветру за рифом, о который разбивались зеленоватые волны с белыми гребешками пены.

Человек, стоявший на мостике, проследил, чтобы его судно свободно и крепко держалось на якоре. Потом он посмотрел на берег и выключил моторы. Он смотрел и смотрел на берег и не мог понять, в чем дело.

— Возьми с собой троих и поглядите, что там случилось,— сказал он.— Я немного посплю. И помните, что вы ученые.

Когда они считались учеными, оружия у них не было видно — в руках мачете, на головах широкополые соломенные шляпы, какие носят

Окончание. Начало в №№ 11, 12 за 1970 г.

багамские ловцы губок. Команда называла их «sombreros cientificos»[1]. Чем больше была шляпа, тем она считалась научнее.

— Кто-то спер мою научную шляпу,— сказал широкоплечий баск с густыми, сросшимися на переносице бровями.— Дайте-ка мне связку гранат во имя науки.

— Возьми мою шляпу,— сказал ему другой баск.— Она в два раза научнее твоей.

— О-го, какая она у тебя научная! — сказал широкоплечий.— Я в этой шляпе что твой Эйнштейн. Томас, можно нам брать образцы породы?

— Нет,— сказал капитан судна.— Антонио знает, что ему делать. А вы глядите там в оба, не хлопайте своими научными буркалами.

— Я пойду искать воду.

— Это позади того места, где была деревня,— сказал капитан.— Проверьте, какая она. Ее надо взять побольше.

— H_2O,— сказал баск.— Вот она, ученость-то. Эй ты, дерьмовый ученый, ты, шляпокрад, дай сюда четыре пятигаллонных бутыли, чтобы нам не зря мотаться.

Второй баск поставил в шлюпку четыре оплетенных бутыли.

Капитан слышал, как они переговариваются между собой.

— Не тычь меня в спину своим дерьмовым научным веслом.

— Это я для пользы науки.

— К такой-то матери науку с ее братцем.

— С ее сестрицей.

— А звать сестрицу Penicilina.

Капитан смотрел, как они гребут к слепяще-белой отмели. Мне самому надо было поехать, подумал он. Но я всю ночь провел на ногах и у штурвала стою уже двенадцать часов. Антонио не хуже меня во всем разберется. Но все-таки, что же там случилось?

Он посмотрел на риф, потом перевел взгляд на берег, потом на чистую воду, которая струилась вдоль борта и закручивалась воронками с подветренной стороны судна. Потом закрыл глаза, повернулся на бок и заснул.

Проснулся он, когда шлюпка подошла к борту, и по лицам людей понял, что дело плохо. Его помощник обливался потом, как с ним всегда бывало, когда случалась какая-нибудь беда или приходили дурные вести. Человек он был сухощавый, и потом его прошибало не часто.

— Кто-то сжег хижины,— сказал он.— Кто-то разделался с людьми, в золе лежат трупы. Отсюда ничего не учуешь, потому что ветер в ту сторону.

— Сколько трупов?

— Мы насчитали девять. А их, может, и больше.

— Мужчины или женщины?

— И те и другие.

— Следы какие-нибудь остались?

— Ничего не осталось. С тех пор прошел дождь. Ливень. Песок все еще рябой.

Широкоплечий баск, которого звали Ара, сказал:

— Они уже с неделю валяются мертвые. Птицы до них еще не добрались, а крабы там уже трудятся.

— Откуда ты знаешь, что они неделю лежат мертвые?

— Точнее трудно сказать,— ответил Ара.— Но неделя, пожалуй, прошла. Судя по следам крабов, дождь шел дня три назад.

— А как вода?

— На вид ничего.

---

[1] Научные шляпы *(исп.)*.

— И вы привезли ее?
— Да.
— Зачем бы им отравлять воду? — сказал Ара.— Запах у нее был хороший, я попробовал и налил в бутыли.
— Не следовало тебе пробовать.
— Запах хороший. Чего это мне опасаться, что она отравлена?
— Кто их убил?
— Откуда нам знать?
— Вы никого не выследили?
— Нет. Мы вернулись сказать тебе. Ты здесь командир.
— Ладно,— сказал Томас Хадсон. Он сошел вниз и пристегнул револьвер к поясу. На другой его стороне висели ножны с ножом, а револьвер всей своей тяжестью лежал у него на бедре. В камбузе он остановился, взял ложку и сунул ее в карман.— Ара и Генри, пойдете со мной на берег. Вилли, ты отвезешь нас и, пока будешь ждать, поищи креветок. Питерс пусть спит.— Помощнику он сказал: — Проверь, пожалуйста, моторы и все баки с горючим.

Вода над белым песчаным дном была прозрачная, чудесная, и сквозь нее он видел каждую бороздку, каждую морщинку на песке. Когда шлюпка села днищем на песчаный нанос, они пошли к берегу по воде, и Томас Хадсон почувствовал, как маленькие рыбешки резвятся у его ног, посмотрел вниз и увидел, что это крохотные помпано. А может, и не помпано, подумал он. Но на вид они точно такие же и ведут себя дружелюбно.

— Генри,— сказал он, когда они вышли на берег.— Ты обойди остров с наветренной стороны до мангровой рощи. Посмотри, нет ли там чьих следов или еще чего-нибудь. Потом вернешься сюда, ко мне. Ара, ты пойдешь в ту сторону, задание у тебя то же самое.

Ему не надо было спрашивать, где лежат трупы. Он увидел следы, которые вели к ним, и услышал, как громыхают крабы в сухом кустарнике. Он посмотрел вдаль на свое судно, на линию прибоя, на Вилли, который сидел в покачивавшейся на волне шлюпке и, перегнувшись через борт, высматривал в оптическую трубу креветок.

Надо — так надо, подумал он, и тогда — чем скорее, тем лучше. Но день этот был явно рассчитан на что-то другое. Странно, что здесь, где это совсем не нужно, прошли обильные дожди, а на нас хоть бы капля упала. Сколько уже времени мы видим, как дожди идут то справа, то слева, а нам ничего не достается.

Дул сильный ветер, дул непрерывно — и днем и ночью вот уже больше пятидесяти суток. Он стал неотделимой частью Томаса Хадсона и не действовал ему на нервы. Ветер подбадривал его, придавал ему силы, и он надеялся, что ветер не утихнет.

Всегда мы ждем чего-то, а оно не идет и не идет, подумал он. Но в ветреные дни ждать проще, чем в штиль или когда начинаются капризные, злобные штормы. Вода где-нибудь да найдется. Ладно, пусть будет сушь. А воду мы всегда найдем. На всех здешних островках есть вода, надо только суметь отыскать ее.

Хватит, сказал он себе. Давай кончай с этим.

Ветер помог ему покончить с этим. Сидя на корточках под спаленными солнцем кустами дикого винограда, он пересыпáл пригоршнями песок, и ветер относил от него запах того, что лежало перед ним. В песке, к своему недоумению, он ничего не обнаружил, но прежде чем идти дальше, осмотрел с наветренной стороны все пространство около сожженных хижин. Он надеялся найти то, чего искал, без лишних усилий. Но тут ничего не было.

Потом, сев на корточки спиной к ветру, то и дело поворачиваясь, и хватая ртом воздух, и задерживая дыхание, он стал ковырять ножом

угольно-черную жижу, которую пожирали крабы. Нож наткнулся
что-то твердое у кости, и он выскреб это ложкой. Потом с ложки скат
на песок, снова стал скрести и ковырять и нашел в останках еще т
Потом повернулся лицом к ветру и вычистил о песок нож и ложку. Э
четыре пули он прихватил вместе с пригоршней песка и, держа в лев
руке нож и ложку, пошел сквозь кусты назад.

Огромный, непристойно белый краб стал на его пути и, попят
шись, поднял вверх свои клешни.

— Ты, мальчуган, туда? — сказал ему Томас Хадсон.— А я отту

Краб удерживал свои позиции, высоко задрав остро распяленн
клешни.

— Ишь, какой ты вымахал,— сказал Томас Хадсон. Он не спе
вдвинул нож в ножны, ложку опустил в карман. Потом пересыпал пес
с четырьмя пулями в левую руку. Правую старательно вытер о штани
Потом взялся за свой потемневший от пота, хорошо смазанный «м
нум-357».— Еще не поздно, есть шанс спастись,— сказал он крабу.
Никто тебя не осуждает. Ты услаждаешь себя как можешь и выпо
няешь свой долг.

Краб не шелохнулся, все так же высоко держа клешни. Он б
очень большой, с добрый фут в ширину, и Томас Хадсон выстрелил е
между глаз, и от краба ничего не осталось.

— Эти «магнумы» теперь трудно получить, потому что ими воо
жили увиливающих от призыва агентов ФБР, которые охотятся за т
кими же увиливающими от призыва молодчиками,— сказал Томас Х
сон.— Но надо же человеку пальнуть кое-когда, иначе и стрелять р
учишься.

Бедняга краб, подумал он. Ведь он же занимался своим дело
Только не надо было ему останавливаться — ползбы себе и ползи.

Он вышел на берег и увидел свое судно, и ровную линию прибоя
Вилли, который бросил якорь и теперь нырял за креветками. Томас Х
сон как следует почистил нож, отскреб и вымыл ложку, а потом вы
все четыре пули. Он держал эти пули на ладони и разглядывал их,
старатель, который промывает песок, отыскивая в лотке золотые к
пинки, и вдруг видит там четыре самородка. Головки у всех четы
пуль были черные. Теперь, когда мяса на них не осталось, был ясно
ден короткий виток нарезки. Это были девятимиллиметровые пу
образца, принятого для шмейссерского автомата.

Он радовался, глядя на них.

Ведь подобрали за собой все гильзы, подумал он. А вот это оста
ли, будто визитные карточки. Теперь мне надо все как следует об
мать. Мы знаем две вещи. Здесь они в живых никого не оставили и л
ки отсюда увели. Вот с этого и начинай, друг мой. У тебя, говорят,
рошо работает голова. Подумай как следует.

Но думать он не стал. Вместо этого он лег на спину, подтянул
вольвер и положил его между ног, а сам стал смотреть на скульпту
которую ветер и песок сработали из топляка. Топляк был серый, исп
ренный песком и стоял, зарывшись нижним концом в мелкий бел
песок. Точно на художественной выставке. Отличный экспонат д
Salon d'Automne[1].

Он слышал рев волн, разбивавшихся о риф, и думал: хорошо
написать это. Он лежал и смотрел в небо, где ничего не было, кро
восточного ветра, а четыре пули покоились у него в застегнутом к
машке для мелочи. Он знал, что в них смысл остатка его жизни,
сейчас не хотел думать об этом, не хотел давать ход практичес
мыслям, которых от него ждали. Буду любоваться вот этим куском

---

[1] Осенний сезон *(франц.)*.

рого дерева, подумал он. Теперь мы знаем, что противник — вот он и что ему не миновать встречи с нами. А нам не миновать встречи с ним. Но до возвращения Ары и Генри думать об этом нет никакой необходимости. Ара обязательно что-нибудь найдет. Что-нибудь должно обнаружиться, а он малый не промах. Отмель может много наврать, но правда обязательно где-нибудь проступит. Он нащупал пули в кармашке шортов, а потом подтянулся на локтях туда, где песок был суше и даже белее, если только такая белизна поддавалась сравнению, и лег, прислонившись головой к серому топляку, с револьвером между ног.

— И давно ты стал моей девушкой? — сказал он револьверу.— Не отвечай,— сказал он револьверу.— Лежи там тихо, смирно, а придет время, ты у меня убьешь кого-нибудь получше этого сухопутного краба.

II

Он лежал, глядя на линию прибоя, и к тому времени, когда Ара и Генри появились на берегу, у него уже почти все было обдумано. Он увидел их, отвел взгляд в сторону и снова стал смотреть на море. Он пытался не думать об этом, пытался ослабить напряжение и не мог. Пока они не подойдут, он будет лежать спокойно, ни о чем таком не думая — только о волнах, разбивающихся о риф. Но времени на это ему не хватило. Они подошли слишком быстро.

— Нашли что-нибудь? — спросил он Ару, который сел под серым топляком. Генри сел рядом с ним.

— Одного нашел. Молодой человек. Убит.

— Факт, немец,— сказал Генри.— В одних шортах, длинноволосый. Блондин, волосы выгоревшие, пегие. Лежит, уткнувшись лицом в песок.

— Его застрелили?

— Да. Выстрелом в поясницу и в затылок,— сказал Ара.— Rematado[1]. Вот пули. Я их отмыл.

— А у меня,— сказал Томас Хадсон,— четыре таких.

— Девятимиллиметровые, для «люгера»? — спросил Генри.— Того же калибра, что и наши тридцать восьмые?

— Эти, с темными головками,— для автомата,— сказал Томас Хадсон.— Благодарю вас, доктор, что вы извлекли их.

— Рад стараться,— сказал Ара.— Та, что в шею, прошла навылет, я ее в песке нашел. Вторую Генри вырезал.

— Вырезал, и ничего,— сказал Генри.— На солнце, на ветру он вроде подсох. Нож будто в пирог вошел. Этот совсем другой, не то что те. Почему его убили, Том?

— Не знаю.

— А как ты думаешь? — спросил Ара.— Зачем они сюда зашли — ремонтироваться?

— Нет. Они свою подлодку бросили.

— Да, правильно,— сказал Ара.— И увели лодки отсюда.

— Но почему же они убили этого матроса? — спросил Генри.— Я, может, непонятливый, за что прошу прощения, Том. Но ты же знаешь, как мне хочется помочь всем, чем могу, и я так рад, что мы наконец-то вошли с ними в соприкосновение.

— Какое там соприкосновение,— сказал Томас Хадсон.— Один только запашок.

— Но, Том, кто же убил матроса и почему его убили?

— Семейные неурядицы,— сказал Томас Хадсон.— Ты видел когда-

[1] Прикончили *(исп.)*.

нибудь, чтобы человека из добрых чувств убивали выстрелом в позв ночник? Но потом кто-то прикончил его выстрелом в затылок, и это бы ло сделано из добрых чувств.

— Может, их было двое? — сказал Ара.

— Гильзы ты нашел?

— Нет,— сказал Ара.— Я искал их там, где им бы следова упасть. Даже если стреляли из пулемета, их бы не выбросило дальш того места, где я искал.

— Тут, наверно, действовал тот же дотошный стервец, который там подобрал гильзы.

— Куда они могли уйти отсюда? — спросил Ара.— Куда они напр вились на лодках?

— К югу, конечно,— сказал Томас.— Ты что, не знаешь, что на с вер им нельзя?

— А мы куда пойдем?

— Я стараюсь разгадать, что у них на уме,— сказал Томас Ха сон.— Только фактов у меня маловато.

— А трупы, а угнанные лодки? — сказал Генри.— Ты все сообра зишь, Том.

— Одно нам известно — оружие, а вот где они бросили свою по лодку и сколько их? Смешай все это и добавь, что вчера ночью мы т и не добились связи с Гуантанамо, да подсчитай все островки к ю отсюда плюс то время, которое уйдет у нас на доставку воды на бор Добавь еще Питерса и готово — подавай кушанье на стол.

— Все будет хорошо, Том.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.— Хорошо — плохо, это в н шем деле близнецы.

— Но ты не сомневаешься, что мы этих немцев найдем?

— Ни минуты! — сказал Томас Хадсон.— А теперь пойди крик Вилли — пусть идет сюда. Антонио надо приниматься за стряпню. Б дем есть сегодня тушеных креветок. Ара, даю тебе три часа, наполни в дой все бочки. Скажи Антонио, чтобы занялся моторами. Я хочу вы отсюда засветло. Больше тебе ничего не попалось на острове? Ни с ней, ни птицы?

— Ничего,— ответил Ара.— Они все забрали.

— Ну что ж, придется им поскорее все это скушать. Кормить ж ность нечем, льда тоже нет. Немцы народ хитрый, они и черепах в время года наловят. Я думаю, мы найдем их в Лобосе. Логично пре положить, что они придут в Лобос. Скажи Вилли, чтобы он доверху з бил ледник ракушками, а воды мы возьмем только до следующе островка.

Он замолчал, обдумывая что-то.

— Нет, виноват. Не то сказал. Воду таскай до заката, а судно выведу отсюда, когда взойдет луна. Три часа мы потеряем, зато пот шесть выгадаем.

— Ты пробовал воду? — спросил Ара.

— Пробовал,— сказал он.— Вода хорошая, чистая. Ты был прав

— Спасибо,— сказал Ара.— Так я пойду позову Вилли. Он у сколько времени ныряет.

— Том, а мне что делать? — спросил Генри.— Остаться с тоб или таскать воду, или, может, еще что?

— Таскай воду, а когда совсем уморишься, ложись спать. Ноч постоишь со мной на мостике.

— Привезти тебе рубашку или свитер? — спросил Генри.

— Пожалуй, рубашку и самое легкое одеяло,— сказал Томас Х сон.— Песок сухой, сейчас можно и на солнце спать. А попозже на ру похолодает.

— Какой тут песочек! Я такого сухого, рассыпчатого в жизни своей не видал.

— Это ветры его взбили за много лет.

— Томми, поймаем мы их?

— Конечно, поймаем,— сказал Томас Хадсон.— Никаких сомнений быть не может.

— Ты уж меня прости за мою дурость,— сказал Генри.

— За твою дурость тебя еще в люльке простили,— сказал Томас Хадсон.— Ты храбрец, Генри, и я тебя люблю и верю тебе. И никакой ты не дурень.

— Ты правда думаешь, что у нас будет бой с ними?

— Наверняка будет. Но ты об этом не думай. Думай о разных разностях. Думай о том, что́ тебе надо делать и что у нас у всех должно быть хорошее настроение, пока не начнется бой. О бое думать буду я.

— Я сделаю все, что от меня требуется,— сказал Генри.— Жалко, этот бой нельзя прорепетировать, тогда я бы еще лучше выполнил свой долг.

Томас Хадсон сказал:

— И так справишься. Нам от этого боя не отвертеться.

— Уж очень долго ждать,— сказал Генри.

— Ждать всегда долго,— сказал ему Томас Хадсон.— Особенно, когда гоняешься за кем-нибудь.

— Ты бы поспал,— сказал Генри.— Ты теперь совсем не спишь.

— Я посплю,— сказал Томас Хадсон.

— А как ты думаешь, Том, где они бросили свою подлодку?— спросил Ара.

— Лодки они увели отсюда и всех здешних поубивали, допустим, неделю назад. Значит, это та самая подлодка, о которой шла речь в Камагуэе. Но пока она еще была на плаву, они добрались на ней сюда. На резиновых лодках в такой ветер не ходят.

— Значит, подлодка затонула где-то недалеко, к востоку отсюда.

— Правильно. И тогда им, голубчикам, пришлось совсем раскрыться,— сказал Томас Хадсон.

— А до дома-то еще далеко,— сказал Генри.

— Теперь еще дальше будет,— сказал Ара.

— Немцы — чудной народ,— сказал Томас Хадсон.— В общем-то они храбрые, некоторые из них вызывают просто восхищение. И вдруг такие вот мерзавцы попадаются.

— Давайте лучше делом займемся,— сказал Ара.— Поговорить можно и ночью, на вахте, чтобы ко сну не клонило. А ты отдохни, Том.

— Тебе надо поспать,— сказал Генри.

— Что отдых, что сон — все едино.

— Нет, неверно,— сказал Ара.— Тебе важно выспаться, Том.

— Что ж, попробую,— сказал Томас Хадсон. Но когда все они уехали, он так и не смог заснуть.

И надо же им было так напакостить здесь, думал он. Ничего, мы все равно их накроем. Здешние люди могли бы только рассказать нам, сколько их, немцев, и как они вооружены. За это, очевидно, и стоило их убить — с немецкой точки зрения. Что, мол, с ними считаться — негры! Но до некоторой степени это выдает их. Если они пошли на такое убийство, значит руководствовались каким-то планом, значит надеялись, что их подберут свои. Опять же этот план мог вызвать разногласия, иначе зачем им было убивать своего же. Впрочем, с ним могли расправиться за что угодно. Может, он повел лодку на погружение, когда она должна была всплыть и пробираться домой.

Ну и что нам дадут мои домыслы? — подумал он. Полагаться на них нельзя. Может, так было, а может — нет. Но если было, значит лод-

ка пошла на погружение в виду берега, и пошла быстро. Следователь с собой они почти ничего не успели взять. Может быть, тот матрос тут ни при чем и зря его убили.

Сколько у них лодок, тоже неизвестно, потому что на двух — трех здешние жители могли уйти за черепахами. Так что тебе остает только ломать голову и обследовать ближайшие островки.

Но что, если они пересекли Старый Багамский пролив и пристали берегам Кубы? Ну, конечно! Как же ты раньше об этом не подума Для них это наилучший выход.

А если так, то из Гаваны они смогут добраться домой на любом панском судне. Правда, в Кингстоне суда проходят проверку. Но р тут наименьший, многим удавалось проскочить это препятствие. А н Питерс, собака! Надо же, радио у него отказало! ПСО, подумал Пункт Связи Отказал. Нам дали большой передатчик, а он с этим к савцем не справился. Как он его запорол, понятия не имею. Но вче в наш час ему не удалось связаться с Гуантанамо, а если и сегод ночью ничего не выйдет, тогда мы сядем в калошу. А, к черту! — под мал он. Калоша еще ничего, есть места и похуже. Спи, сказал он се Это самое толковое, что ты можешь сделать сейчас.

Он поерзал плечами, укладываясь на песке, и заснул под рев во разбивавшихся о риф.

III

Томас Хадсон спал, и ему снилось, что сын его Том не убит, и два других мальчика живы и здоровы, и что война окончилась. Е снилось, что мать Тома спит вместе с ним, навалившись на него во как это часто бывало. Он всем телом ощущал ее тело, ногами ее ног грудью ее грудь и губами ее сонно ищущие губы. Шелковистая масса волос накрыла ему глаза и щеки, и он отвел свои губы от ее губ, и хватил прядь волос в рот, и не выпускал. Потом, не просыпаясь, он на пал револьвер на поясе и сдвинул его в сторону, чтобы не мешал. том затих под тяжестью ее тела, медленно и ритмично покачиваясь сте с ней, чувствуя на лице шелковистую завесу ее волос.

Было это, когда Генри накрыл его с головой легким одеялом и мас Хадсон пробормотал во сне:

«Спасибо тебе, что ты такая ласковая и теплая и что так тесно жимаешься ко мне. Спасибо, что ты так скоро вернулась и что ты слишком худа».

— Эх, бедняга,— сказал Генри, заботливо оправляя одеяло. По он подхватил две пятигаллонные оплетенные бутыли, взвалил их плечи и ушел.

«А я думала, тебе хочется, чтобы я похудела, Том,— сказала ж щина во сне.— Ты говорил, что когда я худею, то становлюсь похожа молодого козленка, а лучше молодого козленка ничего и вообраз нельзя».

«Ах ты,— сказал он.— Ну, кто кого будет любить, ты меня ил тебя?»

«Оба вместе,— сказала она.— Если ты не возражаешь, конечно».

«Люби ты меня,— сказал он.— Я очень устал».

«Ты просто лентяй,— сказала она.— Дай-ка я сниму с тебя этот вольвер и положу рядом. А то он все время мешает».

«Положи его на пол,— сказал он.— И пусть все будет так, как до но быть».

Когда все уже было так, как должно быть, она сказала:

«Ты хочешь, чтобы я была тобой или ты мной?»

«Тебе право выбора».

«Я буду тобой».

«Я тобой быть не сумею. Но попробовать можно».

«Попробуй — смеха ради. Главное, не старайся беречь себя. Старайся все отдать и все взять тоже».

«Ладно».

«Ну как, получается?»

«Да,— сказал он.— И это чудесно».

«Вот теперь понимаешь, что мы чувствуем?»

«Да,— сказал он.— Да, понимаю. Отдавать не так трудно».

«Только отдавать нужно все-все. А ты рад, что я вернула тебе мальчиков и что по ночам я прихожу к тебе прежней чертовкой?»

«Да. Я рад и счастлив, а теперь откинь волосы с моего лица, и дай мне твои губы, и обними меня так крепко, чтобы нельзя было дышать».

«Сейчас. А ты — меня, хорошо?»

Проснувшись, он нащупал рукой одеяло и не сразу понял, что все это только привиделось ему во сне. Он повернулся на бок, и боль от вдавившейся в бедро кобуры револьвера возвратила его к действительности, но внутри теперь было еще более пусто — приснившийся сон оставил новую пустоту. Постепенно он разглядел, что еще светло, разглядел шлюпку, которая везла на судно пресную воду, разглядел белую пену мерно ударяющих в риф бурунов. Он лег на другой бок, подоткнул под себя одеяло и, положив голову на руки, заснул опять. Он спал без просыпу, пока его не разбудили к началу вахты, и больше уже не видел никаких снов.

IV

Он простоял за штурвалом всю ночь, и вместе с ним до полуночи нес вахту Ара, а потом Генри. Волны били им в борт, и править при такой качке было нелегко — похоже на спуск верхом с крутой горы, думал он. Едешь все время вниз и вниз, а иной раз вильнешь поперек склона. Только море — это не одна, а много гор, оно как пересеченная местность.

— Говори со мной,— сказал он Аре.

— О чем говорить, Том?

— О чем угодно.

— Питерс опять не смог поймать Гуантанамо. Он эту штуку совсем доконал. Новую, большую.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон, стараясь спускаться с горы как можно тише, чтобы судно не так качало.— Он там пережег что-то и не может починить.

— Но он слушает,— сказал Ара.— И Вилли с ним — следит, чтобы он не заснул.

— А кто следит, чтобы не заснул Вилли?

— Вилли-то не заснет,— сказал Ара.— Он такой же бессонный, как и ты.

— А ты сам?

— Я всю ночь могу не ложиться, если надо. Хочешь, передай мне штурвал.

— Нет. Мне тогда нечего будет делать.

— Очень тебе скверно, Том, а?

— Не знаю. Как скверно может быть человеку?

— Ведь все равно не поможет,— сказал Ара.— Принести тебе бурдюк с вином?

— Нет. Принеси лучше бутылку холодного чая да проверь, как там Питерс и Вилли Все вообще проверь.

Ара ушел, и Томас Хадсон остался один с ночью и морем, и по-преж-

нему это было как езда по сильно пересеченной местности на лошади, прибавлявшей ходу, когда дорога шла под уклон.

На мостик поднялся Генри с бутылкой холодного чая в руках.

— Как идем?— спросил он.

— Идем — лучше не надо.

— Питерс по старой рации установил связь с полицией Майами. Со всеми патрульными машинами. Вилли рвется поговорить с ними сам. Но я сказал, что нельзя.

— Правильно сделал.

— Питерс говорит, по УКВ что-то вроде бурчали по-немецки, но это, наверно, далеко отсюда — там, где у них база.

— Тогда бы он ничего не услышал.

— Забавная сегодня ночка, Том.

— Не такая уж забавная, как тебе кажется.

— Ну, не знаю. Скажи мне курс, и я стану к штурвалу, а ты ступай вниз.

— Питерс сделал запись в журнале?

— Само собой.

— Скажи Хуану, пусть определит наши координаты и сообщит мне, а Питерс пусть занесет все в журнал. Когда, говоришь, эти сучьи дети бурчали?

— Когда я поднялся наверх.

— Скажи Хуану, пусть не копается и чтобы все было занесено в журнал.

— Слушаю, Том.

— Как там прочие чудики?

— Спят все. И Хиль тоже спит.

— Ну, давай живей к Питерсу, пусть отметит наши координаты в журнале.

— Тебе это так нужно?

— Я-то знаю, где мы находимся. Слишком хорошо, черт дери, знаю.

— Ладно, Том,— сказал Генри.— Постарайся все-таки быть поспокойнее.

Генри вернулся на мостик, но Тому разговаривать не хотелось, и Генри молча стоял с ним рядом, пошире расставив ноги для упора. Час спустя он сказал:

— Вижу маяк, Том. По правому борту, примерно на двадцать градусов в сторону от нашего курса.

— Правильно.

Когда они уже были на траверзе светящейся точки, он развернул судно и поставил его кормой к открытому морю.

— Теперь пойдет резво, конюшня близко,— сказал он Генри.— Мы входим в протоку. Разбуди Хуана, пусть тоже поднимется сюда, а сам держи глаза нараспашку. Ты поздно заметил маяк.

— Виноват, Том. Может, нести теперь вахту вчетвером?

— Пока не рассвело, не нужно,— сказал Томас Хадсон.— А там я тебе дам команду.

Может быть, они проскочили над отмелью, думал Томас Хадсон. Только едва ли. Ночью они бы не решились на такое, а в дневное время подводники побоятся отмели. Скорей всего они теперь развернутся там же, где развернулся я. А потом пойдут себе потихоньку протокой так же, как мы собираемся сделать, и облюбуют самый высокий выступ кубинского побережья. От портов им лучше держаться подальше, так что они просто будут идти по ветру. Конфитес постараются обойти стороной,— там радиостанция, и это им хорошо известно. Но запасы продовольствия надо пополнять и запасы пресной воды тоже. Самое разумное для них было бы подойти поближе к Гаване, высадиться где-нибудь близ Баку-

ранао и уже оттуда пробираться куда нужно. Я пошлю радиограмму из Конфитеса. Указаний спрашивать не буду. А то, если полковника нет на месте, нас это задержит. Просто сообщу то, что есть, и как думаю действовать. Пусть принимают свои меры. А Гуантанамо будет принимать свои, а Камагуэй — свои, а Ла-Фэ — свои, а ФБР — свои; глядишь, через неделю что-нибудь получится.

К черту, подумал он. Я сам до них доберусь за эту неделю. Придется же им остановиться, чтобы набрать воды и сготовить пищу, а то там вся живность околеет с голоду. Скорей всего они будут плыть по ночам, а в дневное время постараются не двигаться. Так логика подсказывает. Так я сам поступил бы на их месте. Попробуй-ка влезть в шкуру интеллигентного немца — командира подводной лодки, как бы ты справился со всеми его заботами?

Забот у него хватит, думал Томас Хадсон. И самая большая забота — это мы, о чем он и не подозревает. Ничего опасного он в нас не видит. Так, безобидные людишки на катере.

Ты только не разжигай в себе кровожадность, подумал он. Ничего и никого ты этим не вернешь. Шевели мозгами и радуйся, что у тебя есть какое-то дело и есть в этом деле хорошие помощники.

— Хуан,— сказал он.— Что видишь, друг?

— Один хреновый океан кругом.

— А прочие джентльмены, кто что видит?

— Ни хрена,— сказал Хиль.

— Мой хреновый желудок видит кофе. Но до него еще далеко,— сказал Ара.

— Вижу землю,— вдруг сказал Генри. Он ее только что заметил — квадратное пятнышко над горизонтом, будто кто-то приложил к постепенно светлевшему небу большой палец, запачканный чернилами.

— Это мыс за Романо,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо, Генри. Вот что, чудики, вы теперь ступайте пить кофе, а сюда пришлите другую четверку удальцов — им предстоит увидеть много удивительного и занятного.

— Тебе принести кофе, Том?— спросил Ара.

— Нет. Я лучше чаю выпью, когда вы заварите свежий.

— Мы не так давно заступили на вахту, Том,— сказал Хиль.— Нам еще рано сменяться.

— Ладно, ладно, идите пить кофе, дайте и другим удальцам возможность прославить себя.

— Том, ты вроде говорил, что фрицы, наверно, в Лобосе.

— Да. Но теперь я думаю иначе.

Они ушли вниз, а на смену им поднялась новая четверка.

— Джентльмены,— сказал Томас Хадсон.— Прошу вас поделить между собой страны света. Что, кофе есть внизу?

— Сколько душе угодно,— сказал его помощник.— И чаю тоже. И моторы в полной исправности, и воды мы зачерпнули совсем немного для такой волны.

— Как там Питерс?

— Ночью пил виски из собственной бутылки. Из той, что с ягненком на этикетке. Но спать не спал. Вилли тоже прикладывался к его бутылке и не давал ему заснуть.

— В Конфитесе заправимся горючим и по части продовольствия кое-чем разживемся.

— Погрузка много времени не займет, но я успею зарезать свинью и ошпарить ее,— сказал помощник.— Дам радистам со станции четверть туши, они мне помогут управиться, а разделывать буду уже на ходу. А ты поспи, пока мы будем грузиться. Хочешь, я тебя сейчас сменю?

— Нет. Мне нужно будет послать из Конфитеса три радиограммы, а потом вы будете грузиться, а я буду спать. А после Конфитеса возобновим погоню.

— По дороге в порт?

— А что? Может, мы их и потеряем на какое-то время. Но уйти они от нас все равно не уйдут. Ладно, об этом еще успеется. Как ребята?

— Ты же их знаешь. Об этом тоже еще успеется. Возьми круче к берегу, Том. Течение благоприятное, и это сократит нам путь.

— Мы много потеряли из-за качки?

— Да нет, не особенно Но вообще нам досталось,— сказал помощник.

— Yo lo creo,— сказал Томас Хадсон.— Верю.

— Кроме этой подлодки, здесь в окрестностях ничего не должно быть. Наверно, это та, которую сочли потопленной. Шла она из Ла Гуайры, так что они могут быть и у Кингстона и всюду, где есть горючее. И с базой, наверно, держат связь.

— Они могут и здесь показаться.

— Да, за грехи наши.

— И за свои собственные.

— Ничего, мы будем действовать осторожно и с умом.

— Скорей бы начать,— сказал Томас Хадсон.

— Задержки до сих пор не было.

— Для меня все разворачивается слишком медленно.

— Ладно,— сказал помощник.— Ты только ухитрись поспать в Конфитесе, а там, увидишь, все пойдет быстрее быстрого.

V

Впереди уже виднелась площадка наблюдательной вышки острова и высокая сигнальная мачта. И то и другое было покрашено белой краской и раньше всего бросалось в глаза. Потом Томас Хадсон увидел приземистые радиомачты и ржавый остов выброшенного на камни судна, заслонявший домик, где помещалась радиостанция. Конфитес не слишком живописно выглядел с этой стороны.

Восходящее солнце светило Томасу Хадсону в спину, и ему нетрудно было найти между рифами проход пошире, а потом, лавируя среди мелей и коралловых островков, вывести судно к удобному для причала месту. Песчаный пляж полумесяцем огибал защищенную от ветра бухту, а дальше земля на острове была покрыта пересохшей травой, и только с наветренной стороны громоздились большие плоские камни. Глядя в зеленую воду, сквозь которую просвечивало песчаное дно, Томас Хадсон прошел по самому центру бухты и стал на якорь, почти ткнувшись носом в береговой песок. Солнце уже взошло, над радиостанцией и служебными пристройками развевался кубинский флаг. Сигнальная мачта торчала голая, обдуваемая ветром. Кругом не было ни души, только флаг, новенький, чистый и яркий, хлопал на ветру.

— Вероятно, прибыла смена,— сказал Томас Хадсон.— Когда мы последний раз уходили отсюда, флаг был как линялая тряпка.

Он огляделся по сторонам; бочки с горючим стояли там, где он их оставил, а на том месте, где он велел закопать предназначенные для него бруски льда, высились песчаные холмики. Они были похожи на свежие могилы, и над ними носились чернокрылые чайки — крачки, гнездившиеся среди камней с наветренной стороны острова. Впрочем, в сухой траве на подветренной стороне тоже попадались их гнезда. Сейчас они носились взад и вперед, то по ветру, то наперерез ветру, то

ныряя вниз, к траве и камням, и оглашая воздух тоскливыми, жалобными криками.

Кто-нибудь, наверно, охотится за яйцами к завтраку, подумал Томас Хадсон. Тут из камбуза донесся запах жареной ветчины, и он, подойдя к краю мостика, крикнул, чтобы завтрак ему принесли сюда, наверх. Он внимательно оглядывал остров. А вдруг они здесь, думал он. Вдруг они захватили Конфитес.

Но в эту минуту на дорожке, спускавшейся от радиостанции к берегу, показался человек в шортах, и Томас Хадсон узнал лейтенанта. Он сильно загорел, не стригся месяца три и, увидев Томаса Хадсона, весело закричал:

— Как плавалось?

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Идите сюда, пивом угостим.

— Потом,— сказал лейтенант.— Лед, и пиво, и продовольствие для вас доставили два дня назад. Лед мы закопали в песок. Остальное там, в доме.

— Какие новости?

— Дней десять назад самолеты вроде бы потопили одну подлодку в районе Гуинчоса. Но это было еще до вашего выхода в рейс.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Это было две недели тому назад. Или речь не о той?

— О той самой.

— Еще какие новости?

— Позавчера другая подлодка сбила дозорный аэростат в районе Кайо Соля.

— Это точно?

— Пока только по слухам. Ну, и потом ваша свинья.

— А что со свиньей?

— Как раз в этот день доставили для вас живую свинью, а она назавтра уплыла в море и утонула. А мы еще кормили ее целые сутки.

— Qué puerco más suicido,[1] — сказал Томас Хадсон.

Лейтенант расхохотался. У него было веселое лицо, смуглое от загара, и он был далеко не глуп. Если он валял дурака, так только для собственного развлечения. Ему был дан приказ оказывать всяческое содействие Томасу Хадсону и ни о чем его не спрашивать. Томасу Хадсону был дан приказ воспользоваться радиостанцией и ни о чем не рассказывать.

— Других новостей нет? — спросил он.— Не заходили сюда лодки багамских ловцов губок или ловцов черепах?

— А что им здесь делать? У них там и губок и черепах сколько угодно. Хотя на прошлой неделе мы тут видели две шхуны ловцов черепах. Они обогнули мыс и, видно, хотели зайти в бухту, но передумали и пошли на Кайо Крус.

— Интересно, что им тут нужно было.

— Не знаю. Вы, скажем, курсируете в здешних водах с научными целями. А вот зачем ловцам черепах бросать самые черепашьи места и приплывать сюда — непонятно.

— Сколько там было человек?

— Мы только видели тех, кто стоял у руля. На обеих шхунах были устроены вроде бы шалаши из пальмовых ветвей. Может быть, черепахам нужна тень.

— А рулевые были белые или негры?

— Белые, но загорелые дочерна.

— Никаких названий или номеров не было на борту?

— Может, и были, но на таком расстоянии ничего нельзя было

---

[1] Свинья-самоубийца *(исп.)*.

разобрать. Я объявил на острове угрожаемое положение, однако за двое суток ничего решительно не произошло.

— Когда именно они здесь проходили?

— За день до получения ваших припасов, и вашего льда, и вашей свиньи-самоубийцы. Через одиннадцать дней после потопления вашей авиацией той подлодки. За три дня до того, как вы сами пожаловали сюда. А что, это были ваши знакомые?

— Вы о них сообщили, конечно?

— Разумеется. И не получил никакого ответа.

— Мне нужно отправить три радиограммы, можно будет?

— Конечно. Пришлите только гексты на станцию, и все немедленно передадут

— Сейчас мы начнем грузить лед и горючее и переносить на катер продукты. Может, там есть что-нибудь, что пригодилось бы вам?

— Не знаю. Там был приложен список. Я расписался в получении, но написано было по-английски, так что прочесть я не мог.

— А кур или индеек не прислали?

— Прислали,— сказал лейтенант.— Я их отложил особо, хотел сделать вам сюрприз.

— Этим мы с вами поделимся,— сказал Томас Хадсон.— И пивом поделимся тоже.

— Хотите, мои люди помогут вам грузить бензин и лед?

— Отлично. Большое спасибо. Я бы хотел часа через два уже сняться с якоря.

— Понятно. Нас, как видите, опять не сменили. Обещают через месяц.

— Еще через месяц?

— Да.

— А как ваши люди, не ропщут?

— У меня тут почти все — штрафники.

— Большое спасибо за помощь. Весь ученый мир вам благодарен.

— И Гуантанамо тоже?

— Гуантанамо — Афины современной науки.

— Мне кажется, эти шхуны прятались где-то неподалеку отсюда.

— Мне тоже так кажется,— сказал Томас Хадсон.

— Шалаши были из ветвей кокосовой пальмы, еще совсем зеленых.

— Скажите мне все, что вы еще знаете.

— А я больше ничего и не знаю. Давайте ваши радиограммы. Я не хочу подниматься к вам на борт, чтобы не мешать и не отнимать у вас времени.

— Если в наше отсутствие пришлют что-нибудь скоропортящееся, пожалуйста, возьмите себе.

— Спасибо. Такая досада, что ваша свинья утопилась в море.

— Ничего,— сказал Томас Хадсон.— У каждого из нас свои заботы.

— Я скажу своим людям, чтобы они на борт не поднимались, пусть только помогут перенести все.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Так вы ничего больше не можете вспомнить о тех шхунах?

— Они были такие, как все шхуны ловцов черепах. Обе совершенно одинаковые. Как будто один мастер их строил. Они обогнули риф и уже разворачивались для входа в бухту. А потом повернули по ветру и пошли на Кайо Крус.

— По эту сторону рифа?

— Шли по эту, пока не скрылись из виду.

— А что вы такое говорили про подлодку в районе Кайо Соля?

— Она всплыла и снарядом сбила дозорный аэростат.

— На вашем месте я бы не отменял угрожаемого положения.

— А я и не отменял его,— сказал лейтенант.— Оттого-то вы и не видели никого на берегу.

— Я видел птиц, которые летают кругом.

— Бедные птицы,— сказал лейтенант.

VI

Они шли фордевиндом, держа курс на запад, огибая риф с обращенной к острову стороны. Горючее в баки было залито, ледник набит льдом, и в камбузе дежурная смена ощипывала и потрошила кур. Другая смена была занята чисткой оружия. Мостик затянули брезентом до половины человеческого роста, на борту укрепили две длинные доски, огромными буквами вещавшие о научных целях экспедиции. Заглядывая за борт, чтобы проверить глубину, Томас Хадсон видел, как на вспененную катером воду летят и ложатся куриные перья.

— Держи как можно ближе к берегу, только так, чтобы не наскочить на мель,— сказал он Аре.— Ты же эти места знаешь.

— Знаю, что это довольно рискованно,— сказал Ара.— Где мы должны стать на якорь?

— Я хочу пошарить немного вокруг Кайо Круса.

— Пошарить можно, только это вряд ли что-нибудь даст. Не думаешь же ты, что они так и торчат там.

— Нет. Но, может, их видели местные рыбаки. Или угольщики.

— Хоть бы этот ветер улегся,— сказал Ара.— Денька два-три мертвого штиля — вот бы нам что нужно.

— За Романо штиля не жди.

— Знаю. Но здесь ветер дует прямо как в горном ущелье. Если он не уляжется, нечего и рассчитывать на удачу.

— До сих пор все у нас шло как надо,— сказал Томас Хадсон.— Может, еще повезет. Вдруг они захватили радиостанцию в Лобосе и оттуда радировали, чтобы другая подлодка пришла им на выручку?

— Значит, они не знали, что другая подлодка уже там.

— Наверное даже За десять дней они могли далеко уйти.

— Если хотели,— сказал Ара.— Ладно, Том, хватит рассуждать. У меня от рассуждений голова болит. Лучше уж возиться с горючим. Ты все рассуди сам, а мне давай команду, как держать.

— Держи прежним курсом, только помни об этой окаянной Минерве. Не налететь бы там на подводный риф.

— Ладно.

Может быть, от удара у нее радио вышло из строя, думал Томас Хадсон. Но ведь наверняка там была запасная установка для таких случаев. Однако Питерсу ни разу не удалось поймать ее по УКВ после того, как ее подбили. И все-таки это ничего не доказывает. Ничто ничего не доказывает; достоверно только одно: три дня назад две шхуны прошли здесь тем курсом, которым сейчас идем мы. Спросил я его, были ли у них шлюпки на палубе? Нет, забыл. Но, наверно, были, ведь он же сказал, что это обыкновенные шхуны, на каких ходят ловцы черепах, если не считать шалашей из пальмовых листьев.

Сколько людей? Неизвестно. Есть ли раненые? Неизвестно. Какое оружие? Известно только, что есть один автомат. Куда направляются? Туда же, куда и мы за ними,— пока что.

Может быть, удастся обнаружить что-нибудь между Кайо Крусом и Мéгано, думал он. Стаи птиц — вот и все, что ты обнаружишь, наверно, да еще следы игуан на песке, где они пробирались к воде.

Ну, хотя бы это тебе поможет не думать о другом. О чем другом? Нет больше ничего другого, и думать тебе не о чем. Как это не о чем? Ты должен думать об этом судне, и о людях на нем, и о тех сволочах,

за которыми ты охотишься. А кончишь тут — вернешься к своим зверям, и съездишь в город, чтобы там напиться в дым, так, чтобы тебя потом приволокли замертво, и переспишь с кем придется, а там — проспишься и будешь готов начинать все сначала.

Может быть, на этот раз тебе удастся изловить этих сволочей. Не ты уничтожил их подводную лодку, но ты был немного причастен к ее уничтожению. И если тебе удастся выследить ее экипаж, ты этим принесешь немалую пользу.

Так почему же тебе все это вроде бы ни к чему? — спросил он себя. Почему ты не видишь в них убийц и не испытываешь тех праведных чувств, которые должен испытывать? Почему просто скачешь и скачешь вперед, точно лошадь, потерявшая наездника, но не сошедшая с круга? Потому что все мы убийцы, сказал он себе. Все, и на этой стороне и на той, если только мы исправно делаем свое дело, и ни к чему хорошему это не приведет.

Но ты все-таки должен это делать, сказал он себе. Да, конечно. Но гордиться этим я не должен. Я только должен это делать хорошо. Я не нанимался получать от этого удовольствие. Ты и вообще не нанимался, сказал он себе. И тем хуже.

— Пусти, Ара, я сам буду править,— сказал он.

Ара передал ему штурвал.

— А ты продолжай наблюдение по правому борту. Смотри только, чтобы солнце не слепило тебе глаза.

— Сейчас схожу за биноклем. Слушай, Том. Почему ты не хочешь, чтобы я правил и чтобы вахту несли сразу четверо? Ты же очень устал, даже на остановке у острова не дал себе отдохнуть.

— Четверым сейчас на вахте делать нечего. Это понадобится позже.

— Но ты же устал, Том.

— Мне не хочется спать. Понимаешь, если они идут ночами и близко к берегу, без поломки у них не обойдется. Тогда они вынуждены будут пристать, чтобы исправить повреждение, и тут-то мы их и настигнем.

— Это не причина, чтобы тебе не знать ни сна, ни отдыха, Том.

— Я этим делом занимаюсь не для форсу,— сказал Томас Хадсон.

— Никто никогда так и не думал.

— Слушай, Ара, что ты чувствуешь к этим сволочам?

— Просто думаю: вот мы доберемся до них, перестреляем сколько нужно будет, а остальных захватим с собой.

— Ну, а бойня, которую они устроили?

— Не хочу сказать, что мы на их месте поступили бы так же. Но им это, видно, казалось необходимым. Не ради удовольствия же они это сделали.

— А свой, которого они убили?

— Генри несколько раз готов был убить Питерса. Мне самому иногда хочется его убить.

— Да, такое бывает,— согласился Томас Хадсон.

— Я просто не думаю обо всем этом, вот оно меня и не беспокоит. А ты вместо того, чтобы изводить себя беспокойными мыслями, лег бы и почитал. Раньше ведь ты всегда так делал.

— Сегодня я буду спать. Вот станем на якорь, я почитаю и усну. У нас есть в запасе четыре выигранных дня, хоть оно и незаметно. Теперь от нас требуется только одно: искать как следует.

— Рано или поздно они попадут к нам в руки — а не к нам, так к другим,— сказал Ара.— Не все ли равно? У нас есть своя гордость, но это гордость особая, с которой люди понятия не имеют.

— Да, я и забыл,— сказал Томас Хадсон.

— Это гордость без тщеславия,— продолжал Ара.— Дерьмо ей брат, неудача — сестра, а со смертью она в законном браке.

— Велика должна быть сила такой гордости.

— Очень велика,— сказал Ара.— Ты о ней не забывай, Том, и не изводи себя попусту. У нас тут у всех эта гордость есть, даже у Питерса. Хоть я и не люблю Питерса.

— Спасибо тебе за твои слова,— сказал Томас Хадсон.— Мне иногда, правда, до того невтерпеж становится, думаешь, хрен с ним со всем.

— Том,— сказал Ара.— У человека только и есть, что гордость. Бывает, ее у него слишком уж много, и тогда это грех. Ради гордости все мы иногда делаем то, что кажется невозможным. А мы идем на это. Но нужно, чтобы гордость была подкреплена разумом и осмотрительностью. Тебе сейчас этого недостает, и я прошу тебя: будь осмотрителен. Ради нас и ради судна.

— Кого это нас?

— Всех нас.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Крикни, чтоб тебе принесли твой бинокль.

— Том, пойми меня.

— Я понял. И очень благодарен тебе. Я сегодня на совесть поужинаю и буду спать сном невинного младенца.

Аре не стало смешно от этих слов, а он всегда думал, что смешное должно быть смешным.

— Постарайся, Том,— сказал он.

VII

Они бросили якорь с подветренной стороны Кайо Круса в бухте между двумя островами.

— Забросим-ка еще другой якорь, раз уж будем здесь стоять,— крикнул Томас Хадсон своему помощнику.— Не нравится мне здешний грунт.

Помощник пожал плечами и наклонился над вторым якорем, а Томас Хадсон подал судно немного вперед, против течения, глядя, как травянистый берег медленно скользит мимо борта, а потом дал задний ход и выждал, пока второй якорь не зарылся как следует в песок. Судно теперь стояло носом к ветру, а зыбь отлива бежала мимо. Даже в этом укрытом месте ветер был довольно силен, и Томас Хадсон понимал, что, когда отлив сменится приливом, судно повернет бортом к волне.

— Ну и черт с ним,— сказал он.— Пусть его покачает.

Но помощник тем временем опустил шлюпку, и сейчас они уже травили кормовой якорь. Томас Хадсон увидел, что этот якорь, маленький «дэнфорт», был сброшен с таким расчетом, чтобы удержать катер носом к ветру, когда начнется прилив.

— Уж привесили бы заодно еще парочку,— крикнул он.— Тогда его можно было бы выдать за особой породы паука.

Помощник ухмыльнулся.

— Давай к борту. Я поеду на берег.

— Нет, Том,— сказал помощник.— Пусть Ара и Вилли едут. Я перевезу их на берег. А потом вторую партию — в Мегано. Хочешь, чтобы они взяли с собой niños [1]?

— Нет. Будьте учеными.

Я мирюсь с тем, что мною вертят, как хотят. Это, пожалуй, значит,

---

[1] Деток *(исп.)*.

что мне и в самом деле надо отдохнуть. Беда только в том, что я и усталости не чувствую и спать мне не хочется.

— Антонио,— позвал он.

— Да? — откликнулся помощник.

— Я возьму надувной матрац, и две подушки, и хороший коктейль.

— Какой именно?

— Джин с кокосовым молоком, с ангостурой и лимоном.

— А, «Томини»,— сказал помощник, обрадованный тем, что Томас Хадсон опять захотел выпить.

— И притом двойной.

Генри забросил на мостик надувной матрац и сам поднялся следом, держа под мышкой книгу и журнал.

— Тут ты за ветром,— сказал он.— Хочешь, я раздвину немного брезент для вентиляции?

— С каких это пор со мной такие нежности?

— Том, мы посоветовались, и все решили, что тебе нужно отдохнуть. Ты так себя загонял, никто бы не выдержал. И ты не выдержал.

— Чушь,— сказал Томас Хадсон.

— Может быть,— сказал Генри.— Я говорил им, что, по-моему, ты в форме и можешь еще держаться и дальше. Но другие беспокоятся, и они меня убедили. А ты попробуй разубеди. Но сейчас дай себе все-таки передышку.

— Я себя чувствую как нельзя лучше. И плевать я на все хотел.

— Вот то-то и есть. Ты не желаешь сходить с мостика. Желаешь стоять все вахты подряд у штурвала. И плевать на все хотел.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Картина ясная. Но пока что здесь все-таки командую я.

— Я это не в каком-нибудь дурном смысле, честное слово.

— Правильно. Забудь,— сказал Томас Хадсон.— Стану отдыхать. Как прочесывать заросли на острове, знаешь?

— Да уж, надо думать, знаю.

— Вот и займись Мегано.

— Точно. Вилли и Ара уже уехали. А мы, вторая партия, только ждем, когда Антонио пригонит назад шлюпку.

— Как там у Питерса?

— Полдня возился с этой большой рацией. Думает, что теперь как будто наладил.

— Это бы здорово. Если я засну, разбуди меня, как только вернетесь.

— Хорошо, Том.— Генри нагнулся и взял то, что ему подали снизу. Это был высокий стакан с ржавого цвета жидкостью и кусочками льда, обернутый сложенным вдвое бумажным полотенцем и перетянутый резинкой. — Двойной «Томини»,— сказал Генри.— Выпей, потом почитай и спи. Стакан можешь поставить вон в одну из ячеек для гранат.

Томас Хадсон отхлебнул из стакана.

— Приятно,— сказал он.

— Тебе всегда нравилось. Все будет хорошо, Том.

— Да уж все, что мы сейчас можем сделать, надо делать как следует.

— Главное — отдохни хорошенько.

— Постараюсь.

Генри сошел вниз, и Томас Хадсон услышал приближающийся гул шлюпочного мотора. Гул затих, послышались голоса, потом снова гул, но уже удаляющийся. Томас Хадсон немного подождал, прислушиваясь. Потом взял стакан и высоко через борт выплеснул его содержимое, а ветер подхватил и отнес это к корме. Томас Хадсон сунул стакан в под-

ходящую по размеру ячейку на тройном стеллаже и ничком растянулся на надувном матраце, обняв его обеими руками.

В этих пальмовых шалашах у них, наверно, были раненые. А может быть, они просто хотели спрятать побольше народу. Но навряд ли. Будь их много, они бы заявились сюда в первую же ночь. Надо было мне самому поехать на берег. Впредь так и буду делать. Хотя Ара и Генри молодцы первый сорт и Вилли тоже молодец. И я должен быть молодцом. Да уж постарайся сегодня вечером, сказал он себе. И устрой им травлю, настоящую и без пощады, не делай ошибок и смотри, чтобы как-нибудь их не прозевать.

VIII

Он почувствовал, что его трогают за плечо. Это был Ара, и он сказал:

— Том, одного мы достали, Вилли и я.

Томас Хадсон сбежал вниз, и Ара за ним.

Немец лежал на корме, закутанный в одеяло. Под головой у него были две подушки. Питерс сидел рядом на палубе, держа в руках стакан с водой.

— Посмотрите, что у нас тут есть,— сказал он.

Немец был очень худ, подбородок и впалые щеки уже обросли белокурой бородкой. Волосы у него были длинные и спутанные, и в последнем дневном свете, какой бывает, когда солнце почти уже зашло, он был похож на святого.

— Он не может говорить,— сказал Ара.— Мы с Вилли уже пробовали. И, между прочим, держись так, чтоб ветер не дул от него к тебе.

— Да, я еще с трапа учуял,— сказал Томас Хадсон.— Спроси, не нужно ли ему чего-нибудь,— обратился он к Питерсу.

Радист заговорил с пленным по-немецки, и тот повел глазами на Томаса Хадсона, но ничего не сказал и не повернул головы. Томас Хадсон услышал гул мотора и, оглянувшись на бухту, увидел шлюпку, выплывавшую из огней заката. Она была так нагружена, что сидела в воде выше ватерлинии. Он снова поглядел на немца.

— Спроси, сколько их там. Скажи: нам надо знать. Скажи: это очень важно.

Питерс снова заговорил с немцем — мягко и, как показалось Томасу Хадсону, даже ласково.

Немец с трудом выговорил три слова.

— Он говорит, что ничто не важно,— сказал Питерс.

— Скажи: он ошибается. Мне необходимо знать. И спроси, не сделать ли ему укол морфия.

Немец дружелюбно посмотрел на Томаса Хадсона и произнес три слова.

— Он говорит, теперь ему уже не больно,— сказал Питерс. Он быстро заговорил по-немецки, и опять Томас Хадсон уловил в его речи ласковую интонацию, но, может быть, такая интонация была присуща самому языку.

— Помолчи-ка, Питерс,— сказал Томас Хадсон.— Переводи только то, что я говорю, и переводи точно, слышишь?

— Да, сэр,— сказал Питерс.

— Скажи ему, что я могу заставить его говорить.

Питерс что-то сказал немцу, и тот обратил глаза к Томасу Хадсону. Это были старческие глаза, вставленные в лицо молодого человека, только постаревшее, как стареет топляк, и почти такое же серое.

— Nein,— медленно выговорил немец.

— Он говорит — нет,— перевел Питерс.

— Это я и сам понял,— сказал Томас Хадсон.— Вилли, пойди принеси ему теплого супа и коньяку немного захвати. Питерс, спроси его, если я не буду требовать, чтобы он говорил, так, может, он все-таки не откажется от морфия? Скажи: у нас его много.

Питерс перевел, и немец посмотрел на Томаса Хадсона и улыбнулся скупой северной улыбкой.

Он что-то почти неслышно сказал Питерсу.

— Он говорит, спасибо, но ему уже не нужно, а морфий лучше поберечь.

Тут он еще что-то тихо сказал Питерсу, и тот перевел:

— Он говорит, вот на прошлой неделе морфий был бы ему очень кстати.

— Скажи ему, что я уважаю его за его мужество,— сказал Томас Хадсон.

Антонио уже подходил на шлюпке вместе с Генри и остальными, ездившими на Мегано.

— Потише поднимайтесь на борт,— сказал им Томас Хадсон.— И держитесь подальше от кормы. Там у нас фриц умирает, и я хочу, чтобы он умер спокойно. Что вы обнаружили?

— Ничего,— сказал Генри.— Ровнехонько ничего.

— Питерс,— сказал Томас Хадсон.— Говори с ним, сколько хочешь. Может, что-нибудь выудишь. Мы с Вилли и Арой пойдем выпьем.

Внизу он сказал:

— Ну как у тебя с супом, Вилли?

— Да попалась мне тут похлебка из моллюсков,— сказал Вилли.— Она еще теплая. Сейчас дам ему.

— Почему тогда не суп из бычьего хвоста или индийский с пряностями? — сказал Томас Хадсон.— Это его еще вернее прикончит. А где куриный бульон?

— Есть и куриный бульон, да я не хотел ему давать. Это же для Генри.

— И правильно,— сказал Генри.— Чего ради нам с ним цацкаться?

— А мы вовсе и не цацкаемся. Когда я велел насчет супа, я подумал, что тарелка горячего бульона и глоток-другой коньяку помогут ему заговорить. Но он говорить не будет. Налей-ка мне джину, Ара.

— Они сделали для него укрытие, Том, и у него была хорошая постель из веток и вдоволь воды и еда в глиняном горшке. Старались сделать, чтобы ему было удобно, и канавки прорыли в песке для стока. От берега к укрытию протоптаны были дорожки, и ходило по ним человек восемь или десять. Не больше десяти. Мы с Вилли очень осторожно его несли. Обе его раны гангренозные, и по правому бедру гангрена уже высоко поднялась. Может, зря мы его сюда притащили, лучше было вам и Питерсу поехать туда и допросить его на месте? Если так, то это я виноват.

— У него было оружие?

— Нет. Ни оружия, ни личного опознавательного знака.

— Дай мне мой джин,— сказал Томас Хадсон.— Как по-твоему, когда были срезаны ветки для укрытия?

— По-моему, не позже, чем вчера утром. Но я, конечно, не уверен в этом.

— Вообще-то он хоть что-нибудь говорил?

— Нет. Как увидел нас с автоматами, так и сделался точно деревянный. Вот только испугался Вилли. Должно быть, когда увидел его глаз. А когда мы его подняли, он улыбнулся.

— Чтобы показать, что он еще может улыбаться,— вставил Вилли.

— И сразу сомлел,— сказал Ара.— Долго еще ему умирать, как ты считаешь, Том?

— Не знаю.

— Ну, пойдем-ка наверх и выпивку с собой возьмем,— сказал Генри.— Я не доверяю Питерсу.

— Сперва съедим эту похлебку,— сказал Вилли.— Я голоден. А ему можно согреть банку с куриным бульоном, если Генри согласен.

— Если он от этого заговорит, тогда пожалуйста,— сказал Генри.

— Ну, навряд ли,— сказал Вилли.— Но, видно, и в самом деле свинство — совать ему эту похлебку, когда он так плох. Отнеси ему коньяку, Генри. Может, он его любит, как мы с тобой.

— Не тревожьте его,— сказал Томас Хадсон.— Он хороший фриц.

— Ну как же,— сказал Вилли.— Все фрицы хорошие, когда лапки кверху поднимают.

— Он не поднимал лапки,— сказал Томас Хадсон.— Он просто умирает.

— И с большим достоинством,— сказал Ара.

— Ты что, тоже записался в обожатели фрицев? — спросил его Вилли.— Значит, вас теперь двое — ты да Питерс.

— Прекрати, Вилли,— сказал Томас Хадсон.

— А тебе-то что? — сказал ему Вилли.— Ты же всего-навсего выдохшийся вожак горсточки пылких обожателей фрицев.

— Пойдем на бак, Вилли,— сказал Томас Хадсон.— Ара, когда суп согреется, отнеси его на корму. А вы, все, кто хочет, можете идти смотреть, как этот фриц умирает. Только не лезьте к нему.

Антонио хотел было пойти за Вилли и Томасом Хадсоном, но Томас Хадсон отрицательно покачал головой, и Антонио вернулся в камбуз.

Уже почти стемнело. Томас Хадсон только-только различал лицо Вилли. При таком освещении оно показалось ему более приятным, может быть и потому, что он стоял со стороны его зрячего глаза. Томас Хадсон посмотрел на Вилли, на обе якорные цепи, на еще маячившее в сумраке дерево на берегу. Ненадежный здесь грунт — песок, подумал он и сказал:

— Ну, Вилли, выкладывай, что там тебе еще не дает покоя?

— Ты,— сказал Вилли.— Изматываешь себя до полусмерти, потому что у тебя сын погиб. У всех дети умирают, не знаешь, что ли?

— Знаю. Еще что?

— Этот хреновый Питерс и этот хреновый фриц развели смрад на всю корму, и вообще, что это за судно такое, на котором первым помощником — кок?

— Как он стряпает?

— Стряпает он что надо и насчет вождения мелких судов знает побольше, чем мы все, вместе взятые, включая и тебя.

— Да, гораздо больше.

— А, к матери все это, Том. Ты не думай, что я злюсь на тебя. Мне не на что злиться. Просто я привык к другим порядкам. Но мне нравится это судно, и люди все мне здесь нравятся, кроме этого дерьмового Питерса. Только ты перестань себя изматывать.

— А я не изматываю,— сказал Томас Хадсон.— Я ни о чем не думаю, кроме работы.

— Ох, до чего же возвышенно, прямо набить тебя опилками да на кресте распять,— сказал Вилли.— А ты бы о шлюхах подумал.

— Что ж, мы, в общем, к ним и держим путь.

— Вот это другой разговор.

— Вилли, а ты сейчас как — ничего?

— Конечно. А что? Просто этот фриц меня разбередил. Они ведь так аккуратно его устроили, как мы никого бы устроить не сумели. Или, может, сумели бы, будь у нас время. А они вот нашли время. Ну, положим, они не знали, что мы так близко. Но как им не знать, что кто-

то за ними гонится? Теперь уж все за ними гонятся. А они так заботливо его устроили, как только можно устроить человека в таком состоянии.

— Верно,— сказал Томас Хадсон.— И тех на острове они тоже очень заботливо устроили.

— Да.— сказал Вилли.— Вот в том-то и беда.

Тут вошел Питерс. Он всегда держался как солдат морской пехоты, даже когда был не в лучшем виде, и очень гордился той подлинной дисциплиной без внешних формальностей, которая была правилом на судне. Он больше чем кто-либо умел этим пользоваться. Но сейчас, войдя, он стал по стойке «смирно» и отдал честь, из чего стало видно, что он пьян, и сказал:

— Том, то есть, простите, сэр. Он умер.

— Кто умер?

— Пленный, сэр.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Включи свой генератор и постарайся связаться с Гуантанамо.

У них, наверно, что-нибудь для нас есть, подумал он.

— Пленный говорил? — спросил он Питерса.

— Нет, сэр.

— Вилли,— сказал Томас Хадсон,— как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо.

— Возьми несколько магниевых лампочек и сделай с него два снимка в профиль, с одной и с другой стороны. Откинь одеяло, и стяни с него шорты, и сделай один снимок во весь рост, как он там лежит на корме. Еще один снимок анфас головы и один — анфас во весь рост.

— Слушаю, сэр,— сказал Вилли.

Томас Хадсон поднялся на мостик. Он слышал, как заработал генератор, и видел вспышки магниевых лампочек. Там наверху, где все подсчитывают, не поверят даже тому, что у нас вообще был пленный. Доказательств нет. Кто-нибудь скажет, что это было просто мертвое тело, которое фрицы спихнули в море, а мы подобрали. Надо было раньше его сфотографировать. А, ладно, ну их к чертям. Может, завтра мы остальных добудем.

Подошел Ара.

— Том, кого ты назначишь отвезти его на берег и похоронить?

— Кто сегодня меньше всех работал?

— Все много работали. Я возьму с собой Хиля, и мы вдвоем все сделаем. Зароем его в песок над линией прилива.

— Лучше повыше.

— Я пришлю Вилли, и ты ему скажи, какую надпись сделать на доске. У меня в кладовой есть подходящая доска от ящика.

— Присылай Вилли.

— Зашить тело в брезент?

— Нет. Только заверните в его собственное одеяло. Присылай Вилли.

— Что нужно? — спросил Вилли.

— Сделай на доске надпись «Неизвестный немецкий матрос» и поставь дату.

— Хорошо, Том. Мне съехать на берег для похорон?

— Нет. Ара и Хиль поедут. Сделай надпись и отдохни, выпей чего-нибудь.

— Как только Питерс поймает Гуантанамо, я пришлю тебе сказать. А ты сам не хочешь сойти вниз?

— Нет. Я и тут отдыхаю.

— И каково это — бодрствовать на мостике такого большого корабля, с сознанием своей ответственности и всякой прочей дерьмовой хреновины?

— Примерно так же, как делать надпись на той доске.

Пришла радиограмма из Гуантанамо. Расшифрованная, она гласила: ПРОДОЛЖАЙТЕ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ПОИСКИ ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Это нам, сказал про себя Томас Хадсон. Он лег и тут же заснул, и Генри укрыл его легким одеялом.

IX

За час до рассвета Томас Хадсон уже был внизу и смотрел на барометр. Оказалось, что барометр упал на четыре десятых, и он разбудил помощника и показал ему.

Помощник посмотрел и кивнул.

— Ты же видел вчера грозовые тучи над Романо,— сказал он.— А теперь они переходят на юг.

— Завари мне, пожалуйста, чаю,— попросил Томас Хадсон.

— У меня есть холодный в бутылке на льду.

Томас Хадсон пошел на корму, отыскал ведро и тряпку и вымыл палубу. Ее уже успели помыть, но он вымыл еще раз и прополоскал тряпку. Потом взял бутылку с холодным чаем, поднялся на мостик и стал ждать, когда рассветет.

Еще до света его помощник выбрал кормовой якорь, потом они с Арой выбрали бортовой якорь, и, наконец, втроем с Хилем втащили шлюпку на борт. Потом помощник откачал трюмную воду и проверил моторы.

Помощник высунул голову наверх и сказал:

— Теперь можно в любое время.

— Почему столько набралось воды?

— Да там у меня сальник один разболтался. Я уже подтянул его немного. Но пусть лучше набирает воды, чем чтобы моторы перегревались.

— Хорошо. Пошли ко мне Ару и Генри. Будем уходить.

Они выбрали якорь, и Томас Хадсон повернулся к Аре:

— Покажи мне еще раз то дерево.

Ара показал. Оно виднелось чуть повыше линии прилива в бухте, которую они покидали, и Томас Хадсон карандашом поставил на карте маленький крестик.

— Питерсу больше не удалось поймать Гуантанамо?

— Нет. У него опять перегорело.

— Ну что ж, мы идем по пятам за ними, и впереди их тоже кто-то ждет, и у нас есть приказ.

— Ты думаешь, Том, ветер в самом деле переменится?

— По барометру выходит, что так. Увидим, когда он опять посвежеет.

— Около четырех часов ветра почти совсем не было.

— Донимают тебя мошки?

— Только днем.

— Сойди вниз и опрыскай там все. Какого черта нам возить их с собой.

День был прекрасный, и, глядя назад, на бухту, где они стояли на якоре, глядя на берег и чахлые деревья Кайо Круса, так хорошо им обоим знакомого, Ара и Томас Хадсон видели высокие, громоздившиеся над сушей облака. Кайо Романо так возвышался над морем, словно это был уже материк, а над ним еще выше в небе стояли облака, суля то ли южный ветер, то ли штиль, то ли прибрежные шквалы.

— Ара, что бы ты надумал, если б был немцем? — спросил Томас Хадсон.— Что бы ты сделал, если б видел все это и понимал, что очень скоро заштилеет?

— Попытался бы пробраться в глубь какого-нибудь острова,— сказал Ара.— Вот что я бы сделал.

— Но для этого нужен проводник.

— Я достал бы проводника,— сказал Ара.

— Где бы ты его взял?

— У рыбаков на Антоне или где-нибудь поглубже на Романо. Или на Коко. Там, наверно, рыбаки сейчас солят рыбу. На Антоне, может, даже нашелся бы вельбот.

— Попробуем сперва Антон,— сказал Томас Хадсон.— Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину.

— Если бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еше погода была как сегодня, океан был бы совсем уютным местечком.

День был прямо летний, и шквала ничто не предвещало. День весь был как доброе обещание, и море лежало вокруг светлое и гладкое. Они ясно видели дно, пока не перешли на большие глубины, и как раз там, где и следовало, показалась Минерва и волны, разбивающиеся у ее коралловых рифов. То была зыбь, оставшаяся после пассатов, непрерывно дувших два месяца. Но и эти волны разбивались мягко и ласково, с какой-то послушной регулярностью.

Как будто океан говорил: все мы теперь друзья, и никогда больше не будет у нас ни ссор, ни схваток, думал Томас Хадсон. Почему он такой коварный? Река может предать тебя и быть жестокой, но часто она и добра и благожелательна. Какой-нибудь ручей может стать твоим другом на всю жизнь, если только ты не причинишь ему зла. Но океан непременно должен обмануть, прежде чем он расправится с тобой.

Томас Хадсон снова поглядел, как вздымалась и опадала водная гладь, показывая все островки Минервы так аккуратно и в таком привлекательном виде, как будто океан старался их продать в качестве завидных участков для местожительства.

— Не принесешь ли мне сандвич? — попросил Ару Томас Хадсон.— Из солонины с луком или яичницы с ветчиной и с луком. После завтрака составь вахту из четырех человек и приведи их сюда, и пусть проверят все бинокли. Я сперва выйду в открытое море, а потом уже повернем на Антон.

— Хорошо, Том.

Что бы я делал без этого Ары, подумал Томас Хадсон. Ты чудесно выспался, сказал он себе, и чувствуешь себя как нельзя лучше. У нас есть приказ, и мы сидим у них на хвосте и тесним их к другим, которые их поджидают. Ты выполняешь приказ и посмотри, какое прекрасное утро дано тебе для слежки за ними. Только как-то чересчур уж все хорошо.

Они прошли по проливу, настороженно следя за всем вокруг, но ничего не увидели, кроме приветливо колышущегося утреннего моря и длинной зеленой полосы Романо за грядой мелких островков.

— С таким ветром они далеко не уйдут,— сказал Генри.

— Никуда они не уйдут,— сказал Томас Хадсон.

— А мы высадимся на Антоне?

— Конечно. И все прочешем.

— Мне нравится Антон,— сказал Генри.— Хорошее место, есть где отстаиваться при тихом море. Так что они нас не съедят.

— Где-нибудь подальше могут тебя и похитить,— сказал Ара.

В небе показался небольшой самолет; он шел низко и направлялся к ним. Белый, и маленький, и ярко освещенный солнцем.

— Самолет,— сказал Томас Хадсон.— Скажи там, чтобы подняли большой флаг.

Самолет летел все в том же направлении, пока не прошел совсем

низко над судном. Тогда он сделал над ним два круга, затем повернул и ушел на восток.

— Это ему даром бы не сошло, если б это были не мы, а те, кого он искал,— сказал Генри.— Его бы сбили.

— Он бы успел сообщить координаты, на Кайо Франсес.

— Пожалуй,— сказал Ара.

Двое других басков ничего не сказали. Они стояли спина к спине и просматривали каждый свой квадрант.

Немного погодя тот баск, которого на катере называли Джордж, потому что его звали Эухенио, а Питерсу не всегда удавалось это выговорить, обратясь к Томасу Хадсону, сказал:

— Самолет возвращается в восточном направлении между дальними островами и Романо.

— Домой полетел завтракать,— сказал Ара.

— Он про нас доложит,— сказал Томас Хадсон.— И, глядишь, этак через месяц все уже будут знать, где мы находились сегодня утром.

— Если только не спутает координаты у себя на карте,— сказал Ара.— Том, смотри, это уже Паредон Гранде. Примерно в двадцати градусах по левому борту.

— У тебя зоркие глаза,— сказал Томас Хадсон.— Это он, точно. Поверну-ка я к берегу, и будем искать проход на Антон.

— Положи лево руля на девяносто градусов и, по-моему, как раз попадешь.

— Во всяком случае упрусь в берег, а потом пойдем вдоль, пока не наткнемся на этот чертов проход.

Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды частоколами, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец появлялись и песчаные берега. Томасу Хадсону очень не хотелось менять широкий пролив, ласковые волны, красоту раннего утра в открытом море на кропотливую работу по прочесыванию лесистых островков. Но поведение самолета, летевшего сперва в их сторону, а потом круто повернувшего обратно, могло означать только одно: что на восточном направлении вражеские суда не обнаружены. Конечно, это мог быть обыкновенный патруль. Но логичнее предположить иное. К тому же обыкновенный патруль и над проливом прошел бы в обоих направлениях.

Он видел, как Антон, густо поросший лесом и приятный на вид остров, вырастал перед ним, и, подвигаясь все ближе к берегу, Томас Хадсон поискал глазами известные ему ориентиры. Надо было найти самое высокое дерево на вершине острова и точно совместить его с небольшой седловиной на Романо. С этим ориентиром он мог попасть куда надо, даже если бы солнце било ему в глаза и вода сверкала, как расплавленное стекло

Сегодня это не было нужно. Но он все проделал практики ради, нашел дерево, подумал, что на этом, столь подверженном ураганам побережье, надо было бы избрать ориентиром что-нибудь более долговечное, потом пошел тихонько вдоль берега, пока дерево не вдвинулось точно в выемку седловины, и круто повернул. Катер очутился в узкой протоке меж двух мергельных, едва покрытых водой берегов, и Томас Хадсон сказал Аре:

— Попроси Антонио забросить крючки. Может, выудим что-нибудь съедобное. В этой протоке целый буфет на дне.

Дальше он прошел уже прямо вперед по своему первому ориентиру. У него появилося было соблазн даже не смотреть на берега, а просто идти в заданном направлении, но он понял, что это в нем действует тот избыток гордыни, о котором говорил Ара, и он очень осторожно вел судно вдоль правого берега, следя за фарватером, а не только полагаясь

на далекие ориентиры. Это было похоже на езду по прямым улица нового городского района, и приливная волна бежала в ту же сторону сперва бурая, а потом светлая и прозрачная. Еще не добравшись д того места, которое Томас Хадсон заранее облюбовал для стоянки, о услыхал отчаянные крики Вилли: «Ры-ы-ба! Ры-ы-ба!» — и, оглянув шись, увидел, как за кормой выскочил из воды большой тарпон. Пас у него была разинута, он был огромен, солнце сверкало на его серебр стой чешуе и на длинном зеленом хлысте его спинного плавника. О яростно дернулся и шлепнулся в воду, подняв целый вихрь брызг.

— Sábalo,[1] — с отвращением сказал Антонио.

— Никчемный sábalo,— сказали баски.

— Можно, я с ним повожусь, Том? — спросил Генри.— Мне хочет его поймать, хоть он и не годится в пищу.

— Перейми его у Антонио, если на него не нацелился Вилли. Ска жи Антонио, чтобы шел на бак. Будем становиться на якорь.

Пока травили якорную цепь, тарпон продолжал прыгать за кормой но на это никто не обращал внимания, разве только ухмылялись мель ком.

— Второй не нужен, думаешь? — крикнул Томас Хадсон помощни ку. Тот покачал головой. Когда якорь крепко засел, Антонио поднялс на мостик.

— Судно теперь все выдержит, Том,— сказал он.— Любой шква Все что угодно. Ну, покачает его на месте, с якоря все равно не сорве

— В котором часу можно ждать шквала?

— После двух.

— Спусти шлюпку,— сказал Томас Хадсон.— И дай мне с собо лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать что есть духу.

— Кто еще поедет?

— Только мы трое — Ара, Вилли и я. Не хочу перегружат шлюпку.

X

В шлюпке они все трое завернули niños в свои плащи. Это был томпсоновские автоматы в чехлах из овчины мехом внутрь. Чех лы кроил и шил Ара, не учившийся портновскому ремеслу, а Тома Хадсон пропитал стриженый мех овчины каким-то защитным масло издававшим легкий запах карболки. Оттого, что автоматы так уютн лежали в своих меховых колыбельках, и колыбельки так уютно пока чивались, когда висели открытые, в одном из отделений под мостико баски и прозвали пулеметы «детишками».

— Дай нам фляжку воды,— сказал Томас Хадсон помощнику Когда Антонио принес фляжку, тяжелую и холодную, с широкой завин чивающейся пробкой, Томас Хадсон передал ее Вилли, и тот уложи ее где-то под передней банкой. Ара любил править шлюпкой, поэтом сидел на корме, Томас Хадсон в середине, а Вилли пристроился н носу.

Ара повел ее прямо к острову, а Томас Хадсон смотрел на облака громоздившиеся в небе над сушей. Когда они вышли в мелководье, То мас Хадсон увидел сероватые раковины съедобных моллюсков, торчав шие из песка. Ара нагнулся вперед и спросил:

— Берег будем осматривать, Том?

— Да, пожалуй, лучше сейчас, пока дождь не пошел.

Ара погнал шлюпку к берегу, приподняв мотор точно в последни момент. В одном месте приливом размыло песок, образовался неболь

---

[1] Рыба-бешенка *(исп.)*.

шой заливчик, в него-то Ара и загнал шлюпку и косо врезал ее в песок.

— Вот мы и дома,— сказал Вилли.— Как эту шлюху зовут?

— Антон.

— Не Антон Большой, и не Антон Маленький, и не Антон Вонючий Козел?

— Просто Антон.

— Ты ступай вон к тому мысу на востоке, обогни его и иди дальше — мы тебя потом подберем. Я быстро осмотрю берег с этой стороны. Ара пройдет на шлюпке до следующего мыса, оставит ее там и осмотрит все, что за мысом. А я потом нагоню его на шлюпке, и мы вернемся за тобой.

Вилли взял своего niño, завернутого в плащ, и взвалил себе на плечо.

— Если я найду фрицев, можно их перестрелять?

— Полковник сказал — всех, кроме одного,— пояснил Томас Хадсон.— Уж постарайся оставить кого потолковее.

— Я у каждого проверю коэффициент умственных способностей, прежде чем открывать огонь.

— Ты сперва у себя проверь.

— У меня-то он невелик, а то разве я был бы здесь,— сказал Вилли и пустился в путь. Он шествовал с видом величайшего презрения, но осматривал все так дотошно, как не всякий бы сумел.

Томас Хадсон объяснил Аре по-испански, что́ каждый из них должен делать, и затем столкнул шлюпку на воду. Сам он двинулся вдоль берега, со своим niño под мышкой, чувствуя, как песок забивается между пальцами его босых ног. Шлюпка уже огибала маленький мыс впереди.

Он был рад очутиться снова на суше и шел так быстро, как только можно было идти, одновременно осматривая окрестность. Идти по берегу было приятно, и здесь у Томаса Хадсона не возникало дурных предчувствий, как утром, в открытом море. Жуткое какое-то было утро, подумал он. Может быть, именно от тишины на море. И облака в небе все еще громоздятся. Но ничего плохого не случилось. Сейчас на жарком солнце не было ни москитов, ни мошек, и впереди Томас Хадсон увидел высокую белую цаплю, которая стояла, глядя вниз в мелкую воду и нацелясь на что-то головой, шеей и клювом. Она не улетела, когда Ара проехал мимо в шлюпке.

Надо тщательно все обыскать, подумал Томас Хадсон, хоть я и не верю, что тут что-нибудь есть. На сегодня они зашгилевали, так что мы ничего не теряем. Но было бы непростительно их прозевать. Почему я так мало о них знаю, подумал он. Это моя вина. Надо было мне самому съехать на берег и осмотреть укрытие, которое они устроили для раненого, и следы на песке. Я расспрашивал Вилли и Ару, а они, конечно, свое дело знают. Но все-таки надо было поехать самому.

Тут все дело в том, что мне противно с ними сталкиваться, подумал он. Это мой долг, и я хочу их поймать и поймаю. Но не могу отделаться от чувства какой-то общности с ними. Как у заключенных в камере смертников. Бывает ли, чтобы люди в камере смертников ненавидели друг друга? Думаю, что нет, если они не душевнобольные.

Как раз в эту минуту цапля вдруг снялась и полетела вдоль берега дальше. Потом, спланировав на своих больших белых крыльях и сделав несколько неловких шагов, она снова стала наземь. Как жаль, что я ее спугнул, подумал Томас Хадсон.

Он проверил весь берег выше черты прилива. Но следов не было, кроме следов черепахи, которая проползла тут дважды. Один широкий след к морю, другой обратно, да еще рыхлое углубление, где она лежала.

Нет у меня времени выко..ать черепашьи яйца, подумал он. Обла понемногу сгущались и наплывали ближе.

Если бы фрицы побывали с этой стороны острова, они, конеч вырыли бы яйца. Он посмотрел вперед, но не увидел шлюпки, пото что там выступал другой, закруглявшийся, мыс.

Он шел по песку, плотному после прилива, и смотрел, как ра отшельники тащат на себе свои раковины и как более проворные кра перебегают полосу песка и соскальзывают в море. Справа в неглубок протоке он увидел что-то серое — косяк лобанов и их движущиеся те на песчаном дне. Увидел еще тень очень большой барракуды, котор подстерегала лобанов, а потом и саму рыбу, длинную, бледную, сер и как будто застывшую в неподвижности. Он шел и шел и вскоре мин вал рыб и уже опять подходил к цапле.

Посмотрим, сумею ли я пройти мимо и не спугнуть ее, подумал о Но как раз когда он почти поравнялся с ней, стая лобанов вдруг в скочила из воды. Прыгали они неуклюже, лупоглазые и головастые, с ребряные на солнце и все же некрасивые. Томас Хадсон обернулся: ем хотелось и понаблюдать за лобанами и разглядеть барракуду, котор очевидно, напала на них. Но хищной рыбины он не увидел — толь дикие прыжки испуганных лобанов. Потом стая опять соединилась воде в серую движущуюся массу, а когда он повернул голову, цап уже не было. Она летела на своих белых крыльях над зеленой водо а впереди был только желтый песок и темнел ряд деревьев на мы Облака все больше сгущались за Романо, и Томас Хадсон пошел бы рее, стремясь скорее обогнуть мыс и найти оставленную Арой шлюп

От быстрой ходьбы он пришел в возбуждение и подумал, что, в верно, никаких фрицев поблизости нет. Он не мог бы так себя чувст вать, если бы они были близко. Впрочем, не знаю. Может, и мог б если думал, что их нет, и не знал, что ошибается.

На мысу песок был совсем светлым, и он подумал: хорошо бы зде полежать. Славное местечко. Потом далеко впереди он увидел на бере шлюпку и подумал, а ну его. Буду сегодня спать на судне и буду л бить надувной матрац или, скажем, мостик. Почему бы мне не люби мостик? Мы с ним так давно вместе, впору пожениться. Уж, наверн про нас с ним давно ходят сплетни. Пора узаконить наши отношени А ты что делаешь? Топаешь по нему и стоишь на нем. Нечего сказат хорошее обращение! И еще проливаешь на него холодный чай. Это у совсем нелюбезно. И для чего ты его бережешь? Чтобы умереть на не Он, без сомнения, это оценит. Ходи по нему, стой на нем и умри на не Это будет очень мило Но я тебе скажу, что ты сейчас действитель можешь сделать — это перестать нести чепуху и хорошенько тут в обследовать и подобрать Ару.

Он шагал дальше по отмели и старался больше ни о чем не д мать, а только замечать окружающее. Он хорошо знал свой долг никогда не пытался от него уклониться. Вот и сегодня он съехал н берег — хотя и любой из команды мог бы это сделать с тем же усп хом,— потому что, если он оставался на судне, а они ничего не нах дили, он чувствовал себя виноватым. Он внимательно во все вгляд вался. Но не мог не думать.

Может быть, на той стороне, у Вилли, дела идут живее, подумал о Может быть, Ара уже напал на что-нибудь. Я бы именно здесь высади ся, будь я на месте фрицев. Это первое удобное для них место. Но он могли его проскочить и пройти дальше. Или, наоборот, раньше све нуть, между Паредоном и Крусом. Но не думаю, потому что их бы з метили с маяка, а ночью в темноте никогда бы им оттуда не пробрать вглубь, даже будь у них проводник. Скорей всего, они прошли дальш Может, мы найдем их на Коко. Или где-нибудь поблизости. Тут рядо

есть еще островок, который тоже не мешает обшарить. Надо помнить, что они все время руководствуются картой. Если только не взяли здесь какого-нибудь рыбака в проводники. Дыма я нигде не видел, не похоже, чтоб кто-нибудь тут жег уголь. Ну, я рад, что этот остров будет у нас прочесан до дождя. Я люблю это делать. Только вот финал мне не нравится.

Он столкнул шлюпку на воду и сел в нее, смыв при этом песок с ног. Своего piño, завернутого в дождевик, он положил так, чтобы его легко было достать, и завел мотор. Он не питал такой любви к подвесному мотору, как Ара, и, заводя его, всегда помнил о том, что нужно продуть и прососать карбюратор и что могут подгореть свечи или пропасть искра — словом, обо всех радостях общения с малыми моторами. Но у Ары никогда не было трудностей с зажиганием, и если мотор вытворял что-нибудь неположенное, Ара воспринимал это с оттенком восхищения — так, как шахматист мог бы воспринять блестящий ход противника.

Томас Хадсон двигался вдоль берега, но Ара ушел далеко вперед, и его не было видно. Он, наверно, уже на полпути к Вилли, подумал Томас Хадсон. Но Ара в конце концов обнаружился почти у самых мангровых зарослей, где кончался песок и прямо из воды поднимались тяжелые и зеленые мангровые деревья с их воздушными корнями, похожими на перепутанные коричневые сучья.

И тут он заметил, что в зарослях торчит мачта. Больше ничего он не увидел. Только минутой спустя заметил Ару, который залег за невысокой песчаной дюной, так чтобы глядеть поверх ее гребня.

Он почувствовал, что у него точно иголками закололо голову, как бывает, если вдруг увидишь, что прямо на тебя по правой стороне дороги несется машина. Но Ара услыхал стук мотора, и повернул голову, и поманил Томаса Хадсона к себе. Томас Хадсон пристал к берегу наискосок от Ары.

Баск влез в шлюпку, держа обмотанного плащом piño дулом вперед на правом плече, прикрытом старой полосатой рубашкой. Вид у него был довольный.

— Иди по протоке, она тебя сама выведет,— сказал Ара.— Мы там встретимся с Вилли.

— Это одна из тех шхун?

— Факт,— сказал Ара.— Но я уверен, они ее бросили. Скоро будет дождь, Том.

— Ты что-нибудь видел?

— Ничего.

— Я тоже.

— Это хороший островок. Я нашел старую тропинку к воде. Но там давно уже не ходили.

— На той стороне, где Вилли, тоже должна быть вода.

— А вот и Вилли,— сказал Ара.

Вилли сидел на песке, поджав ноги, со своим piño на коленях. Томас Хадсон подогнал к нему шлюпку. Вилли поглядел на них. Черные волосы свисали ему на мокрый от пота лоб, здоровый глаз был голубой и сердитый.

— Где вы, говнюки, пропадали? — спросил он.

— Давно они были здесь, Вилли?

— Вчера, судя по их дерьму. Или мне следовало сказать — по их экскрементам?

— Сколько их было?

— Восемь, которые могли экскрементировать. И у троих из них был поносик.

— Еще что?

— У них был проводник или лоцман — или какая там у него кл ка. В проводники они взяли здешнего рыбака. Рыбак жил в хижи крытой пальмовыми листьями, и солил и сушил на решетке нарезан полосками мясо барракуды, а потом продавал его китайцам, а те с пали его для китайских лавочников, которые продают эту сушеную р бу под видом трески. Рыбак насолил и насушил огромное количест рыбы, судя по виду решетки.

— Фрицы кушай треска много-много,— сказал Вилли.

— Это на каком языке?

— На моем личном,— сказал Вилли.— Тут у всех свой язык басков, например, или еще у кого. Есть возражения?

— Рассказывай дальше.

— Бай-бай тут все возле дыма,— сказал Вилли.— Кушай свинк мясо. То самое, что взяли, где устроили бойню. У главный фриц консервы или бережет.

— Не валяй дурака и говори по-людски.

— Масса Хадсон все равно теряй день, потому ливневые осад сопровождаемые шквальными ветрами. Лучше слушай Вилли, знамен тый следопыт пампасов. Вилли говори свой язык.

— Прекрати.

— Слушай, Том. кто дважды находил фрицев?

— А что случилось с лодкой?

— Лодка больше нету. Много гнилой доска. Из корма одна дос вон упал.

— Шли в темноте, наверно, наткнулись на что-нибудь.

— Должно быть, так. Ну ладно, больше не буду. Они ушли на з пад, к солнцу. Восемь человек и проводник. А может, и девять, ес капитан не мог экскрементировать по причине сознания своей высок ответственности, что случается и с нашим капитаном, когда у него п поладки, а тут еще дождь собрался. Лодка, что они бросили, провоня насквозь и вся загажена свиньями, и курами, и тем фрицем, которо мы похоронили. У них еще один раненый, но, кажется, не тяжело, су по бинтам.

— Гной?

— Да. Но чистый гной. Хочешь все это сам посмотреть или пов ришь мне на слово?

— Я верю каждому твоему слову, но посмотреть все-таки хочу.

Он все увидел: следы, костер, возле которого они спали и на ко ром стряпали, брошенные бинты, заросль, которую они использова как отхожее место, канавку, которую лодка прорезала в песке, ког они загнали ее на берег. Теперь уже шел сильный дождь, и налета первые порывы шквала.

— Наденьте плащи и спрячьте niños под ними,— сказал Ара.— М же вечером придется их укладывать.

— Я тебе помогу,— сказал Вилли.— Мы дышим фрицам в затыл Том

— Но впереди у них обширная территория, и с ними человек, зна щий местность.

— Вот у тебя всегда так,— сказал Вилли.— Что он может знат чего мы не знаем?

— Очень многое.

— Ну и хрен с ним. Вот доберемся до судна, и я вымоюсь с мыл на корме. Ух, до чего стосковалась кожа по хорошей пресной воде мылу!

Дождь теперь так лил, что, когда они вышли из-за мыса, труд было даже найти судно. Шквал передвинулся к океану и был так си реп, а дождь так силен, что пытаться разглядеть судно было все рав

что смотреть на какой-нибудь предмет сквозь струи водопада. Все бочки в одну минуту переполнит, подумал Томас Хадсон. Из кранов в камбузе вода уже, наверно, в море хлещет.

— Том, сколько дней назад был последний дождь? — спросил Вилли.

— Надо посмотреть в корабельном журнале. Что-то вроде пятидесяти.

— Похоже, это уже муссон начинается,— сказал Вилли.— Дай мне тыкву, я буду вычерпывать.

— Не замочи своего піño.

— Приклад у меня между колен, а дуло под левым плечом плаща,— сказал Вилли.— Такого комфорта он в жизни своей не видал. Дай мне тыкву.

На корме все купались голышом. Мылились, стоя то на одной ноге, то на другой, нагибаясь, чтобы не сразу смыло, а потом, растершись, отшатывались назад, прямо под хлещущий дождь. Их смуглые тела казались белыми в этом странном освещении. Томасу Хадсону вспомнились купальщики Сезанна, но потом он решил, что интересней бы это получилось у Икинса. А потом подумал, что следовало бы ему самому это написать: судно на фоне сокрушительной белизны прибоя, прорвавшей серую пелену дождя, и чернота налетевшего шквала, и мгновенный проблеск солнца, сделавший серебряными дождевые струи и осиявший купальщиков на корме.

Он подвел шлюпку к борту, и Ара забросил конец, и вот они уже были дома.

XI

Вечером, во время дождя, он проверил все места, где после долгих засушливых дней обнаружилась течь, и присмотрел за тем, чтобы всюду были подставлены ведра, а самые щелки, пропускавшие воду, были обведены толстой карандашной чертой; и когда все это было сделано и дождь перестал, он посовещался со своим помощником и с Арой, и они распределили все вахты, установили обязанности каждого из команды и договорились о разных других делах. После ужина те, кто был свободен от вахты, сели играть в покер, а Томас Хадсон поднялся на мостик. Он взял с собой свой опрыскиватель, надувной матрац и легкое одеяло

Он решил полежать и отдохнуть, не думая ни о чем. Иногда это ему удавалось. Иногда он просто думал о звездах, не философствуя, или об океане — вне связанных с ним задач, или о восходе солнца — без тревоги за наступающий день.

Он чувствовал себя с головы до ног очень чистым после того, как с мылом вымылся на корме под дождем. Вот буду просто лежать и радоваться ощущению чистоты, думал он. Он знал, что не стоит теперь думать о женщине, бывшей матерью его сына, о том, как они любили друг друга, о тех местах, где они бывали вдвоем, и о днях, когда произошел их разрыв. И о Томе тоже думать не нужно. Это он запретил себе, как только узнал.

О двух других тоже ни к чему было думать. Их он тоже потерял, и теперь думать о них ни к чему. Все это он обменял на новую лошадь и должен твердо сидеть в седле. Вот и лежи тут и радуйся, что ты такой чистый после дождя и мыла, и постарайся вовсе не думать ни о чем. Одно время это у тебя не плохо получалось. Может быть, тебе удастся заснуть и увидеть во сне что-нибудь смешное или просто приятное. Лежи спокойно и смотри в ночь и не думай. Ара или Генри разбудят тебя, если Питерсу вдруг удастся что-нибудь поймать.

Скоро он и в самом деле заснул. Он опять был мальчишкой-под-

ростком и верхом взбирался на крутой склон ущелья. Потом ущ раздвинулось и показалась песчаная отмель у прозрачной реки, та прозрачной и чистой, что можно было разглядеть каждый камешек дне, и видно было, как одурелая форель чуть не выпрыгивает из во в погоне за плывущими по течению мошками. Он сидел на лошади наблюдал за форелью, когда Ара разбудил его.

В радиограмме было сказано: ПРОДОЛЖАЙТЕ УСИЛЕННЫ ПОИСК ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ — и кодовая подпись.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Если будет еще что-нибу сообщи.

— Конечно. Ты спи пока дальше, Том.

— Я видел замечательный сон.

— Не рассказывай мне его. Тогда он, может, и сбудется.

Он снова заснул и, уже засыпая, улыбнулся при мысли, что, в су ности, выполняет приказ: продолжает поиск в западном направлен И зашел я на запад довольно далеко, подумал он. Дальше, чем м могли предполагать.

Он спал, и ему снилось, что хижина сгорела и что кто-то подстр лил его олененка, успевшего вырасти в оленя. Кто-то подстрелил и е собаку: он нашел ее под деревом мертвую и проснулся весь в пот

Сны — тоже не решение вопроса, сказал он себе. Лучше уж отн ситься к ним попросту и не ждать от них анестезирующего действи Давай-ка продумаем это до конца.

Все, что у тебя теперь есть, это твоя главная задача и те части задачи, которые приходится решать попутно. Это все, что у тебя т перь есть, так что относись к этому по-хорошему. Больше тебе никог не будут сниться приятные сны, поэтому спать, может, вовсе не сто Просто нужно лежать и чтобы голова у тебя работала, пока не отм жет, а уж если заснешь, будь готов ко всяким кошмарам. Ночные ко мары — таков твой выигрыш в азартной игре, которую затеял кто- другой. Ты принял правила и сделал ставку, и вот что тебе выпал тяжелый, беспокойный сон. А могла выпасть и полная бессонница. Н этот свой выигрыш ты обменял на то, что у тебя есть теперь, так ч не жалуйся. Вот сейчас тебя уже клонит ко сну. Так спи, только бу готов проснуться весь в поту. Ну и что? А ничего, совсем ничего. Н ведь было время, когда ты всю ночь спал с женщиной, которую ты л бил, и был счастлив и просыпался, только когда она будила тебя, п тому что ей хотелось любви. Можешь вспоминать то время, Томас Ха сон, не знаю только, поможет ли это тебе.

Хотел бы я знать, есть ли у них перевязочный материал для втор го раненого. Если они успели раздобыть перевязочный материал, мог успеть и еще кое-что раздобыть. А что именно? Как ты думаешь, что них есть, кроме того, о чем тебе известно? Едва ли много чего. Н пистолеты, может, несколько автоматов. Может, немного взры чатки, которую они попытаются приспособить к делу. Я обяз исходить из возможности, что у них есть и станковый пулемет. Толь не думаю. Вряд ли им хочется драться. Чего им хочется, это выбрать к чертям отсюда и попасть на испанский пароход. Будь они располож ны драться, они бы в ту ночь вернулись и захватили Конфитес. Хо кто знает. Может, что-нибудь насторожило их. Может, они увидели берегу наши цистерны и подумали, что мы на ночь возвращаемся ту Ведь они же не знают, кто мы. Они могли увидеть цистерны на бере и решить, что на Конфитесе базируется какое-то судно, потребляю много горючего. И потом, едва ли им хочется драться, имея уже ранен на борту. Правда, шхуна с этими ранеными могла бы где-нибудь с стояться ночью, а те, кто способен к бою, высадились бы и захват радиостанцию, если им очень нужно было связаться со второй подл

ной. Хотел бы я знать, куда девалась эта вторая подлодка. Что-то очень ней странно все.

Подумай-ка лучше о чем-нибудь более веселом. Например, как приятно будет стоять у штурвала спиной к солнцу. Но помни, что, наевшись соленой рыбы, они теперь лучше разбираются в местных условиях, так что придется тебе поработать головой. Он заснул и проснулся только за два часа до рассвета, когда его стали кусать мошки. От мыслей о еде ему сделалось легче, и он проспал это время без всяких снов.

XII

Они снялись с якоря еще до рассвета, и Томас Хадсон повел судно по узкой, похожей на канал протоке между двух отмелей, серевших по сторонам. К восходу солнца он уже выбрался из этой протоки и, осторожно минуя каменистые выступы большого рифа, взял курс на север, туда, где синело открытое море. Можно было выиграть в расстоянии, пройдя вдоль рифа с внутренней стороны, но там путь был бы опаснее.

Ветер улегся, и море было настолько спокойно, что волны лишь тихо плескались у камней. Но день обещал быть горячим и душным, и можно было ждать, что после полудня налетит шквал.

Его помощник взошел на мостик и огляделся кругом. Потом стал всматриваться в дальнюю полосу берега, где торчала высокая, безобразная башня маяка.

— Можно было спокойно идти с внутренней стороны.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.— Но так лучше, по-моему.

— День будет как вчера. Только еще жарче.

— Они не уйдут далеко.

— Они никуда не уйдут. Они где-нибудь выжидают. На маяке тебе скажут, шли они через проход между Паредоном и Коко или нет.

— Верно.

— Я схожу к маяку на шлюпке,— сказал Антонио.— Я знаю смотрителя. А вы можете подождать меня у маленького островка против мыса. Я мигом обернусь.

— Пожалуй, и становиться на якорь не стоит.

— Ну, якорь нетрудно выбрать, у тебя достаточно дюжих парней.

— Пошли наверх Вилли и Ару, если они поели. Едва ли кто рискует здесь показаться, уж очень близко от маяка, и потом треклятое солнце так бьет в глаза, что ничего и не увидишь. Но все-таки пошли еще Джорджа и Генри тоже. Наше дело ничего не упустить.

— Том, ты не забывай только, что подводные камни в этих местах попадаются даже там, где вода уже совсем синяя.

— Не забываю, тем более что их можно увидеть.

— Чай будешь пить холодный?

— Да. И, пожалуйста, сделай мне сандвич. Только раньше вышли людей на вахту.

— Сейчас вышлю. С кем-нибудь из них передам тебе чай, а сам иду готовить шлюпку к спуску.

— Смотри только, разговор веди там осторожно.

— Для этого я и вызвался идти туда сам.

— Захвати несколько удочек. Меньше вызовешь подозрений, когда шлюпка подойдет к маяку.

— Верно,— сказал его помощник.— Хорошо бы еще захватить им каких-нибудь гостинцев.

Четверо поднялись на мостик и заняли каждый свой пост. Генри спросил:

— Ничего не видал, Том?

— Видал черепаху, а над ней летала чайка. Я все думал, она с стится черепахе на спину, но она не опустилась.

— Mi capitán,[1]— сказал Джордж. Хоть тоже баск, он был бо рослый, чем Ара, и он был хороший спортсмен и отличный моряк, во многом другом далеко уступал Аре.

— Mi señor obispo,[2]— сказал Томас Хадсон.

— Ладно, Том,— сказал Джордж.— Если я вдруг увижу больш подлодку, тебе доложить?

— Если такую, как ты в тот раз увидел, лучше оставь ее при се

— Та мне до сих пор по ночам снится,— сказал Джордж.

— Слушай, перестань ее поминать,— сказал Вилли.— Я только позавтракал.

— Мы тогда как оглянулись, так на мне прямо вся шерсть дыб встала,— сказал Ара.— А ты что почувствовал, Том?

— Страх.

— Вижу, всплывает,— продолжал Ара.— И вдруг Генри крич «Том, это авианосец».

— А я виноват, что ли, если она была похожа. Я бы и сейчас сказал.

— Она мне существование отравила,— сказал Вилли.— С того я так и хожу сам не свой. За пятачок зарекся бы когда-нибудь выходить в море.

— Вот тебе двадцать центов и можешь сойти на берег в Парад Гранде,— сказал Генри.— Там тебе еще сдачи дадут.

— А я не хочу сдачи. Я лучше возьму пересадочный билет.

— Да ну? — сказал Генри. После двух их последних посеще Гаваны между ними кошка пробежала.

— Слушай, ты, богач,— сказал Вилли.— Мы тут никаких подло не ищем, а то ты бы и на мостик не взошел, не хватив прежде для хр рости. Мы просто собираемся перебить десяток фрицев, улепетываю на дрянной посудине. А это даже тебе по плечу.

— Ты все-таки двадцать центов возьми,— сказал Генри.— Пр дятся когда-нибудь...

— Засунь их себе в ....

— А ну хватит, ребята,— сказал Томас Хадсон.— Хватит, говор Он пристально посмотрел на обоих.

— Извини, Том,— сказал Генри.

— Извиниться и я могу,— сказал Вилли.— Хоть и не за что.

— Том, смотри,— сказал Ара.— Что это там, почти у самого рега?

— Скала, которую обнажил отлив,— сказал Томас Хадсон.— карте она показана чуть восточнее.

— Нет, я не об этом. Дальше смотри, примерно на полм дальше.

— А это человек. Ловит крабов или проверяет вентери.

— Может, стоило бы потолковать с ним?

— Он с маяка, а на маяке уж Антонио со всеми потолкует.

— Ры-ыба! Ры-ыба! — закричал помощник, и Генри спросил

— Можно, я займусь ею, Том?

— Давай. А Хиля пошли сюда.

Генри сошел вниз, и немного спустя большая рыбина выпрыг из воды — это была барракуда. Еще немного спустя Томас Хадсон лышал, как крякнул Антонио, вонзая ей под жабры багор, а по раздались глухие удары дубины по голове. Он ждал громкого всплс когда мертвая рыба будет снова брошена в воду, и смотрел назад,

[1] Мой капитан *(исп.)*.

[2] Сеньор епископ *(исп.)*.

бы увидеть, насколько она велика. Но всплеска не было, и тогда он вспомнил, что в этом районе кубинского побережья барракуду употребляют в пищу, и Антонио, должно быть, решил подарить ее служащим маяка. Вдруг снова раздался двукратный крик: «Ры-ыба!» — но на этот раз над поверхностью воды ничего не показалось, только зажужжала разматывающаяся леска. Он выровнял курс и застопорил оба мотора. Потом, видя, что леска продолжает разматываться, выключил один мотор совсем и медленно развернулся по направлению к рыбе.

— Агуха! — закричал помощник.— И здоровенная.

Генри уже выводил рыбу, и вся она видна была за кормой, причудливо вытянутая в длину, с полосами на спине, четко темневшими в синеве прозрачных верхних слоев воды. Казалось, ее уже можно достать багром, но тут она вдруг дернула головой и, круто рванувшись вглубь, мгновенно исчезла из виду.

— Всегда они пытаются спастись таким рывком,— сказал Ара.— А быстрая — как пуля.

Но Генри очень скоро снова подвел рыбу к корме, и они увидели сверху, как забагрили и втащили на борт тугую, подрагивавшую тушу. Полосы у нее на спине ярко синели, челюсти, острые, как ножи, раскрывались и закрывались с ненужной теперь судорожной четкостью. Антонио уложил ее вдоль кормы, и она забила хвостом по дощатому настилу.

— ¡Qué peto más hermoso![1]— сказал Ара.

— Да, хороша агуха,— согласился Томас Хадсон.— Но если так будет продолжаться, мы отсюда до полудня не уйдем. Пусть удочки остаются, а поводки нужно снять,— сказал он помощнику. Он снова развернулся и, наверстывая потерянное время, но при этом стараясь, чтобы все выглядело так, будто они по-прежнему заняты рыбной ловлей, взял курс на каменистую оконечность мыса, где стоял маяк.

Пришел Генри и сказал:

— Хороша рыбина, а? Ее бы не на такую снасть брать. Странной формы голова у этих агух.

— Сколько она потянет? — спросил Вилли.

— Антонио говорит, не меньше шестидесяти. Вилли, ты уж извини, что я тебя не успел позвать. Это бы твоя должна быть рыба.

— Да чего там,— сказал Вилли.— Я с ней и не справился бы так быстро, как ты, и вообще пора нам заниматься своим делом. Было бы время, мы бы тут до дьявола рыбы наловили.

— А мы сюда приедем как-нибудь после войны.

— Черта с два,— сказал Вилли.— После войны я уеду в Голливуд, займусь там в консультанты по части того, как валять дурака на море.

— Это ты сумеешь.

— Еще бы не суметь. Уже больше года практикуюсь, подготовка у меня будет хоть куда.

— Ты что это сегодня с утра в мерихлюндии, Вилли? — спросил Томас Хадсон.

— А черт его знает. Встал с левой ноги.

— Вот что, сходи-ка в камбуз и, если мой чай уже остыл, принеси его, пожалуйста, сюда. Антонио занят разделкой рыбы, так ты уж мне сандвич приготовь. Ладно?

— Ладно. С чем сандвич?

— С арахисовым маслом и с луком, если луку у нас еще много.

— Есть приготовить сандвич с арахисовым маслом и с луком, сэр.

— И постарайся избавиться от своей мерихлюндии.

— Есть, сэр. Уже избавился, сэр.

---

[1] Какая у нее красивая кираса *(исп.)*.

Когда он ушел, Томас Хадсон сказал:

— Ты с ним полегче, Генри. Мне этот сукин сын очень нужен, с свое дело здорово знает. Просто на него мерихлюндия напала.

— Я и то стараюсь, Том. Но уж очень с ним трудно.

— Больше нужно стараться. Зачем ты его подначивал насчет дв дцати центов?

Томас Хадсон не отрывал глаз от ровной поверхности воды, от к варно безобидного на вид рифа, выступавшего из воды слева по борт Он любил проходить в опасной близости к рифу, когда солнце было него за спиной. Это как бы шло в возмещение за все те случаи, кога приходилось править против солнца, и за многое другое тоже.

— Извини, Том,— сказал Генри.— Буду теперь следить за всем, чт говорю или думаю.

Вилли принес чай в бутылке из-под рома, которая была обернут бумажным полотенцем, в двух местах перехваченным резинкой, чтоб держалось.

— Холодный, как лед, шкипер,— сказал он.— Я его еще изолирова для верности.

Он протянул Томасу Хадсону сандвич, завернутый в обрывок бу мажного полотенца, и сказал:

— Сандвич-шедевр, фирменное название «Гора Эверест». Толь для высшего начальства.

В недвижном воздухе до Томаса Хадсона явственно донесся зап спиртного.

— Тебе не кажется, Вилли, что ты сегодня рановато начал?

— Нет, сэр.

Томас Хадсон посмотрел на него испытующе.

— Как ты сказал, Вилли?

— Нет, сэр. Вы не расслышали, сэр?

— Ну вот что,— сказал Томас Хадсон.— Мне тебя пришлось пер спросить. А ты меня слушай так, чтобы не переспрашивать. Немедлен ступай вниз. Уберешь камбуз как следует, тогда иди на бак, чтоб бы у меня на глазах, и приготовься бросать якоря.

— Есть, сэр. Я себя что-то плохо чувствую, сэр.

— А мне на... как ты себя чувствуешь, морской законник. Если т себя сейчас чувствуешь плохо, так скоро почувствуешь много хуже.

— Есть, сэр,— сказал Вилли.— Я себя плохо чувствую, сэр. Мне б надо показаться судовому врачу.

— Он должен быть в носовом кубрике. Пойдешь мимо, стукни дверь, посмотри, там он или нет.

— Я и сам так думал, сэр.

— Что ты такое думал?

— Ничего, сэр.

— Пьян вдребезину,— сказал Генри.

— Нет, он не пьян,— сказал Томас Хадсон.— Выпить он выпи Только в голове у него мутится не от этого.

— Он уже давно какой-то чудной,— сказал Ара.— Но он всегд был чудной. Никто из нас не перенес того, что перенес он. Я, наприме вовсе ничего не перенес.

— Том перенес предостаточно,— сказал Генри.— А пьет холодны чай.

— Ладно, не будем раскисать и разнюниваться,— сказал Том Хадсон.— Ничего я не перенес, а холодный чай — мой любимый н питок.

— Что-то раньше ты его так не любил.

— Век живи, век учись, Генри.

Они уже были почти на траверзе маяка, впереди показалась ска

торую нужно было обойти, и ему хотелось прекратить этот пустой зговор.

— Ступай и ты на бак, Ара, посмотри, как он там. И не оставляй одного. Генри, ты смотай и убери удочки. А Джордж пусть поможет нтонио со шлюпкой. Можешь даже сойти с ним на берег, Джордж, ли он пожелает.

Оставшись один на мостике, он провел судно почти у самой скалы, куда потянуло запахом гуано, и, обогнув мыс, выбрал место для якорй стоянки. Глубина там была не больше двух морских саженей, дно ло чистое, ровное, и сильно чувствовалось течение. Он поглядел на крашенный белой краской дом и на старомодную башню маяка, по- м оглянулся туда, где за торчавшей из воды высокой скалой зеленели тровки, покрытые мангровыми зарослями, а еще дальше темнел низй, голый, скалистый берег Кайо Романо. Так долго жили они, не счия частых отлучек, в виду этого длинного, странного острова, так хошо знали многие его уголки, столько раз он служил им ориентиром конце рейсов, удачных и неудачных, что Томас Хадсон невольно испывал волнение, когда на горизонте возникали или же, наоборот, постеенно скрывались знакомые очертания. И вот сейчас он опять перед азами, особенно голый и мрачный с этой стороны, словно кусок бесюдной пустыни, протянувшейся в море.

На этом большом острове можно было встретить диких лошадей, диких коз, и диких свиней; не раз, должно быть, находились люди, юбражавшие, что им удастся его освоить. В глубине его были и холы, покрытые сочной растительностью, и живописные долины и рощи роевого леса, и однажды группа французов попыталась обосноваться Романо и построила целый поселок, получивший название Версаль.

Теперь все каркасные дома поселка были заброшены, кроме одного, ого большого. Как-то раз Томас Хадсон пришел туда в поисках прес- й воды и увидел собак, толкавшихся среди свиней, которые копались луже. И собаки и свиньи были серыми от москитов, облепивших их шной пеленой. Этот остров был райским местом, когда несколько ей подряд дул восточный ветер; можно было сутки идти с ружьем реди великолепной природы, такой же девственной, как в те дни, когда олумб высадился на этом побережье. Но стоило ветру улечься, как с мот налетали тучи москитов. Слово «тучи» здесь отнюдь не метафора, мал он. Они в самом деле налетали тучами и могли закусать человека смерть. Нет, те, кого мы ищем, едва ли укрылись на Романо, думал В такой штиль это невозможно. Скорей всего они прошли дальше.

— Ара,— позвал он.

— Что нужно, Том? — спросил Ара. Он всегда подтягивался на ру- и вспрыгивал на мостик легко, как акробат с литым из стали те- м.— Ну, что там?

— Вилли не в себе, Том. Я его увел в тень и дал ему выпить и уло- л его. Теперь он лежит спокойно, только очень уж пристально смот- т в одну точку.

— Может, ему слишком напекло голову солнцем?

— Может, и так. А может, что другое.

— А остальные где?

— Хиль и Питерс спят. Хиль всю ночь дежурил при Питерсе, не вал ему заснуть. Генри тоже спит, а Джордж пошел на шлюпке с нтонио.

— Им уже пора бы вернуться.

— Они и вернутся.

— Вилли совсем нельзя быть на солнце с его головой. Болван я, послал его на бак. Думал о дисциплине, а о чем нужно, не подумал.

— Я там разбираю и чищу большой пулемет, да еще все взрыва-

тели пришлось проверять, не отсырели ли во время дождя. Вчера как кончили играть в покер, все разобрали, вычистили и смазали.

— Да, в такую сырость стреляли или не стреляли, а провер нужно каждый день.

— Знаю,— сказал Ара.— Надо бы ссадить Вилли. Только где?

— На Кайо Франсесе?

— Можно. Но лучше бы в Гаване, а оттуда пусть его отпра куда-нибудь. Он будет болтать, Том.

У Томаса Хадсона промелькнула мысль, о которой он сразу пожалел.

— Не надо было нам брать человека, которого демобилизовали за больной головы,— сказал Ара.

— Верно. А мы взяли. Да мало ли мы всяких хреновых ошиб наделали?

— Не так уж много,— сказал Ара.— Можно, я пойду кончать св работу?

— Иди,— сказал Томас Хадсон.— И большое тебе спасибо.

— A sus ordenes,[1] — сказал Ара.

— Жаль, не могу приказать что-нибудь поумнее,— сказал Том Хадсон.

Подошла шлюпка с Антонио и Джорджем. Антонио сразу же по нялся на мостик, предоставив Джорджу с помощью Генри втаскив на борт шлюпку и мотор.

— Ну что? — спросил Томас Хадсон.

— Они, очевидно, прошли мимо ночью, еще до того, как совсем штилело,— сказал Антонио.— Если бы они свернули в протоку, их заметили с маяка. Старик лодочник, который ездит проверять вент никакой шхуны не видел. Он болтун страшный и уж, наверно, не у чал бы, если бы видел,— так мне сказал смотритель маяка. Если чешь, мы можем вернуться и сами поговорить со стариком.

— Не нужно. Наверно, они сейчас в Пуэрто-Коко или в Гильер

— Да, при таком дохлом ветерке они едва ли успели зайти ку нибудь дальше.

— Ты точно уверен, что они не могли пройти ночью через эту п току?

— Самый лучший на свете лоцман не провел бы их тут.

— Значит, надо искать их у Коко с подветренной стороны ближе к Гильермо. Будем сниматься с якоря и в путь.

Место здесь было гиблое, и он с осторожностью обходил все, видел, держась саженей на сто от береговых извилин. Берег был низк скалистый, кругом множество рифов и больших отмелей, сейчас об женных отливом. Вахту несли по четверо, и слева от Томаса Хадс стоял Хиль. Томас Хадсон все время смотрел на берег, видел пя мангровых зарослей вдалеке и думал: занес же нас черт сюда в та погоду. Высоко в небе уже собирались тучи, и шквал, пожалуй, мог лететь раньше, чем он ожидал. За Пуэрто-Коко есть три местечка, непременно нужно пошарить, думал он. Придется немножко приш рить свою лошадку, чтобы быстрей домчала туда.

— Генри,— сказал он,— пожалуйста, стань к штурвалу и дер двести восемьдесят пять оборотов. Я хочу пойти взглянуть, как Вилли. Если увидишь что-нибудь, дай мне знать. А ты, Хиль, перейди его место к правому борту. Со стороны берега наблюдение мо снять. Там всюду слишком мелко, чтобы могла укрыться шхуна.

— Я бы все-таки последил за этой стороной, Том, если у тебя возражений,— сказал Хиль.— Есть тут один кривой проливчик, кото

---

[1] Готов выполнить приказ *(исп.)*.

ходит почти к самой бухте, и проводник мог отвести их туда и спрять в мангровых зарослях.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Я тогда пошлю наверх Аннио.

— В большой бинокль я разгляжу мачту даже среди зарослей.

— Черта с два ты ее разглядишь. А впрочем, может быть.

— Мне бы очень хотелось, Том. Если у тебя нет возражений.

— Я ведь уже согласился.

— Извини, Том. Но понимаешь, мне кажется, если у них есть продник, он мог их туда завести. Мы сами как-то заходили туда.

— И потом должны были тем же путем выбираться обратно.

— Все так. Но представь себе, вдруг им пришлось второпях искать рытия из-за штиля. А мы пройдем дальше и минуем их.

— Это, конечно, нежелательно. Только вряд ли тебе удастся разядеть мачту с такого расстояния. И потом, они бы тогда замаскироли ее, чтобы она не видна была с воздуха.

— Все так,— чисто по-испански упорствовал Хиль.— Но у меня ень зоркие глаза, и этот бинокль с двенадцатикратным увеличением, при такой тихой погоде вообще хорошая видимость, и...

— Да я ведь сказал тебе: ладно.

— Все так. Но надо же было мне объяснить.

— Ты и объяснил,— сказал Томас Хадсон.— И если ты действильно вдруг обнаружишь мачту, можешь увешать ее земляными оремми и засунуть мне в зад.

Хиль немножко обиделся, но потом решил, что это очень остроумя шутка, особенно насчет земляных орехов, и, приставив бинокль к азам, стал так усиленно вглядываться в мангровые заросли, что глаза него чуть не вылезли из орбит.

А Томас Хадсон внизу разговаривал с Вилли, все время поглядывая море и на берег. Его всегда поражало, насколько меньше видишь, гда спустишься с мостика, и если внизу все было в порядке, он счил, что глупо ему покидать свой пост. Он всегда старался быть в конкте со своими людьми настолько, насколько это необходимо, и по зможности избегал бессмыслицы надзора без надзора. Но он все больше и больше власти передавал Антонио, сознавая его превосходство как ряка, и Аре, сознавая его превосходство вообще. Оба они превосходят ня во многом, думал он, и все же командовать должен я, используя способности, их опыт и их личные качества.

— Вилли,— сказал он.— Ну как ты тут?

— Я жалею, что по-дурацки вел себя, Том. Но мне, правда, что-то всем нехорошо.

— Ты же знаешь, какие правила есть для тех, кто пьет,— сказал мас Хадсон.— Нет никаких правил. И я, черт побери, не хочу пускать ход разные там словечки вроде чести и достоинства.

— И не надо,— сказал Вилли.— Ты же знаешь, что я не пьяница.

— Пьяниц мы на борт не берем.

— Если не считать Питерса.

— Мы его не брали. Его дали нам. У него свои трудности.

— Бутылка, вот его главная трудность,— сказал Вилли.— И мы не меем оглянуться, как его хреновые трудности станут нашими трудноми.

— Ладно, черт с ним,— сказал Томас Хадсон.— Что-нибудь еще бя точит?

— Да вообще.

— Что вообще?

— А то, что я наполовину псих и ты наполовину псих, а вся команда нас -- наполовину святые, а наполовину оголтелые.

— Не такая уж это плохая комбинация — святого с оголтелым.

— Верно. Даже замечательная. Но я привык, чтоб все уж как было в большем порядке.

— Слушай, Вилли, ничего с тобой серьезного нет. Просто от соли у тебя сделалось нехорошо в голове. И, по-моему, пить тебе сейчас стоит.

— По-моему, тоже,— сказал Вилли.— Я вовсе не строю из себя какого-то едреного хлюпика, Том. Но скажи, ты когда-нибудь сходил ума по-настоящему?

— Нет. Мне это ни разу не удалось.

— Паршивое это дело,— сказал Вилли.— И сколько бы оно ни длилось, это всегда слишком долго. А пить я брошу.

— Не надо. Пей, только в меру, как ты всегда пил.

— Я для того и пил, чтобы отогнать от себя это.

— Мы всегда пьем для чего-нибудь.

— Точно. Но я это без дураков. Я бы тебе не стал врать, Том.

— Все мы врем. Но я не думаю, что ты бы стал врать намеренно.

— Ступай на свой мостик,— сказал Вилли.— Я же вижу, как ты смотришь на воду, будто это девушка, которая вот-вот уйдет от тебя. Я больше ничего не буду пить, кроме разве морской воды, а сейчас я пойду помогу Аре ломать каждую вещь на куски и составлять снова.

— Не пей, Вилли.

— Сказал, не буду,— значит, не буду.

— Верю.

— Слушай, Том, можно тебе задать один вопрос?

— Хоть десять.

— Очень тебе скверно?

— Пожалуй, что очень.

— А спать ты можешь?

— Мало.

— Но прошлую ночь спал?

— Спал.

— Это после прогулки на берегу,— сказал Вилли.— Ну, ступай наверх и забудь про меня. Я буду заниматься делом вместе с Арой.

XIII

В поисках следов, оставленных немцами, они обследовали отмель в Пуэрто-Коко, объехали на шлюпке и мангровые заросли в глубине островка. Там были места, где вполне могла бы укрыться большая шхуна. Но их поиски ни к чему не привели, к тому же и шквалы начались раньше обычного, и под проливным дождем море стало взвиваться вверх белыми кипящими всплесками.

Томас Хадсон обследовал всю отмель и, обогнув лагуну, прошел в глубь островка. Он побывал в тех местах, куда слетаются в прилив фламинго, видал и стаи ибисов — cocos,— благодаря которым островок получил свое название, и парочку розовых колпиц, копавшихся в мергеле на берегу лагуны. Колпицы были очень красивы — ярко-розовые на фоне серого мергеля, движения изящные, быстрые, с порывом вперед, в них чувствовалась удручающая, вызванная вечным голодом безкость — то, что свойственно некоторым болотным птицам. Понаблюдать за ними подольше ему не удалось, так как он хотел проверить,— может быть, люди, которых они искали, оставили шхуну в мангровых зарослях, а сами поднялись выше, спасаясь от москитов.

Он ничего там не обнаружил, кроме места, где когда-то обжига

уголь, вышел на отмель и уже сидел в шлюпке у Ары, когда шквальный ветер совершил свой первый налет.

Ара обожал выходить на шлюпке в дождь, в сильный шквал, и Томас Хадсон узнал от него, что поиски ничего не дали. Теперь все уже были на катере, кроме Вилли, который забрался на самый дальний конец острова за мангровую рощу.

— А ты что-нибудь обнаружил?— спросил Ара.

— Нет, ничего.

— Под этим дождиком Вилли немного поостынет. Вот отвезу тебя и за ним поеду. Как ты думаешь, Том, где они?

— В Гильермо. Я бы на их месте туда подался.

— И я тоже. И Вилли так считает.

— Как он там?

— Прямо землю роет. Ты же его знаешь, Том.

— Да,— сказал Томас Хадсон. Они подошли к катеру, и он взобрался на борт.

Томас Хадсон видел, как Ара развернул шлюпку и скрылся в белопенном шквале. Потом он крикнул вниз, чтобы ему дали полотенце, и вытерся досуха, стоя на корме.

Генри сказал:

— А выпить не хочешь, Том? Ты же промок насквозь.

— С удовольствием.

— Неразбавленного рому?

— Что ж, хорошо,— ответил Томас Хадсон. Он сошел вниз за свитером и шортами и увидел, что люди настроены весело.

— Мы все выпили неразбавленного рому,— сказал Генри и подал ему налитый до половины стакан.— Я считаю, что если выпить, да сразу же обсушиться, тогда не простудишься. Как по-твоему?

— А-а, Том!— сказал Питерс.— Присоединяешься к нашей компании? Мы во славу здоровья пьем.

— Ты когда проснулся?— спросил его Томас Хадсон.

— Когда бульканье услышал.

— Как-нибудь ночью я начну булькать, вот тогда посмотрим, проснешься ты или нет.

— Не трудись, Том. Вилли проделывает это каждую ночь.

Томас Хадсон решил не пить рома. Потом, увидев, что все пьют и все держатся бодро и весело, несмотря на невеселые дела, которые их ожидают, передумал: с его стороны это, пожалуй, было бы слишком педантично и добродетельно. Кроме того, ему хотелось выпить.

— Давай поделимся,— сказал он Питерсу.— Из всех сукиных сынов ты единственный, кто спит с наушниками лучше, чем без наушников.

— Чего тут делить?— сказал Питерс, позволяя себе отступить от служебной дисциплины.— Ни тебе, ни мне не получится.

— Ну, так наливай себе отдельно,— сказал Томас Хадсон.— Я это пойло не меньше, чем ты, люблю.

Остальные наблюдали за ними, и Томас Хадсон видел, как ходят скулы у Генри.

— Пей до дна,— сказал Томас Хадсон.— И смотри, чтобы твои таинственные механизмы работали сегодня ночью на полную катушку. Уж ты постарайся — и ради себя и ради нас.

— Ради всех нас,— сказал Питерс.— А кто здесь на катере самый работяга?

— Ара,— сказал Томас Хадсон и, оглядев их всех, сделал первый глоток из стакана.— А также любой из прохвостов здесь на борту.

— Твое здоровье, Том,— сказал Питерс.

— Твое здоровье,— сказал Томас Хадсон и почувствовал, как эти слова холодно и вяло сходят у него с языка.— За здоровье короля науш-

ников,— сказал он, стараясь восстановить что-то утерянное.— За всяческое бульканье,— добавил он. теперь уже далеко шагнув по тому пути, который следовало избрать с самого начала.

— За здоровье моего командира,— сказал Питерс, слишком натягивая струну.

— Формулировка — дело твое,— сказал Томас Хадсон.— Уставом это не предусмотрено. Но так и быть. Можешь повторить это еще раз.

— Твое здоровье, Том.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.— Но быть мне последним сукиным сыном, если я выпью за твое здоровье до того, как ты и вся твоя аппаратура будете действовать исправно.

Питерс посмотрел на Томаса Хадсона, и дисциплина сковала ему лицо, а тело его, порядком изувеченное, приняло осанку человека, отслужившего три срока на пользу дела, в которое он верил, и расставшегося с ним ради чего-то другого, как это произошло и с Вилли. Он сказал машинально, без всяких попыток вложить иной смысл в свои слова:

— Слушаю, сэр.

— Твое здоровье,— сказал Томас Хадсон.— И подвинти там все свои хреновые чудеса.

— Слушаю, Том,— сказал Питерс. Сказал от всего сердца, без всяких подковырок.

Ну, пожалуй, хватит, подумал Томас Хадсон. Тут я поставлю точку и пойду на корму ждать появления своего другого трудного ребеночка. Не могу я относиться к Питерсу так, как к нему относятся остальные. Все его недостатки известны мне не хуже, чем им. Но в нем что-то есть. Он как ложь, в которой ты зашел так далеко, что уже недолго до правды. Он не справляется с нашей аппаратурой — это верно. Но, может, он способен на что-нибудь более серьезное?

Вилли тоже хорош, подумал он. Один другого стоит. Пора бы ему и Аре вернуться.

Сквозь дождь и белые всплески волн, закручивавшихся под хлесткими ударами ветра, он увидел шлюпку. Они поднялись на борт мокрые до нитки. Дождевиков ни тот, ни другой не надели, а завернули в них своих niños

— Здорово, Том,— сказал Вилли.— Мокрая задница и пустое брюхо — вот все наши достижения.

— Прими моих деток,— сказал Ара, подавая наверх закутанные в дождевики автоматы.

— Так-таки ничего?

— Ничего в десятикратном размере,— сказал Вилли. С него лило на корму, и Томас Хадсон крикнул Хилю, чтобы тот принес два полотенца.

Ара подтянул бакштовом шлюпку и поднялся на борт.

— Ничего, ничего и еще раз ничего,— сказал он.— Том, в такой дождь нам должны бы засчитать сверхурочные.

— Автоматы надо почистить немедля,— сказал Вилли.

— Сначала сами обсушимся,— сказал Ара.— Меня хоть выжми. То никак не мог под дождь попасть, то вымок так, что даже на заднице гусиная кожа.

— Знаешь, Том,— сказал Вилли.— Эти мерзавцы могут в шквальный ветер с зарифленными парусами выйти. Если только у них пороху хватит.

— Да, мне это тоже приходило в голову.

— С утра, в штиль, они, наверно, прячутся, а как шквал, так сразу выходят в море.

— Как ты думаешь, где они?

— Думаю, не дальше Гильермо. А, впрочем, кто их знает.

— Завтра на рассвете мы выйдем и у Гильермо поймаем их.
— Может, поймаем, а может, они уже уйдут оттуда.
— Все может быть.
— Какого черта у нас радара нет?
— А чем он нам помог бы сейчас?
— Ладно, молчу,— сказал Вилли.— Ты меня извини, Том. Но охотиться с УКВ за объектом, на котором нет радио...
— Да, правильно,— сказал Томас Хадсон.— Значит, преследование мы ведем плохо? По-твоему, можно лучше?
— Да, можно. Ничего, что я так говорю?
— Ничего.
— Мне бы только поймать этих сволочей и убить всех до одного.
— А что это даст?
— Ты забыл, какую бойню они устроили?
— Хватит причитать, Вилли. Ты уже давно на морской охоте, тебе это не к лицу.
— Ладно. Просто я хочу их убить. Такое желание дозволено?
— Это уже лучше, чем болтовня про бойню. Но мне нужен язык с подводной лодки, которая проводила операции в здешних водах.
— Твой последний язык был что-то не очень разговорчивый.
— Да. Но ты бы тоже молчал на его месте, если б был при последнем издыхании.
— Ладно уж,— сказал Вилли.— Можно, я пойду хвачу, что мне законно причитается?
— Пожалуйста. Переоденься в сухие шорты, в сухую рубашку и не цепляйся к людям.
— Ни к кому?
— Пора бы тебе поумнеть,— сказал Томас Хадсон.
— Пора бы тебе помереть,— сказал Вилли и улыбнулся во весь рот.
— Вот таким я тебя люблю,— сказал ему Томас Хадсон.— Таким и оставайся.

XIV

В эту ночь молния сверкала не переставая, громыхал гром, и часов до трех утра лил дождь. Питерс ничего не добился по радио, и они заснули в жаре, в духоте, а потом, после дождя, на них налетели песчаные мошки и всех, одного за другим, разбудили. Томас Хадсон побрызгал вниз «флитом», и там закашлялись, но возиться и шлепать себя стали меньше.

Он разбудил Питерса, обрызгав его всего «флитом», и Питерс замотал головой с наушниками и тихо сказал:

— Я все время пробую, Том. Но ничего не могу поймать.

Томас Хадсон посветил фонариком на стену и увидел, что барометр идет вверх. Значит, у фрицев будет попутный бриз, подумал Томас Хадсон. Опять они не могут пожаловаться, что им не везет. Надо обдумать это обстоятельство.

Он вернулся на корму и обрызгал «флитом» всю каюту, не разбудив спящих.

Потом сел и стал смотреть, как светлеет ночь, и время от времени опрыскивал себя «флитом». Дезинсекторы у них все кончились, только «флита» было много. Правда, когда он попадал на потную кожу, там начинало жечь, но все же это было лучше мошек. От москитов мошка отличалась тем, что пока она не сядет, ее приближения не слышно, а зуд начинается сразу после укуса. В этом месте появлялась припухлость размером с маленькую горошину. Кое-где на побережье и на островах мошки были особенно злые. Во всяком случае, их укусы почему-то казались гораздо больнее. Но, может быть, подумал он, все зависит от со-

стояния нашей кожи, насколько она загорела, огрубела. Как эту мошкару терпят местные жители, я просто не представляю себе. Надо быть очень выносливым, чтобы жить здесь, на побережье, и на Багамских островах, когда пассаты не дуют.

Он сидел на корме, прислушиваясь, поглядывая по сторонам. Высоко в небе шли два самолета, и он слушал гул их моторов, пока они не затихли.

Мощные бомбардировщики идут без посадки на Камагуэй по пути в Африку или куда-нибудь еще, а к нам это не имеет никакого отношения. Ну что ж, по крайней мере, их не донимают песчаные мошки. Меня они тоже не донимают. Да ну, плевал я на них. Легко сказать — плевал. Хорошо бы, поскорее рассвело—и уйти отсюда. Спасибо Вилли, мы проверили весь путь до конца мыса, а узкую протоку я пройду вдоль берега. Там есть только одно опасное место, но при дневном свете я его разгляжу даже в штиль. А там дальше — Гильермо.

На рассвете они вышли в море, и Хиль, самый зоркий из них, осматривал в двенадцатикратный бинокль зеленую береговую линию. Они шли так близко к берегу, что можно было разглядеть сломанную ветку на мангровом дереве. Томас Хадсон стоял у штурвала. Генри вел наблюдение за морем. Вилли помогал Хилю.

— Во всяком случае, здесь они уже побывали,— сказал Вилли.

— Надо все-таки проверить,— сказал Ара. Он помогал Генри.

— Конечно, надо,— сказал Вилли.— Я просто так — отмечаю.

— А где же этот чертов патруль, который высылают на рассвете из Кайо Франсеса?

— Разве по воскресеньям патрулируют? — спросил Вилли.— По-моему, сегодня как раз воскресенье.

— Надо ждать бриза,— сказал Ара.— Посмотрите на облака-перистые.

— Я только одного боюсь,— сказал Томас Хадсон.— Как бы они не прошли протокой у Гильермо.

— А мы это дело проверим.

— Давайте поскорее туда доберемся,— сказал Вилли.— А то у меня уже нервы не выдерживают.

— Оно и заметно,— сказал Генри.

Вилли взглянул на него и сплюнул через борт.

— Спасибо, Генри,— сказал он.— А я и хотел, чтоб было заметно.

— Хватит вам,— сказал Томас Хадсон.— Видите вон там справа по борту большой выступ коралла вровень с водой? Как бы нам не напороться на него. А по ту сторону рифа, джентльмены, и есть Гильермо. Посмотрите, как там все зелено. Настоящая страна обетованная.

— Очередной дерьмовый остров, и больше ничего,— сказал Вилли.

— А дыма от костров угольщиков не видно? — спросил Хадсон.

Хиль медленно повел биноклем и сказал:

— Нет, Том.

— Какой может быть дым после вчерашнего дождя? — сказал Вилли.

— Вот сейчас ты и ошибся, друг мой,— сказал Томас Хадсон.

— Может, и ошибся.

— Да. Дождь, бывает, всю ночь льет как из ведра, а большим ожигам ничего не делается. Я помню, как дождь хлестал однажды трое суток, и нигде не погасло.

— У тебя опыта с этим больше,— сказал Вилли.— Ладно. Дым может быть. Надеюсь, мы этот дым увидим.

— Банка здесь очень коварная,— сказал Генри.— В такой шторм им вряд ли удалось пройти ее.

Они увидели четырех крячек и двух чаек, круживших над этой бан-

кой. Птицы что-то нашли там и ныряли в воду за добычей. Крячки каркали, чайки пронзительно кричали.

— Что они там нашли, Том? — спросил Генри.

— Не знаю. Может, косяк рыбы? Только он на большой глубине, им не достать.

— Этим бедным птичкам приходится вставать еще раньше нас, чтобы добыть себе пропитание,— сказал Вилли.— Не ценят люди, сколько у них трудов на это уходит.

— Как ты решил идти, Том? — спросил Ара.

— Поближе к берегу и вон туда, к самой дальней точке острова.

— А этот полукруглый островок будешь обследовать — что там за обломки?

— Обогну их на близком расстоянии, а вы смотрите в бинокли. На якорь я стану в бухте у Гильермо.

— Мы станем на якорь,—сказал Вилли.

— Само собой. Чего это ты огрызаешься с самого утра?

— Я не огрызаюсь. Наоборот, я прихожу в восторг от океана и от этих упоительных берегов, которые впервые открылись взорам Колумба. Мне, слава богу, не пришлось служить под его началом.

— А я думал, ты служил,— сказал Томас Хадсон.

— Я когда лежал в госпитале в Сан-Диего, прочитал книжку о нем,— сказал Вилли.— И с тех пор считаю себя специалистом по Колумбу, а корабль у него был хуже нашей хреновой посудины.

— Наш катер не посудина и тем более не хреновая.

— Да,— сказал Вилли.— Пока еще нет.

— Ладно, ты, сподвижник Колумба. Видишь, градусах в двенадцати от нас обломки торчат из воды?

— Это пусть смотрит вахта, которая по штирборту,— сказал Вилли.— А я эти обломки своим единственным глазом отлично вижу, на них сидит олуша с Багамских островов. Она, наверно, прилетела нам в подкрепление.

— Вот и хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Нам без нее крышка.

— Из меня, наверно, мог бы получиться великий орнитолог,— сказал Вилли.— Моя бабка курей разводила.

— Том,— сказал Ара.— А ближе нельзя подойти? Вода сейчас высокая.

— Можно,— ответил Томас Хадсон.— Скажи Антонио, пусть пройдет на нос и доложит мне, какая тут глубина.

— Глубина большая, Том,— крикнул Антонио.— До самого берега. Ты же знаешь эту протоку.

— Да, знаю. Просто хотел удостовериться.

— Может, мне стать у штурвала?

— Нет, не надо,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо.

— Вот сейчас весь остров у нас как на ладони,— сказал Ара.— Осмотри его в бинокль, Хиль. Весь осмотри. А после тебя я.

— Кто же ведет наблюдение за первым четвертным румбом? — спросил Вилли.— Когда это вы переложили руль?

— Когда Том попросил тебя посмотреть на обломки, тогда мы руль и переложили. Перекладывание происходит автоматически. Теперь ты стоишь со штирборта.

— Уж очень ты специально выражаешься,— сказал Вилли.— Если хочешь щегольнуть специальным языком, тогда не ошибайся. Говорил бы просто — с правого борта, с левого борта.

— Ты первый сказал — вахта, которая по штирборту,— ответил ему Генри.

— Правильно. А отныне буду изъясняться только так: вверх по лестнице, вниз по лестнице, перед катера, зад катера.

— Вилли, стань рядом с Хилем и Арой и осмотри, пожалуйста, отмель в бинокль,— сказал Томас Хадсон.— Отмель и ближайшую треть острова.

— Слушаю, Том,— сказал Вилли.

Не трудно было увидеть, есть ли человеческое жилье на этой стороне Кайо Гильермо, которая почти круглый год находится под ветром. Но, двигаясь вдоль берега, они ничего такого не приметили. Когда катер вышел на траверз мыса, Томас Хадсон сказал:

— Я постараюсь пройти поближе к мысу, а вы все смотрите в бинокли. Если что-нибудь увидите, мы остановимся и спустим шлюпку.

Подул бриз, море начинало слегка разыгрываться, но прилив не давал волнам разбиваться о банку, а гнал их дальше. Томас Хадсон смотрел вперед, на маленький скалистый островок. Он знал, что у западной оконечности его лежит затонувшее судно; в прилив оно выступало из воды коричнево-красным горбом. Во впадине этого островка у берега было неглубоко, а за береговой кромкой шла песчаная отмель, но ее можно будет увидеть, только когда катер обогнет затонувшее судно.

— А тут люди живут,— сказал Ара.— Я вижу дым.

— Правильно,— сказал Вилли.— Поднимается он с наветренной стороны, а ветром его относит на запад.

— Дым примерно в центре острова, там, где должна быть отмель,— сказал Хиль.

— Мачту не видать?

— Никаких мачт,— сказал Хиль.

— Может, они убирают ее на день,— сказал Вилли.

— Становись по своим местам,— сказал Томас Хадсон.— Ара, ты стань рядом со мной. Вилли, скажи Питерсу: пусть выходит на связь. Услышат его — не услышат, все равно надо стараться.

— Как по-твоему, что там? — спросил его Ара, когда остальные ушли.

— Если б я был рыбаком да вялил бы рыбу, то куда же еще мне было бы идти с Гильермо, когда стоит штиль и от москитов спасения нет?

— Я бы тоже сюда перебрался.

— Уголь тут никто не обжигает, дым небольшой. Значит, костер развели не так давно.

— Или это старый догорает.

— Да, у меня тоже была такая мысль.

— Через пять минут все узнаем.

Они обогнули затонувшее судно, на обломки которого опять уселась олуша, и Томас Хадсон подумал: наши союзники — народ расторопный. Катер вошел в бухту с подветренной стороны, и Томас Хадсон увидел песчаную отмель, стену зелени за ней и хибарку, над крышей которой поднимался дым.

— Слава тебе, господи,— сказал он.

— Вот именно,— сказал Ара.— Я тоже опасался кое-чего другого. Никаких шхун тут не было.

— По-моему, мы им на пятки наступаем. Сойди на берег вместе с Антонио, да поскорее. Расскажете мне потом, что вы там увидите. Катер я подведу к самому берегу. Остальные пусть будут на своих местах и ничем себя не выдают.

Шлюпка развернулась и двинулась к отмели. Томас Хадсон видел, как Ара и Антонио идут к хибарке. Шли они быстро, только что не бежали. Окликнули, есть ли там кто. Из хибарки вышла женщина. Она, видимо, была индианка — смуглая, босая, с распущенными, длинными, почти по пояс волосами. Пока она говорила с Арой и Антонио, из хибарки вышла другая женщина. Эта тоже была смуглая, длинноволосая, на

руках у нее сидел ребенок. Кончив разговаривать. Ара и Антонио пожали обеим женщинам руки и вернулись к шлюпке Они оттолкнулись от берега, включили мотор и пошли к катеру.

Антонио и Ара сразу поднялись на мостик. Шлюпку втащили на борт.

— Там две женщины,— сказал Антонио.— Мужчины ушли на рыбную ловлю. Та, у которой ребенок, видела, как шхуна вошла в протоку. Это было, когда подул бриз.

— Значит, часа полтора назад,— сказал Томас Хадсон.— Сейчас прилив идет на убыль.

— И сильно идет,— сказал Антонио.— Вода убывает очень быстро, Том.

— Когда спадет совсем, нам оттуда не выйти.

— Да.

— Как же быть?

— Катер твой — решай сам.

Томас Хадсон круто переложил руль, включил оба мотора на двести семьдесят оборотов и повел катер к мысу.

— Они, пожалуй, сами на мель сядут,— сказал он.— Пропади все пропадом.

— В случае чего сбросим якорь,— сказал Антонио.— Если сядем на мель, грунт тут мергелевый. Мергель и тина.

— И подводные камни,— сказал Томас Хадсон.— Пошли сюда Хиля, надо следить за вехами. Ара и ты, Вилли, проверьте все оружие. Антонио, ты, пожалуйста, стань рядом со мной.

— Сволочная эта протока,— сказал Антонио.— Но пройти можно.

— По малой воде пройти здесь нельзя. Но, может, те сукины сыны тоже сядут на мель, а может, ветер утихнет.

— Ветер не утихнет, Том,— сказал Антонио.— Для пассата он слишком упорный, тугой.

Томас Хадсон посмотрел на небо и увидел длинные, белые космы облаков, гонимых восточным ветром. Потом посмотрел вперед на мыс самого большого острова, на его отмели, которые уже начинали проступать из-под воды. Он чувствовал: вон там его и прижмет. Потом посмотрел на лабиринт маленьких островков, казавшихся просто зелеными пятнами на воде.

— Ну как, вехи еще не видно, Хиль? — спросил он.

— Нет, Том.

— Это, наверно, будет ветка или просто палка.

— Ничего пока не вижу.

— Она должна быть прямо по носу.

— Вижу, Том. Длинная палка. Прямо по носу.

— Спасибо,— сказал Томас Хадсон.

Отмели по обе стороны протоки были светло-желтые на солнце, а отливное течение, идущее им навстречу из лагуны, отсвечивало зеленью. Оно было не грязное, не замутненное мергелем, потому что ветер еще не успел взбаламутить море. Это помогало ему вести катер.

Но вот он увидел за вехой такой узкий поворот, что по голове у него побежали мурашки.

— Ничего, Том, проведешь,— сказал Антонио.— Держи ближе к правому берегу. Я уж точно увижу этот поворот, как только он откроется.

Томас Хадсон двигался на самом малом ходу почти впритык к правому берегу. Он взглянул налево и увидел, что левый берег еще ближе к катеру, и взял лево руля.

— Тины много поднимаем? — спросил он.

— Тучи.

Они подошли к коварному повороту, и там оказалось не так плохо, как он ожидал. В узких местах протоки идти было куда труднее. Поднялся ветер, и когда они пошли бортом к нему, Томас Хадсон почувствовал своими голыми плечами его сильные порывы.

— Веха прямо по носу,— сказал Хиль.— Это всего-навсего ветка.

— Да, вижу.

— Держи все так же, ближе к правому берегу, Том,— сказал Антонио.— Лавировать теперь осталось недолго.

Томас Хадсон жался к правому берегу так близко, точно ставил машину у тротуара. Впрочем, побережье было похоже не на тротуар, а на изрытое снарядами, утопающее в грязи поле сражения тех времен, когда бои велись сосредоточенным артиллерийским огнем,— поле сражения, вдруг словно поднявшееся со дна океана и растянувшееся справа от него, точно рельефная карта.

— Много тины выбрасываем?

— Много, Том. Вот пройдем поворот и станем на якорь. По эту сторону Контрабандо. Или с подветренной стороны Контрабандо,— предложил Антонио.

Томас Хадсон повернул голову и увидел Кайо Контрабандо — маленький, зеленый, веселый островок — и сказал:

— Нет, к черту. Хиль, осмотри остров и протоку, нет ли тут их шхуны. Впереди вижу еще две вехи.

По этой протоке идти было легко. Но дальше он увидел песчаную косу, с которой вода уже начинала отступать. Чем ближе они подходили к Кайо Контрабандо, тем уже становилась протока.

— Обходи эту веху слева,— сказал Антонио.

— Я так и делаю.

Они обогнули сухую ветку, служившую вехой. Темная, она трепалась на ветру, и Томас Хадсон подумал, что при таком ветре глубина у них будет меньше, чем при средней малой воде.

— Тины по-прежнему много? — спросил он Антонио.

— Много, Том.

— Что ты там видишь, Хиль?

— Только вехи.

Вода становилась мутно-белой, потому что ветер уже поднимал волны, и теперь нельзя было разглядеть ни дна, ни берегов, обозначавшихся только когда вода скатывала с них.

Невесело, подумал Томас Хадсон. Но им тоже невесело. Волей-неволей придется поворачивать на другой галс. Они, наверно, настоящие мореходы. Теперь мне надо решать, какой протокой они пойдут — старой или новой. Это зависит от их лоцмана. Если он молодой, то, наверно, выйдет в новую протоку. Ту, которую промыло ураганом. Если старый, то, наверно, пойдет старой — по привычке и потому, что там идти спокойнее.

— Антонио,— сказал он.— Какой протокой лучше идти — старой или новой?

— Они обе плохие. Так что разница небольшая.

— А как бы ты поступил?

— Я бросил бы якорь с подветренной стороны Контрабандо и дождался бы там прилива.

— К утру прилив еще не будет в полной силе.

— То-то и оно. Но ты спрашивал меня, как бы я поступил.

— Попробую все-таки пройти по этой дерьмовой протоке.

— Катер твой, Том. Но если не мы, так кто-нибудь другой и поймает.

— А почему Кайо Франсес не патрулирует здесь с воздуха?

— Сегодня утром один патрулировал. Ты разве не видел?

— Нет. А почему ты не сказал мне?

— Я думал, ты его видишь — маленький гидроплан.

— Вот дьявол,— сказал Томас Хадсон.— Я, наверно, на носу тогда был, а генератор работал.

— Ну, теперь это не имеет значения,— сказал Антонио.— Том, двух следующих вешек я что-то не вижу.

— А ты видишь две следующие вешки, Хиль?

— Я никаких вешек не вижу.

— А ну их к черту,— сказал Томас Хадсон.— От меня сейчас одно требуется: идти впритык к следующему дерьмовому островку так, чтобы не угодить на песчаную косу, которая тянется от него на север и на юг. Потом мы подойдем к тому большому острову с мангровой рощей, а дальше сунемся в старую или в новую протоку.

— Восточный ветер гонит оттуда всю воду.

— А ну его к черту, этот восточный ветер,— сказал Томас Хадсон. И когда он произнес эти слова, они прозвучали, как самое главное, самое древнее проклятие из всех, что связаны с христианской религией. Он знал, что проклинает одного из вернейших друзей тех, кто ходит в море. И поскольку проклятие уже слетело с его уст, извиняться он не стал. Он повторил его.

— Не то ты говоришь, Том,— сказал Антонио.

— Да, верно,— согласился Томас Хадсон. А потом, принеся мысленно покаяние, прочитал, немного путая: — «Дуй, ветер с запада, дуй сильней, кропи нас дождиком в зной. Ах, если б в постель мне дома лечь и любовь моя рядом со мной».— Это тот же самый проклятый ветер, только дует он с других широт, подумал он. Они налетают с разных континентов. Но оба хорошие, надежные, дружелюбные. Потом он снова повторил про себя: «Ах, если б в постель мне дома лечь и любовь моя рядом со мной».

Вода стала теперь такой мутной, что ориентироваться можно было только по расстоянию между берегами и по скату воды с них. На носу стоял с лотом Джордж, в руках у Ары был длинный шест. Они измеряли глубину и докладывали результаты на мостик.

У Томаса Хадсона появилось странное чувство, что все это уже когда-то было, когда-то приснилось ему в дурном сне. Они прошли много трудных проток. Но и это уже случалось с ним. Может, всю жизнь случалось. Однако сейчас все требовало у него такого напряжения, что он чувствовал одновременно и свою власть над происходящим и себя во власти всего этого.

— Ты видишь что-нибудь, Хиль?

— Ничего не вижу.

— Позвать сюда Вилли?

— Нет. Что Вилли увидит, то и я увижу.

— Все-таки ему надо быть здесь.

— Как хочешь, Том.

Через десять минут они сели на мель.

XV

Они сели на мель из тины и наноса песка, которую почему-то не отметили вехой. Отлив еще продолжался, ветер дул сильный, вода была мутная. Впереди виднелся средней величины зеленый остров, низко сидящий в воде, а левее были разбросаны маленькие островки. Слева и справа из-под убывающей воды начали показываться плешины голых берегов. Томас Хадсон видел стаи птиц, которые кружили в воздухе и садились на землю покормиться.

Антонио поднял шлюпку на борт и вдвоем с Арой сбросил носовой якорь и два правобортных — полегче.

— Может, сбросить еще один носовой? — спросил Томас Хадсон своего помощника.

— Нет, Том. По-моему, не надо.

— Если поднимется ветер, как бы нас не погнало навстречу приливу.

— Да нет, Том, вряд ли. Хотя кто его знает.

— Давай с наветренной стороны сбросим маленький, а большой передвинем дальше в подветренную сторону. Так будет спокойнее.

— Ладно,— сказал Антонио.— Лучше так, чем опять садиться на мель в каком-нибудь гиблом месте.

— Ну, конечно,— сказал Томас Хадсон.— Но об этом уже был разговор.

— Бросать якорь надо.

— Знаю. Я просто попросил тебя сбросить еще один, тот, что поменьше, а большой передвинуть.

— Да, Том,— сказал Антонио.

— Выбирать якоря любит Ара.

— Выбирать якоря никто не любит.

— Ара любит.

Антонио улыбнулся и сказал:

— Ну, может быть. Ладно уж, соглашусь с тобой.

— Рано или поздно мы с тобой всегда соглашаемся.

— Только не было бы слишком поздно.

Томас Хадсон проследил за выполнением этого маневра, потом перевел взгляд вперед, на зеленый островок, где отлив обнажил корни мангровых деревьев, и там начинала собираться темнота. Может быть, они отсиживаются в бухте на южной стороне острова, подумал он. Ветер не утихнет часов до двух, до трех, а на рассвете, когда начнется прилив, они, пожалуй, попытаются вырваться оттуда и войдут в любую из двух проток. Потом — в тот большой, как озеро, залив, где можно без забот, без хлопот плыть всю ночь. А к следующему рассвету войдут в хорошую протоку по ту сторону залива. Все решит ветер.

С тех пор как они сели на мель, у него было такое чувство, что ему дана передышка. В ту минуту он ощутил сильный толчок, точно его самого ударило. Морское дно здесь было не каменистое, он понял это по толчку, ощутил его в руках и в ступнях. Но посадка на мель ударила его, как пуля. И только потом пришло ощущение передышки, какое наступает после того, как тебя ранило. Ему все еще казалось, будто все это происходит в дурном сне, будто все это когда-то уже было. Но если было, то как-то по-другому, а сейчас, когда они сидят на мели, ему дана временная передышка. Он знал, что передышка короткая, но и это было хорошо.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Здешний грунт хорошо держит, Том. Якоря засели как следует. А когда большой поднимем, можно будет быстро сняться с места.

— Да, вижу. Спасибо.

— Ты не огорчайся, Том. Эти сукины дети, может, совсем близко, может, вон за тем островом.

— А я не огорчаюсь. Просто злюсь на задержку.

— Автомобиля ты не угробил, судна не потопил. Ну, сели на мель, ждем, когда нас прилив с нее снимет, только и всего.

— Да, правильно.

— Оба штурвала целы, а катер сидит всей задницей в иле. Только и делов.

— Знаю. Это я его туда засадил.

— Как он сел легко, так и сойдет.

— Конечно, сойдет.

— Том! Тебя что-то тревожит?

— Что меня может тревожить?

— Ничего. Это я за тебя тревожусь.

— Ну их к черту, эти тревоги,— сказал Томас Хадсон.— Ты и Хиль ступайте вниз. Проследите там, все ли сытно поели, все ли настроены бодро. А потом мы поедем и обыщем этот островок. Больше нам делать нечего.

— Мы с Вилли сейчас можем поехать. Даже не поевши.

— Нет. Я поеду с Питерсом и с Вилли.

— Не со мной?

— Нет. Питерс знает немецкий. Только не говори ему, что он поедет. Разбуди его, и пусть выпьет побольше кофе.

— А почему мне нельзя?

— Шлюпка мала, не влезешь.

Хиль передал ему большой бинокль и сошел вниз вместе с Арой. Томас Хадсон внимательно осмотрел островок; высокие мангровые деревья мешали разглядеть то, что было за ними. На твердом грунте острова росли и другие деревья — еще выше, так что ему не удалось разглядеть, торчит ли мачта в глубине полукруглой бухты. От бинокля глаза у него устали, и он сунул его в футляр, накинул ремень на крючок, а бинокль положил на стойку для гранат.

Было приятно, что он снова один на мостике и может воспользоваться данной ему короткой передышкой. Он смотрел на птиц, копавшихся на берегу, и вспоминал, как много они значили для него в детстве. Теперь отношение к ним у него было другое, и убивать их ему совсем не хотелось. Вспомнил, как он сидел с отцом в укрытии, расставив на речной косе ловушки, и как птицы прилетали туда на обнажившийся в отлив берег, и как он подсвистывал им, когда они кружили у них над головой. Свист получался печальный, он и сейчас свистнул и завернул одну стайку. Но, описав дугу над сидевшим на мели катером, птицы полетели на дальний конец острова на кормежку.

Он повел биноклем, осматривая горизонт, и никакой шхуны не увидел. Может быть, они вывели ее новой протокой в пролив между островами, подумал он. Хорошо бы, их поймал кто-нибудь другой. Теперь без боя мы их не возьмем. Не станут они сдаваться какой-то шлюпке.

Он так долго думал за них, что даже устал. Наконец-то я чувствую настоящую усталость, подумал он. Что мне делать, я знаю, так что это все просто. Чувство долга — замечательная вещь. Не знаю, что бы я стал делать после гибели Тома, если бы не чувство долга. Ты мог бы заниматься живописью, сказал он себе. Или делать что-нибудь полезное. Да, может быть, подумал он. Но повиноваться чувству долга проще.

Вот то, что ты делаешь сейчас, тоже полезно. Не сомневайся. То, что ты делаешь, помогает положить конец всему этому. Только ради этого мы и трудимся. А что там дальше, одному богу известно. Мы уже сколько времени ищем этих молодчиков, и неплохо ищем, а сейчас у нас десятиминутная отсрочка, и после нее снова продолжай выполнять свой долг. Неплохо ищем? — подумал он. Черта с два! Очень хорошо ищем.

— Ты есть не хочешь, Том? — крикнул ему Ара.

— Нет, друг, я не проголодался,— сказал Томас Хадсон.— Дай мне бутылку с холодным чаем, она стоит на льду.

Ара подал бутылку, и Томас Хадсон взял ее и прислонился к борту. Он глотнул холодного чая, глядя на большой остров, лежавший впереди. Корни мангровых деревьев были видны теперь ясно, а сам остров будто стал на ходули. Потом слева показалась стая фламинго. Они летели низко над водой — красивые, яркие на солнце. Длинные шеи вытянуты

вниз, нелепые ноги болтаются, тельце неподвижное, а розовые с черным крылья машут ритмично, унося их к илистому берегу, который виднеется впереди, чуть вправо. Томас Хадсон смотрел на фламинго, с их нацеленными вниз черно-белыми клювами, и в розовых отсветах, падавших от них на небо, терялась несуразность этих птиц, и каждая из них казалась ему удивительной и прекрасной. Они приблизились к зеленому острову и вдруг всей стаей круто свернули вправо.

— Ара! — крикнул он вниз.

Ара поднялся на мостик и сказал:

— Да, Том?

— Возьми трех niños, к каждому по шесть дисков, и снеси их в шлюпку и туда же двенадцать гранат и среднего размера санитарную сумку. И пошли сюда, пожалуйста, Вилли.

Розовые фламинго сели на берег далеко справа и принялись деловито кормиться. Томас Хадсон смотрел на них, когда к нему подошел Вилли.

— Погляди на этих паршивых фламинго,— сказал он.— Они летели над островом и чего-то испугались. Я уверен, что там стоит шхуна или какое-нибудь другое судно. Хочешь пойти туда со мной, Вилли?

— Конечно.

— Ты уже поел?

— Приговоренный к смерти позавтракал с аппетитом.

— Тогда помоги Аре.

— Ара с нами пойдет?

— Я беру Питерса, потому что он говорит по-немецки.

— А нельзя вместо него Ару? Я не хочу быть рядом с Питерсом во время боя.

— Питерс поговорит с ними, тогда, может, и боя не будет. Слушай, Вилли. Мне нужны пленные, и я не хочу, чтобы погиб их проводник.

— Больно много условий ты ставишь, Том Их там не то восемь, не то девять человек, а нас трое. И кому вообще известно, есть ли у них проводник?

— Нам известно.

— Пошел ты к матери со своим благородством.

— Я спросил тебя, хочешь ли ты пойти с нами.

— Пойти-то я пойду,— сказал Вилли.— Только вот этот Питерс.

— Питерс будет драться. Пошли сюда, пожалуйста, Антонио и Генри.

— Ты думаешь, они там? — спросил Антонио.

— Я в этом почти уверен.

— Том, можно я пойду с вами? — спросил Генри.

— Нет. Шлюпка берет только троих. Если с нами что-нибудь случится, дай по шхуне очередь, чтобы она не ушла, когда начнется прилив. Потом найдешь ее в длинном заливе. Она будет повреждена. Может быть, даже не дойдет туда. Если удастся, возьми пленного, доставь его в Кайо Франсес и сдай там под расписку.

— А нельзя мне с вами вместо Питерса? — спросил Генри.

— Нет, Генри. Что поделаешь? Он говорит по-немецки. Команда у тебя хорошая,— сказал он Антонио.— Если у нас все обойдется, я оставлю на шхуне Вилли и Питерса с тем, что мы там обнаружим, а пленного привезу на катер в шлюпке.

— Нашего последнего пленного ненадолго хватило.

— А я постараюсь привезти годного, крепкого, здорового. Идите вниз и проверьте, все ли там закреплено. Я хочу посмотреть на фламинго.

Он стоял на мостике и смотрел на фламинго. Тут дело не только в их окраске, думал он. Не только в том, что черный цвет лежит на светло-

розовом. Все дело в их величине и в том, что, если разглядывать их по частям, они уродливы и в то же время изысканно прекрасны. Это, наверно, древняя птица, сохранившаяся с незапамятных времен.

Он смотрел на них невооруженным глазом, потому что не детали были ему нужны, а розовое пятно на серо-буром берегу. Туда прилетели еще две стаи, и краски берега стали теперь такого цвета, какой он не осмелился бы нанести на холст. А может, и осмелился и написал бы так, подумал он. Приятно посмотреть на фламинго, прежде чем пускаться в этот путь. Пойду. Не надо давать людям время задуматься или встревожиться.

Он сошел вниз и сказал:

— Хиль, поднимись туда и смотри на остров, не отрываясь от бинокля ни на минуту. Генри, если услышишь пальбу, а потом шхуна покажется из-за острова, вдарь ей, сволочи, по носовой части. Остальные пусть следят в бинокли за уцелевшими, а ловить их будете завтра. Пробоину в шхуне надо заделать. На шхуне есть лодка. Лодку тоже отремонтируйте и пользуйтесь ею, если мы не очень ее изуродуем.

Антонио спросил:

— Какие еще будут приказания?

— Никаких. Еще следите за работой кишечника и старайтесь вести непорочный образ жизни. Мы скоро вернемся. А теперь, благородные ублюдки, пошли.

— Моя бабка уверяла, что я не ублюдок,— сказал Питерс.— Говорила, что другого такого хорошенького, вполне законнорожденного ребеночка во всем округе не найти.

— Моя мамаша тоже клялась, что я не ублюдок,— сказал Вилли.— Куда нам садиться, Том?

— Когда ты спереди, шлюпка сядет на ровный киль. Но если хочешь, на нос перейду я.

— Садись на корму и правь,— сказал Вилли.— Вот теперь корабль у тебя что надо.

— Значит, мне козырь вышел,— сказал Томас Хадсон.— Делаю карьеру. Прошу на борт, мистер Питерс.

— Счастлив быть у вас на борту, адмирал,— сказал Питерс.

— Ни пуха вам, ни пера,— сказал Генри.

— Помирай поскорее,— крикнул ему Вилли. Мотор заработал, и они пошли к силуэту острова, который теперь казался ниже, потому что сами они были только чуть выше уровня моря.

— Я подойду к шхуне с борта, и мы поднимемся на нее, а окликать их не будем.

Они кивнули молча, каждый со своего места.

— Нацепите на себя свою амуницию. Пусть ее видно, плевал я на это,— сказал Томас Хадсон.

— Да ее и прятать тут некуда,— сказал Питерс.— Я нагрузился, как бабушкин мул.

— Вот и ладно. Мул хорошая животина.

— Том, обязан я помнить, что ты мне толковал про ихнего проводника?

— Помнить помни, но и мозгами шевели.

— Ну-с, так,— сказал Питерс.— Теперь нам все насквозь ясно.

— Давайте помолчим,— сказал Томас Хадсон.— На шхуну полезем все сразу, а если эта немчура внизу, ты им крикни по-ихнему, чтоб выходили и чтоб руки вверх. И хватит разговаривать, потому что голоса далеко разносятся, дальше стука мотора.

— А если они не выйдут, тогда что делать?

— Тогда Вилли бросает гранату.

— А если они все на палубе?

— Откроем огонь, каждый по своему сектору. Я — по корме. Питерс — по средней части. Ты — по носовой.

— Так гранату мне бросать или нет?

— Конечно, бросай. Нам нужны раненые, которых еще можно спасти. Поэтому я и захватил санитарную сумку.

— А я думал, ты ее для нас взял.

— И для нас. Теперь помолчим. Вам все ясно?

— Яснее дерьма,— сказал Вилли.

— А затычки для задниц нам выдали? — спросил Питерс.

— Затычки сбросили с самолета сегодня утром. Ты разве не получил?

— Нет. Но моя бабка говорила, что у меня такое вялое пищеварение, какого на всем Юге ни у одного ребеночка не найдешь. Одна моя пеленка лежит в качестве экспоната в Смитсоновском институте.

— Перестань трепаться,— вполголоса сказал Вилли, откинувшись назад, чтобы Питерс его лучше расслышал.— И все это мы должны проделать при свете, Том?

— Сейчас, не откладывая.

— Ой, лихо мне, голубчику, будет,— сказал Вилли.— В какую компанию я попал — кругом одно ворье, одни ублюдки.

— Заткнись, Вилли. Посмотрим, как ты драться будешь.

Вилли кивнул и своим единственным зрячим глазом уставился на зеленый остров, который будто привстал на цыпочки на коричневато-красных корнях мангровых деревьев.

Прежде чем шлюпка обогнула мыс, он сказал еще только:

— На этих корнях попадаются хорошие устрицы.

Томас Хадсон молча кивнул.

XVI

Они увидели шхуну, когда обогнули мыс и вошли в пролив, отделяющий этот остров от другого — маленького. Шхуна стояла носом к берегу, с ее мачты свисали виноградные плети, палуба была устлана свежесрезанными мангровыми ветками.

Вилли снова откинулся назад и тихо проговорил Питерсу почти в самое ухо:

— Лодки на ней нет. Передай дальше.

Питерс повернулся своим веснушчатым, покрытым пятнами лицом к Томасу Хадсону и сказал:

— Лодки на ней нет, Том. Наверно, съехали на берег.

— Мы поднимемся на борт и потопим ее,— сказал Томас Хадсон.— План действий тот же. Передай дальше.

Питерс нагнулся и сказал это Вилли на ухо. Они подошли к шхуне со всей скоростью, какую только могли выжать из маленькой тарахтелки — мотора, и Томас Хадсон ловко, без малейшего толчка подвел шлюпку к борту. Вилли ухватил гак шкафута, откинул его назад, и они почти одновременно, все втроем, взобрались на палубу шхуны. Под ногами у них были мангровые ветки, издававшие безжизненно свежий запах, и Томас Хадсон увидел обвитую виноградными плетями мачту, и это опять было как во сне. Он увидел открытый люк, и открытый форлюк, и набросанные на них поверху ветки. На палубе никого не было.

Томас Хадсон взмахом руки послал Вилли на нос мимо первого люка, а на форлюк навел автомат. Он проверил спуск у предохранителя. Его босые ноги ощущали твердую округлость веток, скользкость листьев и теплоту деревянной палубы.

— Скажи им, чтобы выходили с поднятыми руками,— вполголоса бросил он Питерсу.

Питерс грубо, гортанно заговорил по-немецки. Ответа на его слова не последовало — все как было, так и осталось.

У бабушкина внучка недурная дикция, подумал Томас Хадсон и сказал:

— Повтори: пусть выходят. Даю им десять секунд. Обращение с ними будет, как с военнопленными. Потом сосчитай до десяти.

Питерс говорил так, словно вещал судьбу всей Германии. Голос у него звучит великолепно, подумал Томас Хадсон и, быстро повернув голову, посмотрел, не видно ли лодки. Но увидел он только темные корни и зеленую листву мангровых деревьев.

— Сосчитай до десяти и бросай гранату,— сказал он.— Вилли, следи за этим дерьмовым люком.

— Он, мать его, ветками прикрыт.

— Сунь туда гранату, только после Питерса. Протолкни ее внутрь, не бросай.

Питерс сосчитал до десяти. Высокий, свободный в движениях, как бейсболист на подаче, он взял автомат под мышку, выдернул зубами чеку, задержал гранату, уже окутанную дымом, в руке, точно поддавая ей жару, и швырнул ее из-под руки, как настоящий Карл Мейс, в темную дыру люка.

Глядя на него, Томас Хадсон подумал: ну и актер! И ведь ему кажется, что там никого нет.

Томас Хадсон бросился на палубу, держа открытый люк под прицелом. Граната, брошенная Питерсом, взорвалась с ослепительной вспышкой, с грохотом, и Томас Хадсон увидел, как Вилли раздвигает ветки над форлюком, прежде чем сунуть туда гранату. И вдруг справа от мачты, там, где с нее свисали виноградные плети, он увидел дуло винтовки, высунувшееся между ветками над тем форлюком, около которого был Вилли. Он выстрелил по ней, но она сама дала пять выстрелов, простучавших быстро, дробно, как детская трещотка. Тут же следом, ярко сверкнув, взорвалась граната Вилли, и Томас Хадсон взглянул на него и увидел, как он сдергивает чеку с другой гранаты. Питерс лежал на боку, уткнувшись головой в фальшборт. Кровь с его головы стекала в шпигат.

Вилли швырнул гранату, и звук взрыва был совсем другой, потому что, прежде чем взорваться, граната далеко прокатилась под палубой.

— Как ты думаешь, остался там кто-нибудь в живых из этих подонков? — крикнул Вилли.

— Я сейчас отсюда брошу,— сказал Томас Хадсон. Он пригнулся и побежал, чтобы не попасть под обстрел из большого люка, сорвал чеку с удобно схваченной его рукой серой, тяжелой, плотной гранаты и, обогнув открытый люк, швырнул ее на корму. Раздался треск, гул, и над вздыбившимися досками палубы потянулись струйки дыма.

Вилли остановился около Питерса, Том подошел и тоже посмотрел на него. Он был почти такой же, как всегда.

— Вот и потеряли мы своего переводчика,— сказал Вилли. Веко на зрячем глазу у него подергивалось, но голос звучал обычно.

— Быстро она садится,— сказал Томас Хадсон.

— Да она уже сидела на мели. А теперь дает крен на концевые бимсы.

— Столько у нас несделанного осталось, Вилли.

— И обменялись поровну. Одного на одного. Но проклятую шхуну все-таки потопили.

— Знаешь что, езжай-ка ты поскорее на наше судно и возвращайся сюда с Генри и с Арой. Антонио скажешь, что как только прилив снимет судно с мели, пусть ведет его к мысу.

— Сначала мне надо внизу все проверить.
— Я сам проверю.
— Нет,— сказал Вилли.— Это мое дело.
— Ну, а как ты сам, друг?
— Хорошо. Только опечален вестью о гибели мистера Питерса. Поискать, что ли, тряпку какую прикрыть ему лицо? И положить его надо так, чтобы голова была повыше, а то шхуна дает сильный крен.
— А что с тем фрицем на носу?
— Вдребезги разнесло.

XVII

Вилли уехал за Арой и Генри. Томас Хадсон лежал у планшира высокого фальшборта шхуны. Ногами он упирался в люк и следил, не появится ли лодка. По другую сторону люка лежал Питерс, лицо его было закрыто немецкой рабочей курткой. Вот не замечал, что он такой высокий, подумал Томас Хадсон.

Они с Вилли вдвоем осмотрели шхуну; все в ней было разворочено. На борту оказался только один немец — тот самый, который убил Питерса, вероятно, приняв его за командира. Они обнаружили еще шмейссерский автомат и около двух тысяч дисков в металлическом ящике, вскрытом при помощи плоскогубцев или ключа для консервов. Те, кто съехал на берег, видимо, были вооружены, так как оружия на борту не оказалось. Лодка была по меньшей мере шестнадцати футов в длину, судя по кильблокам и царапинам, которые она оставила на палубе. Еды у немцев было еще много — главным образом вяленая рыба и сильно прожаренная свинина. Своего раненого товарища они оставили на шхуне; он и застрелил Питерса. У немца было тяжелое ранение в бедро, почти зажившее, и в мякоть левого плеча, тоже, почти зажившее. Еще имелись подробные карты побережья и Вест-Индских островов, непочатый ящик беспошлинных сигарет «Кэмел» с печатью «Снабжение Морского ведомства», ни кофе, ни чая, ни капли спиртного.

Теперь надо было рассудить, что они предпримут. Где они сейчас? Ведь, конечно, слышали или видели небольшое сражение, которое разыгралось на шхуне. Могут вернуться и за своим провиантом. Видели, наверно, что на шлюпке с мотором ушел один человек, а судя по стрельбе и взрывам гранат, на шхуне могли остаться трое — или убитых или тяжелораненых. Да, вернутся на шхуну за своим провиантом или еще за чем-нибудь припрятанным, а потом, ночью, будут прорываться к материку. Если лодка сядет у них на мель, они сами ее и снимут.

А лодка эта, наверно, суденышко надежное. Радиста у Томаса Хадсона не было, и он не мог передать описание этой лодки, следовательно, искать ее никто не станет. Еще, если фрицы захотят и если у них хватит дерзости, ночью они могут попытаться захватить катер. Что маловероятно.

Томас Хадсон обдумал это со всех сторон. И решил, что скорее всего фрицы зайдут в мангровую рощу, вытащат лодку на берег и спрячут ее. Если мы углубимся туда за ними, они уничтожат нас из засады. А потом выйдут в открытый внутренний залив, пройдут дальше и ночью попытаются пройти мимо Кайо Франсеса. Это не трудно. Провиант раздобудут по пути или отнимут его где-нибудь и выйдут на запад к одной из немецких частей в районе Гаваны, а там их подберут и спрячут. Найти более надежную лодку ничего не стоит. Захватят или украдут.

Мне надо рапортовать в Кайо Франсес, доставить туда Питерса и получить дальнейшие распоряжения. До прихода в Гавану неприятно-

тей не будет. На Кайо Франсесе начальником лейтенант, а с ним ника-их осложнений не предвидится — живо договоримся, и Питерса можно удет там оставить.

Льда у нас на него хватит, и там же я заправлюсь горючим, а лед озьму на Кайбарьене.

Этих фрицев надо поймать во что бы то ни стало. Но я не намерен одставлять Вилли, Ару и Генри неизвестно за каким хреном под огонь втоматов, которым нас будут поливать из мангровой рощи. Судя по ому, что мы видели на шхуне, их восемь человек. Сегодня у меня была озможность застукать их со спущенными штанами, а я ее упустил, отому что они слишком хитрые, слишком удачливые и, кроме того, чень деловиты.

Одного человека мы потеряли, к тому же радиста. Зато пересадили х на лодку. Если я эту лодку увижу, мы ее уничтожим, а остров бло-ируем и выследим их там. Но соваться в ловушку, где восемь против роих, я не собираюсь. Если мне всыпят за это, пусть. Так или иначе сыпят. За то, что у меня погиб Питерс. Если б погиб кто-нибудь из обровольцев, плевать бы они хотели. Им все безразлично, а мне и юему судну — нет.

Скорее бы мои сюда подъехали, подумал он. Я не хочу, чтобы эта емчура увидела, что мы тут натворили у них на шхуне, не хочу в оди-очку вести с ними сражение на безымянном острове. И что они там елают? Может быть, пошли за устрицами? Вилли говорил что-то про стриц. Может быть, они не хотят находиться днем на шхуне — вдруг выследят с самолета. Но пора бы им знать, в какие часы здесь пат-улируют с воздуха. А, дьявол, скорее бы они появились, и дело с кон-ом. Я-то прикрыт, а они, прежде чем подняться на борт, будут все меня под прицелом. А как ты думаешь, почему раненый не обстрелял ас, когда мы влезали на шхуну? Ведь он же слышал стук мотора. Мо-ет быть, спал? Ведь мотор работает очень тихо.

Слишком много у меня всяких вопросов, подумал он, и я не уве-ен, что рассчитал все правильно. Может, не следовало нам брать шху-у. Но это, кажется, было необходимо. Мы разворотили ее и потеряли итерса и убили одного немца. Результаты не очень блистательные, о все же в нашу пользу.

Он услышал гул мотора и повернул голову в ту сторону. Шлюпка гибала мыс, но сидел в ней на корме голько один человек. Это был ра. Шлюпка шла с большой осадкой, и он догадался, что Вилли и Ген-и лежат в ней ничком. Хитер Вилли, подумал он. Теперь немцы, спря-авшиеся на острове, решат, что едет кто-то один, и причем совсем не л, кто прошел в ту сторону. Хитро это или нет, не знаю. Но Вилли, аверно, рассчитал правильно.

Шлюпка подошла к шхуне с подветренной стороны, и Томас Хад-ж увидел могучую грудь Ары, его длинные руки и смуглое лицо — акое серьезное сейчас, увидел, как по ногам его пробегает нервная рожь. Генри и Вилли лежали в шлюпке ничком, положив голову на уки.

Когда шлюпка остановилась с подветренной стороны шхуны, кре-ившейся от острова к морю, и Ара ухватился за ее поручни, Вилли лег а бок и сказал:

— Поднимайся на борт, Генри, и ползи к Тому. Ара передаст тебе наряжение. И то, что от Питерса осталось, тоже возьмешь.

Генри осторожно пополз на животе по наклонной палубе. Пропол-ия мимо Питерса, он метнул на него взгляд.

— Том,— сказал он.

Томас Хадсон положил руку ему на плечо и чуть слышно прого-орил:

— Пробирайся на нос, там и ляжешь. И чтобы тебя не было видн над фальшбортом.

— Хорошо, Том,— сказал рослый детина и стал медленно, дюй за дюймом ползти сначала вниз, а потом кверху, на нос. Ему пришлос переползти через ноги Питерса, и он взял его автомат, обоймы и за правил обоймы за пояс. Потом сунул руку в карман Питерса, вынул оттуда гранаты и пристегнул их к поясу. Он похлопал Питерса по но гам и, держа оба автомата за дула, пополз дальше к своему посту на носовой части шхуны.

Проползая по наклонной палубе, подминая под себя поломанны мангровые ветки, он заглянул в развороченный форлюк. То, что он увидел там, никак не отразилось на его лице. Добравшись до подвет ренной стороны фальшборта, он положил оба автомата справа от себя, потом проверил автомат Питерса и вставил в него новую обойму. Остальные обоймы положил вдоль фальшборта, отстегнул от пояса гранаты и тоже приладил их так, чтоб были под рукой. Удостоверив шись, что Генри занял свою позицию и смотрит на зеленый остров, То мас Хадсон отвернулся от него и заговорил с Вилли, который лежа на дне шлюпки, зажмурив от солнца оба своих глаза — и зрячий и искусственный. На нем были рваные шорты, выгоревшая рубашка цвет хаки с длинными рукавами, на ногах — резиновые туфли. Ара сидел на корме, и Томас Хадсон прежде всего увидел густую шапку его черны волос и то, как его большие руки вцепились в фальшборт шлюпки. Ноги у Ары все еще подрагивали, но Томас Хадсон знал, что он всегда нервничает перед боем, а стоит только делу начаться, как его поведени становится выше всяких похвал.

— Вилли,— сказал Томас Хадсон,— ты все рассчитал?

Вилли открыл свой зрячий глаз, а искусственный так и остался у него зажмуренным.

— Я прошу разрешения отбыть на дальний конец острова и по смотреть, что там делается. Этих сволочей нельзя отсюда выпускать.

— Я поеду с тобой.

— Нет, Томми. Я это паршивое дело знаю. Такова моя профессия

— Одного тебя я не пущу.

— А туда только одному и надо ехать. Ты уж положись на меня Томми. Ара вернется и поможет тебе, в случае если я там их обнаружу. А если все обойдется благополучно, он подойдет к берегу и заберет меня.

Оба глаза у него были открыты, и он пристально смотрел на Томаса Хадсона, будто старался продать ему какую-то штуку, которая хоть и нужна в хозяйстве, да не известно, хватит ли на нее денег у покупателя.

— Все-таки я поеду с тобой.

— Слишком много шума будет. Нет, правда, Том, я это паршивое дело знаю. Я крупный специалист по такого рода дерьмовым делам. Лучшего специалиста ты не найдешь.

— Ладно. Поезжай,— сказал Томас Хадсон.— А лодку их подорви

— А как ты думаешь, что я там собираюсь делать? По пляжу гулять?

— Ну, если ехать, так поезжай.

— Том. У тебя сейчас поставлены два капкана. Один на катере, другой здесь. Ара с тобой куда угодно поедет. Потерять ты можешь только пушечное мясо — одного морского пехотинца, белобилетника. Чего же ты, в самом деле?

— Хватит болтать,— сказал Томас Хадсон.— Проваливай к чертовой матери, и да благословит тебя господь дерьмовым венцом.

— Подыхай поскорее,— сказал ему Вилли.

— Ты, я вижу, в форме,— сказал Томас Хадсон и быстро объяснил Аре по-испански, что им предстоит делать.

— Не беспокойся,— сказал Вилли.— Я из положения лежа все ему объясню.

Ара сказал:

— Я скоро вернусь, Том.

Томас Хадсон увидел, как Ара запустил мотор и как шлюпка отошла от шхуны, увидел широкую спину и черные волосы Ары, сидевшего на корме, и Вилли, лежавшего на дне шлюпки. Вилли перевернулся на бок, и голова его пришлась вровень с ногами Ары, так что теперь они могли переговариваться.

Хороший, смелый, беспутный сукин сын, подумал Томас Хадсон. Старина Вилли. Он подтолкнул меня, когда я уже начал сдавать. Крепкий моряк, даже покалеченный моряк, это в нашем поганом положении лучшее, что может быть. А положение у нас поганое. Желаю вам удачи, мистер Вилли. И не подыхайте, пожалуйста.

— Как ты там, Генри? — тихо спросил он.

— Хорошо, Том. Какую Вилли доблесть проявил — сам вызвался ехать на остров.

— Доблесть? Он и слова такого не знает,— сказал Томас Хадсон.— Просто решил, что это его долг.

— Я жалею, что мы с ним не дружили.

— Когда дело плохо, тогда все мы дружим.

— Отныне я буду дружить с ним.

— Отныне мы все собираемся много чего свершить,— сказал Томас Хадсон.— Уж скорее бы оно наступило это «отныне».

XVIII

Они лежали на горячей палубе, наблюдая за островом. Солнце сильно припекало им спины, но ветер охлаждал. Спины у них были почти такие же черные, как у индианок, которых они видели сегодня утром на дальнем острове. Кажется, что это было давным-давно, как и вся моя жизнь, подумал Томас Хадсон. Это — и открытое море, и длинные рифы с разбивающейся о них волной, и темный бездонный тропический океан за ними,— все это было сейчас так же далеко от него, как и вся его жизнь. Мы ведь могли с этим самым бризом уйти в открытое море и выйти на Кайо Франсес, и Питерс ответил бы на их позывные, и мы сегодня вечером уже пили бы холодное пиво. Не думай об этом, сказал он себе. Ты сделал как должно.

— Генри,— сказал он.— Как ты там?

— Великолепно, Том,-- очень тихо ответил Генри.— Скажи, осколочная граната может взорваться от того, что перегрелась на солнце?

— Никогда не видал такого. Но, конечно, солнечный нагрев может повысить чувствительность ее запала.

— Надеюсь, у Ары есть вода,— сказал Генри.

— Они брали ее с собой. Ты разве не помнишь?

— Нет, Том, не помню. Я был занят собственным снаряжением и не обратил внимания.

Тут сквозь шум ветра они услышали стрекот подвесного мотора. Томас Хадсон осторожно повернул голову и увидел, что шлюпка огибает мыс. Она высоко поднимала нос над водой, на корме сидел Ара. На таком расстоянии уже можно было разглядеть его широкие плечи и шапку черных волос. Томас Хадсон опять повернулся лицом к острову и увидел, как из рощи по самой его середине поднялась ночная цапля. Потом он увидел, как две каравайки тоже поднялись, описали круг и сперва быстрыми взмахами крыльев, потом планирующим спуском, по-

том опять быстрыми взмахами крыльев улетели по ветру в сторону маленького острова.

Генри тоже следил за ними, и он сказал:

— Вилли, наверно, уже далеко внутрь забрался.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Они взлетели с того высокого хребта в середине острова.

— Значит, кроме него, там никого нет.

— Да, если это Вилли их спугнул.

— Но он сейчас примерно там и должен находиться, если дорога не слишком тяжелая.

— Ты смотри лежи, не поднимайся, когда Ара подъедет.

Ара провел шлюпку вдоль накренившегося подветренного борта шхуны и зацепил якорь за планшир. Потом осторожно, с медвежьей сноровкой, вскарабкался на борт. Он привез бутылку воды и чай в бутылке из-под джина; обе они были обвязаны крепкой рыболовной леской и подвешены у него на шее. Он ползком подобрался к Томасу Хадсону и лег рядом.

— Как бы мне этой водицы? — попросил Генри.

Ара сложил свое имущество возле Томаса Хадсона, отвязал бутылку с водой и пополз по наклонной палубе повыше люков, туда, где лежал Генри.

— Пей,— сказал он.— Только купаться в ней не вздумай.

Он хлопнул Генри по спине, пополз обратно и опять лег рядом с Томасом Хадсоном.

— Том,— очень тихо проговорил он.— Мы ничего там не увидели. Я высадил Вилли на той стороне острова, почти что напротив нас, если смотреть по прямой, и пошел к катеру. Поднялся на борт с подветренной стороны — не с той, где остров. Все объяснил Антонио, и он меня понял. Потом я заправил мотор горючим и прихватил запасную канистру, да вот еще воды и холодного чая прямо со льда.

— Отлично,— сказал Томас Хадсон. Он сполз чуточку вниз по наклонной палубе и сделал долгий глоток из бутылки с холодным чаем.— Большое тебе спасибо за чай.

— Это Антонио вспомнил. Мы многое забыли в спешке, когда уезжали.

— Передвинься немного к корме, чтобы держать остров под прицелом.

— Хорошо, Том,— сказал Ара.

Они лежали так на солнце и на ветру, и каждый наблюдал за островом. Иногда вдруг взлетали одна-две птицы, и оба понимали, что этих птиц вспугнул либо Вилли, либо те, другие.

— Вот, наверно, злится Вилли на птиц,— сказал Ара.— Про них-то он и не подумал, когда забирался вглубь.

— Да, это все равно что воздушные шары запускать,— ответил Томас Хадсон.

Задумавшись, он повернулся и посмотрел через плечо.

Все это ему теперь совсем не нравилось. Слишком много птиц взлетало с острова. Какие, собственно, основания были у нас думать, что те, другие, сейчас там, в глубине острова? И главное: для какой надобности было им туда забираться? Лежа на палубе, он, точно какую-то пустоту в груди, ощущал подозрение, что их с Вилли обманули. Может быть, конечно, никто и не старался их обставить. Странно все-таки, что столько птиц взлетает, подумал он. Еще парочка караваек поднялась недалеко от берега, и Томас Хадсон повернулся к Генри и сказал:

— Генри, пожалуйста, спустись в форлюк и последи, что там делается на той стороне.

— Очень уж там мерзко.

— Я знаю.

— Хорошо, Том.

— Гранаты и диски оставь тут. Возьми пиñо и одну гранату сунь в рман.

Генри соскользнул в люк и стал смотреть на островки, маскировав-е пролив. Выражение его лица не изменилось. Но он плотно сжимал бы, чтобы сохранять его неизменным.

— Ты уж извини меня, Генри,— сказал ему Томас Хадсон.— Но те-придется потерпеть.

— Я этого не боюсь,— сказал Генри. Тут нарочитая строгость, так ательно надетая им на лицо, вдруг распалась, и он улыбнулся своей десной доброй улыбкой.— Просто это не совсем та обстановка, в ка-й я мечтал бы провести лето.

— Я тоже. Но сейчас не все получается так просто.

Из мангровой рощи взлетела выпь, и Томас Хадсон услышал ее онзительный крик и проследил за ее нервным, устремленным вниз по-том по ветру. Потом он попробовал представить себе путь Вилли возь мангровые заросли по вспархиванию и полету птиц. Когда они реставали взлетать, это значило, что Вилли повернул назад. Если не-ого погодя опять что-то их вспугивало, это значило, что Вилли осмат-вает наветренный склон острова. Через три четверти часа Томас Хад-н увидел, как испуганно взлетела большая белая цапля и медленными желыми взмахами крыльев двинулась против ветра, и он сказал:

— Значит, Вилли теперь вышел на берег. Поезжай за ним следом мыс.

— Вижу его,— через минуту сказал Ара.— Только что помахал м. Лежит чуть повыше отмели.

— Езжай, привези его. И пока будете ехать, пусть лежит, не встает.

Ара сполз в шлюпку со своим автоматом и двумя гранатами в кар-нах. Он сел на корме и оттолкнулся от шхуны.

— Том, кинь мне, пожалуйста, бутылку с чаем.

Для верности Ара поймал ее обеими руками, а не одной, как он ычно делал. Ему нравилось ловить осколочные гранаты одной рукой в самых трудных положениях, нравилось зубами выдергивать чеку. чай этот предназначался для Вилли; Ара знал, что Вилли пришлось терпеть на острове, хоть это и не дало результатов, и он бережно ожил бутылку под кормой и пощупал, не нагрелась ли она.

— Какое твое мнение, Том? — спросил Генри.

— Мы сваляли дурака. То есть в настоящую минуту.

Вскоре шлюпка уже стояла борт о борт со шхуной, а Вилли лежал дне шлюпки, обеими руками держа бутылку с чаем. Руки и лицо у го были все в царапинах и в крови, один рукав оторван. Лицо, иску-нное москитами, распухло, и всюду, где тело не было закрыто одеж-й, виднелись шишки от москитных укусов.

— Ни черта там нету, Том,— сказал он.— Не бывали они на этом трове. А мы с тобой не больно хитры оказались.

— Неверно.

— То есть как?

— Их шхуна села на мель, и они зашли в глубь острова. То ли шили отсиживаться там, то ли чтобы разведать протоки — уж этого знаю.

— Думаешь, они видели, как мы взбирались на шхуну?

— Либо все могли видеть, либо ничего. Они были слишком низко д водой, оттуда трудно что-нибудь увидеть.

— Могли услышать — мы же были у них с наветренной стороны.

— Может быть, и услышали.

— Так что же теперь?

— Ты отправляйся на суднс, а потом пришли Ару за Генри и мной. Они, пожалуй, еще вернутся.

— А как с Питерсом? Мы можем его взять.

— Ну, так берите сейчас.

— Томми, ты не с той стороны к этому подходишь. Мы оба оши лись, и я вовсе не подаю тебе советов.

— Я знаю. Я спущусь в задний люк, как только мы с Арой убер Питерса.

— Пусть лучше он один это делает,— сказал Вилли.— Они мо увидеть вас издали. Но различить то, что плоско лежит на палубе, б бинокля нельзя.

Томас Хадсон объяснил это Аре, и Ара взобрался наверх и уп вился с Питерсом очень легко и без всяких эмоций — только обвяз ему голову парусиной. Он не выказал ни грубости, ни излишних чув и сказал только, после того как поднял Питерса и спустил его голов вперед в шлюпку:

— Какой он весь жесткий, точно дубовый.

— Потому, наверно, и говорят про покойника, что он дал дуба, сказал Вилли.— Ты разве этого не слыхал?

— Да,— сказал Ара.— Мы их зовем «fiambres», это значит «холо ное мясо» — ну, знаешь, как в ресторане, где можно взять рыбу, а мож холодное мясо. Но я думал о Питерсе. Он всегда был такой гибки

— Я в аккурате его доставлю, Том. Тебе еще что-нибудь нужн

— Удача мне нужна,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо за разве ку, Вилли.

— Обычная дерьмовая работенка,— сказал Вилли.

— Скажи Хилю, пусть смажет тебе царапины мертиолатом.

— Плевать на царапины,— сказал Вилли.— Буду бегать как дика из джунглей.

Томас Хадсон и Генри смотрели из обоих люков на ломаную и з зубренную линию мелких островов, лежавших между ними и длинны заливом, который служил проходом в глубь острова. Они разговари ли, не понижая голоса, так как знали, что тех, других, не может бы нигде ближе, чем на этих маленьких зеленых островках.

— Ты покарауль,— сказал Томас Хадсон.— Я пойду выброшу борт их амуницию и еще раз посмотрю, что тут есть внизу.

Внизу он нашел много такого, чего раньше не замечал, и, вытащ на палубу ящик с амуницией, столкнул его за борт. Пожалуй, следова бы расшвырять по отдельности все эти коробки. Ну да черт с ними. О вынес на палубу шмейссерский автомат, обнаружил, что тот не де ствует, и отложил его к собственным вещам.

Пусть-ка Ара с ним повозится, подумал он. По крайней ме мы знаем, почему они не взяли его с собой. Ты, может быть, полагае что они оставили раненого в качестве комитета по организации встре а сами дали тягу? А может, они устроили его со всяческими удобст ми, а сами отправились на разведку? И много ли они, по-твоему, виде и много ли они знают?

— А нам не стоило бы сохранить эту ихнюю амуницию как ве ственное доказательство? — спросил Генри.

— Теперь нам уж не до вещественных доказательств.

— Их всегда хорошо иметь. Ты знаешь, какие там придиры. На няка поставят все под сомнение. А Управление военно-морской разв ки — так то даже под сомнение взять не захочет. Помнишь, Том, было с последней подлодкой?

— Помню.

— Она тогда вон на сколько зашла в устье Миссисипи, а мы еще сомневались.

— Верно.

— По-моему, неплохо было бы сохранить амуницию.

— Генри,— сказал Томас Хадсон,— ты только не волнуйся. Убитые все находятся на острове. Есть у нас пули от шмейссерского автомата, извлеченные из тех тел и из мертвого фрица. Еще одного фрица мы похоронили, и место захоронения точно указано в судовом журнале. Есть севшая на мель шхуна и еще один мертвый фриц на ней. Есть два шмейссерских автомата — один неисправный, другой — поврежденный осколочной гранатой.

— А вот налетит ураган и все сметет, и они скажут, что все эти факты сомнительны.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Допустим, что все эти факты сомнительны. Ну, а Питерс?

— Скажут, что Питерса, наверно, застрелил кто-нибудь из нас.

— И верно, что скажут. Придется нам пройти через все это.

Они услышали шум подвесного мотора и увидели, что Ара огибает мыс. Шлюпка так же высоко задирает нос, как и каноэ, подумал Томас Хадсон.

— Собирай свои монатки, Генри,— сказал он.— Мы возвращаемся на судно.

— Если хочешь, я охотно останусь на этой посудине.

— Нет, ты мне нужен на судне.

Но когда Ара стал бок о бок со шхуной, он вдруг передумал.

— Генри, побудь здесь еще немного, а я пришлю за тобой Ару. Если они появятся, кидай им гранату в лодку. Перейди сюда, в задний люк, тут просторно. И шевели мозгами.

— Хорошо, Том. Спасибо, что разрешил мне остаться.

— Я бы сам остался, а тебя отослал, но мне нужно кое-что обсудить с Антонио.

— Понимаю. Может, мне обстрелять их, когда они будут тут рядом, прежде чем бросать гранату?

— Как хочешь. Но не высовывайся, а гранату кидай из другого люка. И крепче держись.

Он лежал у шпигатов с подветренного борта и передавал вещи Аре. Потом сам перевалился через борт.

— Внизу не слишком мокро? — спросил он Генри.

— Нет, Том. Все в порядке.

— Ну, не поддавайся клаустрофобии и будь настороже. Если они явятся, не торопись, подожди, пока их лодка станет точно борт о борт со шхуной; и тогда уж валяй.

— Конечно, Том.

— Представь себе, будто ты сидишь в шалаше и охотишься на уток.

— Это мне ни к чему, Том.

Томас Хадсон уже лежал в шлюпке.

— Ара приедет за тобой, как только это потребуется.

— Не беспокойся, Том. Если нужно, я тут хоть всю ночь просижу, только хорошо бы, Ара привез мне чего-нибудь поесть, ну и, может, немножко рома и воды.

— Он вернется и заберет тебя, и немножко рома мы выпьем на катере.

Ара дернул за шнур мотора, и они пошли к катеру. Лежа на дне шлюпки, Томас Хадсон чувствовал гранаты у своих ног и тяжесть пиñо на груди. Он обнял его и побаюкал, и Ара засмеялся и, нагнувшись к нему, сказал:

— Неподходящая это жизнь для хороших деток.

XIX

Перед закатом, когда ветер посвежел, все уже были на борту. Отмель еще не покрылась водой, но фламинго снялись и улетели. В предзакатном освещении отмель казалась серой, и на ней хлопотала стая бекасов. Позади было мелководье, протоки, в которых трудно было найти путь из-за ила, замутившего воду, и цепь островков на горизонте.

Томас Хадсон стоял на мостике, прислонясь к борту в самом углу, и слушал, что говорил ему Антонио.

— Вода поднимется достаточно высоко не раньше одиннадцати,— сказал Антонио.— Ветер гонит ее из бухты и с отмелей, и кто его знает, на какую тут можно рассчитывать глубину.

— Нас снимет течением или придется верпом тянуть?

— Должно снять. Но теперь, без луны, ночи очень темные.

— Да, верно. Оттого у нас и обнаружилась течь в стольких местах.

— Луна только вчера родилась,— сказал Антонио.— Совсем молодая. А мы ее вчера и не видели из-за туч.

— Да, верно. Я послал Джорджа и Хиля, велел им нарубить кустарника для вех. Расставим вдоль протоки вехи, тогда легче будет идти по ней. Пройдем на шлюпке, обследуем дно и вехами разметим фарватер.

— Вот что, Антонио. Когда течение поможет нам выбраться отсюда, я хотел бы стать на якорь в таком месте, чтобы можно было установить прожектор и пятидесятимиллиметровками взять шхуну под обстрел и чтобы кто-нибудь на борту сигнализировал нам, если они вдруг выйдут на лодке.

— Чего бы лучше, Том. Но в такой тьме входить в бухту нельзя. То есть можно, если освещать путь прожектором и если вперед пойдет шлюпка и будет ориентироваться по вехам и замерять глубину и выкрикивать, сколько. Но тогда они не выйдут. И думать нечего.

— Ты прав. Это уже моя вторая ошибка сегодня.

— Согласен,— сказал Антонио.— Но такая ошибка — дело случая. Все равно как если наугад вытаскиваешь карту из колоды.

— Ошибка от этого не перестает быть ошибкой. Скажи мне теперь, как ты думаешь.

— Я думаю так: если они уже не ушли и если мы не будем стараться скрыть, что мы на мели, они вечером выйдут и попробуют взять нас на абордаж. Им не приходит в голову, что мы не просто компания рыболовов-любителей. Когда все это случилось, они, я уверен, были далеко среди островов. Они убеждены, что легко справятся с нами,— ведь если даже они и следили целый день, что они могли увидеть? Одного человека в шлюпке. Они нас не принимают всерьез.

— На это и был расчет.

— А вот что, если они доберутся до шхуны и все увидят?

— Пошли-ка сюда Вилли,— попросил он Антонио.

Вилли явился, все еще распухший после схватки с москитами. Но ранки от укусов поджили, и на нем, кроме шортов цвета хаки, ничего не было.

— Ну, «дикарь из джунглей», как ты там?

— Все в порядке, Том. Ара мне смазал места укусов мертиолатом, и они больше не чешутся. Это же форменные зверюги, эти москиты — с четверть дюйма величиной и черные, как чернила.

— Хреновое наше дело, Вилли.

— Оно с самого начала было хреновым.

— Где Питерс?

— Мы его зашили в брезент и обложили льдом. За товарный вид не ручаюсь, но денька два продержится.

— Вот что, Вилли. Я тут говорил с Антонио, что хорошо бы зайти куда-нибудь, откуда удобно взять на прицел эту дырявую посудину. Чтобы ее и осветить и обстрелять, когда понадобится. Но он говорит, это возможно, только если переполошить весь океан. А так не годится.

— Точно,—сказал Вилли.— Он прав. Это уже твоя третья ошибка сегодня. Но одну я тебе, так и быть, не засчитаю.

— Как ты думаешь, попробуют они выйти и напасть на нас?

— Черта с два,— сказал Вилли.

— Но они могут сделать попытку.

— Психованные они, что ли? Если полезут, так только разве с отчаяния.

Они оба сидели на мостике, прислонясь к натянутому на поручни брезенту. У Вилли опять зачесалось правое плечо, и он тер его о брезент.

— От них всего можно ждать,— сказал он.— Ту бойню тоже могли устроить только психованные.

— Это смотря с чьей точки зрения. Не забудь, они тогда только что потеряли свое судно и были как бешеные.

— А сегодня они потеряли другое судно да еще одного из своих людей в придачу. Может, они его любили, сукиного сына.

— Наверное даже. Иначе не стали бы его выхаживать.

— Он был неплохой парень, этот фриц,— сказал Вилли.— Не поддался ни на какие разговоры о сдаче, и даже граната его не испугала. Питерса он, верно, принял за командира, потому что тот шпрехал по-ихнему да и тон у него был командирский.

— Должно быть.

— Гранаты-то рвались внизу. Они могли их даже не услышать. Сколько очередей ты дал, Том?

— Не больше пяти.

— А тот только и успел, что одну.

— Скажи, Антонио, здесь очень все было слышно?

— Да нет, не очень,— сказал Антонио.— Ветер не в нашу сторону, и потом, мы отделены рифом. Так что доходило все очень глухо. Но я все-таки слышал.

— Пусть даже они ничего не слыхали,— сказал Томас Хадсон.— Но ведь наверняка они видели, как наша шлюпка сновала взад и вперед, а тут еще шхуна чуть не на боку лежит. Они скорей всего решат, что она заминирована. И даже близко к ней не решатся подойти.

— Пожалуй, ты прав,— сказал Вилли.

— Но как по-твоему, выйдут они вообще или нет?

— Я об этом столько же знаю, сколько ты и господь бог. Ты бы должен знать — ведь ты у нас специалист по влезанию в немецкие мозги.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Иногда я это умею. Но сегодня не получается.

— Ничего, получится,— сказал Вилли.— Просто на тебя временное затмение нашло.

— А может, нам правда устроить там ловушку?

— Пока что мы сами в ловушке сидим,— сказал Вилли.

— Отправляйся-ка ты туда, пока светло, и заминируй, что можно.

— Вот это разговор,— сказал Вилли.— Узнаю старого Тома. Я заминирую оба люка, и мертвого фрица заминирую, и поручни на подветренной стороне. Вот видишь, что значит взяться за ум.

— Взрывчатки не жалей. Ее у нас много.

— Я ее так оснащу, что сам Иисус Христос до нее дотронуться не сможет.

— Шлюпка возвращается,— сказал Антонио.

— Возьму с собой Ару и все, что требуется, и сразу к шхуне,— сказал Вилли.

— Смотри только не подорвись сам.

— А ты не думай, о чем не надо,— сказал Вилли.— Ступай, Том, отдохни пока. Тебе ведь всю ночь не спать.

— И тебе тоже.

— Ну, это дудки. Если я тебе понадоблюсь, меня разбудят.

— Я становлюсь на вахту,— сказал Томас Хадсон помощнику.— Когда начнется прилив?

— Он уже начался, но сильный восточный ветер гонит воду из бухты течению наперерез.

— Поставь Хиля к пятидесятимиллиметровкам, а Джорджа отправь отдыхать. И все пусть отдыхают пока до ночи.

— Может, выпьешь чего-нибудь, Том?

— Нет, не хочу. Что там у тебя сегодня на ужин?

— По куску вареной агухи с испанским соусом, рисом и черными бобами. А вот фруктовых консервов у нас больше нет.

— Кажется, в том списке в Конфитесе значились фруктовые консервы.

— Да, но они были вычеркнуты.

— И сушеных фруктов тоже нет?

— Только абрикосы.

— Замочи их с вечера сегодня, утром дашь людям к завтраку.

— Генри не будет есть с утра сушеные фрукты.

— Ну, ему дашь попозже, когда у него аппетит разыграется. Что супа у нас еще много?

— Много.

— А со льдом как?

— На неделю должно хватить, если мы не изведем очень много на Питерса. Почему ты не хочешь похоронить его в море, Том?

— Может, и похороним,— сказал Томас Хадсон.— Он всегда говорил, что ему бы хотелось быть похороненным в море.

— Он много чего говорил.

— Да.

— Может, все-таки выпьешь чего-нибудь?

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Джину у тебя не осталось?

— Твоя бутылка стоит в шкафчике.

— А кокосовое молоко есть?

— Найдется.

— Смешай мне джину с кокосовым молоком и выжми туда лимон. Если у нас есть лимоны.

— Лимонов у нас много. Питерс где-то прятал бутылку шотландского виски, я могу поискать. Может, ты бы охотнее выпил виски?

— Нет. Поищи и, если найдешь, запри в шкафчик. Еще пригодится.

— Сейчас приготовлю питье и принесу тебе.

— Спасибо. Авось нам повезет, и они решатся выйти сегодня.

— Не думаю, чтобы решились. Я, как видишь, одной школы с Вилли. Но все может быть.

— Мы для них большой соблазн. Им необходимо какое-нибудь судно.

— Да, Том. Но не дураки же они. Ты бы не мог забираться в их мысли, будь они дураками.

— Ладно. Готовь питье.— Томас Хадсон уже наводил большой бинокль на ближние острова.— Попытаюсь забраться в их мысли еще раз.

Но эта попытка ни к чему не привела. Даже собственные мысли тяжело ворочались у него в голове. Он стал просто смотреть в бинокль. Вот шлюпка заходит за стрелку острова,— Ару на корме еще видно

Вилли уже скрылся с глаз. Вот стая бекасов снялась наконец с отме- и полетела на запад. В полном одиночестве он потягивал из стакана, торый ему принес Антонио.

Он думал о том, что обещал себе в этот рейс совсем не пить, даже го-нибудь прохладного на ночь, чтобы все мысли были только о ра- те и ни о чем больше. Он думал о том, что намерен был изнурять бя до того, чтобы засыпать мертвым сном, едва добравшись до койки. о он не оправдывался перед собой за этот стакан и за нарушенное ещание.

И я изнурял себя, думал он. Изнурял без поблажек. И один раз гу разрешить себе выпить и подумать о чем-нибудь еще, кроме тех, го мы тут поджидаем. Появятся они этой ночью — у нас все готово я встречи с ними. Не появятся — я сам пойду их искать поутру, как лько течением снимет нас с мели.

И он маленькими глотками потягивал холодное, чистое на вкус тье и оглядывал ломаный контур цепи островков впереди, круто заги- вшийся к западу. Алкоголь, как всегда, распахнул его память, кото- ю он теперь старался держать наглухо запертой, и, глядя на острова, вспомнил те дни, когда выходил на ловлю тарпона с Томом-млад- им, тогда совсем еще мальчуганом. Только там острова были не такие протоки гораздо шире.

Фламинго там не встречались никогда, но вообще птицы были почти же самые, кроме разве золотистой ржанки. Иногда, правда, попада- сь целые стаи ржанок серого цвета, но в другое время их черные ылья отливали золотом, и он вспомнил, с какой гордостью Том-млад- ий принес домой первую птицу, подстреленную им из его первой одно- олки. Как он гладил ее пухлую белую грудку и проводил рукой по асивым черным отметинам под крыльями, а ночью Томас Хадсон во- л к нему в комнату и увидел, что он спит, крепко прижав птицу к уди. Он тогда осторожно высвободил тело птицы, стараясь не разбу- ть мальчика. Но мальчик не проснулся. Он только сцепил руки вместе перевернулся на спину.

А Томас Хадсон унес ржанку в кухню, чтобы положить на лед, и него было такое чувство, будто он во сне ограбил мальчика. Но он тательно расправил крылышки птицы и положил ее на одну из решет- тых полочек ледника. На следующий день он маслом написал золо- стую ржанку для Тома-младшего, и мальчик увез потом картину с бой в школу. Птица была написана на фоне песчаного берега и коко- вых пальм, и он постарался передать на полотне ее быстроту и стре- тельность.

Потом ему вспомнилось одно утро — они с Томом-младшим жили гда в летнем туристском лагере. Он проснулся рано, а Том еще спал. н лежал на спине, скрестив руки, и похож был на надгробное извая- е юного рыцаря. Так он его тогда и нарисовал, взяв за образец над- обие, виденное когда-то в Солсберийском соборе. Он хотел позднее писать по этому рисунку картину, но из суеверия не написал. Не ень-то это помогло, подумал он.

Он поднял глаза на солнце, которое уже клонилось к западу, и в лучах увидел Тома на «спитфайре». Самолет был совсем крошеч- м в высоте и сверкал, точно осколок разбитого зеркала. Ему нрави- сь летать, сказал он себе. А ведь ты правильно рассудил, когда за- кся пить в этом рейсе.

Но обернутый бумагой стакан был еще больше чем наполовину лон, и даже лед не растаял в нем.

Спасибо Питерсу, подумал он. Потом ему вспомнилось еще одно то на острове. Том в тот год проходил в школе ледниковый период и нь боялся, что он наступит опять.

«Папа,— говорил он.— Это единственное, что меня тревожит».

«Здесь нам это не грозит»,— сказал ему Томас Хадсон.

«Да, я знаю. Но что будет с теми, кто живет в Висконсине, Мичигане, Миннесоте? И даже в Иллинойсе и в Индиане».

«Едва ли стоит об этом беспокоиться,— сказал Томас Хадсон.— Если даже случится такое, процесс будет невероятно медленный».

«Да, я знаю,— сказал Том-младший.— Но это единственное, что меня тревожит по-настоящему. И еще, пожалуй, то, что вымирает порода странствующих голубей».

Уж этот мне Том, подумал он и, отставив недопитый стакан, принялся разглядывать в бинокль бухту. Но нигде не заметно было ничего похожего на парус, и он снова опустил бинокль.

Все-таки лучше всего им жилось на острове и еще на западном ранчо, думал он. И, конечно, в Европе, но об этом думать нельзя, потому что тогда я начну думать о ней и все станет еще хуже. Интересно, где она теперь. Спит с каким-нибудь генералом, наверно. Что ж, дай бог, чтобы ей попался хороший генерал.

Она была очень красива, когда я ее встретил в Гаване. Я бы мог думать о ней всю ночь. Но не буду. Довольно и того, что я разрешил себе думать о Томе. А все потому, что выпил. Но я рад, что выпил. Иногда наступает время нарушить все свои правила. Ну, может быть, не все. Я еще немножко подумаю о нем, а потом займусь разработкой плана на сегодня — что мы будем делать после того, как вернутся Вилли и Ара. Они здорово спелись, эти двое. Вилли научился испанскому на Филиппинах, и говорит он чудовищно, но они отлично друг друга понимают. Отчасти благодаря тому, что Ара баск и его испанский язык тоже плохой. Черт, не хотел бы я оказаться на этой посудине после того, как Вилли и Ара оснастят ее по-своему.

Ладно, допивай что осталось и думай о чем-нибудь приятном. Тома больше нет, и это дает тебе право думать о нем. Все равно, превозмочь это в себе невозможно. Но справляться с этим ты уже научился. Так вспоминай что-нибудь хорошее и приятное. У тебя немало такого было в жизни.

Когда же тебе жилось лучше всего? — спросил он себя. Да все время, в сущности, пока жизнь была проста, и деньги еще не водились в ненужном избытке, и ты был способен охотно работать и охотно есть. От велосипеда радости было больше, чем от автомобиля. С него лучше можно было все разглядеть, и он помогал держать себя в форме, и после прогулки по Булонскому лесу хорошо было свободным ходом катить по Елисейским полям до самого Рон-Пуана, а там, оглянувшись, увидеть два непрерывных потока машин и экипажей и серую громаду арки в наступающих сумерках. Сейчас на Елисейских полях цветут каштаны. Деревья кажутся черными в сумерках, и на них торчат белые восковые цветы. Как тогда, когда ты спешивался, бывало, у Рон-Пуана и вел свой велосипед к площади Согласия по усыпанной гравием пешеходной дорожке, чтоб спокойно полюбоваться каштанами и почувствовать их сень над собой, и, ведя велосипед по дорожке, ощущал каждый камешек сквозь тонкую подошву спортивных туфель. Эти туфли он приобрел по случаю у знакомого официанта из кафе «Селект», бывшего олимпийского чемпиона, а деньги на покупку заработал, написав портрет хозяина кафе — так, как тому хотелось.

«Немножко в манере Мане, мосье Хадсон, если вы сможете».

Портрет вышел не настолько в манере Мане, чтобы Мане под ним подписался, но в нем было больше от Мане, чем от Хадсона, а больше всего было в нем от хозяина кафе. Денег, которые Томас Хадсон за него получил, хватило на покупку спортивных туфель, а кроме того, хозяин долгое время не брал с него за выпитое. Потом однажды, когда Том

Хадсон для приличия предложил уплатить, отказа не последовало, и он понял, что расчет с ним окончен.

В «Клозери де Лила» у них тоже был знакомый официант, который их любил и всегда наливал им двойную порцию спрошенного, так что, добавляя воды, они могли обойтись одной порцией в вечер. Поэтому они из «Селекта» перешли туда. Уложив Тома спать, они шли в это старое кафе и весь вечер сидели там вдвоем, счастливые тем, что они вместе. А потом гуляли по темным улочкам холма св. Женевьевы, где тогда еще не были снесены старые дома, каждый раз выбирая другой путь домой. Ложась спать, они слышали ровное дыхание спящего Тома и мурлыканье большого кота, который спал вместе с ним.

Томас Хадсон вспоминал возмущение знакомых: как это можно, чтоб кот спал в постели ребенка, и как можно оставлять ребенка по вечерам одного. Но Том всегда спал хорошо, а если бы и проснулся, он был не один, а с котом, своим лучшим другом. Кот никогда бы не подпустил к постельке чужого, и они с Томом нежно любили друг друга.

А теперь Том — к черту, к черту, сказал он себе. То, что случилось, случается со всеми. Пора бы уже тебе уразуметь это. Но это единственное, что по-настоящему непоправимо.

Почему ты так уверен в этом? — спросил он себя. Человек уезжает, и это может оказаться непоправимым. Хлопает дверью, и это тоже бывает непоправимо. Любое предательство непоправимо. Подлость непоправима. Вероломство непоправимо. Нет, это все пустой разговор. По-настоящему непоправима только смерть. Как долго не возвращаются Вилли и Ара. Они там, наверно, оборудуют настоящую комнату ужасов. Я никогда не любил убивать, ни при каких обстоятельствах. А Вилли это словно бы по душе. Странный человек Вилли, хотя, в сущности, очень хороший. Просто, если уж он взялся за что-то, так не успокоится, пока не сделает все в лучшем виде.

Вдалеке показалась шлюпка. Он услышал стрекот мотора и следил за тем, как она подходила, вырастая и все четче рисуясь на воде, пока наконец не пришвартовалась к борту.

Вилли поднялся на мостик. Вид у него был совсем страшный, поврежденный глаз весь затянуло белой пленкой. Он вытянулся во фронт, лихо откозырял и сказал:

— Разрешите обратиться, сэр.

— Ты что, пьян?

— Нет, Томми. Просто доволен.

— Я же вижу, что ты выпил.

— Выпил, не спорю. Мы с собой взяли немного рому, чтобы веселей было обрабатывать эту падаль. А когда мы прикончили бутылку, Ара помочился в нее, а потом начинил ее взрывчаткой. Так что теперь она взрывчата вдвойне.

— Вы как следует заминировали все?

— Даже мальчик с пальчик не сможет ступить там шагу, чтобы сию же минуту не взлететь на воздух. Даже таракан не проползет. Ара все боялся, как бы мухи, которые ползают по трупу, не устроили взрыва раньше времени. Работа выполнена на совесть, аккуратно и красиво.

— Что делает Ара?

— Разбирает и чистит что под руку попадется, в приливе энтузиазма.

— Много вы с ним выпили рому?

— Меньше полбутылки на двоих. Это была моя идея. Ара тут ни при чем.

— Ладно, черт с вами. Ступай тоже вниз и помоги Аре вычистить и проверить пятидесятимиллиметровки.

— Их не проверишь, пока не выстрелишь.

— Знаю. А все-таки проверьте что можно без стрельбы. Выкиньте аммонал, который был забит в казенную часть.

— Ловко придумано.

— Скажи Генри, пусть поднимется сюда и принесет мне еще стаканчик вот этого и себе пусть возьмет тоже. Антонио знает мой рецепт.

— Я рад, что ты снова понемногу начинаешь пить, Том.

— Нечего тебе ни радоваться, ни огорчаться по этому поводу.

— Ладно, не буду, Том. Просто я не могу видеть, как ты стараешься заездить себя, точно лошадь верхом на другой лошади. Лучше уж будь кентавром, Том.

— Откуда это ты знаешь про кентавров?

— В книжке прочел. Я ведь образованный, Томми. Я не по годам развитой и образованный.

— Ты славный малый, хотя и сукин сын,— сказал ему Томас Хадсон.— А теперь катись вниз и делай, что тебе сказано.

— Есть, сэр. Томми, когда мы вернемся из этого рейса, продашь мне один из тех морских видов, что висят у тебя дома?

— На хрен он тебе сдался?

— А вот сдался. Знаешь, Том, ты не всегда все понимаешь.

— Возможно. Я даже думаю, что я всю жизнь не все понимал.

— Томми, ты плюнь на мою трепотню. Ты эту операцию провел что надо.

— Это будет видно завтра. Так скажи Генри, пусть принесет мне выпить. Хоть мне не хочется пить.

— Ничего, Томми. Если ночью что и будет, так только простая стычка, а может, и этого не будет.

— Ладно,— сказал Томас Хадсон.— Скажи Генри. И катись к такой-то матери с мостика и принимайся за дело.

XX

Генри поставил на край мостика два стакана и, подтянувшись на руках, вспрыгнул сам. Стоя рядом с Томасом Хадсоном, он напряженно всматривался в смутные очертания дальних островов. По небу, в западной его четверти, плыл тонкий серпик луны.

— Твое здоровье, Том,— сказал Генри.— Я не смотрел на луну через левое плечо.

— А сегодня не новолуние. Новолуние было вчера.

— Верно, вчера. Только из-за туч луны не было видно.

— Как там идут дела, внизу?

— Лучше некуда. Все работают, и все веселы.

— Как Вилли и Ара?

— Они немножко хлебнули рому и очень повеселели от этого. Но сейчас они больше не пьют.

— Да. Сейчас не до этого уже.

— Мне очень хочется наконец столкнуться с фрицами,— сказал Генри.— И Вилли тоже.

— А мне ничуть. Но в конце концов это то, для чего мы здесь. Нам нужны пленные, Генри.

— Знаю.

— Но они поостерегутся попасть в плен — после бойни, которую имели глупость устроить на том острове.

— Это чтобы не выразиться крепче,— сказал Генри.— Но как ты думаешь, нападут они на нас сегодня или нет?

— Думаю, что нет. Однако нам надо быть настороже, потому что все может случиться.

— Мы и так настороже. Но какие у них все-таки планы, Том, как
-твоему?

— Трудно сказать, Генри. Может, с отчаяния они и попытаются за-
адеть нашим судном. Если среди них есть радист, ему, может, удастся
чинить наше радио, тогда они могли бы пойти на Ангилас, а оттуда
ке — вызывай такси и кати прямо домой. Им, конечно, полный резон
едпринять такую попытку. Может, кто-то в Гаване болтал лишнее и
них дошло, кто мы есть.

— Ну, кто же мог болтать?

— Нехорошо говорить дурное о мертвых,— сказал Томас Хадсон.—
он-то как раз мог, под пьяную руку.

— Вилли уверен, что он болтал.

— Вилли что-нибудь знает?

— Нет. Но он уверен.

— Это не исключено. А может, у них другой расчет — высадиться
побережье и наземным путем добраться до Гаваны, а там уже сесть
испанский пароход. Или аргентинский. Но они пуще всего боятся быть
йманными — все из-за той бойни. И с отчаяния могут пойти напролом.

— Хорошо бы.

— Если мы сумеем справиться с ними,— сказал Томас Хадсон.

Но ночь прошла, и ничего не случилось. Только загорались и гасли
езды, и восточный ветер дул с прежней силой, и журчала вода, заса-
ываемая под днище. Волнение, вызванное приливом и ветром, сорвало
корня много фосфоресцирующих водорослей, и они плавали там и сям,
чно языки бледного, нездорового огня.

Под утро ветер утих немного, и, когда рассвело, Томас Хадсон улегся
ичком на голые доски и заснул, уткнувшись в брезент лицом,— заснул
к крепко, что даже не слышал, как Антонио куском брезента накрыл
о вместе с его оружием.

Антонио простоял на вахте до тех пор, пока прилив не достиг такой
ысоты, что судно свободно заколыхалось на волнах. Тогда он разбудил
омаса Хадсона. Они выбрали якоря и пошли вперед, спустив на воду
люпку, которая шла впереди, замеряла глубину и вехами отмечала
ста, внушавшие опасение.

Вода теперь была чистая и прозрачная, и размечать фарватер было
ль и нелегким делом, но не таким трудным, как вчера. В том месте, где
и сели на мель накануне, воткнули в грунт большую ветку, и Томас
адсон, оглядываясь, всякий раз видел, как зеленые листья полощутся
воде.

Шлюпка шла по протоке, а Томас Хадсон вел судно почти вплотную
ней. Они миновали остров, который издали казался круглым и малень-
им, а теперь неожиданно развернулся в длину. Вдруг Хиль, смотревший
бинокль туда, где сплошной, но ломаной линией тянулись зеленые ост-
ова, сказал:

— Вижу веху, Том. В мангровых зарослях, прямо по ходу шлюпки.

— Внимание,— сказал Томас Хадсон.— Это что, канал?

— Похоже на то, но я не могу разглядеть, где вход в него.

— На карте он совсем узенький. Будем задевать за ветки с обеих
орон.

И тут он кое-что вспомнил. Как же это я так оплошал, подумал он.
о теперь делать нечего. Нужно идти вперед, пока судно не выберется
этой протоки. А уж тогда можно будет послать шлюпку обратно. Он
забыл сказать Вилли и Аре, чтобы они разминировали шхуну. Неровен
ас, какие-нибудь бедные рыбаки набредут на нее. Ну ничего, можно еще
ернуться и привести все в порядок.

С шлюпки усиленно сигнализировали, показывая ему, что нужно дер-
аться как можно правее, подальше от трех крошечных островков и по-

ближе к мангровым зарослям. Потом, словно там не надеялись, что он правильно понял, шлюпка повернула и пошла назад.

— Проход чуть ли не в самых зарослях,— крикнул Вилли Томасу Хадсону.— Правь так, чтобы веха осталась у тебя слева. Мы пойдем дальше, а ты крой за нами, пока не получишь новых сигналов. Здесь глубоко.

Ара, осклабившись, сделал крутой разворот, и шлюпка опять заскользила впереди судна. Взяла было влево, потом вправо и, наконец, вовсе исчезла среди зелени.

Томас Хадсон старался не очень отставать от нее. Проход тут был довольно широким, хотя на карте он вовсе не значился. Должно быть, ураган расчистил заросшую протоку, подумал он. Много чего изменилось с тех пор, когда шлюпки экспедиционного американского судна «Номис» обследовали эти места.

И тут он заметил: ни одна птица не вылетела из гущи мангровых зарослей, куда направилась шлюпка.

Не оставляя штурвала, он наклонился к переговорной трубке и сказал Генри, находившемуся в носовом кубрике:

— Здесь мы можем нарваться на них. Приведи в готовность орудия. Держись за щитком и, если они откроют огонь, стреляй туда, где увидишь вспышки.

— Слушаю, Том.

Антонио он сказал:

— Мы можем на них нарваться в этой протоке. Будь наготове внизу и, если они начнут стрелять, отвечай, целясь пониже замеченных вспышек. Будь наготове. Хиль,— сказал он.— Оставь свой бинокль. Достань две гранаты, поставь на боевой взвод и положи на стеллаж справа, чтоб они были у меня под рукой. Чеки на огнетушителях тоже поставь на боевой взвод, а бинокль брось. Нужно ждать нападения с обеих сторон. Скорей всего именно так и будет.

— Ты мне скажешь, когда бросать, Том?

— Бросай, как только увидишь вспышки. Только бросай повыше, надо, чтобы они упали сверху на кусты.

Ни одной птицы не было видно, а он знал, что в часы прилива в мангровых зарослях должно быть полно птиц. Судно входило в узкий проход, и Томас Хадсон, в одних только шортах, босой, с непокрытой головой, чувствовал себя голым настолько, насколько может быть гол человек.

— Ложись, Хиль,— сказал он.— Я тебе скажу, когда пора будет встать и бросить.

Хиль лег на мостик, держа наготове два пожарных огнетушителя, которые были начинены динамитом и снабжены взрывательными устройствами от гранат армейского образца.

Томас Хадсон оглянулся на него и увидел, что он весь мокрый от пота. И тут же перевел взгляд на заросли, окаймлявшие русло с обеих сторон.

Можно бы еще попробовать выбраться задним ходом, подумал он. Только при таком течении вряд ли это бы удалось.

Он теперь неотрывно смотрел на зеленые берега впереди. Вода снова стала совсем бурой, а мангровые листья блестели как лакированные. Он всматривался, стараясь увидеть, нет ли где углубления или вырубки в зарослях. Но ничего не было видно, кроме зеленой листвы, темных веток и корней, обнажившихся от движения судна по воде. Кое-где из своих обнажившихся ямок под корнями выползали крабы.

Русло здесь постепенно сужалось, но видно было, что впереди оно снова становится шире. Может быть, у меня просто сдали нервы, подумал он. Большой краб торопливо вылез из-под корней и шлепнулся

воду. Томас Хадсон еще напряженней вгляделся в заросли, но ничего не увидел — только путаницу стволов и веток. Еще один краб, быстро перебирая лапками, пополз к воде.

И тут с берега открыли огонь. Он не видел вспышки, и боль пронзила его раньше, чем он услышал звук выстрела. Хиль был уже на ногах рядом с ним. Антонио слал трассирующие пули в то место, где он успел заметить вспышку.

— Туда бросай, туда,— сказал Томас Хадсон Хилю. Он чувствовал себя так, словно его три раза стукнули бейсбольной битой, и по левому бедру что-то текло.

Широко размахнувшись, Хиль метнул свою бомбу, и длинный заостренный корпус огнетушителя, блестя медью на солнце, пронесся над Томасом Хадсоном. Летел он не как стрела, а вращаясь на лету.

— Ложись, Хиль,— сказал Томас Хадсон. Ему самому очень хотелось лечь, но он знал, что нельзя, что не может судно остаться без управления. На носу Генри открыл огонь из обоих орудий, и он слышал глухие удары и босыми ногами ощущал, как при каждом выстреле содрогается весь корпус судна. Шуму много, подумал он. Тем лучше: нагонит страху на эту сволочь.

Когда бомба попала в цель, пламя ослепило его раньше, чем послышался грохот разрыва и повалил дым. Он почувствовал запах дыма, и расщепленной древесины, и горелой листвы.

— Встань, Хиль, и швырни две гранаты, справа и слева от дыма.

Хиль не метал гранаты. Он их посылал в воздух, точно бейсбольный мяч с третьей базы на первую, и они летели, похожие на железные серые артишоки с тонкими хвостиками дыма позади.

Прежде чем белые вспышки разрывов осветили заросли, Томас Хадсон успел проговорить в трубку:

— Бей их, Генри, разноси их к такой-то матери. Им тут некуда податься.

У дыма от гранат запах был не такой, как у дыма от бомбы, и Томас Хадсон сказал Хилю:

— Кинь еще две гранаты. Рассчитай так, чтобы одна попала дальше, чем бомба, а другая поближе сюда, к нам.

Он увидел, как обе гранаты взвились, и потом рухнул на палубу. То ли он рухнул, то ли палуба обрушилась на него, разобрать было трудно, потому что палуба была очень скользкая от натекшей с его бедра крови, но ушибся он крепко. Когда разорвалась вторая граната, слышен был сухой треск брезента, прорванного осколками в двух местах. Еще осколки попали в обшивку корпуса.

— Помоги мне подняться,— сказал он Хилю.— Уж эту ты бросил— ближе некуда.

— Ты куда ранен, Том?

— В ногу и еще куда-то.

Впереди на воде показалась шлюпка с Вилли и Арой, которая шла к ним.

Дотянувшись до трубки, он велел Антонио передать наверх Хилю санитарную сумку.

И тут он увидел, как Вилли вдруг бросился плашмя на бак шлюпки и открыл огонь по мангровым зарослям правого берега. Он услышал так-так-так-так его «томпсона». Потом раскатился другой, более затяжной звук. Он включил оба мотора и дал всю скорость, которая только возможна была в таком узком русле. Он не очень ясно представлял себе, какая это скорость, потому что его мучила дурнота. Дурнота проникала в кости, заполняла собою всю грудь и внутренности, спускалась в пах. Он еще не ослабел окончательно, но почувствовал, как слабость одолевает его.

— Поверни одно орудие в сторону правого берега,— сказал он Генри.— Вилли там что-то обнаружил.

— Слушаю, Том. Как ты?

— Ранен, но пока держусь. А ты и Джордж?

— У нас полный порядок.

— Как только заметишь что-нибудь, сразу же открывай огонь.

— Слушаю, Том.

Томас Хадсон застопорил моторы и дал задний ход, стараясь вывести судно из зоны, которую обстреливал Вилли. Вилли вставил в свой «томпсон» обойму с трассирующими пулями, чтобы навести на цель остальных.

— Ты готов, Генри? — спросил Томас Хадсон в трубку.

— Готов, Том.

— Давай начинай короткими очередями.

Он услышал, как грохнули пятидесятимиллиметровки, и дал Вилли знак подходить. Шлюпка пошла к ним на всей скорости, которую можно было выжать из ее моторчика. Вилли все время стрелял, пока они не пришвартовались к судну с подветренной стороны.

Вилли взошел на борт и сразу же бросился на мостик, оставив Ару возиться со шлюпкой.

Он увидел Тома, увидел Хиля, который накладывал жгут на его левую ногу у самого паха.

— Господи милостивый! — сказал он.— Сильно тебя, Томми?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон. Он и в самом деле не знал. Он не видел ни одной своей раны. Он видел только кровь, она была темная, и это успокаивало его. Но ее было слишком много, и дурнота подступала все сильнее.

— Что там, Вилли?

— Не знаю. Один гад высунулся и пальнул в нас из автомата. Я его положил на месте. Думаю, что положил.

— Я даже не слыхал выстрела, такую ты поднял трескотню.

— А уж от вас-то грохоту — прямо будто склад боеприпасов взорвался. Как ты думаешь, там еще кто-нибудь есть?

— Может, и есть. Хотя мы им вкатили хорошую порцию.

— Так что будем делать? — спросил Вилли.

— Можно плюнуть, пусть их догнивают сами,— сказал Томас Хадсон.— А можно высадиться и покончить с этим делом.

— Меня больше сейчас заботят твои раны,— сказал Вилли.

Генри возился с орудиями. Если с пулеметами он обращался небрежно и грубо, то тут он был сама деликатность, и даже удвоенная, поскольку орудий было два.

— Ты знаешь, где они, Вилли?

— Они только в одном месте и могут быть.

— Так высадимся и прикончим их к такой-то матери.

— Слышу слова офицера и джентльмена,— сказал Вилли.— Кстати, мы потопили их лодчонку.

— Да ну? Мы и этого не слышали,— сказал Томас Хадсон.

— А мы без лишнего шуму,— сказал Вилли.— Ара ее рубанул своим мачете, а парус изрезал на куски. Сам Иисус Христос не отремонтировал бы ее даже за месяц, если б еще работал в своей плотничьей мастерской.

— Ступай на бак к Генри и Джорджу, а Ара и Антонио пусть перейдут на правый борт. Мы пойдем к берегу,— сказал Томас Хадсон. Его мутило, и все у него было как не свое, но голова еще не кружилась. Жгут, наложенный Хилем, слишком быстро остановил кровь — значит, кровотечение внутреннее.— Будешь мне показывать, как держать. Они далеко от берега?

— Там есть невысокая гривка, почти у самой воды, за ней они и прячутся.

— Думаешь, Хиль сможет их достать своими бомбами?

— Я дам очередь трассирующими, наведу его на цель.

— А если они ушли оттуда?

— Уйти им некуда. Они видели, как мы раздолбали их лодку. Могут теперь разыгрывать «Последний бой генерала Кастера» в мангровых зарослях. Эх, черт, сейчас бы пива.

— В жестяной банке со льда,— сказал Томас Хадсон.— Ладно, живей за дело.

— Ты страшно бледный, Томми,— сказал Вилли.— Ты много крови потерял.

— Тем более надо торопиться,— сказал Томас Хадсон.— Пока я еще держусь.

Он стал поворачивать штурвал, а Вилли, выставив из-за борта голову, время от времени корректировал ход.

Генри теперь стрелял с таким расчетом, чтобы попадания приходились то перед поросшей деревьями гривкой, то дальше, за ней, а Джордж туда, где верхушки деревьев были выше всего.

— Как там, Вилли? — спросил Томас Хадсон в трубку.

— Гильз столько валяется, что хоть медеплавильный завод открывай,— сказал Вилли.— Держи носом к берегу, а потом развернешься так, чтобы Аре и Антонио удобно было открыть бортовой огонь.

Хилю почудилась человеческая фигура впереди, и он выстрелил. Но это была только большая, низко росшая ветвь — Генри подсек ее, и она повисла.

Томас Хадсон смотрел на приближавшийся берег. Когда уже можно было разглядеть каждый отдельный листок в зарослях, он снова развернул судно и почти тотчас же услышал «томпсон» Антонио и увидел его трассирующие пули, уходившие чуть правее пуль Вилли. Ара тоже открыл стрельбу. Томас Хадсон дал задний ход и подвел судно совсем близко к берегу, но так, чтобы оставался простор для Хиля.

— Брось один огнетушитель,— сказал он ему.— Туда, куда показывал Вилли.

Хиль бросил, и снова Томас Хадсон подивился меткости броска: медный цилиндр, блестя, взлетел высоко в воздух и канул вниз почти точно в указанном месте. Раздался взрыв, вспыхнуло пламя, и почти тотчас же в дыму появился человек — он шел к ним, сцепив вскинутые над головой руки.

— Не стрелять! — поспешно крикнул Томас Хадсон в обе переговорные трубки.

Но Ара уже успел выстрелить, и человек, покачнувшись, упал головой вперед в мангровые заросли.

Он снова наклонился к трубкам и приказал возобновить огонь. Потом очень усталым голосом сказал Хилю:

— Постарайся метнуть туда же еще один. И следом добавь пароч-

ку гранат.

Уже был пленный. И он упустил его.

Немного погодя он сказал:

— Вилли, не хочешь сходить с Арой на берег посмотреть, что там делается?

— Хочу,— сказал Вилли.— Только вы прикрывайте нас огнем. Мы попробуем зайти с тылу.

— Объясни Генри, что тебе нужно. А когда прекратить огонь?

— Как только мы войдем в заросли.

— Ладно, «дикарь из джунглей», действуй,— сказал Томас Хадсон. И тут только он впервые успел подумать, что, вероятно, это конец.

XXI

Он услыхал, как за гривкой разорвалась граната. И сразу же стало тихо — ни шума, ни стрельбы. Тяжело привалившись к штурвалу, он следил, как тает на ветру дым от разрыва.

— Как только покажется шлюпка, я пойду вперед,— сказал он Хилю.

Он почувствовал на своем плече руку Антонио и услыхал его голос:

— Ты ляг, Том. Я буду править.

— Хорошо,— сказал он и последний раз глянул на узкое русло в зеленых берегах. Вода была бурая, но прозрачная, и течение было сильное.

Хиль и Антонио уложили его на дощатый настил мостика. Потом Антонио встал к штурвалу. Он чуть подал назад, потому что судно сносило течением, и Томас Хадсон чувствовал мягкое подрагивание моторов.

— Ослабь немного жгут,— попросил он Хиля.

— Я принесу надувной матрац,— сказал Хиль.

— На досках хорошо,— сказал Томас Хадсон.— И мне, наверно, лучше не делать лишних движений.

— Подложи ему подушку под голову,— сказал Антонио. Он не отрываясь смотрел вперед.

Спустя несколько минут он сказал:

— Том, они машут нам.

И Томас Хадсон почувствовал, как моторы заработали и судно плавно пошло вперед.

— Как только мы выйдем из протоки, станешь на якорь.

— Хорошо, Том. Не нужно тебе разговаривать.

Когда якорь был брошен, пришел Генри сменить Антонио. Теперь, когда они находились в открытом море, Томас Хадсон ощущал легкое покачивание судна на волне.

— Воды кругом — без конца-краю,— сказал Генри.

— Да. Отсюда до Кайбарьена открытый путь, а там дальше есть две протоки, где фарватер размечен.

— Не разговаривай, Том. Лежи спокойно.

— Пусть Хиль принесет мне одеяло.

— Сейчас принесу сам. Тебе не очень больно, Том?

— Больно,— сказал Томас Хадсон.— Но так, что можно терпеть.

— Вот и Вилли,— сказал Генри.

— Том, старый чертяка,— сказал Вилли.— Молчи, я сам все скажу. Их там было четверо, считая проводника. Это почти все, кто уцелел. Пятым был тот, которого подстрелил Ара. Он себя прямо растерзать готов; знает ведь, как тебе нужен был пленный. Сидит и плачет, я ему запретил подниматься сюда. Рука у него сама на спуск нажала, это можно понять.

— Куда ты бросал гранату?

— Мне там в одном месте что-то померещилось. Ты не разговаривай, Том.

— Нужно вернуться разминировать шхуну.

— Сейчас мы туда пойдем, и то место я тоже хочу проверить еще раз. Эх, была бы у нас быстроходная моторочка. Томми, а знаешь, эти огнетушители, мать их, лучше восьмидесятитрехмиллиметровых минометов.

— Дальнобойность не та.

— А на кой тебе тут дальнобойность? Наш Хиль забрасывал их прямо как баскетбольный мяч в кольцо.

— Ну, отправляйтесь.

— Тебе очень худо, Томми?
— Худо.
— Но ты ведь справишься, да?
— Попробую.
— Главное, ты лежи спокойно. Старайся совсем не шевелиться.

Шлюпка отвалила совсем недавно, но Томасу Хадсону казалось, что с тех пор прошло уже много времени. Он лежал на спине, под навесом, который соорудил Антонио. Хиль и Джордж отвязали брезент, натянутый с наветренной стороны, и теперь его ласково обвевал свежий ветер. Ветер по-прежнему дул с востока, но не так сильно, как вчера, и облака в небе были высокие и редкие. Небо было синее-синее, как всегда в восточной части острова, сильней всего обдуваемой пассатами, и Томас Хадсон смотрел в синеву и старался не поддаваться боли. Генри хотел сделать ему укол морфия, но он решил: нет, ему еще может понадобиться, чтобы голова была ясная. Прибегнуть к морфию он всегда успеет.

Он лежал под легким шерстяным одеялом, все три раны его были перевязаны. Хиль обильно засыпал их стрептоцидом, прежде чем перевязать, и на пол у штурвала, где он стоял во время перевязки, просыпался стрептоцид, похожий на сахарную пудру. Когда с борта снимали брезент, чтобы дать больше доступа воздуху, он заметил три дырочки от трех пуль и еще несколько — правей и левей их. И места, где брезент пропороли осколки гранаты, он тоже заметил.

Хиль стоял рядом и смотрел на него, на его выбеленные солью волосы и серое лицо над одеялом. Хиль был простая душа. Он был отличный спортсмен и почти так же силен, как Ара, и если бы ему отработать некоторые удары, из него вышел бы первоклассный бейсболист. Рука у него просто создана была для броска. Томас Хадсон улыбнулся, вспомнив, как он швырял гранаты. Потом улыбнулся просто так — ему и его сильным мускулистым рукам.

— Тебе бы питчером быть,— сказал он и не узнал своего голоса.
— У меня выдержки не хватает.
— Сегодня хватало.
— Может быть, появилась, когда дело потребовало,— сказал Хиль с улыбкой.— Смочить тебе губы, Томми? Ты не говори, только сделай знак головой.

Томас Хадсон отрицательно покачал головой и перевел взгляд на лагуну, похожую на большое озеро. Она теперь была в белых барашках. Но волна была мелкая и ветер такой, при каком хорошо идти под парусами, а вдали синели прибрежные холмы Туригуаньо.

Так и надо сделать, подумал он. Пойдем прямо в Сентраль или в тот поселок, что рядом, может быть, там найдется врач. Хотя сезон уже кончился. Но ведь можно доставить на самолете хорошего хирурга. Люди там живут славные. Попасть в руки к плохому хирургу — это хуже, чем вовсе оставаться без врача, так уж лучше я полежу спокойно, пока не прилетит хороший. Надо бы и внутрь принять стрептоцид. Но ведь воды-то мне пить нельзя. Ладно, друг, не расстраивайся, сказал он себе. Ты ведь шел к этому всю свою жизнь. Эх, не подстрели Ара этого фрица, хоть бы что-нибудь хорошее вышло из всех наших трудов. Хорошее — это, пожалуй, не то слово. Полезное — вот что нужно было сказать. Счастье еще, что они были вооружены хуже нас. Наверно, они убрали все вехи в протоке, оставили только одну, чтобы мы свернули туда, куда им нужно было. Но, может быть, если бы мы и взяли пленного, он бы оказался олухом и ничего бы не знал. А все-таки была б хоть какая-то польза. Теперь уже от нас никакой пользы не жди. Как это никакой? А шхуну разминировать надо?

Думай про «после войны», когда ты снова будешь писать картины. Столько еще можно написать хороших картин, и если работать в полную силу и ни на что другое не отвлекаться, это и есть то, что по-настоящему нужно. Моря никому не написать лучше тебя, если только ты возьмешься как следует и выбросишь из головы все другое. И не отступай, пиши именно так, как считаешь верным. Только нужно сейчас крепко держаться за жизнь, иначе эти картины не будут написаны. Жизнь человека немногого стоит в сравнении с его делом. Но чтобы делать дело, нужно жить. Так держись крепче. Пришло время показать, на какое ты способен усилие. Вот и покажи, ни на что не надеясь, покажи. У тебя всегда хорошо свертывалась кровь, и ты можешь это усилие осуществить. Мы не люмпен-пролетарии какие-нибудь. Мы — самый цвет, и то, что мы делаем, мы делаем не за плату.

— Смочить тебе губы, Том? — снова спросил его Хиль.

Томас Хадсон покачал головой.

Три дерьмовые пули, думал он, и столько хороших картин к такой-то матери без всякого смысла. Надо же было этим несчастным идиотам устроить бойню на острове. Если б не это, они спокойно сдались бы в плен и ничего бы не случилось. Любопытно, а кто был тот, что уже шел сдаваться, когда Ара в него выстрелил? Верно, из той же породы, что и тот, которого они сами убили на острове. Откуда в них этот остервенелый фанатизм? Мы преследовали их здесь, и мы будем драться с ними и дальше. Но фанатиками мы не были никогда.

Он услышал мотор возвращавшейся шлюпки. Лежа, он не мог видеть, как она подходила, увидел только Вилли и Ару, когда они поднялись на мостик. Они были все исцарапаны — видно, продирались сквозь кусты,— а у Ары тек с лица пот.

— Я очень виноват, Том,— начал Ара.

— Брось,— сказал Томас Хадсон.

— Ладно, вот снимемся к чертям со стоянки, тогда поговорим,— сказал Вилли.— Ара, топай вниз выбирать якорь и пришли сюда Антонио, пусть становится за штурвал.

— На Сентраль пойдем. Так будет скорее.

— Толково,— сказал Вилли.— Ты молчи, Том, я сам все скажу.— Он осекся, глянув на Томаса Хадсона, потом легонько положил ему руку на лоб, а другую руку сунул под одеяло и уверенным, но осторожным движением нащупал пульс.

— Не смей умирать, сукин сын, слышишь,— сказал он.— Лежи тихонько, и все будет хорошо.

— Слушаюсь,— сказал Томас Хадсон.

— При первой стычке их полегло трое,— стал рассказывать Вилли. Он сидел на мостике слева от Томаса Хадсона, и тот чувствовал шедший от него кислый запах пота, и поврежденный глаз его был налит кровью, а швы от пластической операции на лице побелели. Томас Хадсон лежал не шевелясь и слушал его.— У них только и было что два миномета, но они занимали хорошую позицию. Первый огнетушитель Хиля угодил в цель, а Генри своими пятидесятимиллиметровками вовсе раздолбал их к матери. Антонио тоже попал куда следует. А здорово Генри палит из этих пятидесятимиллиметровок.

— Он это всегда умел.

— А сейчас тем более. В общем, мы с Арой все там разминировали. Перерезали все провода, но взрывчатку оставили. Теперь там полный порядок, а местонахождение остальных фрицев я точно помечу на карте.

Якорь был уже поднят, и моторы работали.

— Не так уж мы хорошо справились в этот раз,— сказал Томас Хадсон.

— Они нас перехитрили. Но перевес в огневой мощи был на нашей стороне. Ты уж не говори ничего Аре насчет пленного. Он себя и так совсем загрыз. Я, говорит, и подумать не успел, а уже выстрелил.

Набирая скорость, судно шло к синим холмам впереди.

— Томми,— сказал Вилли.— Я же тебя люблю, сукин ты сын, не смей умирать.

Томас Хадсон взглянул на него, не поворачивая головы.

— Ты пойми это, постарайся понять.

Томас Хадсон глядел на него. Все теперь отодвинулось куда-то, и не нужно было ни о чем размышлять и беспокоиться. Он чувствовал, как судно набирает скорость, чувствовал прижатыми к полу лопатками милый знакомый перестук моторов. Он посмотрел в небо, которое всегда так любил, посмотрел на лагуну, которую он уже никогда не напишет, потом слегка изменил положение, чтобы меньше ощущать боль. Моторы теперь работали тысячи на три оборотов, не меньше, и, пробив палубу, грохотали внутри него.

— Я, кажется, понимаю, Вилли,— сказал он.

— Черта с два,— сказал Вилли.— Не умеешь ты понимать тех, кто по-настоящему любит тебя.

АЛИ ЛАМЕДА

Вьетнамские сонеты

■

Перевод с испанского ВЕНЕДИКТА ВИНОГРАДОВА

Волшебный флейтист

Пусть кость слоновая, янтарь или бамбук
В твоих руках, флейтист торжественный и бледный,
Поет про твой Вьетнам, так буйно и победно
Бескрайние леса раскинувший вокруг;

Про ночь огромную, откуда вышел вдруг
И где исчезнешь ты бесшумно и бесследно;
Про джунгли — тигра рык там под луною медной;
Про ливни над рекой, катящейся на юг.

Играй, ночной флейтист, чтоб с каждым звуком песни
Рождающийся мир казался все чудесней.
И славит пусть мотив суровый и простой

То завтра, что несет заря твоей отчизне,
И алую росу на всходах новой жизни,
Вспоенных подвигом с такою щедротой.

Смуглая, как луна

Та девочка мертва, а ведь она была
Как яшма, как янтарь, как ветвь жасмина,
Как факел из живых сандала и кармина,
Как цвет акации, бальзам или пчела.

Похожа на луну (ведь и луна смугла)
И, словно первая слеза любви, невинна,
Она такою же осталась в миг кончины —
Очарованья смерть у ней не отняла.

Когда утратил дочь Вьетнам, над гладью белой
Лесного озера заря зарозовела,
И плакала над девочкой луна,

И небо ясное подернулось печалью,
И омраченный день лиловою вуалью
Простерся над землей, где умерла она.

Скорбный трепет

В лесах Вьетнама смерть — в какой по счету раз?—
Встречает мученик и воскресает снова,
Чтобы войти в века, приняв обличье Слова,
Как тигр, река, луна в народный входят сказ.

И тишина опять... Мелькнет в ветвях подчас
Мартышка юркая — комочек мышц лиловый,
Да каплей меда вниз из сумрака густого
Прольет свой свет звезда, небес зеленый глаз.

Но хоть завеса слез сокрыла лик Вьетнама,
Из крови, скорби, мук немолчно и упрямо
Родится песнь о том, кто смерть поверг во прах,

И эта песнь гремит, чтобы заря сменила
Ночь, пламенеющую вкруг его могилы,
Чтоб стали силой боль и ненавистью страх.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА

(Из архива семьи Виардо)

Публикация и примечания профессора АНРИ ГРАНЖАРА (Франция)

Перевод с французского В. ЛАКШИНА

От переводчика

В отношении потомства к великому писателю неизбежно наступает пора, когда, как говорил Пушкин, нам становится интересен всякий клочок исписанной им бумаги, будь то хотя бы запись ежедневных расходов или письмо к портному об отсрочке платежа.

Что можно сказать в таком случае о значении замечательной находки — более ста неизвестных писем Ивана Сергеевича Тургенева к людям, с которыми судьба связала его на всю жизнь,— к Полине Виардо и ее близким? Слова «литературная сенсация» не выглядят тут преувеличением.

Нашим читателям предстоит редкое удовольствие — впервые прочесть по-русски 27 неизвестных писем Тургенева, отобранных с учетом их литературного значения из этой коллекции автографов и прокомментированных известным французским ученым, автором книг «Иван Тургенев, политические и социальные течения его времени» (1954) и «Иван Тургенев, графиня Ламберт и «Дворянское гнездо» (1960) профессором Анри Гранжаром.

Связка пожелтевших писем, найденная во Франции, еще рельефнее и с новой стороны освещает фигуру замечательного русского писателя. На этих мелко исписанных листах почтовой бумаги, долго хранившихся как семейная реликвия вдали от любопытных глаз публики, воскресает живой Тургенев — с его волнениями, страданиями, увлечениями и антипатиями, с его острой наблюдательностью и юмором. Тон писем — в особенности писем к Клоди Виардо — свободный, семейный, интимный, доверчивый, часто шутливый и всегда нежный. Возможно, они разочаруют того, кто ждал бы от корреспонденции, адресованной писателем Полине Виардо и ее дочери, какого-либо острого «романического» интереса или желал бы увидеть Тургенева в домашних туфлях и халате. При всей непритязательности дружеской переписки, несущей, понятно, печать повседневных житейских волнений и забот, это переписка людей искусства, вводящая в атмосферу большого и ровного духовного напряжения, в жизнь, насыщенную музыкальными, художественными и литературными интересами.

Мы находим здесь Тургенева в дружеском общении с Шарлем Гуно и Гюставом Флобером. Мы застаем его за чтением «Фауста» Гёте, книг Вашингтона Ирвинга и Блеза Паскаля. Мы видим его в оперной ложе, слушающим музыку Доницетти и Мейербера, и в картинных галереях, иронически разглядывающим полотна модных английских художников и благоговейно склонившимся перед «Мадонной» Рафаэля. Публикуемые письма доносят до нас важные свидетельства художественного вкуса Тургенева, не всегда безошибочного, но всегда определенного в своих пристрастиях. Напрасен, наверно, пиетет Тургенева перед посредственной живописью Харламова; но ему ведомо и чувство восхищения бессмертными фрагментами Пергамского алтаря Зевса; он умеет и ядовито, совсем в духе толстовских насмешек над оперной условностью, осмеять фальшь и бездарность одного из музыкальных спектаклей парижской сцены.

Конечно, нельзя не учитывать и личность адресатов Тургенева, характер их интересов. В этом смысле Полина Виардо была достойной собеседницей в их переписке. Выдающаяся певица, замечательная артистка, талантом которой восхищались Шопен и Чайковский, Флобер и Герцен, Полина Виардо мечтала сделать свой дом приютом муз, дружила с Жорж Санд, переписывалась с Диккенсом — и в этом же духе воспитывала детей; нет ничего удивительного, что ее дочь Клоди при поощрении Тургенева собиралась стать художницей.

Читатель сможет еще полнее оценить значение этих писем, если соотнесет их с известными страницами биографии Тургенева. Первые из публикуемых писем относятся к 1850 году: они писались молодым тридцатидвухлетним литератором, более известным тогда в качестве поэта и лишь начинавшим печатать рассказы, составившие позднее книгу «Записки охотника»; последние письма к Клоди датируются 1882 годом — они написаны автором предсмертных «Стихотворений в прозе». Между этими двумя вехами разместилась, по сути дела, вся зрелая жизнь большого художника, в сжатом и фрагментарном виде вновь пробегающая перед нашими глазами при чтении этой переписки.

Письма из Франции и Германии, из Англии и России, из орловской деревеньки Тургенево и виллы «Френ» под Парижем... Тургенев на охоте, в суде присяжных, на спектакле «Свадьба Кречинского», в мастерской художника Менцеля, на постоялом дворе и на званом обеде. Тургенев, читающий отрывки из романа «Дым» в пользу Литературного фонда, одним из учредителей которого он был. Тургенев, готовящий угощение крестьянским детям, и Тургенев, получающий мантию почетного доктора Оксфордского университета...

Внимательное чтение писем открывает в них множество тайных намеков на современную действительность, общественно-литературных отражений и отголосков. Почему, например, Тургенев пишет в 1853 году Полине Виардо, что не может покинуть «свое уединение», чтобы сопровождать ее на гастролях по России? Отчего будущее кажется ему «пустынной степью»? Да оттого, что с 1852 года он сослан в свою деревню и определен под надзор полиции за опубликование некролога памяти Гоголя. Или мимоходом оброненная в письме 1867 года жалоба на недоразумения с Катковым по поводу присланных им корректур... Здесь, несомненно, имеется в виду известный эпизод, когда роман «Дым» был подвергнут довольно жестокой редактуре в реакционном «Русском вестнике».

В письмах 1850 года хорошо обрисован образ матери Тургенева — надменной и властной владелицы Спасского, какими-то своими чертами отпечатлевшейся в знакомой нам с детских лет барыне из рассказа «Муму». Это она под угрозой лишения материальной помощи выманила Тургенева из-за границы в самую неподходящую минуту, когда испуганный революцией 1848 года Николай I устроил, как свидетельствует один из друзей Тургенева, настоящую «облаву» на всех вольномыслящих людей в России. Она же, своевольно распоряжаясь судьбами дворовых людей, чтобы досадить сыну, забрала у него егеря Афанасия — любимого спутника охотничьих прогулок писателя, в котором мы также узнаем один из прототипов «Записок охотника». Словом, в этих глубоко личных письмах часто возникает ощущение самого воздуха тургеневского творчества, жизни, из которой он черпал сюжеты и лица.

Во время своих приездов в Россию Тургенев писал Полине Виардо и ее близким подробные, обстоятельные письма, порою письма-дневники, вмещавшие в себя впечатления нескольких суток. В этих письмах он хотел не только дать представление о своем житье-бытье и тем самым, как он говорил, «сократить расстояние», но и рассказать своим французским друзьям о родных краях. Его отношение к России не было, понятно, однозначным. Горячий поборник европейской культуры и цивилизации, прижившийся в более свободном политическом воздухе Западной Европы, Тургенев с горечью смотрел на беды и заплаты старой России. Без тени идеализации он списывал Россию грязную, несвободную,

Автограф письма Тургенева Клоди Виардо от 16 июля 1873 года.

скучную, «немытую», по памятному слову Лермонтова, но с какой любовью он обрисовал в этих же письмах простых крестьян, природу родной орловщины, деревенских ребятишек, учившихся в опекаемой им школе. Писатель мог бы повторить слова одного из своих героев: «Да-с: я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину».

Конечно, далеко не весь Тургенев выразился в этих письмах. Не говоря уж о том, что перед нами осколки большого целого — переписки, длившейся всю жизнь и дошедшей до нас лишь частично, сам их характер и диапазон в какой-то мере предопределен и сужен ориентацией Тургенева на своих адресатов. Он искренне и даже с оттенком сентиментальности пишет Полине Виардо и своей любимице Клоди о бесконечной преданности им, о своей привязанности к приютившей его Франции, ко всему дому Виардо. Но он, понятно, ни словом не обмолвился здесь о том, о чем мы догадываемся и что твердо знаем на основании других мемуарных и биографических источников. Жизнь в семье Виардо не только дарила покой и радость, но была порой и тяжела ему. Один из самых русских художников, человек большого великодушия и нежного сердца, Тургенев был, в сущности, всю жизнь глубоко несчастен — и своей оторванностью от родины, и своим непростым положением в семье, к которой он, по его собственным словам, прилепился, «как к краешку чужого гнезда».

Впрочем, имеем ли мы хоть малое основание спустя сто с лишним лет пересуживать вопрос — был ли Тургенев «своим» в этом доме, любила ли его Полина Виардо, оказалась ли она достойной его подругой? Обсуждать в благодушные минуты с кафедры или просто в домашнем кругу, за чашкой чая, жизненный выбор наших гениев и уверять, пользуясь особым правом читательского пристрастия к ним, что Наталия Николаевна недостойна Пушкина, Софья Андреевна — Льва Толстого, а Ольга Леонардовна — Чехова,— не значит ли это заявлять смешную претензию, будто мы лучше их самих знаем, кто был им близок и нужен? Будем же уважать великие тени хотя бы настолько, что не станем брюзгливо перебирать достоинства и недостатки избранниц Пушкина или Тургенева, Чехова или Толстого. Иначе легко впасть в тон тех пушкинистов, которые, как было уже однажды сказано, так хорошо знают, что Наталия Николаевна не подходила Пушкину, что поэту ничего не остается делать, как только жениться на пушкинисте Щеголеве и всем новейшем пушкиноведении.

Мы можем лишь позволить себе констатировать, что в переписке Тургенева с Виардо мы не найдем отзвука многим глубоко занимавшим его темам, политическим и литературным, и как всякий личный документ, она оставляет нас на том пороге биографии писателя, за которым и начинается главное — его творчество.

И, однако, письма Тургенева к Полине и Клоди Виардо имеют как раз еще и то значение, что представляют собою великолепные образцы эпистолярной прозы. Ипполит Тэн свидетельствовал, что чистота и выразительность французской речи Тургенева напоминали ему изощренное словесное искусство французских салонов XVIII века. Академик М. П. Алексеев, написавший прекрасную работу о тургеневской переписке, говорит, что Тургенев владел французским языком «не только как образованный парижанин, но и как писатели-французы». Трудность подготовки перевода писем и состояла в том, чтобы они, впервые явившись по-русски, не утеряли свободного изящества французского оригинала, а вместе с тем отвечали русскому строю речи автора, принесшего славу родному языку.

Прочие необходимые сведения об этих письмах читатель найдет в примечаниях и вступительной статье профессора Гранжара. Мне же хотелось бы напоследок сделать лишь одно замечание о судьбе тургеневских автографов. После смерти Полины Виардо ее переписка с Тургеневым, уподобившись всякому иному роду имущества, была поделена поровну между ее наследниками. В настоящее время передана парижской Национальной библиотеке и таким образом полностью возвращена в общественное достояние лишь та ее часть, что находилась у дочери Клоди Виардо — г-жи Мопуаль. Однако до сих пор во Франции в руках частных владельцев находятся в немалом количестве и другие письма Тургенева к Полине Виардо (специалисты считают, что всего их было не менее 500), ее дочери Марианне и иным лицам. Существует опасность распыления этих коллекций, продажи бесценных автографов в разрозненном виде, ухода их из Франции в Америку и другие страны.

Очень неприятно, что коммерция и здесь грозит бесцеремонно ворваться в область истории культуры, принадлежащую, по существу, всему человечеству.

В. ЛАКШИН

О новых письмах И. С. Тургенева

Среди 7 304 писем и записок И. С. Тургенева, напечатанных в пятнадцати томах его переписки в изданин Академии Наук СССР (1961—1968), мы находим только 153 письма, адресованных Полине Виардо. 67 из них изданы в 1907 году на французском языке Гальпериным-Каминским, 81 письмо известно только в русском переводе и пять писем воспроизведены с французских оригиналов, хранящихся в Ленинградской библиотеке им. Салтыкова-Щедриина. За исключением последних пяти писем, все это — лишь копии с подлинников, зачастую неполные и даже «выправленные» согласно обстоятельствам первой публикации.

153 письма — свидетельство сорокалетней дружбы или, вернее сказать, любви Тургенева, в какой-то мере разделенной и Виардо. Но эта цифра кажется смехотворно малой, когда обнаруживаешь, что во время одного лишь путешествия в Россию в 1874 году с заездом в Карлсбад для лечения Тургенев, отсутствовавший во Франции с 2 (14) мая до 15 (27) августа, ставит № 58 — и это лишь для этой серии писем — на письме, посланном Полине Виардо из Карлсбада 2 (14) августа. Таким образом, сотни писем были уничтожены или остаются в семейных архивах и частных коллекциях.

В 1968 году одна из наследниц П. Виардо — г-жа Мопуаль, которой бесконечно благодарны все слависты Франции и других стран, принесла в дар Национальной библиотеке в Париже 146 оригиналов писем Тургенева к Внардо, унаследованных ею от бабушки: 76 из них никогда не публиковались. В этот щедрый дар входят также десять писем Тургенева к Луи Виардо, три — к Жоржу Шамеро, ставшему в 1874 году мужем Клоди Виардо, и главное, главное — 26 писем Ивана Сергеевича к его любимице Клоди, а также письма Полиины Виардо к ее другу. До сих пор не было известно ни одиого письма Тургенева к Клоди, мы не зиали также ни одного письма самой певицы к писателю.

Среди этих автографов, которые все без исключения будут опубликованы в свое время Институтом русской литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом), после того как выйдут отдельиым томом на французском языке,[1] нами отобраны 27 особенно значительных неизданных писем, которые могли бы дать советскому читателю представление о литературной ценности этой находки: 16 писем Тургенева к Полине Виардо и 11 к Клоди Виардо. Первые письма в этой переписке относятся к 1850 году. Последнее, адресоваиное Клоди, датируется 13 августа 1882 года, тогда как последнее письмо Тургеиева к П. Виардо, известное до сих пор, относилось к 3 (15) августа 1871 года.

Сличая оригиналы с первым французским изданием, опубликованным в 1907 году еще при жизни П. Виардо, начинаешь понимать, почему ее отбор писем для публикации был так строг. Большинство современников восхищаются мягкостью характера, добротой души, благородной сдержанностью Тургенева, однако писатель был порой безжалостен к иным художникам и музыкантам, к людям искусства разных жанров, творчество которых не нравилось ему. П. Виардо, гений которой как певицы и драматической артистки Тургенев ставил очень высоко, хваля даже ее довольно скудные музыкальные сочинения (мелодии альбомных романсов и музыку опер-буфф), должна была быть смущена этой резкой, иронической, а иногда и несправедливой критикой.

Но в 1907 году П. Виардо было еще важнее другое — честь ее дома и детей, о происхождении которых шел клеветнический слушок. П. Виардо хотела пресечь все эти россказни, вычеркнув в письмах Тургенева, которые она согласилась опубликовать, все, что касалось ее детей, и запретив появление тех писем, где подробно говорилось о них

Читатель задумается, конечно, о природе отношений двух друзей, проживших рядом сорок лет. Что касается Тургенева, тут нет сомнений — любовь на всю жизнь привязала его к гениальной певице. Но она? Ее письма к Тургеневу из собрания Мопуаль (два — 1850 года, одно — 1851, одно — 1857, одно - 1862, одно — 1868, три — 1869, одно — 1879, два — 1881) гораздо сдержаннее по тону, чем хотя бы письма, написаниые ею между 1858 и 1861 годами Юлиусу Рицу — дирижеру Лейпцигского и Дрез-

[1] Вся коллекция новонайденных писем Тургенева будет опубликована издательством «L'Age d'homme» в Лозание в начале 1971 года.

денского оркестров. И, наверное, ее собственная рука старательно зачеркивала в оригиналах писем заключительные слова, написанные Тургеневым по-немецки, считая их слишком пылким, экзальтированным излиянием романтической любви-обожания,— такого рода выражения были в моде в Германии, когда Тургенев был там студентом между 1838 и 1840 годами.

Со своей стороны, Полина Виардо была, несмотря на свою элегантную сдержанность светской дамы, натурой непосредственной, страстной и, возможно, позволяла себе с Тургеневым излияния в духе ламартиновой музы.

Впрочем, не все ли равно! Существеннее то, что эта нежная дружба дала Тургеневу дом, где он жил во время своего длительного пребывания в Западной Европе, где он мог работать, не обращая внимания на мелочи быта, которые были бы удручающими для холостяка, столь далекого от практической жизни; дала приют, который был одновременно литературным и музыкальным салоном в самом центре культурной жизни Парижа; дала, наконец, семью, где он был окружен нежной привязанностью двух дочерей Полины Виардо — Клоди и Марианны. О первой из них, которой было тогда 16 лет, он пишет ее матери 17 (29) июня 1868 года: «Я просто обожаю это прелестное создание, такое чистое и грациозное. Я весь переполняюсь нежностью, стоит мне ее себе представить». Этим обожанием дышит каждая строчка его писем к ней. В них Тургенев предстает омоложенным внезапной и порой всепоглощающей привязанностью к крестнице. Он поверяет ей свои литературные планы, делится своими эстетическими убеждениями. Начиная с 1870 года она, кажется, даже ближе ему, чем была когда-либо в своих письмах Полина Виардо.

Тургенев нуждался в привязанности и заботах своих французских друзей, так как начиная с пятидесятых годов он часто болел. Всю жизнь его мучила подагра, приступы которой прекратились в 1880 году, но новая болезнь пришла на смену старой. Рак правой ключицы, подкравшийся исподтишка, точил его постепенно и мучил до самой смерти, наступившей в 1883 году. И несмотря на это его письма 1882 года к Клоди куда более безмятежны, чем те, которые он пишет или диктует для своих русских друзей: ему не хочется огорчать свою обожаемую крестницу.

Болезнь и неотвязные мысли о ней неизбежно омрачали настроение Тургенева. Но страх смерти, мрак, окружающий крохотный огонек нашей жизни, были для него еще мучительнее. Еще в 1859 году он нашел в «Мыслях» Паскаля окончательный приговор человеческому счастью (письмо от 8 (20) июля 1859 года). Он признает, что смерть неразлучна с жизнью, она служит этой жизни, но в ней есть всегда «что-то уродливое и неожиданное». Эти мысли «Стихотворений в прозе» часто находят свое отражение и в его письмах после 1870 года.

Искусство и литературное творчество были прибежищем Тургенева от страданий и страха смерти. В письме к Клоди от 26 августа (7 сентября) 1878 года он признается, что хотел бы достичь «реальности поэтической, то есть настолько правдивой, что она становится прекрасной». Этот реализм соединен для него с культом античной красоты (письмо от 26 января (7 февраля) 1880 года). И, пройдя мимо условного академизма, Тургенев извлекает из этой, часто банальной, реальности физическую или моральную красоту и пытается приблизить ее, насколько это возможно, к образам Рафаэля и древности.

Таким образом, эти письма показывают Тургенева в чем-то живее и правдивее, чем письма, опубликованные Гальперинным-Каминским. Он остается в них, понятно, литератором до мозга костей, просвещенным поклонником искусства и музыки, человеком огромной культуры, но он не кажется ни покладистым, ни добрым к тем из своих собратьев, которые не уважали правду жизни, к художникам и музыкантам, произведения которых могли бы заставить забыть классическую музыку, исполнявшуюся Полиной Виардо. Отчасти публикуемые письма подтверждают то, что было уже известно или предполагалось. Но жизнь писателя в семье Виардо, его привязанность к ее детям, и особенно к Клоди, были мало известной страницей его биографии. За каждой строчкой этих новых писем ощущается тайна жизни Тургенева, длившаяся сорок лет его любовь к своей подруге, к гениальной певице, служительнице отвергнутой классической музыки, профанируемой такими «скоморохами», как Вагнер, его любовь к его

литературной советчице, к энергичной женщине, защищавшей его от жизненных невзгод и препятствий. «Если я дерево, то вы — мои корни и моя крона одновременно»,— так написал Тургенев в письме к Полине Виардо от 6 февраля 1867 года,— и эти строки представляют лучшую характеристику отношений Тургенева с семьей Виардо.

АНРИ ГРАНЖАР, профессор

И. С. ТУРГЕНЕВ — ПОЛИНЕ ВИАРДО

1

Куртавнель,
Понедельник, 29 апреля 1850.

Полдень.

Здравствуйте, мадам. Guten Tag.*

Как чувствуете Вы себя сейчас — в эту минуту? Вы только что встали (в Берлине одиннадцать часов) — и немного усталая, но — мы надеемся вместе с тем — и счастливая вчерашним Вашим триумфом. Гуно [1] и я — мы следовали за Вами вчера вечером по пятам. «Она поет сейчас маленький дуэт»,— говорили мы; «а! теперь не очереди «Ах, мой сын», и т. д. и т. д. В конце оперы мы аплодировали и бросали цветы (ветку белой сирени). Хочу надеяться, что мы были не одиноки. Мы с нетерпением ждем письма, посланного в четверг: в этот день Леже покажется нам прекраснее Антиноя. По крайней мере, Вам не будут больше надоедать теперь — и Мейербер перестанет пить Вашу кровь каплю по капле. Смотрите же, Вам надо хорошо себя чувствовать и быть очень счастливой, очень спокойной и веселой.

Вот уже три дня как мы устроились в Куртавнеле. Здесь очень холодно — надо признаться,— и если ветер колюч в Берлине, он пронизывает на возвышенности Бри. Мы рады, однако, оказаться здесь — и сам дом приобретает малопомалу жилой вид, стряхивает с себя зимнюю спячку. Пока никто из нас не принимался за работу. Гуно немного поиграл нам позавчера и вчера вечером. Вот и все; но это еще впереди. Лодка спущена на воду, но пока вода заливает ее неистово — и это делает ее малопригодной для катания: надо ждать, чтобы дерево набухло. Скажите Виардо, что я совершил большую экскурсию по окрестностям: я отправился в Жариель, оттуда—в Водуа, из Водуа в Фонтен и Бернар и возвратился через Песи. Дул ветер, вырывавший дубы с корнями, что слишком мало благоприятствует охоте, и несмотря на это моя собака нашла 7 выводков куропаток (кажется, так называется пара куропаток) и 3 перепелки; Султан нашел одну перепелку. Пора, наконец, Сиду явиться из Англии, а то Султан становится решительно пожилым господином; это ветеран, который вот-вот будет инвалидом. Я совершил эту прогулку позавчера совсем один; вчера я пошел с Гуно, и мы видели только двух куропаток и одного зайца — рядом с маленьким виноградником.

Итак, я снова в гостеприимных стенах Куртавнеля, перед большим камином из серого мрамора! Я снова вижу бюст Тамбурини[2], так восхищавший Жана, и маленького хромого и безухого кабана, а рядом большую коричневую собаку с хвостом трубой и Ваш так мало похожий портрет, написанный Сантиесом [3] в пару к портрету Вашей матери. Где я, в 1850 или в 1849 году? Увы! В 1849 я и не помышлял о возвращении в Россию! [4]

(Между прочим, м-ль Берта, Гуно и я только что обоюдно демонстрировали друг другу, сколько одежды на каждом из нас, и дошли до кожи, м-ль Берта тоже — до пояса, понятно **·· каждый из нас даже предупреждал других, когда дело доходило до конца, чтобы остальные глядели во все глаза.)

Вероника готовит нам восхитительные обеды, которые мы съедаем с жадностью; а по утрам за завтраком мы яростно спорим: я возбуждаю негодование женской части общества моими парадоксальными доктринами. Кстати о доктринах, я читаю сейчас очень любопытное сочинение Вашингтона Ирвинга о Магомете [5]: очень занятно наблюдать смесь истинного энтузиазма и лукавства, веры и ловкости в характере этого необыкновенного человека. Но я и сам вот-вот возьмусь за работу.

Я замечаю, однако, что мое письмо начинает напоминать одежду арлекина, а потому предпочитаю продолжить его завтра. Сегодня же удовлетворюсь тем, что пожму Вашу руку как можно крепче, пожелаю Вам всего, что есть хорошего и красивого на свете,— и уверю Вас в том, что Ваши друзья Вам преданы hasta la muerte *** — как говорит Гойя.

Ваш И. Т.

---

* Добрый день *(нем.)*.
** Имеющий уши, да слышит *(примеч. И. С. Тургенева)*.
*** До смерти *(исп.)*.

И. С. Тургенев. Рисунок Полины Виардо.
Конец 1850-х годов.

NB. Жан, прозванный «Дианой из Пуатье» или «Прекрасной Джиокондой», заменен наконец Пьером Перрико — квазимодой из Бри. Какая удача! Ах, как грязен парк!!!

NB. Мы посылаем Вам сирень — согласно нашему обещанию.

NB. Я уже подрался с маленьким петушком; Флора стала чем-то вроде очень лохматого белого медведя. Кирасир потеет до седьмого неба (стиль Магомета). Говорят, что он внес путаницу во все сыры в округе: «Бри» начинает напоминать «Рокфор».

P. S. Два часа — Гуно только что получил еще одно письмо от Вас. Он очень счастлив. М-ль Кокот и я благодарим Вас за добрую память.

Письмо от 17 (29) апреля 1850 года послано Тургеневым из Куртавнеля — загородного замка в кантоне Розай-ан-Бри (департамент Сены-и-Марны), где семья Виардо проводила летнее время с 1844 до 1862 года и куда приглашала своих друзей, в том числе Тургенева. Письмо адресовано в Берлин, где П. Виардо была на гастролях и с большим успехом исполняла партию Фидес в «Пророке» Мейербера. В письме упоминаются домочадцы Виардо и прислуга: м-ль Берта — сестра Луи Виардо, бывшая домоправительницей у своего брата, кухарка Вероника, слуги Жан и Пьер Перрико. Султан, Сид, Кирасир, Флора — клички собак Тургенева и Луи Виардо.

[1] Гуно Шарль (1818—1893) — композитор, друг Полины Виардо, только что потерявший тогда брата и приехавший со своей матерью пожить в поместье Виардо.

[2] Тамбурини Антонио (1800—1878) — знаменитый певец, один из партнеров Полины Виардо в итальянской труппе, совершившей турне по России в сезон 1843—1844 годов.

[3] Сантиес Пьер (род. в 1801) — художник-портретист и исторический живописец.

[4] После манифеста Николая I от 2 марта 1848 года мать Тургенева требовала возвращения сына в Россию, временно прекратив материально поддерживать его.

[5] «Магомет и его последователи» (1850) Вашингтона Ирвинга.

2

(Полине и Луи Виардо)

Париж.

Вторник, 14 мая 1850.

Тороплюсь сказать вам, мои милые, добрые друзья (и делаю это с детской радостью), что благодаря одному из писем, полученных мною сегодня утром из Брюсселя, я не только могу, но я должен еще остаться на некоторое время в Европе. Расскажу вам об этом вкратце.

Сегодня в 9 часов утра очень взволнованный я явился на почту: там мне выдали пять писем. Я жадно вглядывался в адреса, прежде чем их распечатать,— я узнал каждое по почерку: 1-е было от вас (это старое маленькое письмо, которое вы писали мне

на Брюссель), 2-е от моего брата [1], 3-е от девушки — приемной дочери моей матери [2], 4-е от Краевского [3] и, наконец, 5-е от одного петербургского друга, называть которого я не стану. Я начал с вашего — по достоинствам и честь,— а потом, что бы вы ни говорили, ведь вы не слишком баловали меня этим летом своими письмами — я знаю кое-кого, кому не раз завидовал [4] — сколько он их получал! да еще **толстеньких**, длинных, написанных мелким почерком и чем дальше, тем мельче,— итак, я прочел ваше маленькое письмецо первым и нашел, что оно мило и очаровательно, как все, что исходит от вас. Потом я вскрыл письмо моего брата. Он не может послать мне денег, так как сам в ужасном положении: моя мать вынудила его оставить место в Петербурге, где он получал порядочное содержание, пообещав вознаградить его за это своим согласием на женитьбу и поручить ему управление своими имениями... Он согласился ради своей жены... Но когда состоялась свадьба, моя мать ничего не дала ему... Она даже сделала так, что наше маленькое имение нам больше не принадлежит,— и вот теперь он целиком в ее власти, без гроша в кармане, в одном из поместий матери, которым ему доверили **управлять**. Можете себе представить тон отчаяния, царящий в его письме. Он рассказывает мне о всех неприятностях, какие предстоит пережить его бедной жене, и т. д. и т. д. Я понимаю теперь, почему с бесхарактерностью, какой наградил его Бог, он не успел подумать обо мне,— и мне всем сердцем жаль его. Потом я распечатал письмо девушки. Это юное создание милостиво посылает мне 2500 франков — и обращается ко мне, вероятно, согласно полученному ею распоряжению, как к настоящему блудному сыну, раскаивающемуся и **нищему**. Мне следует быть в Москве к 1 июня, дню ее именин,— и тогда будет видно, стою ли я, чтобы меня простили. Я положил в карман 2500 франков без малейших угрызений совести, так как мое маленькое имение, доходы от которого конфискованы, приносило мне за год почти вдвое больше,— а вот уже 18 месяцев, как я не получаю ни гроша.

Письмо Краевского было очень кратко: ни слова о моем возвращении, похвалы моим недавним сочинениям [5], известие о том, что цензура совершенно изуродовала последнее из них [6],— и вексель на 800 франков. Приступим, наконец, к последнему письму: оно от одного друга, не очень близкого, но оказавшего мне услугу большую, чем все остальные [7]; он написал мне письмо на двух страницах и послал его **оказией из Берлина**. Вот что он пишет мне: «Мой дорогой друг, я узнал, что Вы предполагаете вернуться в Россию; я буду счастлив Вас увидеть — и я думаю даже, что это не слишком опасно для Вас — Ваше имя **пока** не было произнесено в известном месте; и, однако, я советовал бы Вам подождать: сейчас организована настоящая **облава** (он употребляет именно это слово) на всех сколько-нибудь подозрительных людей по всей России: аресты сыплются один за другим — Имп[ерато]р, отправляющийся в Варшаву, находится в очень воинственном настроении; пусть прежде пройдет эта гроза; я знаю, что Вы никогда не были замешаны в политику — и Ваши сочинения (так говорит он) могли бы защитить Вас до известной степени,— и все же, если ничто Вас не торопит, **подождите пока... Ручаюсь, что Вы можете сделать это совершенно спокойно»**. (Последние слова дважды подчеркнуты в его письме.) «Не возвращайтесь, пока ветер не переменится, слышите?»

У этого друга есть хорошо осведомленные родственники в высших сферах. Его письмо настолько совпало с моим тайным желанием остаться здесь еще на некоторое время, что я не мог не воспользоваться содержавшимися в нем очень разумными советами. Во всяком случае, я со спокойной совестью могу ждать теперь вашего возвращения в Куртавнель — там мы и обсудим серьезно и окончательно это дело. Так вот! большая тяжесть свалилась с души — я счастлив и доволен как ребенок. Я счастлив—и, однако, я не считаю это проявлением слабости, не так ли? Итак, итак, да здравствуют хорошие и настоящие друзья, думающие об отсутствующих, да здравствует Куртавнель, да здравствует республика, да здравствует Сафо [8], да здравствует Виардо, да здравствует Полина Виардо, да здравствует... не знаю, что еще добавить. Да здравствует все, кроме зла.

Я уезжаю завтра в Куртавнель — я ревел, как зверь, в дилижансе от Розай до Фонтенэ,— но я не раскаиваюсь в этом — я буду смеяться, как шут, весь обратный путь; я привезу Диану, я расцелую всех, вплоть до Кирасира. Ура! Да здравствует республика! Напишите мне, умоляю вас, в Куртавнель, как только получите это письмо — пожалуйста, пожалуйста *.

Да здравствует республика!

Вчера с м-ль Бертой мы слушали м-ль Альбони [9] в «Пророке»: она имеет в нем большой успех, хотя и меньший, чем можно было бы думать по газетам. Успокойтесь — Вам нечего ее бояться... В своей игре она всегда останется ученицей, а ее пение не драматичнее моего сапога. Она подражает Вам **рабски**, вплоть до малейшего жеста, малейших деталей сценической игры, интонации, костюма... но сейчас ею увлекаются. И однако вчера не было букетов... но Рокеплан [10] заботится о ней, как ни о ком. Я никогда не видел таких неистовых и так хорошо организованных оваций. Ее совсем не заставляют повторять «Как молния» — она ее плохо исполняет. Я хотел отложить подробности этого представления на завтра, но могу с тем же успехом сделать это и сегодня. Ритурнель, предшествовавшая ее выходу, больно сжала мне сердце... она входит, спус-

---

* Последние два слова написаны по-русски *(примеч. ред.)*.

кается по ступеням... Громкие аплодисменты. Она одета, как Вы,— ей только добавили большой плащ того же цвета, чтобы скрыть полноту. Она начинает речитатив: хорошший выговор, голос насыщенный, жирный, но мягкий и приятный уху. Маленький дуэт с Бертой. Незначительно... ее не слышно. Рабское подражание в игре. Она не глупа и умеет использовать свою полноту, чтобы придать себе обаяние материнства. «О! мой сын» — прекрасно спето, но так поют арии в концертах: ни малейшего чувства в голосе — никакого переживания у публики, однако громкие аплодисменты. Вообще мне показалось, что публика ни разу не была взволнована в течение всего вечера, но была обольщена природным обаянием голоса. Как много людей и не желают ничего бо́льшего, а втайне даже недовольны теми, кто дает им его!

4-й акт. Ария нищей — мало эффектно, не забыто Ваше «бедному ребенку». Дуэт с Бертой — хорошо. А между тем, сам не знаю почему, мое ухо было уже сыто этим сладким и мягким тестом. Сцена в церкви. Проклятие — произнесенное без энергии, с привкусом итальянщины в конце,— и, однако, аплодисменты и топанье ногами — за этот привкус и за нижние ноты в «Будь он проклят». Сцена с Жаном до конца: выдохшаяся, слабая, укороченная. Это созданье — тип! Повторяю, это ученица, которая из себя вон выходит, подражая со всем стараньем, на какое она способна. Успех не велик. Французы, надо сказать, настоящие ротозеи: Вы прочтете в газетах фразы, вроде следующей: сдержанность жеста и т. д. Все это глупости... Она пытается делать то, что делаете Вы, но ее тяжелое и жирное тело отказывает ей в этом — она остается на полдороге — и это называют «сдержанностью». Нечего сказать!..

[Конец письма утерян]

---

[1] Тургенев Николай Сергеевич (1816—1879).

[2] Богданович-Лутовина Варвара Николаевна (1833—1900) была на самом деле дочерью матери Тургенева и А. Е. Берса — отца жены Л. Н. Толстого. Приняв в замужестве фамилию Житова, она оставила о семье Тургенева свои воспоминания («Вестник Европы», 1884 год, кн. 11 и 12).

[3] Краевский Андрей Александрович (1810—1889)—издатель журнала «Отечественные записки».

[4] Намек на Шарля Гуно.

[5] Краевский высоко ценил пьесы Тургенева «Нахлебник» и «Завтрак у предводителя».

[6] «Дневник лишнего человека», опубликован в «Отечественных записках» № 4 1850 год.

[7] Вероятно, Анненков Павел Васильевич (1812—1887). Его брат Ф. В. Анненков был с 1855 года губернатором в Нижнем Новгороде.

[8] «Сафо» — первая опера Ш. Гуно, над которой он работал в Куртавнеле.

[9] Альбони Марнэтта (1824—1894) — известная итальянская певица, исполнявшая роль Фидес в Парижской опере.

[10] Рокеплан Нестор, в 1850 году был директором Парижской оперы.

3

Понедельник, 24 июня 1850
Париж.

9 часов вечера. Итак, это последний мой вечер в Париже, милая и добрая м-м Виардо. Завтра в это время я буду уже на пути в Берлин. Не стану говорить Вам о моем отчаянии, о моей грусти: Вы и так можете их себе представить, а мои слова только бы огорчили Вас еще больше. Всего себя я могу выразить в одном слове: прощайте — прощайте. Я оглядываюсь вокруг, перебираю мои воспоминания, вплоть до самых незначительных,— рассказывают, что эмигранты, уезжая в Америку, собирают весь свой скромный скарб, так и я увожу с собою как сокровище все свои воспоминания. Если Вы, в свою очередь, пообещаете вспоминать обо мне — я, кажется, легче перенесу разлуку — с меньшей тяжестью на сердце. Когда Вы вернетесь в Куртавнель, обещайте мне приветствовать от моего имени эти дорогие стены — и когда, сидя на крыльце в прекрасный осенний вечер, Вы будете смотреть, как качаются вершины тополей во дворе,— подумайте, прошу Вас, о Вашем отсутствующем друге, который был бы так счастлив находиться среди вас. Что касается меня — мне не нужно обещать Вам часто думать о вас; ничем другим я и не буду занят; я представляю сам себе, как я сижу под старыми липами моего сада и, обернувшись в сторону Франции, шепчу еле слышно: где они, что делают они сейчас? Да, я хорошо сознаю, что оставляю свое сердце здесь. Прощайте, до завтра.

Вторник, 8 часов утра

Здравствуйте, последний раз во Франции, здравствуйте, дорогая мадам В[иардо]. Я почти не спал; я просыпался каждую минуту и чувствовал, что грусть не оставляет меня и во сне. Я жду сегодня письма от Вас и от Гуно; я просил его прислать мне «Вечер» и «Ламенто» [1]. Помните ли Вы? Но нет, я еще не могу находить очарование в этих трех словах — может быть, позднее, но не теперь. Я получу от Вас письмо, не правда ли?

Вы не поверите, какое удовольствие доставило мне Ваше триумфальное возвращение. Прошу Вас, когда Вы будете писать мне в Россию, сообщайте все малейшие подробности Ваших выступлений — вообще, больше подробностей. Лучший способ со-

кратить расстояние — не считаться с ним. Подумайте об этом. Уверяю Вас, что слова, вроде таких, например: «Сегодня утром я встала в 8 часов и завтракала у окна, открытого в сад», уничтожают порядочно лье, а их будет много между Вами и мной.

Двумя часами позже.

Голова моя горит; я чувствую себя потерянным от усталости и горя. Плача укладываю свои чемоданы — я потерял голову,— я, право, не знаю, что пишу. Я Вам послал свой адрес — напишу Вам из Берлина. Прощайте, прощайте; целую вас всех — Вас, Виардо,— будьте благословенны, мои дорогие и добрые друзья, моя единственная семья, вы, кого я люблю больше всего на свете. Спасибо за ваше милое, доброе письмо, нет слов сказать, чем было оно для меня,— тысячу раз да благословит вас бог. Пора кончать, пора — пора. Итак, смелее — и с надеждой. В последний раз придите в мои объятия, чтобы я прижал вас к сердцу, которое так любит вас, мои хорошие, милые друзья, и прощайте. Я вручаю вас Господу. Будьте счастливы. Я вас люблю и буду любить до конца моих дней. Я обнимаю и Мануэля и леди Монсон [2], если она мне это позволит. Прощайте, прощайте.

Ваш И. Тургенев.

P. S. Я иду к Луизе [3]; отнесу ей немецкую книгу, чтобы она тоже вспоминала отсутствующего друга. Ах, я так люблю вас всех! Теперь я чувствую это больше, чем когда-либо...

Письмо написано по поводу отъезда Тургенева в Россию после трех лет жизни во Франции. Полина Виардо находилась в это время на гастролях в Лондоне.

[1] Музыка Гуно на стихотворения Ламартина.

[2] Мануэль Гарсия - брат П. Виардо, леди Монсон — его близкая знакомая в Лондоне.

[3] Луиза Виардо (1841 1918) — старшая дочь Виардо, которой было в то время 9 лет. Изучала немецкий язык во время пребывания своих родителей в Берлине.

4

Тургенево.

Воскресенье вечером, 21 июля (2 августа) 1850.

Вот я и в самом сердце степей, в глуши, мой милый, добрый, прекрасный друг,— так далеко от Вас, как только возможно, вдали от всех привычных условий, ведь у нас нет здесь даже газет, как Вы, конечно, понимаете. Возьмите атлас, найдите на карте России дорогу, которая ведет из Москвы в Тулу, а из Тулы в Орел, и если между этими двумя городами Вы обнаружите местечко, именуемое Чернь (немного не доезжая до города, называемого Мценском), представьте себе, что я нахожусь в двух французских лье (10 верст) от этого местечка. Маленькое имение, где я сейчас живу, принадлежало прежде моему отцу — и это все, чем я теперь владею. Я Вам писал в своем последнем письме о нити, на которой держались все наши надежды: ну так вот, эта нить порвана окончательно и навсегда. Все решилось в день моего отъезда из Москвы. Я не могу — и Вы, конечно, понимаете почему — сообщить Вам все подробности этого дела; достаточно Вам сказать, что несмотря на всю мою осторожность, все жертвы, после того как я в течение двух недель исчерпал все, что мог придумать,— я оказался вынужденным выбирать между потерей моего достоинства, независимости — и бедностью. Я выбирал недолго — покинул дом матери и отказался от ее богатства. Вы мне поверите, не правда ли, друзья, когда я скажу вам, что не мог поступить иначе. Я не хотел бы никого обвинять, особенно теперь, но дело зашло слишком далеко, слишком-слишком далеко, желание обмануть было слишком очевидным, слишком ощутимым — и я повторю вам: я бы не считал себя достойным вашего уважения, если бы поступил иначе. Когда мы увидимся, когда я испытаю это блаженство, такое большое, что я ему едва верю,— я расскажу вам все... а пока я должен молчать. К счастью, я не втянул брата в свою катастрофу, я даже надеюсь, что он рикошетом выиграет от этого,— и я очень этому рад, так как он благородный и честный человек. Его жена, которую я узнал гораздо лучше, чем прежде, тоже прекрасный человек. Я желаю им счастья — они его вполне заслужили за все невзгоды, какие им пришлось пережить.

Теперь вы без моих объяснений можете понять, с каким чувством я вновь увидел деревеньку, где нахожусь сейчас... Так вот ради чего я покинул такое счастье... Друзья мои, только память о вас, только ваша привязанность поддерживают меня... И все-таки вы не понимаете, как я люблю вас,— я обнимаю вас и прижимаюсь к вам с силой отчаяния — я вас люблю, люблю нежно и думаю о вас каждую минуту.

Мой брат, его жена и я приехали сюда третьего дня. Мой брат поселится здесь как деревенский помещик. Я проведу здесь два месяца и, уладив свои дела, возвращусь в Петербург, чтобы работать там и жить своей работой.

Местоположение Тургенева довольно веселое. Холмы, леса, очень приятно вьющаяся река, большие ярко-зеленые луга, но дом очень маленький, сад совсем заброшен — фруктов нет,— почти полное отсутствие всего, что составляет хозяйство... в общем, приходится выходить по возможности из положения. Жена моего брата, хоть и

всвсе не немка, два дня тому назад, когда мы приехали сюда, решительно взялась за дело — и к сегодняшнему дню у нас уже есть кухня. Мне устроили маленькую комнату в помещении бумажной фабрики, бездействующей сейчас из-за процесса, навлеченного на нас скверной распорядительностью моей матери. Из моих окон виден большой луг, омываемый речкой,— зуйки важно прогуливаются по нему,— деревня расположена на противоположном, очень крутом берегу. Я уже охотился вчера и сегодня, в этом году очень мало дичи, и все же вдвоем (мой егерь Афанасий[1] и я) мы убили трех зайцев, 8 тетеревов, 5 куропаток и одну перепелку. Диана была великолепна: с восхитительной уверенностью она делала стойку на тетеревов, которых чуяла первый раз в жизни; я нашел здесь прекрасную собаку, сына моего старого Напля, которого Афанасий натаскал и назвал Астроном. Все это напоминает мне Султана, нашу охоту в Брц, в Куртавнеле... Боже мой! Боже мой! Когда увижу я вновь эти дорогие места? Покойной ночи, я устал, от всего сердца жму Ваши руки и молю Бога благословить Вас тысячу и еще тысячу раз. Будьте счастливы и пишите мне. Будьте счастливы.

Среда, 4 августа, 6 ч. утра.

Утро восхитительное — воздух золотой, прозрачный и чистый, как хрусталь; виден каждый листочек на ивах на другом берегу реки. Я испытываю счастье писать Вам, думать о Вас в такую погоду. Пусть вся Ваша жизнь будет такой же лучезарной, светлой и прекрасной, как это утро! Вот уже пять дней как мы здесь — за это время не случилось ничего значительного: мы устраиваемся, убираемся, мой брат мечется как черт, его жена тоже делает, что может, вообразите, ведь мы вошли в покинутый дом. Мать моя приехала вчера в свое имение в 15 верстах (3 лье) отсюда. Приехав, она первым долгом послала распоряжение — вернуть охотника Афанасия, который ей совсем не нужен, она хочет лишить меня удовольствия охотиться с человеком, знающим места,— это мелочно. Наконец, я боюсь, не явилась бы она сюда — мучить моего брата, который еще не вполне — по закону — независим от нее. Посмотрим. Все это очень грустно. Мой брат и его бедная жена возрождались на глазах в этом воздухе свободы, которого они до сей поры не знали. Впрочем, будем надеяться, что все пойдет не так плохо. Боже мой! Какое прекрасное солнце — какое сияющее небо! Это существует и в России — невероятно, но это так. Подумайте о том, что свету нужна неуловимая доля секунды, чтобы пробежать отсюда до Лондона... я посылаю вам всю преданность моего сердца на одном из этих чудесных лучей. Я уже принялся за работу. Теперь, когда я должен на это жить,— работа необходима, и к тому же я почувствовал потребность работать. Накануне моего отъезда из Москвы я получил очень хорошее письмо от Гуно, с массой подробностей о Вас, о «Сафо», впрочем, я, кажется, уже писал Вам об этом; отвечу ему в ближайшие дни. Боже! Как я буду счастлив, если тот, кого я пошлю с этим письмом в Чернь, привезет мне письмо от Вас!.. Мы разлучены уже более шести недель, а я получил всего два письма. Милый, добрый друг, пишите мне, умоляю Вас, до завтра (завтра я начну новое письмо). Да благословит и сохранит Вас Бог! Целую Ваши прекрасные, милые руки.

Тысяча приветов Виардо, Чорли[2], Мануэлю, леди Монсон. Прощайте. Будьте счастливы, благословенны и здоровы.

Ваш И. Тургенев.

Письмо отправлено из деревни Тургенево, расположенной в 18 верстах от Спасского. В дате — ошибка: вероятно, письмо написано в воскресенье 23 июля (4 августа) 1850 г. и в среду 26 июля (7 августа) 1850 г.

[1] Алифанов Афанасий Тимофеевич — прототип главного персонажа рассказа «Ермолай и мельничиха» из «Записок охотника» Тургенева.

[2] Чорли Генри Фозерджилл (1808—1872) — английский музыкальный критик, был одним из лучших друзей Полины Виардо.

5

Воскресенье 8 [20] ноября 1850.
С.-Петербург.

Вот я и в Петербурге, милая и добрая м-м Виардо,— с позавчерашнего дня; ближе к Вам на две недели. В Москве, где я провел 48 часов, у меня было столько дел, что мне не удалось написать Вам оттуда ни слова — пришлось отложить это удовольствие до сегодня. Не могу передать Вам, как я был счастлив получить здесь второе большое письмо из Куртавнеля; все вы ангелы, и я вас нежно целую. Мне так много нужно сказать вам, и у меня так мало времени, что я тороплюсь изо всех сил — я увез девочку и теперь поглощен тем, чтобы переправить ее самым верным способом! Мечась во все стороны, я раскопал, наконец, некую м-м **Робер**, француженку, возвращающуюся в Париж и согласившуюся взять ее на себя,— к несчастью, она уезжает в будущую **субботу** штеттинским пароходом, и я едва смею надеяться, что успею закончить за это время все необходимые приготовления, выполнить все формальности. Впрочем, если я не отправлю ее сейчас, она уедет пятью днями позже — пароходом в Гавр,— если ей **разрешат** это путешествие, разумеется. Во всяком случае, рассматривайте это письмо как известие о приезде м-м Робер с девочкой. Эта дама не собя-

ется останавливаться по пути — и будет в Париже через две недели. Я передам ей исьмо для вас, где напишу о наших с ней условиях. Я надеюсь, Вы будете так добры ать мне взаймы 2—3 сотни франков до нового года, не так ли? У меня сейчас мало-ато денег.

Теперь займемся характером девочки. Я написал бы Вам об этом, не ожидая Ва-их вопросов. Но я от души благодарен Вам за Вашу просьбу. Я провел наедине с ей три дня в дилижансе и вот что, мне кажется, заметил:

она необычайно умна, у нее твердый и уже сложившийся характер, большая тон-кость и наблюдательность; но боюсь, не мало ли в ней сердца? Я ожидал найти ма-ленькую дикарку, застенчивую и невоспитанную, а встретил существо спокойное, почти ерзкое, жившее рядом со старухами, которые баловали ее, но не так, как балуют соб-ственного ребенка, а как балуют маленькое подчиненное создание, из которого делают грушку. Она уже умеет нравиться, втираться в доверие; с незаурядной сообразитель-остью она очень быстро поняла и оценила свое положение; вообразите себе все адобные и почти необходимые пороки, спокойно перенятые ею и развившиеся в ее аленькой эгоистической головке. Дай бог, чтобы эта новая жизнь — столь **непохожая** а **прежнюю,**— жизнь, в которую она окунется, послужила к ее возрождению! Но не ужно ее баловать — это так быстро делается! Я обнаружил в ней настоящую страсть к музыке — это добрая гарантия хороших возможностей. Но я никогда не чувствовал ак глубоко, как теперь, насколько преступна связь с незнакомой женщиной. Все свой-ства — скверные и неизвестные тебе — ты видишь вдруг смешанными с другими... Итак, ужно попытаться излечить зло, пока еще не поздно. Если существовало когда-либо скверно начатое воспитание, то это, конечно, воспитание этого бедного ребенка; она идела только зло, и ее ум развивался в ней за счет сердца. Я задрожал, услышав однажды, как она сказала с большим хладнокровием, что «не испытывает жалости ни к кому, потому что никто не жалел ее». «Но если бы ты увидела страдания?» — «Ну и что из этого? Я жалею только сама себя». И потом добавила тоном очень странным для восьмилетнего ребенка: «Я маленькая, но я видела жизнь; я знаю все — и все ви-дела». Признаться, я не верю, чтобы она могла (прежде чем будет подвергнута ис-пытанию) вступить в контакт с Вашей Луизой; повторяю: это маленькое существо надо ласти, и я очень рассчитываю на полную перемену жизни, какая ей предстоит. У Вас она, по меньшей мере, выйдет из этой атмосферы передней, в которой до сих пор жи-ла... И, быть может, когда она увидит добро, ее ум,— повторяю, **более** чем незауряд-ный,— подскажет ей, что надо быть доброй, а сердце, иссохшее и сжавшееся, выра-стет и разовьется как раз благодаря тому, что душило его,— благодаря уму.

Я приготовлю ей скромное дорожное платье; в остальном я рассчитываю на Вас и на милую и добрую м-м Гарсия [2]. Кстати, м-м Гарсия очень несправедлива, когда пи-шет мне, что я, судя по письмам к Вам, никогда не думаю о ней; кажется, я не послал ни одного письма, где бы не вспоминал ее. Однако я **должен** ей, **ей лично** письмо на испанском языке — и я расплачусь с этим долгом в течение ближайшей недели. Я сно-ва напишу Вам в четверг. Девочка уезжает в субботу, si Dios quiere *. Что касается ее фамилии, я, право, не знаю, что выбрать: что-нибудь простое и французское. Дюмон, Дюран. Придумайте и назовите ее сами — будьте во всем ее крестной матерью. Я, ка-жется, писал Вам о ее возрасте; она родилась 13 мая 1842 года. У нее будет русский паспорт на имя Пелагеи Ивановой. Не стану Вам говорить о моей **признательности;** это слово не имеет смысла между нами, но Вы знаете, что можете рассчитывать на мою полную, абсолютную, вечную преданность, Вы знаете, что если Вам нужна будет моя жизнь, я буду счастлив Вам ее отдать. Я говорю Вам это — и знаю, что Вы этому ве-рите...

Я вынужден кончить письмо, не дописав 4-й страницы; я еду к генерал-губерна-тору хлопотать о паспорте. Бог даст — я напишу Вам еще в четверг. Подробно напи-шу Вам о «Сафо» и о тех переделках, в которых, признаюсь, я не очень уверен. А пока тысячу раз благодарю вас всех и благословляю. Я снял две комнаты на 3-м этаже на Невском проспекте, возле Аничкова моста, в доме Лопатина, над конторой Языкова [3]. Продолжайте писать мне по тому же адресу — Ваши письма доходят исправно. Я твер-до решил работать. Прощайте — до четверга; обнимаю вас всех — Виардо, м-ль Берту, Гуно, м-м Гуно, м-м Гарсия, месье и м-м Ситчес [4],— как только буду посвободнее, на-пишу каждому в отдельности. Что касается Вас, я опускаюсь на колени и целую край Вашего платья. Будьте счастливы и благословенны — и до четверга.

Ваш И. Т.

Тургенев ошибочно датировал письмо 8 (20) ноября 1850 года. В действительности письмо написано 8 (20) октября 1850 года.

[1] В 1842 году у Тургенева родилась дочь от Авдотьи Ермолаевны Ивановой, при-слуги его матери. В 1850 году он решил отправить ее во Францию. Дочь Тургенева в со-провождении м-м Робер выехала из Петербурга во Францию 23 октября (4 ноября) 1850 года.

[2] М-м Гарсия — мать Полины Виардо. Испанский язык Тургенев изучил в Париже в 1847 году.

[3] Ныне номер этого дома 40 68.

[4] Месье и мадам Ситчес — дядя и тетка П. Виардо.

---

* Если будет угодно богу *(исп.)*.

6

Спасское.

4 [16] февраля 1853.

Милая и добрая м-м В[иардо]. Вчера, возвратясь из небольшой поездки по окрестностям, где я навестил нескольких соседей, я нашел Ваше четвертое письмо из Петербурга. Не будь этого письма — дурные новости, к несчастью, взяли бы верх над добрыми. Я не беспокоюсь за маленькую Луизу, но я очень боюсь, что Вашему мужу придется уехать раньше Вас[1]. Если врачи ему это советуют — пусть он поступает решительно и не ожидает улучшения, которое может оказаться кратковременным. Если он уедет — поедете ли Вы в Москву? Я полагаю, что триумфальный успех Вашего reapparaпсе * заставит сделать Вам блестящие предложения на следующий сезон — примете ли Вы их? Я думаю, это было бы желательно с точки зрения денег, но с кем бы Вы приехали? Я, увы, слишком плохой помощник в этом вопросе, потому что дела мои идут таким образом, что я не вижу никакой возможности покинуть мое уединение раньше, чем через два-три года,— мне только что отказали в разрешении посетить мои собственные имения в губерниях, граничащих с Орловской.

Впрочем, я, кажется, Вам об этом говорил. Признаюсь Вам, что меня вообще слишком мало заботит мое будущее — оно меня почти не интересует,— это только отрезок времени, который кажется мне пустынной степью.

Не помню, писал ли я Вам, что у одного из моих соседей есть довольно большой и хороший оркестр, которым дирижирует великолепный немецкий капельмейстер по имени Амтсберг. Музыканты играют действительно хорошо, репертуар их огромен, они исполняют всю классическую музыку, и что замечательно у них — это слитность звучания, единство всех красок и нюансов. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Почти всех их обучал сам Амтсберг.

Среди всего, что я у них слышал, есть две вещи, которыми я одержим,— это фантазия си-минор Моцарта, написанная для рояля и оркестрованная одним из его учеников — невыразимо прекрасна третья часть этой фантазии,— и адажио — это небо разверстое и влекущее вас неудержимо в свои голубые просторы. Первая часть тоже величественна для скерцо, но, признаюсь, я нахожу ее тяжелой, грубой и одновременно незначительной, а с переходом на четыре четверти — просто вульгарной.

Я не понимаю также начала финала — с кусками реминисценций и долгим завыванием контрабаса. Но нет ничего более непреодолимого, более грандиозного, чем взрыв, предваряющий вступление хора. Прошу Вас написать мне, не ошибочно ли мое впечатление от этой симфонии. Заклинаю Вас достать фантазию Моцарта (вот ее название: Большая фантазия си-минор, оркестрованная Зейфридом, без названия произведения) и сообщить мне, что Вы о ней думаете. Третья часть, о которой я пишу Вам (их всего три), мне кажется, точно передает состояние моей души — слушая эту музыку, я был потрясен, взволнован, смущен, одним словом — это прекрасно и мучительно, гений не знает здесь берегов.

Скажите В[иардо], что от его анекдотов о месье N[2] я смеялся как безумный. Очаровательно в этом господине то, что он претендует быть **примером добродетели** для всего света — он буквально так и говорит в своей последней речи. Слова правят миром: ограбьте кого-нибудь на глазах людей, одновременно громко провозглашая выше добросовестное уважение к чужому имуществу,— никто не усомнится в вашей честности.

Вы не забудете Ваши дагерротипы (или фототипы), не правда ли? Я жду их с нетерпением. А если бы Вы согласились прислать мне что-нибудь из «Сафо», я был бы Вам очень признателен. Я знаю, что все Ваше время занято — либо работой, либо теми, кто хочет Вас видеть,— и все-таки, если бы это было возможно!

Закончу это письмо завтра. А пока будьте счастливы и здоровы. Не утомляйтесь чересчур.

Пятница, 6 [18] февраля

Если В[иардо] решительно не повезет и он уедет раньше Вас, попросите его передать ружье в контору Языкова или, если поедете в Москву, захватите его с собой. Вы получите деньги перед постом, то есть через две недели. Эта чертова рожь не продается.

Не забудьте сообщить мне в первом же письме, предполагаете ли Вы ехать в Москву.

Прощайте... мои милые друзья. Когда-нибудь, может, увидимся. Но разлука бессильна против такой дружбы, как моя. Жму ваши руки.

Ваш И. Тургенев.

---

[1] Полина Виардо была на гастролях в России со своим мужем с конца декабря 1852 года. Луи Виардо заболел в России и вскоре уехал во Францию.

[2] Месье N — Луи Наполеон, правитель Франции. Два анекдота о нем Луи Виардо пересказал в неизданном письме к Тургеневу из Петербурга 23 января (4 февраля) 1853 года.

---

* Новое появление, вторичный приезд *(англ.)*.

7

Генуя.
27 октября [18]57. Вторник.

Пишу Вам два слова отсюда, дорогая м-м Виардо,— за час до отплытия в Ливор- и Чивита-Веккиа.

Вот уже четыре дня как мы здесь, это на три дня больше, чем я предполагал ыбыть в Генуе,— нас задержал забытый проводником на полдороге чемодан, потом было парохода, так что мы уезжаем сегодня и, si Dios quiere, послезавтра вечером дем в Риме. Нам повезло с **горной дорогой** — была блестящая погода. Горная доро- — настоящее чудо, особенно первая половина,— висишь между небом и морем, ка- ься через всевозможные ароматы, роскошества; это волшебно — чувствовать, как рез глаза в душу входит могучим, светлым потоком красота — все залито, все за- лено ею. И потом, представьте себе, что за два дня нашего путешествия по горной роге мы видели больше прелестных женских лиц, чем за целые годы еще где-либо. кая щедрая кровь и какое разнообразие типов! Простая босоногая служанка, прово- вшая старика в окрестностях Савоны, поразила нас как самое очаровательное созда- е, какое нам когда-либо приходилось видеть.

Генуя очень красивый город, но ее женщины (хотя путеводители и утверждают ратное) оставляют **отталкивающее** впечатление. Все генуэзцы большеголовы, крибо- ги, с тяжелыми чертами лица и наклонностью к зобу, вот и все! Здесь очень краси- е дворцы и грязные улицы (между прочим, я нашел во дворце Бальби оригинал беры, принадлежащего Виардо[1]; портрет Ван-Дейка[2] — маркиз Бриньоль на большой рой лошади — это portento *). М-м Санд очень верно описывает Геную в «Даниэлле»[3].

Если Вы собираетесь прочесть «Даниэллу» — не читайте оба тома; это так плохо, становится грустно; но в первом томе есть прекрасные места, хотя характер Да- эллы неправдоподобен. Однако я уже не раз замечал, что французов меньше всего ущает отсутствие правды в художественном произведении.

Три раза я был в театре. Видел у Карло Феличе «Линду» (с этим любимым кра- ым маленьким дуэтом) и «Эликсир»[4].

Некая м-м Пегги выступала в роли примадонны; у нее грошовый голос, но она от приятно и имеет обаяние; остальные просто cani **. Публика была холодна; к сожа- нию, она не была холодна в театре «Аполлон», где я был в третий вечер! Шла опе- буфф **маэстро** Джиозы («Дон Чекко»)[5]. Невозможно сказать, до какой степени это ло wretched ***. Самого ужасного сорта Верди, постоянное фортиссимо, завывания унисон, а что касается публики — неистовые аплодисменты! Какая отвратительная глу- кты! Роль Д[она] Чекко (что-то вроде бедолаги, вечно продрогшего и голодного) бы- исполнена молодым человеком по имени Чампи, у которого есть талант, но который ивает себя ремесленничеством. Больно смотреть на этот грубый упадок, а ведь это дина Россини!

Я надеюсь (так уж сделан человек!) получить от Вас письмо в Риме — какое бы было счастье! Я напишу Вам на следующий же день после нашего приезда. В Пье- нте было большое наводнение, и мы видели много сорванных мостов. Я перепра- ился через одну из рек на спине человека, который едва не сбросил меня в воду.

До свидания, theuerste Freundin ****. Тысяча приветов Виардо и всем Вашим. Обни- те за меня Полину и позвольте нежно поцеловать Ваши руки.

Ваш И. Тургенев.

Тургенев находился в Италии с середины октября 1857 года (по новому стилю) до чала апреля 1858 года. Путь в Геную он совершил в сопровождении своего друга тератора Василия Петровича Боткина (1811—1869).

[1] Луи Виардо в своем неопубликованном письме от 21 ноября 1857 года писал Тургеневу: «Кстати, почему Вы утверждаете, что видели в Генуе оригинал моего Риберы? существует других оригиналов моего Риберы, потому что это и есть оригинал. А авный оригинал — Вы, потому что нашли его».

[2] Портрет маркиза и поэта Бриньоля на лошади работы Ван-Дейка экспонируется дворце Россо в Генуе.

[3] «Даниэлла» — роман Жорж Санд, появившийся в 1857 году.

[4] «Линда из Шамуни» (1842) — опера Доницетти. «Эликсир любви» (1832) — мелодрама в двух актах Россини.

[5] «Дон Чекко» — самое удачное произведение Никола Джиозы, один из больших пехов оперы-буфф того времени.

8

Виши.
20 июня 1859.

Итак, я в Виши, милая и добрая м-м Виардо,— устроился в очень красивой ком- те «Луврского отеля», улица Ним (имеющий уши, да слышит!). Уже виделся со своим вчом, выпил два стакана воды, записался к **Штраусу**, к Бугарелю (читальный зал),

---

* Чудо *(исп.)*.
** Комедианты *(итал.)*.
*** Жалко *(англ.)*.
**** Дорогой друг *(нем.)*.

час моих ванн определен — 3 ч. 45 м.,— словом, я **пьющий** в полном смысле этого слова; мои легкие **в порядке.** Мой доктор сулит мне златые горы... Посмотрим!

Виши далеко не так кокетлив и приятен, как немецкие курорты: немного грязно, немного скучно и пока довольно пусто. Ужасная шарманка воет, стонет и скрипит в эту минуту под моим окном... ее не потерпели бы в Карлсбаде или Эмсе. Тут мало деревьев — большая река Алье катит по слишком широкому каменистому ложу угрюмые желтые воды: это поток сварливый, лишенный поэзии. Много тополей повсюду, и идет дождь.

Все это не располагает к большому веселью: да к тому же, чтобы развлечься в пути, я выбрал «Мысли» Паскаля[1], самую ужасную, самую несносную книгу из всех когда-либо напечатанных. Он растаптывает все, что есть дорогого у человека, и бросает вас на землю, в грязь, а затем, чтобы вас утешить, предлагает вам религию, которую разум (разум самого П[аскаля]) не может не отвергнуть, но которую сердце должно смиренно принять.

(Мысль 12: «Comminutum cor» (смиренное сердце) — **Св. Павел.** Вот характер христианский. «Альба вас назвала... я не знаю вас больше» — **Корнель**[2]. Вот характер нечеловеческий. Человеческий характер противоположен этому.)

Противоположен также и христианскому характеру,— осмелюсь я добавить,— если сводить христианство к узкой и трусливой доктрине личного благополучия, эгоизма. Однако никогда еще никто не подчеркивал того, что подчеркивает Паскаль: его тоска, его проклятия — ужасны. В сравнении с ним Байрон — розовая водица. Но какая глубина, какая ясность — какое величие! Послушайте: «Мы бессильны знать все наверняка, также как и не знать ничего совсем. Мы плывем в огромном просторе, всегда неверном и бурном, бросаемые из одного его конца в другой. К какому бы причалу мы ни думали пристать и закрепиться — он качается и движется прочь; и если мы следуем за ним, он не дается в руки, ускользает, вечно убегает от нас. Нет ни в чем для нас опоры. Такое положение естественно, и все же оно противоположно нашим склонностям: мы горим желанием обрести прочную устойчивость, самую надежную твердь, чтобы возвести на ней башню, вздымающуюся в бесконечность; но вся наша постройка трещит, и земля распахивает свои бездны».

Какой свободный, сильный, дерзкий и могучий язык! И эти удары резца:

«Последний акт кровав, как ни прекрасна комедия во всем остальном. Наконец бросают комья земли **на голову** — и все кончено навсегда».

Или:

«Смотрят вверх, но опираются на песок, и когда рушится земля, падают, глядя в небо».

Или еще: «Как пусто и полно всякой грязи человеческое сердце!»

Но достаточно и этого, может быть, даже слишком много. У меня свело оскоминой рот от этого чтения; зачем я пишу Вам об этом? Но я пишу Вам обо всем.

Здесь мало русских, тем лучше. Надеюсь, что я смогу побыть один и работать.

Напишите мне, прошу Вас, и без промедлений. Если бы Вы знали, сколько радости приносит мне Ваше письмо! Но Вы знаете это. Прощайте — до встречи; тысяча приветов всем, тысяча поцелуев малышам; сердечно жму Ваши руки. Добавляю два слова для Виардо.

Ваш И. Тургенев.

Дорогой друг,

я не освобождаю Вас от чтения моей новеллы[3]; нужно, чтобы Вы высказали Ваше суждение — я такого высокого мнения о верности Вашего вкуса, что, даже побаиваясь Вашей критики, я хочу услышать ее. Вы скоро поедете в Куртавнель — там у Вас будет свободное время, и моя настойчивость не окажется столь уж нескромной. Если Вы не хотите, как в былые времена, предложить мне после моего приезда из Виши гостеприимство Куртавнеля — я, может быть, смогу показать Вам новую работу, или мы займемся переводом лирических стихотворений Пушкина[4].

Но все это еще в будущем, а я хочу верить, что не терял зря времени в прошедшем.

Сердечно Ваш
И. Т.

---

[1] «Мысли» Б. Паскаля (1623—1662) — знаменитая апология христианской религии опубликованная после смерти ее автора янсенистами (1670). Первое полное издание «Мыслей» появилось в 1844 году, в 1852 году книга Паскаля была переиздана.

[2] Реплика Горация Курнацию в трагедии Корнеля «Гораций» (акт II, сцена 3). Римлянин Гораций порывает со своим близким другом, который оказался сторонником провинции Альба-Лонга.

[3] Вероятно, перевод «Аси» (1858), сделанный Деляво и появившийся в «Ревю де Монд» 1 октября 1858 года под названием «Аннушка, воспоминание с берегов Рейна».

[4] Этот проект был осуществлен в 1862 году: «Драматические поэмы Ал. Пушкина, переведенные с русского И. Тургеневым и Л. Виардо». Что касается упоминания о «своей работе», то это, вероятно, «Дворянское гнездо», которое Соллогуб только что перевел тогда для «Ревю контампорен», но которое появилось во Франции отдельной книгой лишь двумя годами позже.

9

Париж, улица Риволи, 210.
Вторник, 29 марта [18]64.

Дорогая мадам Виардо, итак, сегодня утром я хочу поговорить с Вами о «Мирей»[1]... Это не так легко, и, конечно, если Вы с Вашей добротой в эту минуту описыете в письме ко мне подробности вчерашнего представления «Орфея»[2], Вы испытыете меньшие затруднения. Вот мое мнение: первый акт очарователен, поэтичен, по-м солнца и красок, радости и изящества, второй акт тоже прелестен, но конец его е слабее — остальное (три акта) безусловно неудачно, невыносимо, холодно и скучно и приводит к фиаско — увы! — к фиаско всей оперы. Я сидел между Поме[3] и... Чорли[4], который специально приехал из Лондона послушать «Мирей» и был совсем подавлен — он хотел поговорить с Карвало[5], потому что, заявил он, надо спасти два первых акта, которые драгоценны. Поме был перепуган отношением публики, которое от одного спектакля к другому, от третьего к четвертому, становилось полностью враждебным. У Вас есть партитура, так что Вы можете судить сами; надо Вам сказать, что в ней были сделаны купюры и большие изменения — и, однако, с их помощью не удалось прибавить ни интереса, ни движения несчастным трем последним актам. Дуэт в сцене убийства Винсента (вызова) выброшен! Урриас, которого играет Исмаэль[6], представляющий собою отвратительного провинциального мясника,— бросается за кулисы. Слышно: ах! — Урриас снова пересекает сцену с растрепанными волосами. Декорация меняется, и начинается так называемая фантастическая сцена. Это детская нелепость: целые полчаса толстый Урриас стенает, не сходя с места, показывается маленькая процессия голых женщин из картона с факелами над головой, которые, трясясь, спускаются в Роне, другие женщины, на этот раз настоящие — с белилами на щеках — тоже появляются и прячутся в кулисы. Потом выходит **перевозчик**, одетый под Харона, и месье Урриас удаляется с ним. В музыке — ничего фантастического, за исключением двух или трех довольно причудливых аккордов,— это полная неудача. Затем следуют бесконечные интермедии — очаровательная сцена, длящаяся пять минут, ланды в Кро с м-ль Февр-пастушком, поющим «Песню болгарина», которую Вы знаете, затем чертовски длинная сцена с процессией и т. д. ... и м-ль Мирей умирает от солнечного удара, исполняя песню экстаза, напоминающую Галеви[7] 4-го сорта. Это душераздирающее зрелище! Свистели два раза, будут свистеть еще больше, и я очень удивлюсь, если это сочинение продержится до пятнадцатого представления, сочинение, в котором 1-й акт все же шедевр, жемчужина, совершенство! М-ль Карвало[8] поет восхитительно, мужчины (Морини[9] и Исмаэль) плохи, постановка прекрасна, а декорация Роны, где происходят все упомянутые глупости — очаровательна. Представьте себе, вчера я встретил Гуно, и он пригласил меня к себе завтракать! Какой у меня будет вид и что я ему скажу!!! Что делать, надо через это пройти. Я пишу Вам сегодня только о «Мирей», а жду завтра письма, полного **«Орфеем»**. Вчера я обедал у толстяка Фридолена[10]; мы ели восхитительную семгу. До завтра; тысяча дружеских приветов всем; ich küsse Ihre lieben Hände.

Der Ihrige* И. Т.

P.S. Кстати, Чорли сказал мне, что большое письмо, которое Вы написали Диккенсу, не получено. Я дал ему Ваш альбом[11], а Вы оставьте еще один для меня в Бадене.

P.S.S. Месье Аспер написал мне; он получил деньги.

---

[1] «Мирей» — опера Гуно в пяти актах, поставлена в Лирическом театре 19 марта 1864 года (по новому стилю).

[2] Опера Глюка «Орфей» была поставлена с участием м-м Виардо в Карлсруэ 28 марта 1864 года (по новому стилю).

[3] Поме Луи Эдмон (1831—1901) — французский художник, поэт и переводчик, друг семьи Виардо, написавший, согласно неизданиому письму от 14 (26) марта 1864 г., первый портрет Тургенева.

[4] Чорли — см. письмо 4-е.

[5] Леон Карвай, или Карвало (1825—1897) — директор парижских театров. С 1863 по 1868 год он руководил Лирическим театром.

[6] Исмаэль — певец Лирического театра, имевший большой успех в роли Ринголетто в декабре 1863 года.

[7] Галеви (псевдоним Леви, 1799—1862) — фраицузский композитор.

[8] М-ль Карвало — Каролина Фелис Мьолан, в замужестве Карвало (1827—1895) — одна из лучших французских певиц XIX века, исполняла роль Мирей в одноименной опере Гуно.

[9] Морини Франсуа — первый тенор Лирического театра.

[10] Толстяк Фридолен — вероятно, прозвище Луи Поме.

[11] Имеется в виду альбом романсов, изданный в Петербурге в 1864 году, «12 стихотворений Пушкина, Фета и Тургенева, переведенных на немецкий язык Ф. Бодеиштедтом, музыка П. Виардо».

---

* Целую любимые Ваши руки. Ваш *(нем.)*.

И. С. Тургенев. Рисунок А. Менцеля.
1871 год.

И. С. Тургенев.
Портрет работы А. А. Харламова.
1875 год.

10

Берлин,
Отель «С.-Петербург».
2 июня 1865.

Дорогая мадам Виардо,— 7 часов утра, я ухожу сейчас к Пичу[1], вернусь в 10 ч в гостиницу, а в $10^1/_2$ ч. уезжаю в С.-Петербург. Я Вам пишу эти несколько слов только для того, чтобы сказать, что я видел три картины Менцеля[2], которые показались мне просто шедеврами,— коронация нынешнего короля в Кёнигсбергском соборе и два сюжета из жизни Фридриха Великого — большие полотна. Наверное, я тоже злоупотребляю превосходной степенью, но я должен сказать, что мощь красок у этого человека удивительна, так же как правда и тонкость его лиц. Он напоминает мне Рембрандта — этим все сказано! Он подарил мне литографию, сделанную по одной из его картин: «Спор Иисуса Христа-младенца в храме». Это сделано с безжалостным реализмом, но я нахожу это удивительным — и чтобы понять окончательно, как относиться к этому, я прошу Пича послать Вам ее. Рассмотрите ее внимательно, Вы и Виардо,— и скажите мне Ваше впечатление.

Я посылаю Вам фотографию Бисмарка.

Мне очень грустно, но я вооружаюсь мужеством и думаю о возвращении. Тысяча приветов всем — нежно целую Ваши руки.

Der Ihrige
И. Тургенев.

---

[1] Пич Людвиг (1824—1912) — лучший немецкий друг Тургенева, художник и литератор. Известны 133 письма Тургенева к Л. Пичу.

[2] Менцель Адольф (1815—1905) — немецкий художник, исторический живописец которого Тургенев навещал обычно, посещая Берлин. Людвиг Пич познакомил их в 1865 году.

11

Санкт-Петербург,
Караванная, № 14. Суббота 1(13) апреля
[18]67.

Итак, милая мадам Виардо, вот я и здесь, у старины Боткина — приехал сегодня утром, в снежную метель — как бывает в Москве — никогда не видел ничего подобного — это царство зимы. Первое, что я спросил по приезде, было: «Когда назначен

в чтение?»[1] Потому что, надо Вам сказать, что я должен прочесть здесь отрывки из его романа[2] в пользу нашего Литературного фонда — невозможно было отказаться. знал, что это чтение состоится в понедельник вечером, послезавтра — значит, я могу уехать начиная со вторника. Это на день позднее, чем я надеялся... Но терпение! Ни не случится ничего непредвиденного — берега Ооса[3] увидят меня в пятницу 19 апреля. Я отправлю телеграмму из Берлина.

Знаете ли Вы, что, по всей видимости, первым обитателем моего дома[4] может ть французский генерал? Здесь все убеждены в неизбежности войны[5] — и эта уверенность подтверждается, помимо всего иного, страшным падением наших денег. Я с ьшим трудом поменял сегодня 1 500 рублей — по 3 ф. 25 сант. за рубль, а неделю над давали 3 ф. 36 или 38 с. Правда, утверждают, что все эти слухи о войне только евр биржи и что недели через две курс улучшится... Ma chi lo sa? * Я отдал остаток их денег — 2000 р.— Боткину, чтобы он переслал мне их в более удобное время. Ни вспыхнет война, она будет ужасной — и никто не может знать, где и как это кончится. Будем надеяться, что в Бадене мы услышим пушки лишь издали. Россия объединится с Пруссией — в этом нет никакого сомнения,— или, скорее, она заставит Австрию быть почтительнее. Вот итог Выставки[6].

Последний день в Москве я провел очень спокойно у себя дома — и только вечером я получил от Каткова последние корректуры, решительно им выправленные,— я имею в виду редактирование. Эти пререкания заставили меня нервничать. Сколько вычеркнутых мест будут восстановлены в отдельном издании. Некто г-н Чаев[7], который вместе с графом Соллогубом[8] участвовал в публичном чтении в Москве, пришел повидаться со мной и читал мне отрывки из драматической хроники, героем которой наш известный народный разбойник Стенька Разин. Чаеву не хватает поэтического воображения, но он глубоко погружен в историю России и превосходно владеет ее языком. И потом это очаровательный, очень симпатичный человек. И все же жаль, что уехал из Москвы; не знаю, потому ли это, что я приблизился к Европе, но уже не испытываю больше того беспокойства, будто бы меня окружают стены тюрьмы. А между тем все были так добры ко мне в Москве! И Маслов[9]... какой превосходный и честный малый... малый пятидесяти лет, имеющий звание Превосходительства! Загадка в том, мне кажется, что Москва дальше от Бадена, чем Петербург.

Я напишу Вам послезавтра, в понедельник,— это будет мое последнее письмо. Все места на чтение уже проданы: будет толпа. Я напишу Вам об этом по свежим следам.

Виардо я пишу. Тысяча приветов всем и самое сердечное рукопожатие — Вам.

Der Ihrige

И. Т.

---

[1] Публичное чтение, организованное Литературным фондом, состоялось 3 (15) апреля 1867 г.

[2] «Дым».

[3] В Баден-Баден приезжие попадали с вокзала на речном трамвае, шедшем по реке Ооc.

[4] В конце 1867 г. Тургенев купил в Берлине на улице Тиргартен небольшой дом в стиле Людовика XIII.

[5] В апреле—мае 1867 г. возникло напряженное положение в отношениях между Пруссией во главе с Бисмарком и правительством Наполеона III.

[6] Всемирная выставка 1867 года в Париже была проведена на Марсовом поле с большим, который не мог прикрыть упадка режима Наполеона III.

[7] Чаев Николай Александрович (1824—1914) — автор исторических драм «Лжедмитрий», «Грозный царь Иван Васильевич» и др.

[8] Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882) — автор повести «Тарантас», писатель, игравший заметную роль в литературной жизни своего времени.

[9] Маслов Иван Ильич (1817—1891) — университетский товарищ Тургенева, с 1860 г. Управляющим московской удельной конторой, в его доме останавливался Тургенев во время приездов в Москву.

Спасское.

Понедельник 20(8) июня 1870.

Theuerste Freundin **, сегодня, покинув Борисова[1], мы отправились на почту... и представьте себе мою радость! мне выдали три письма от Вас — №№ 6, 7, 8 (хоть Вы и послали их 5, 6, 7). Большую часть дня я провел, читая и перечитывая их. Они превосходны: в них есть лишь три черных пятнышка: 1) ветряная оспа в Бадене — но, к счастью, Вы сделали себе прививку; 2) Ваша бездеятельность как композитора, но я надеюсь, она прекратится; 3) маленькая фраза, где Вы пишете мне, что я о Вас не думаю, но она искупается многими другими. Общее впечатление — нежности, очарования и предельной доброты. Пойдем по порядку: для «Anliegen»[2] будет сделан русский текст в двух куплетах — и нет необходимости упоминать имя Гёте; для того чтобы пе-

---

* Но кто знает? *(Итал.)*.

** Дорогой друг *(нем.)*.

редать его Иогансону[3] с новым текстом, я велю его переписать с крайней тщатель
стью. Иогансон заплатил мне за два других романса (по 30 руб. серебром за каждый)
и я привезу Вам деньги. Зейц[4] может быть спокоен — романсы будут опубликова
в России только по-русски. Все Ваши замечания об элементе карикатурности и небре
ности в «Короле Лире» приняты к сведению, и я уже сделал необходимые купю
и вставки. Всю эту машину я перебрал сверху донизу... Не знаю, каков будет коне
ный результат, но только ни одна из моих «Pfuschereien» * не стоила мне такого труд
Ужасный «Тропман»[5] появится, как я Вам уже говорил, в июльском № «Салона»; я н
писал издателю Роденбергу, чтобы он послал Вам экземпляр, который Вы будете т
добры передать королеве[6]. Я начинаю испытывать нежную привязанность к не
я знаю, что она Вас очень любит, и не сомневаюсь в том, что она ценит каждое Ва
слово. По правде сказать, она, должно быть, чувствует себя очень одинокой и очен
несчастной, бедная женщина — и такая бескорыстная и искренняя привязанность, к
Ваша, должна быть очень для нее драгоценна. Вы ей устроили прекрасный концер
и я знаю кое-кого, кто хотел бы на нем присутствовать. Вы не пишете, хорошо ли сы
ла м-ль Жерль[7] «Märchen»; это меньше в ее возможностях, чем эффектные вещ
Итак, Перуцци[8] снова сделался другом — и приручен: это удача, ведь ни к чему име
в жизни лишнего врага.

Заставьте, заставьте говорить м-м Анштетт[9], но не соглашайтесь со всем, что о
скажет: Вы увидите сами, что похоже на правду в ее рассказе. О, презренные!

Утка заслуживает почетной медали, она доказывает это своей незаурядной ре
тельностью и ловкостью. Лишь бы кошка не съела некоторых из ее утят в первые
дни! А блондинка Офелия? Она тоже собирается бежать от своей тетки?

Начиная с послезавтрашнего дня я отвечу Клоди, а также всем — Марианне, По
всем по очереди. Я не ручаюсь, что не напишу стихами.

Погода стала немного мягче, но все еще серо. Это не так уж неприятно — подо
ный день даже удобнее для прогулки — но надо же когда-нибудь увидеть и прекр
ное, несомненное солнце и очень ясное и очень синее небо! Черт возьми! Лето и
или нет, в конце концов!

Мой англичанин Рольстон[10], человек очень мягкий и благовоспитанный, держи
очень спокойно и кажется даже довольным в этой глуши, которая зовется Спасск
Это характер грустный и сдержанный, без всяких иллюзий на свой счет, но с больш
любовью к литературному делу. Он влюблен в русский язык и особенно в наши с
ринные песни и сказки. Это человек добросовестный, и, конечно, все, что он дела
и все, что он уже сделал, будет обладать реальными достоинствами. Он хорошо зн
Диккенса, по поводу смерти которого Вы написали мне так много верного. Какая хор
шая мысль Вам пришла — написать этому бедняге Чорли! Боюсь, как бы этот удар
голове веслом не погрузил его навсегда в пучину!

Будем стараться жить, милая мадам Виардо; будем защищаться, ничего лучше
не придумаешь. Кажется, Боткин говорил Анненкову накануне своей смерти с той пр
восходной сжатостью русского языка, в которой он не уступает даже латыни: «Хо
так, да жить!» **. По-французски это значит: «Даже в состоянии, в каком вы меня вид
те,— жить прежде всего». Мы еще не дошли до состояния Боткина — это лишний пов
хотеть жить!

Пока я чувствую себя прекрасно — и надеюсь, что маленькая часовня на этот р
меня еще не получит. Завтра будет неделя, как я в Спасском. Еще две недели — и
качу по дороге в Москву, в Петербург... в Берлин... в Баден...

Ничего, ничего, спокойствие, как говорит гоголевский сумасшедший. А пока т
сячи и тысячи приветов всем. Целую нежно Ваши милые руки и руки Диди — ма
маленькой славной корреспондентки.

Der Ihrige
И. Т.

P.S. Я говорю вместе с двумя итальянскими малышами: Benedetta la signorina...***

P.S.S. Мой управляющий не жулик; я считаю его очень честным... ловкий, это др
гое дело.

---

[1] Борисов Иван Петрович (1832—1871) — орловский помещик, друг Тургенева, Фе
и Льва Толстого.

[2] «Анлиген» — стихотворение Гёте (1795).

[3] Иогансон — издатель музыкальных сочинений в Петербурге.

[4] Зейц — издатель музыкальных сочннений в Карлсруэ.

[5] «Казнь Тропмана» — очерк Тургенева, появившийся впервые в «Вестнике Ев
пы» (№ 6, 1870) и одновременно по-немецки в журнале «Салон» (июль, 1870).

[6] По словам Лунзы Виардо (см. Lois Héritte de la Tour. Une famille de grands musici
p. 169), король Пруссии сказал однажды в Баден-Бадене, что он понимает только во
ную музыку, единственную имеющую твердую цель. Однако его жена королева Авгус
«обожала музыку и живопись».

[7] М-ль Жерль — ученица Полины Виардо.

[8] Перуцци Антонио — итальянский пианист.

[9] М-м Анштетт — хозяйка дома, где жил Тургенев в Баден-Бадене.

[10] Рольстон Вильям (1828—1889) — друг Тургенева, переведший на англ
«Дворянское гнездо».

---

* Дрянных, случайных работ *(нем.)*.

** Эти слова написаны Тургеневым по-русски *(примеч. ред.)*.

*** Пусть будет благословенна синьорина... *(итал.)*.

С.-Петербург.
Гостиница Демута, № 53,
вторник, вечер 7[19] мая 1874.

Милая мадам Виардо, theuerste Freundin, я прибыл сюда без приключений, сегодня в 8 ч. вечера. Получил две превосходные комнаты, которые держали для меня, мылся, устроился и сейчас лягу, потому что измучен — я почти не спал две предыдущие ночи. Я пошлю Вам телеграмму завтра утром пораньше, а тем временем напишу; желаю Вам спокойной ночи и всего лучшего, что только есть на свете: до завтра.

Среда, полночь 8[20] мая.

Да здравствует телеграфно-негритянский стиль! Это, конечно, лучший способ конденсации фактов. Мадам де Севинье затрепетала бы от ужаса. Но наш век ближе к «matter of fact» *. Это не мешает хорошим чувствам — напротив; однако довольно болтать.

Восхитительная ночь! Разбужен дважды собственным храпом. Пришел к убеждению, что те, кто обвиняет меня в этом, не клевещут. Кровать длинная, гладкая, немного жесткая, как я люблю, белье свежайшее. Утром — о, неожиданность! — солнце! На улице — лица мужиков, кафтаны, маленькие дрожки, пыль, голуби, солдаты, обряженные в длинные сюртуки, и т. д. и т. д. ...Мне кажется, что я никогда не переставал видеть все это. Я пью чай, одеваюсь, выхожу. Колючий холод. Величина листьев на деревьях = ℔ Памятник Екатерине II phrasenhaft **, рококо, но довольно эффектное. Отправлена телеграмма. Получена порядочная сумма денег, посланных моим издателем. Сделаны визиты: Арапетову, Полонскому, Николаю Тютчеву[1]. В сущности, эти имена ничего Вам не говорят. Старые друзья. Полонский читает мне стихи, которые ни хороши, ни плохи. У него анкилоз колена, добрая, маленькая жена, красивый, но немного грязный ребенок, в комнате на свободе голубь, который гадит всюду,— он бедняга — Полонский, а не голубь. Посетил выставку живописи этого года — вы понимаете, я не мог этого обойти, это дань моему прошлому, Друо![2] Одни ничтожные картины, которые хочется выбросить в Неву, текущую под окнами. Естественно, я исключаю из их числа картины Харламова[3], которые все прекрасны. Скажите ему, что я вновь с удовольствием смотрел на его «Итальянку», стоящую с цветами в фартуке. Обед у издателя «Вестника»[4], который печатает мои сочинения,— вместе с 4 или 5 литераторами. Все очень любезны — обед очень приятен, но я не глуп — почти ничего не ел. Выпил только маленький стаканчик шампанского — из вежливости. Большие, длинные речи о внутренних делах, о политике Франции. Это должно было бы помочь Франции!! Большое ликование по случаю падения моего личного врага: трагического индюка[5]. Не знаю, но мне кажется, что он не так уж сильно упал,— он еще, быть может, зацепится, негодяй!! И когда подумаешь, что его предполагаемый преемник месье де Гуляр[6]... Тут нет повода для энтузиазма.

Закончил вечер у м-м Абаза. Много вопросов о Вас, о Диди, о ее муже. Пение в Петербурге прекратилось, русская опера закрыта, и я уже не буду иметь удовольствие слышать эти очаровательные какофонии. Дорогой я сделал переводы к романсам и завтра отнесу их к Иогансону[7].

Надеюсь завтра получить письмо! Покойной ночи, theuerste Freundin, иду спать.

Четверг 21[9] мая, 9½ ч. утра. Письма пока нет, но ведь оно может прийти днем. Отвратительная погода. Сегодня важный день — Диди 22 года! Пишу ей несколько слов. Что касается Марианны, я буду с завтрашнего дня посылать ей meine Reisebeschreibung ***.

Начиная с нынешнего дня я обнимаю вас всех — und ich küsse aufs zärtlichste Ihre Augen, theuren Hände ****.

Der Ihrige И. Т.

---

[1] Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — чиновник высокого ранга, умеренно либеральный по своим убеждениям, знакомый Тургенева с 30-х годов. Полонский Яков Петрович (1819—1898) — известный русский поэт, друг Тургенева. Тютчев Николай Николаевич (1815—1878) — литератор, помещик Орловской губернии.

[2] Друо - парижская картинная галерея.

[3] Харламов Алексей Алексеевич (1842—1922) - русский живописец, значительную часть жизни прожил во Франции, в 1875 г. написал портрет Тургенева.

[4] Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — издатель журнала «Вестник Европы».

[5] «Трагический индюк» — герцог де Брольи (1821—1901), французский политический деятель, в 1874 году смещен с поста министра иностранных дел.

[6] Де Гуляр Марк (1808—1874) — французский политический деятель.

[7] Русские переводы немецких текстов для альбома романсов, которые должен был издавать Иогансон, включали в себя стихотворения Гёте, Гебеля и других авторов.

---

* Реальным фактам *(англ.)*.
** Помпезен *(нем.)*.
*** Свой путевой дневник *(нем.)*.
**** И целую нежно, как только могу, Ваши милые и дорогие руки *(нем.)*.

С.-Петербург,
53, гостиница Демута.

Четверг, вечер 28(16) мая [18]74.

Здравствуйте, милая мадам Виардо, theuerste Freundin, или, скорее, спокойной ночи — я слышу, как бьет полночь,— получил сегодня утром Ваше маленькое письмецо с милым письмом доброй маленькой Марианны (я ей вчера послал забавное письмо). Все у вас хорошо, и это меня очень радует. Здесь тоже все довольно благополучно. Сегодня был настоящий весенний день — первый в этом году, но деревья еще совсем голые.

Я возвращаюсь к «негритянскому» стилю, чтобы рассказать Вам о двух только что прошедших днях.

Среда. До обеда сделаны визиты. Принимались визитеры — калейдоскоп знакомых и незнакомых лиц. Дамы и господа — красные, розовые, голубые. Кажется, их слишком много, но что поделаешь! Погода хорошая — только порывами отвратительный ледяной и колющий ветер. Со здоровьем — хорошо, незначительная ревматическая боль в плече. Обед у итальянского консула, некоего г-на Пинто[1], давнишнего знакомого, очень любезного человека, которому я сделал несколько маленьких услуг лет пятнадцать тому назад и который хочет засвидетельствовать мне свою признательность. Милые дети, вкусный обед, простой и спокойный разговор. Вечером театр — актер Шумский[2] в довольно известной русской пьесе; главное действующее лицо — авантюрист. Шумский — не хорош, слишком стар и слишком однообразен. Играет остатками таланта в духе Буффе[3]. Сидел в ложе Гедеонова. Он является и приглашает меня завтракать с ним; в **пятницу** (завтра)... он будет показывать мне Эрмитаж. Una corvea!* В ложе — министр внутренних дел и глава тайной полиции —бррр! Что за черт! Эти господа удаляются.

Четверг. Весь день с 10 ч. утра до 6 часов провел в суде присяжных. Две кражи и одно изнасилование. Присяжные объявляют обвиняемого **невиновным**, а между тем изнасилование (и притом невинной девушки) абсолютно доказано. Очень тяжелое впечатление, очень интересные типы и лица — особенно несчастная жертва. (**Обольститель** гнусный, старый, ужасный, страшный.) Вот сравнение между нею и француженкой на ее месте. Француженка прыгала бы от негодования или рыдала бы горькими слезами... русская как овца, не умеющая возмущаться. Что правильнее? Не знаю. Однако она кончила тем, что упала в обморок. Адвокаты были плохие — добродетельные и пошлые,— и этот ужасный человек **был оправдан!** Говорят, что присяжные оправдывают в 8 случаях из 10. Они начали с того, что оправдали обоих воров, но тут хоть было объяснение: один из них был бедняк (прежде дворянин, умиравший с голода), который украл на кухне индюшку и двух уток и был захвачен **на месте преступления** в ту минуту, когда, спрятавшись за ватерклозетом, он привязывал эту живность к себе на пояс галстуком; вторая кража не была доказана. В общем, я хорошо сделал, что присутствовал на всем этом. Дело об изнасиловании слушалось при закрытых дверях, и меня хотели выгнать с остальной публикой,— когда вдруг обнаружилось, что я был почетным мировым судьей Жиздринского уезда Калужской губернии, и мне позволили — что я говорю! — меня пригласили остаться.

Обедал у г-на Головнина[4], бывшего министра народного просвещения. В свое время считали, что он не на месте, но это светило в сравнении с тем, что теперь. Еще два министра (хм, только-toll) за столом. Разговор серьезный и тяжелый, время от времени прерываемый веселыми анекдотами о лечении. В конце концов без этого не обойдешься.

С завтрашнего дня я примусь за 9-е письмо. Думаю, что вы скоро отправитесь в Буживаль. Тысяча объятий всем — нежно целую Ваши руки.

Auf ewig
Der Ihrige **.
И. Т.

---

[1] Пинто Микеланджело — писатель и политический деятель, боровшийся за объединение Италии. В свое время Тургенев устроил его преподавать итальянский язык в Петербургском университете. В 1874 году Пинто был консулом Италии в России.

[2] Шумский Сергей Васильевич (1821—1878) — знаменитый актер. Тургенев видел его в роли Кречинского в пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

[3] Буффе Дезирэ-Мария (1800—1888) — один из лучших комедийных актеров Парижа. Тургенев видел его в ноябре 1847 года.

[4] Головнин А. В. (1821—1886), был министром народного просвещения с 1862 по 1866 год. Его преемник граф Д. А. Толстой очень быстро заслужил неприязнь всей либеральной интеллигенции.

---

* Обуза! *(Итал.)*.
** Навсегда Ваш *(нем.)*.

И. С. Тургенев в мантии доктора Оксфордского университета. С фотографии. 1879 год.

Полина Виардо. Акварель-миниатюра. 1845 год.

Лондон,
отель Гровенор.

Понедельник, 16 июня 1879, 5 часов.

Отчет.

Выезд из Парижа в 7 ч. 45 м.— путешествие в обществе старого англичанина, старой англичанки и французской няни. Никаких происшествий, прекрасная переправа: море спокойно. У берегов Англии — туман; движемся очень медленно, и каждую минуту сигналит пароходная сирена, звук которой напоминает трубящего слона. Перед отъездом отправил все письма и видел Диди, которая дала мне синюю шаль, так как своего пледа я не мог найти; ключ от библиотеки пропал, и нет слесаря, из-за того что воскресенье. Синяя шаль служит мне добрую службу на море. Получил хорошую комнату в Гровенор-отеле, расположенном вблизи Букингемского дворца. Прибыв сюда в 7 часов, принял ванну в отеле в $7^1/_2$. Выпил чаю, который не идет в сравнение с тем, что дают во «Френ». Визит американского литератора Генри Джеймса[1], потом визит Рольстона. Узнал — о радость! — что я не должен произносить никакого спича. Я должен ограничиться тем, чтобы держать себя where pride and modesty are mixed up with gratitude *. Постараюсь не оплошать. Нас будет послезавтра 4 доктора Г[ражданского] П[рава], один из нес Лейтон — художник сэр Фредерик[2]. Завтракал со своим другом Холлом[3] в великолепном Реформ-клубе на Пел-Мел — главном клубе вигов с ужасными портретами Пальмерстона, лорда Дж. Рассела и с не менее ужасными бюстами Броэма, Кобдена и Кромвеля. За завтраком, на котором подают whitebaits**, присутствуют два члена парламента Грант-Даф и Ведерберн. Последний очень мил. Познакомился с писателем Блэком, автором «Принцессы из Туле» [4], который напоминает (Блэк) черномазого маленького лакея: у него очень красный нос и очки в золотой оправе, которые очень низко спускаются на нос. Познакомился с Робинсоном — издателем «Дейли ньюс», совсем лысым молодым человеком буржуазного вида. Я очень плохо и с трудом говорю по-английски: сам себе напоминаю Джека[5], который тащит повозку по новой посыпанной песком аллее. Потом ходили с Холлом на выставку современной английской живописи в Гровенор-хауз: ужасно, страшно, chamber of horrors ***! Краски мелкие, рисунок детский; эти господа думают уцепиться за экспрессию, которая кажется им глубокой и поэтической, оставаясь на деле смутной, глупой и болезненной. Там есть девица средних лет с ножом для убоя скота, которым она срезает абрикосы на винограднике,— все это в небе (в память о м-ль Спарталис[6]). Тут и теленок рас-

---

* С достоинством и скромностью, сочетающимися с чувством признательности *(англ.)*.
** Плотву *(англ.)*.
*** Комната ужасов *(англ.)*.

смеялся бы (или заплакал)! А какие сюжеты! Например, картина в два метра длины на полметра ширины: сверху ангел с причудливыми крыльями, держащий в объятиях рыцаря в латах, который в свою очередь держит — и тоже на руках — женщину в лиловом газовом платье; все это происходит на небесах и называется в каталоге «Розамунда»!! Все три персонажа совершенно на одной линии, вот так *:
Нет! Англичане никогда не должны вмешиваться в живопись! Виардо, конечно, был бы в ярости. И все это в прекраснейшем и восхитительно освещенном зале. Мой друг Холл был в экстазе.

Вернулся в отель, где проспал всего $1^1/_2$ часа, так как стояла белая ночь. Сейчас жду Мануэля[7], который должен прийти за мной, чтобы идти обедать к нему. Конечно, много думаю о «Френ», о его обитателях, о Жаке, о Семирамис[8]. Она приехала?

Сейчас погода хорошая, но все утро шел дождь, желтый туман, темное небо, грязь и вонь. Боже! Каким некрасивым кажется мне Лондон!! Завтра рано утром уезжаю в Оксфорд.

Буду писать каждый день.

Послал сегодня утром во «Френ» телеграмму.

Обнимаю всех и целую Ваши руки.

Der Ihrige
И. Т.

---

[1] Тургенев был в Англии с 4 (16) июня по 9 (21) июня 1879 года для получения в Оксфорде степени Доктора honoris causa.

[2] Генри Джеймс (1843—1916) — известный американский писатель, живший тогда в Англии. После 1875 года неоднократно встречался с Тургеневым, которого считал своим учителем.

[3] Лейтон Фредерик (1830—1896) — английский живописец.

[4] Холл Баллок — английский друг Тургенева, приглашавший его во время пребывания в Англии охотиться в своем имении.

[5] Блэк Уильям (1841—1898) — писатель. Его роман «Принцесса из Туле» (1874), действие которого происходит на Гебридских островах, принес ему большой успех.

[6] Джек — охотничья собака в Буживале.

[7] Урожденная м-ль Спарталис — в действительности Мари Спартали, гречанка по происхождению, жена художника Уильяма Штильмана.

[8] Брат м-м Виардо жил в Лондоне и преподавал пенне в консерватории.

[9] Семирамис — охотничья собака в Буживале.

16

Берлин,
отель «С.-Петербург».
Суббота, 7 февраля 1880.

Theuerste Freundin, сейчас четыре часа, а в $10^1/_2$ ч. я уезжаю в Петербург — пок путешествие идет хорошо, не холодно, и подагра молчит. Из Франкфурта в Берлин ехал в одном купе с богатой старой еврейкой; вот ее точный профиль, без преувел

чений: впрочем, это была очень любезная и добрая жен щина. Приехав в Берлин в 9 ч. вечера, я, естественно, от правился в славный отель «С.-Петербург», пробуждающи во мне столько воспоминаний... я съел Zander mit Butter* у [нрзб.] — тоже воспоминания! под видом ростбифа на подали куски резины (я чуть не подавился), лег спать и про спал pierna tendida** до 9 часов утра (я не сомкнул гла в предыдущую ночь); потом съездил в несколько мест, ни кого не повидал — Пич, может быть, приедет обедать с мной, но что важнее всего: я видел, своими глазами видел бессмертные, бо жественные, несравненные фрагменты колоссальных Пергамских горельефов, изобра жающих борьбу богов и титанов[1]. Достаточно сказать: я счастлив, что не умер, не уви дав эти шедевры, и как бы я был рад посмотреть их с Вами! Столь же совершенны как скульптуры Парфенона,— эти горельефы (тела сохранились почти целиком) обла дают пламенностью, величием, блеском и торжественным великолепием, которое не льзя выразить словами! Там есть Аполлон, который мчится на своей колеснице, вез мый двумя бессмертными и предшествуемый Авророй, обернувшейся на своем коне бессмертном тоже и тоже повернувшем голову, будто он ржет; там есть Юпитер-гр мовержец, крылатая Победа... И потом все эти гиганты, ноги которых заканчиваю огромными извивающимися змеями, терзаемыми когтями орлов; и Земля, их мать, в в слезах, поднявшаяся по пояс из почвы; поверженные гиганты, мертвые, яростны дикие, схваченные за волосы, сражающиеся с яростью, и Боги, светлые, дышащие п бедой, неодолимые — все это триумф Греции, света, красоты над жестокими и темн ми силами. И все это величие сверхчеловеческого (я забыл сказать о Палладе, брос

---

* Рисунок не воспроизводится из-за плохой сохранности оригинала *(примеч. ред.)*.
** Судак в масле *(нем.)*.
*** Без задних ног *(исп. идиоматическое выражение)*.

Иллюстрация к сказке Х. К. Андерсена «Копилка».

Из работ Иржи Трнки

Иллюстрация к книге В. Голана «Баяя».

Иллюстрация к книге В. Незвала «Золотой век».

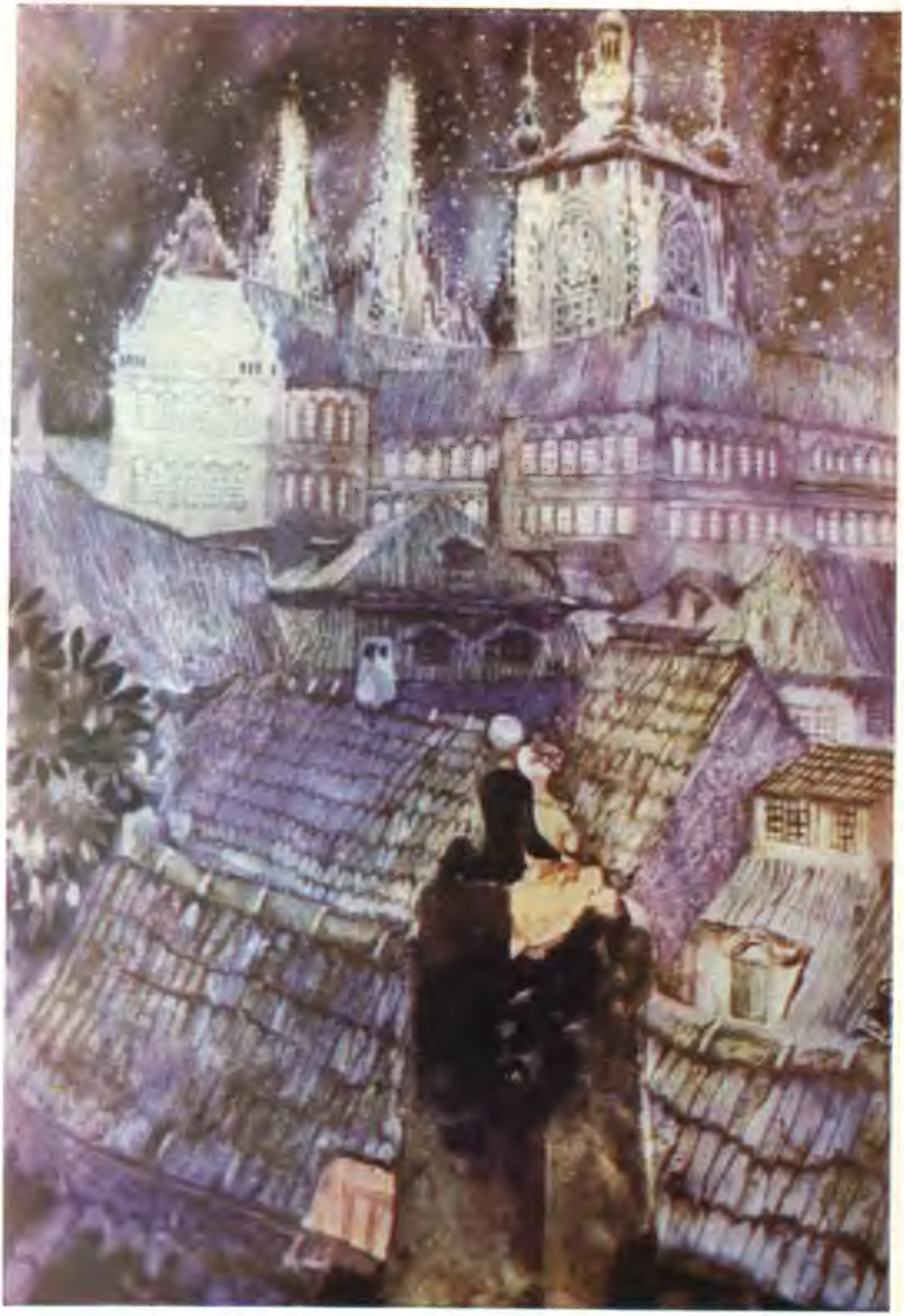


Иллюстрация к сказке Х. К. Андерсена «Пастушка и трубочист».

щей копье, о Нимфе, сидящей на льве, и т. д. и т. д.). А эти торсы гигантов: спереди, со спины, мускулы, вздутые вены... Я почувствовал дрожь восторга и его светлые и холодные слезы. Все это еще на полу, все это еще устраивают — огромные ящики, заполненные тысячами обломков, из которых внезапно всплывают плечи, руки, ноги — божественные, божественные... o! существуют одни только греки, а мы все — эпигоны. И подумать только, что пруссаки завладели всем этим — за какие-то гроши! Ах! Дело в том, что они знают, где искать,— у них есть и наука, и терпение, и хитрость. Когда все это будет установлено, нужно приехать это посмотреть,— весь мир будет совершать паломничество, чтобы увидеть это, потому что это настоящие Святые Места.

Я послал Вам сегодня телеграмму, следующую пошлю из Петербурга, где я рассчитываю получить письмо, а в ожидании его я вас всех целую und bleibe auf ewig.

Der Ihrige*
И. Тургенев,
эллиноман.

---

[1] Тургенев посетил в Берлинском музее временную выставку горельефов алтаря Зевса, обнаруженных в Пергаме в 1878—1879 годах. Об этих горельефах Тургенев с энтузиазмом рассказывал своим петербургским друзьям. Один из них предложил ему написать статью на эту тему. Статья под названием «Пергамские раскопки» появилась в журнале «Вестник Европы» (№ 4, 1880). Публикуемое письмо выражает первые непосредственные впечатления Тургенева, которым позднее была посвящена статья. Фраза из письма «Я счастлив, что не умер, не увидав эти шедевры» почти дословно вошла в его статью: «Как я счастлив, что я не умер, не дожив до последних впечатлений, что я видел все это!» (И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 39)

И. С. ТУРГЕНЕВ — КЛОДИ ВИАРДО

17

Париж,
отель «Байрон»,
улица Лафитт, 20.

Понедельник, 29 марта 1869.

Дорогая Диди, mein kleiner Abgott **, я только что встал, сейчас 9 часов. Снег падает, кружась,— Париж некрасив. Так как я полагаю, что завтра, к приходу почты, твоей мамы уже не будет в Карлсруэ[1], я отправляю свою корреспонденцию на твое имя — и если ты очень этого захочешь, ты прочтешь мои письма громким и внятным голосом и напишешь мне в свою очередь, правда? Итак, поговорим о вчерашнем дне (как всегда в лапидарном стиле).

Завтракал у Поме, хорошо, очень хорошо. Его жена очень бела, маленькая Тереза — татуирована (у нее «бобо» на лице), — все очень милы. М-м П[оме] крайне жирна и прехорошенькая... Вопросы, ответы, смех, восклицания и т. д. и т. д. Время проходит очень приятно. Картины отправляются на выставку — два портрета в углу — не стóят работ Шика[2]... (Я было забыл — еще до Поме — был у Леонаров[3], Маргариты и Антонии, сам он еще спал. Объятия, смесь французского с испанским и т. д... М-м Антония очень **постарела!!!**)

Визит к Сент-Бёву[4]. Бедняга очень страдает и даже говорит с большим трудом. Его болезнь ужасно прогрессировала с ноября — я думаю, что он не протянет долго и конец его будет жесток. Я не хотел ему слишком докучать: все же мало-помалу он слегка оживился и говорил, по обыкновению, очень тонкие и верные вещи. Визит к настоящему философу Литтре[5]. Маленькая дыра, заполненная старыми книгами, и в ней он: жалкий, нищенски одетый, с поднятым воротником сюртука, обсыпанный перхотью по всей спине и рукавам — небритый, нечистый, некрасивый, тщедушный, в больших очках в железной оправе,— с очаровательнейшим взглядом маленьких прекрасных карих глаз — **человек** в лучшем смысле слова. Потом — толстяк Флобер. Артист, художник, одет неряшливо, под турка — вязаный жилет в красную и коричневую полоску,— и комната выкрашена красным — с голубыми дверями и золотыми лунными серпами на панно,— лицо его тоже красно, выпяченный живот, зеленые туфли. Оригинален и **естествен**, что так редко; очень добродушный, очень неглупый, живописно выразительный и симпатичный, и потом, я чувствую, что он расположен ко мне, а это всегда приятно. Затем гуляние по бульварам, огромная толпа: настоящий человеческий водоворот. Выпил зельтерской воды с кюрасао (совсем маленький стаканчик!) и любовался беспрерывным движением и сменой человеческих лиц, уродливых, красивых, равнодушных, смешных, простых, притворных, больших, маленьких, странных, вульгарных

---

* И остаюсь навсегда Ваш *(нем.)*.
** Мой маленький идол *(нем.)*.

и т. д., и т. д., и т. д. Женщины все жеманны и некрасивы,— основной род туалетов может быть тебе представлен таким образом: [рисунок]

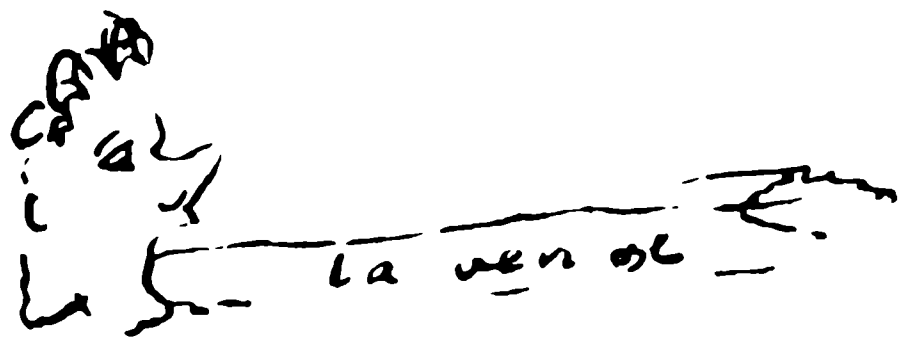
Парижанка в 1869 году.

Это туалет для улицы; в комнате платье волочится сзади на десять шагов. Никогда не мог понять, как м-м Краус[6] во время мессы Россини[7] у Итальянцев могла войти и выйти с таким хвостом. Его кончик все время был виден в театре. Это предельно смешно и неуклюже.

Обедал у моего доброго старого родственника г-на Николая Тургенева[8]. Это великолепные люди, и их обед был очень вкусен. Не знаю, помнишь ли ты их старшего сына Альбера... это настоящий Геркулес Фарнезский; теперь уже не встречаешь таких фигур. После обеда пришла очень бедная и довольно некрасивая русская барышня, обладающая великолепным контральто и ищущая возможности применить его. Голос ее действительно огромен, толст, как балка, но барышня ничего не умеет, совсем ничего не умеет, и когда звуки вылетают из ее глотки — они остаются подвешенными в воздухе, в самом деле, как балка, вот! (Она очень курноса.)

Я вернулся поздно, и лег, и видел тебя во сне — правда, это так; мы с тобой изображали «живую картину». Гм? Какая самонадеянность с моей стороны?

Я напишу тебе послезавтра, а пока целую вас всех: 1) папу, 2) тебя, 3) Марианну, 4) Поля, 5) М-ль Арноль, 6) М-ль Валентину; затем я приветствую 7) Жана, 8) Розину, 9) Ами, 10) Кору, 11) Алоиса[9].



Но прежде чем кончить письмо, я беру тебя за руку и нежно целую.
Weil ich dich lieb unsäglich
Du, liebes Menschenkind.*

Твой старый И. Т.

---

[1] Полина Виардо уехала в Веймар готовить постановку оперы «Последний колдун», премьера которой состоялась 8 апреля 1869 года.

[2] Шик Карл (1826—1875) — художник-жанрист и исторический живописец.

[3] Юбер Леонар (1819—1890) — скрипач, профессор Брюссельской консерватории. Его жена Антония — певица, была родственницей П. Виардо. Маргарита — их дочь.

[4] Сент-Бёв Шарль Огюстен (род. в 1804) — знаменитый французский критик, умер 13 октября 1869 года.

[5] Литтре Эмиль (1801—1881) — французский филолог и философ, создатель знаменитого «Словаря французского языка».

[6] Краус Мария — певица Итальянского театра.

[7] Малая торжественная месса (1864).

[8] Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — декабрист, живший во Франции с 1864 г., сосед семьи Виардо по Буживалю.

[9] В этом перечне фигурируют гувернантки (м-ль Арноль и Валентина), двое слуг (Жан и Розина), а также три охотничьих собаки — Ами, Кора и Алоис.

18

[19(31) декабря 1869. Берлин.]

Диди.

Mein kleiner Abgott, первым делом целую твои красивые руки. Хочу рассказать тебе о моем визите к Менцелю. Сам оч меньше, а лоб у него больше, чем когда-либо. Он сказал мне, что у него в Веймаре есть превосходнейший учитель месье Пауэлс[1], лучший, кого он знает: это, по-видимому, что-то очень подходящее для тебя. Потом он показывал мне этюды, акварели. Я заявляю, что это чудо из чудес. Там есть голубой попугай ара в тропических зарослях, ослепительный, как солнце, буйвол, пробивающий себе дорогу в тростнике, львы, тигр (неслыханный!), развалины с аистами в ночном небе, китаянки под ярким солнцем, кормящие серебристых фазанов, кафе на воздухе, заполненное гуляющими, и среди них толстяк в лиловом, такой правдивый, что чувствуешь, как он дышит, коляска, запряженная парой лошадей и медленно двигающаяся по берегу моря, по песчаным дюнам. Одна из лошадей только что попала копытом в ямку с водой и взметнула сноп брызг — нужно видеть все это... Это тоже уд-

---

* Потому что люблю тебя невыразимо, тебя, милое дитя *(нем.)*.

ительно, хотя и в своем роде — и твой отец был бы в восторге! Я, конечно, много говорил с Менцелем о тебе — он очень заинтересовался тобой и хочет возобновить с тобой знакомство. Я сказал ему, что ты с мамой, очень возможно, сделаешь einen Abstecher * сюда — у него есть твоя карточка в альбоме, но нужно сняться снова с открытым лбом.

А теперь я должен сказать тебе, что самое большое мое желание — вернуться в Баден, и я очень счастлив при мысли, что буду там послезавтра. Поцелуй Марианну от меня; что касается тебя, то я помню, что уже сделал это в начале моего письма: я снова беру те же красивые руки и снова их целую. Будь такой же славной, не болей и не забывай твоего старого верного

И. Т.

P.S. Эккерты и Астеры[2] передают вам тысячу приветов, они вас обеих очень любят.

Письмо датировано предположительно. На нем, вопреки обыкновению, нет даты Тургенева. Вероятно, письмо к Клоди было приложено к другому, неизвестному нам письму к Полине Виардо. Художник Менцель, которого Тургенев знал с 1865 года (см. письмо № 10), рекомендовал для Клоди профессора живописи из Веймара.

[1] Пауэлс Фердинанд (1830—1904) — исторический живописец, бывший с 1862 по 1872 год профессором Школы изящных искусств в Веймаре.

[2] Карл Эккерт (1820—1879) был дирижером в Вене, Штутгарте и Берлине, м-ль Астер — певица Берлинской оперы. Их семьи были близко знакомы с семьей Виардо.

19

Карлсбад,
König von England.

Среда, 16 июля (18)73.

Вот, meine liebsten schönsten Mädchen ** Клоди и Марианна, слабое отражение, малый фрагмент огромного хвоста из 2, 3 и 4 сотен людей, который выстраивается каждое утро между 6 и 7 часами в окрестностях Schlossborn, Mühlbrunn, Marktbrunn и Sprudel *** и в котором среди других должны вообразить себе вашего старого друга! Я пил сегодня с утра 25-й раз — я буду пить еще шесть раз, то есть еще 6 дней,— и больше ни-ни — с этим будет покончено. Я буду думать только о покупке всевозможных безделушек, чтобы сложить их zu euren niedlichen Füssen **** и ppppp! этот поезд должен изображать вагон железной дороги, который повезет меня в милый сердцу Куриваль.

Твое большое письмо доставило мне огромное удовольствие, mein liebes Mändl — und ich küsse dir die beiden Händ'l zu Dank ***** — я должен был бы сказать Danker'l, если выражаться по-австрийски. Я вижу, что вы сильно развлекаетесь без меня — и все же ты так добра, прибавляя, dass die Zeit wird dir lang nach hier ******. И по мне, стало быть! Когда я буду с вами, мы будем веселиться, как безумные. Карлсбад вернул мне мои ноги — хотел сказать 20 — ну, положим, 30 — или даже 40 лет. Мы совершим прогулку в Сен-Жермен и т. д. и т. д. ...Ты увидишь! Вот что, на-

---

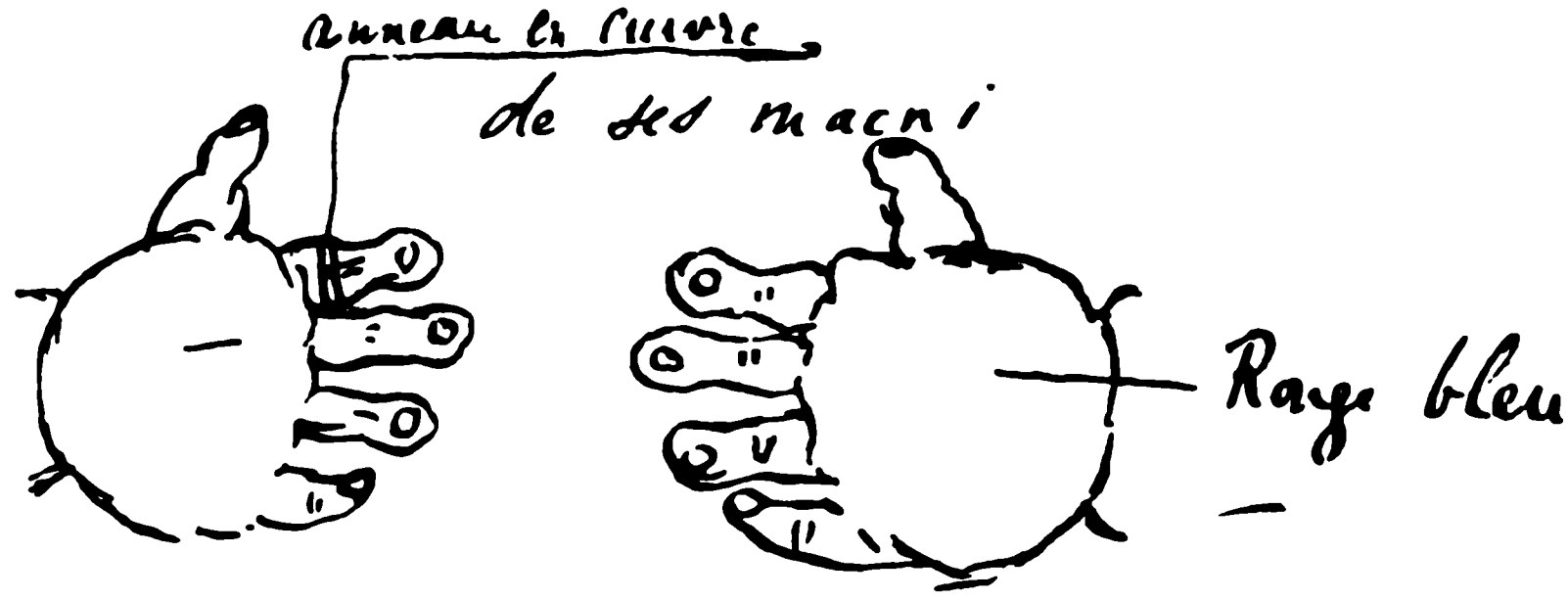
* Маленький заезд, крюк *(нем.)*.
** Мои любимейшие, прекраснейшие девочки *(нем.)*.
*** Источника замка, источника мельницы, источника рыночной площади, гейзера *(нем.)*.
**** К вашим прелестным ножкам *(нем.)*.
***** Моя любимая Марианна — и я с благодарностью целую обе твои руки *(нем.)*.
****** Что ты соскучилась по нас *(нем.)*.

до будет снова побывать в Сен-Клу — и если даже вы не будете больше прыгать (sic!) как маленькие лягушки с поваленного дерева, чтобы упасть в мои объятия,— все равно это будет весело. Познакомились ли вы с Тургеневыми[1]? Я задаю тебе вопросы, как будто ты все еще можешь ответить мне... Ну да, ты можешь ответить — только надо писать мне в Баден, Шиллерштрассе 7, у м-м Анштетт. Потому что:

в следующую среду . . — я уезжаю (23)
Четверг . . . . . — приезжаю в Баден!! (24)
Пятница . . . . . — я уезжаю с собакой!!! (25)
Суббота . . . . . — я приезжаю в Париж (26)... и обедаю в Буживале!

Закажи мне хороший суп — потому что его нет в Германии; хорошее вареное мясо — потому что его нет в Германии, и хорошего жареного цыпленка — потому что его нет в Германии! Классический обед — вот!

Я купил последние шедевры В. Буша[2] — и обещаю вам, что вы будете смеяться. Кстати, вот правдивый портрет моей Stubenmädchen*:



Уверяю тебя, что, если бы у тебя были такие руки (обрати внимание на изгиб маленького пальца), я не целовал бы их так часто.

А вместе с тем она всегда улыбается — и пахнет салом.

Когда я вернусь, нужно, чтобы ты, Марианна, спела мне большую арию из «Семирамиды»!!!

А ты, Клоди,— что, если бы ты нарисовала мой портрет, поскольку, оказывается, портрет папы так тебе удается??

О, дети мои, дети мои, как я буду счастлив вас увидеть и не видеть больше этот скучный Карлсбад!

Тысяча приветов всем, папе, маме, м-ль Арноль, м-ль Нини, Полю, Минмин.

А что касается вас, meine liebsten Liebsten ich **hinterlasse** eure zwanzig Finger — und küsse sie hundertmal hintereinander **.

До свидания, до скорой встречи, дорогие Диди и Марианна!

И. Тург.

Письмо адресовано Клоди и Марианне Виардо.
[1] Тургеневы — семья Николая Тургенева.
[2] Буш Вильгельм (1832—1908) — немецкий художник-карикатурист.

---

* Горничной *(нем.)*.
** Мои нежно любимые, я сплетаю ваши 20 пальцев и целую их сто раз один и другим *(нем.)*.

20

Спасское
(Орловской губернии — под Мценском).
Понедельник, 22(10) июня 1874.

Моя милая, хорошая малышка Диди, мое сердце, пишу тебе в Буживаль, потому что думаю, что ты там, и особенно потому, что мне так хочется, чтобы ты была там,— это доказывало бы, что твое здоровье позволило перевезти тебя из Парижа. Не надо повторять тебе, какое беспокойство ты мне причинила. К счастью, ответ доброго Жоржа на мою телеграмму меня успокоил. Он был от 14-го, а письма твоей мамы, кончая 13-м, вполне убедили меня в том, что это была ложная тревога. А теперь лечись как следует, будь умницей, потому что ты должна быть как жаворонок к возвращению твоего старого друга, который надеется прижать тебя к сердцу около 12 августа, через 7 недель... это очень долго! Твой толстяк Жорж[1] пишет мне слишком много хорошего, желая отблагодарить меня за все, что я имел счастье сделать для тебя. Это я должен благодарить вас обоих: 1) тебя, за то, что ты явилась на белый свет и стала тем, кто ты есть; 2) его, за то, что он стóит твоей любви, и за то, что любит тебя и приносит тебе счастье; 3) себя, за то, что ты меня любишь; 4) его, за то, что он тоже любит меня, потому что я уверен в этом — я хочу в это верить; не будем больше говорить о признательности — и обнимемся все, сколько нас есть!

Ты знаешь, что вот уже 5 дней как я в Спасском — и останусь здесь еще столько же. Я много гуляю, работаю — и время идет. Только что задал угощенье (орехи, пирожки и 10 копеек каждому) всей моей школе, среди них есть головы, которые ты захотела бы написать. Семилетний малыш, красивый как ангел, с вьющимися каштановыми волосами и черными глазами, большими, ясными, наивными и немного глупыми: он очарователен, но слабоват. Самый прелестный в классе — мальчонка лет (сирота и внебрачный сын), он некрасив, но с примечательным лицом — огромная голова и лоб весь в морщинах — но не как у старика, а как у молодой собаки (ты такое замечала?!)— это придает ему удивительное выражение раздумья — к тому же густые брови, немного напоминающие императрицу Евгению,— вот такие , а под ними серые глаза — внимательные-внимательные! Ему только что справили красивую красную рубаху и сапоги... первые в его жизни. Его зовут Никита Герасичев. Кто знает? Быть может, это будет громкое имя. Я буду заботиться о нем.

Ты найдешь в этом письме клочок легчайшего пуха с маленькими черными точками внутри, эти точки — семена ивы, а пух дан им природой, чтобы они могли летать по воздуху как можно дальше и засевать — если ничто не помешает этому — весь свет. Ты не можешь себе представить, сколько такого пуха рассылает одна-единственная ива,— скажу без преувеличений — колеи дорог, борозды полей покрыты им будто снегом. Я возвращаюсь с прогулки, осыпанный этими маленькими хлопьями, как будто я гулял зимой во время метели. Эта неожиданная белизна придает странный вид пейзажу — художник не осмелился бы его передать, боясь остаться непонятым.

Я захватил с собой ружье, чтобы попытаться подстрелить одну из больших, с черными крыльями, серых ворон, которые уносят цыплят и молоденьких уток. Стрелял два раза по роскошной вороне — и промахнулся! Увидев это, папа сказал бы обо мне: «Т[ургенев] опускается!» — как он сказал уже это о Блюхере.

О, моя дорогая Диди, заботься о себе лучше!.. Я уже так люблю то маленькое существо, которое ты носишь. Я хотел бы, чтобы это была девочка и чтобы она была похожа на тебя.

Я просил фотографию Жоржа. Пошли ее в Карлсбад, до востребования. Если со мной ничего не случится, я буду там дней через двенадцать. Обе ваши фотографии, сделанные Валери, плохи, я жалею, что взял их вместо тех, что были в Карлсруэ. Вы там обе черные, как цыганки... Нужно будет сделать другие у Карья.

Мое обожаемое дитя, целую тебя нежно, а ты поцелуй за меня всех, начиная с Жоржа.

Dein alter treuer *
И. Т.

---

[1] Жорж Шамеро — муж Клоди Виардо. Их свадьба состоялась в марте 1874 года, а 20 декабря 1874 года у них родилась дочь Жанна.

---

* Твой старый верный *(нем.)*.

21

С.-Петербург.

Среда, 13(1) июня [18]77.

Моя дорогая, любимая Диди, посылаю в этом конверте тебе и Марианне — вам обеим — мою новую фотографию, которая, говорят, довольно удачна. Глядя на нее, подумай: вот господин в белом галстуке, который будет счастлив лишь тогда, когда тебя увидит (18 июля!! может быть, раньше!). Я оставил тебя больной в Париже, и меня это очень беспокоило; одно из писем твоей мамы (первое) затерялось в пути — Бог знает какие мрачные картины рисовались моему пессимистическому воображению... Я уже намеревался послать телеграмму Жоржу, как, помнишь, три года назад из Спасского... к счастью, письмо № 2 пришло как раз вовремя, чтобы успокоить меня. Между тем, я вижу из слов Марианны, что ты чувствуешь себя усталой и вялой — скорей, скорее в Буживаль, чтобы прекрасный воздух «Френ» оживил тебя! Я говорю это, а сам вместе с тем уверен, что ты уже там и что к тебе вернулись и твой прекрасный вид и твои силы. Что касается Жанны, говорят, она великолепна!! Поцелуй ее очень крепко за меня, так же как Жоржа. Когда я вернусь к семейному очагу — надо, чтобы ты была красива, как сердце, и вскружила мне голову и чтобы Жорж добродушно поревновал.

С тех пор как я здесь, я видел много причудливых лиц и хотел бы тебе их нарисовать... Увы! В этом я тоже падаю, и мое искусство мгновенного наброска покинуло меня!!! И все же какие бороды! Какие носы! Какие глаза, глубоко ушедшие в щеки. Какие мощные лбы — какая осанка! Попробую — будь что будет! Это должно изображать уснувшего извозчика (кучера фиакра):

Заметь, что это происходит среди бела дня; то, что у него на голове,— это зимняя шапка, из нее торчит вата, которой она набита. Справа от него спит голубь.

Мама тебе, вероятно (отнесла), показала письмо, где я пишу о приезде Харламова... Мы ходили с ним в Академию, где видели большую картину некоего Семирадского[1], которая наделала дьявольского шуму (она изображает Нерона, сжигающего христиан),— я нашел ее фальшивой, крикливой, заурядной, невыносимой... Видел прекрасную копию «Урока анатомии» Рембрандта, сделанную Харламовым, и картину, за которую он получил золотую медаль и которая очень плоха. Он сам первый в этом убедился. Но у него всегда есть два-три заказа на портреты.

Ну, моя дорогая маленькая крестница, протяни мне обе твои руки — я их поцелую; потом — обе щеки, потом глаза. И будь здорова, слышишь!!! И пиши нам, и люби своего старого крестного, который тебя обожает.

Ив. Тург.

[1] Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — исторический живописец. Его картина «Факелы Нерона» (1877) произвела сенсацию.

22

Буживаль,
Ле Френ.

Четверг, 30 августа [18]77.

Моя дорогая, нежно любимая Диди, спасибо за твое славное письмецо, из которого я узнал, что ты чувствуешь себя хорошо, так же как и остальные дорогие мне обитатели трех комнатушек, взгромоздившихся на самый верх отеля «Бель пляж»!! Оставайтесь там, пока не насытитесь воздухом, а мы, прочие смиренные жители «Френ», постараемся утешиться в вашем отсутствии тем, что вообразим себе предстоящую нам радость вновь увидеть вас со свежими и пополневшими щеками и с глазами блестящими, как карбункулы (я никогда не знал, что такое карбункулы, но это, вероятно, что-нибудь очень блестящее).

Что касается меня, увы! Трижды увы! Я решительно становлюсь старой посудиной с подагрой. Ты уже знаешь, что я был опять охвачен этим неумолимым врагом, а вчера, не будучи в силах наступить на ногу и желая все-таки услышать новую увертюру, сочиненную твоей сестрой на испанские мотивы, я был вынужден путешествовать из большого дома следующим образом:

Путешествие, напоминающее паломничество в Святую землю — два шага вперед, один назад,— очень утомило меня, что было, правда, возмещено удовольствием слышать эту новую увертюру, которая очень весела, блестяща и показалась мне к тому же очень умело сделанной. Я убедился с огорчением, смешанным с изумлением, что моя подагра тоже путешествовала; она подкралась от пятки к колену, месту куда более удобному для нее, откуда ее будет труднее прогнать. Все это мешает мне видеть жизнь в радужных красках. Все, что я прошу у судьбы,— оказаться на двух ногах хотя бы к дню вашего возвращения во «Френ», которое произойдет, я предполагаю, в воскресенье 9 сентября.

Папа и мама чувствуют себя великолепно, м-ль Валентина, я полагаю, тоже, но она прячется, и я едва ее вижу. Она, может быть, боится intrude * меня, если войдет в мою комнату, или желает уединиться, чтобы мечтать в свое удовольствие об этом красивом молодом человеке из Люка, который преследовал ее своим почтительным ухаживанием!

Не могу поверить, чтобы моя первоапрельская шутка[3] могла вас обмануть хотя бы на четверть секунды!.. Вот ведь: случается только непредвиденное — свидетельством тому война с Турцией.

Ну что же — нужно проститься с тобой. Я желаю тебе наловить горы креветок... Что, если тебе пожертвовать золотую креветку в Деливранд[4]? Позволь мне поцеловать тебя со всей нежностью крестного и поцелуй за меня Жанетту, Жоржа и Марианну. Я поручил и ей то же самое, так что вы нацелуетесь в честь и в память

старого подагрика

И. Т.

---

[1] Отель в Кабуре на пляже в Нормандии, где Клоди отдыхала со своей семьей.
[2] Луиза Виардо Эритт была автором комической оперы «Линдоро».
[3] Имеется в виду шутливое письмо, написанное Тургеневым 1 апреля 1877 года.
[4] Церковь Избавления недалеко от Кабура.

23

Буживаль,
Ле Френ.

Суббота вечером, 8 сентября [18]77.

Моя нежно любимая и обожаемая Диди, посылаю тебе при сем маленькую шутку, очень глупую, предназначенную рассмешить колонию Кабура, но я хочу написать и тебе — возможно, в последний раз перед вашим возвращением,— так как погода решительно портится и я не думаю, чтобы вы надолго остались на морском побережье. Нет нужды говорить тебе о том, как будут все счастливы снова видеть вас здесь — и сожалею, что небо перестало улыбаться вам (стиль ампир), поскольку это маленькое путешествие сильно укрепило здоровье всех вас. Ты не пишешь о своих глазах; но так как они почти вернулись к своему нормальному состоянию уже в Люзе[1] — я надеюсь, что теперь они столь же здоровы, сколь и прекрасны (что уже не мало), и что по возвращении ты сможешь закончить так удачно начатый портрет Марианны. О! обещаю тебе, что все будут счастливы снова тебя увидеть,— и мне кажется, что даже стены моей мастерской излучают нетерпение и радость предчувствия!

Сегодня утром я ездил в Париж с мыслью присутствовать, если это возможно, на похоронах Тьера[2] (больше уже не надо говорить «месье Тьера») — но этот ужасный беспрерывный дождь внушил мне опасения за мою подагру; я продвинулся со своим кэбом, с которого струились потоки воды, до окрестностей дома на площади Сен-Жорж; но тут я был остановлен целым полком солдат: туда разрешали входить только лицам с пропусками; таким образом, я вернулся во «Френ». Судя по последним сообщениям в вечерних газетах, порядок ни на мгновение не был нарушен в этой огромной сосредоточенной и почтительной толпе народа. Гнусное «Фигаро» и другие газеты того рода получат возмездие за их низкие провокации; а вдова Тьера, можно смело

---

* Побеспокоить *(англ.)*.

сказать, достойна своего мужа и Франции, она противилась тому, чтобы правительство обратило эту широкую манифестацию в свою пользу; для Мак-Магона, его правительства и его министров отсутствие их в этом кортеже, где была вся Франция, станет в будущем несмываемым позором: впрочем, они недостойны были там быть. Представляешь себе месье Брольи[3] с его лицом мерзкого хитрого дитяти, идущего за гробом Тьера? Я бросаюсь в политику; но когда же и делать это, если не сегодня?

Мы ведем здесь удивительно спокойную жизнь; день проходит мало-помалу, и мы очень рано ложимся спать. Я чувствую себя хорошо, но мне пришлось бросить знаменитое лекарство д-ра Зее, потому что у меня был от него — не шум в голове, о чем он меня предупреждал — но отвратительное и странное ощущение недомогания и тяжкие судороги в желудке, как когда я принимал капли Лавилля. Я решительно нахожу, что самое лучшее — это ничего не делать и положиться на волю божью! Папа, мама и даже Луиза тоже чувствуют себя очень хорошо. М-ль Валентину с утра до вечера одолевает сон. Мы, наконец, закончили чтение второго «Фауста»! Наряду с местами неприятными, скучными, то непонятными, то детски наивными, там есть первоклассные красоты. Весь апофеоз конца — чудо! Если ты захочешь — мы прочтем вместе эти прекрасные страницы (классическую «Вальпургиеву ночь» и другие). Поэтическое чувство, которое так сильно и так истинно в тебе (я не забыл твои немецкие стихи и сохранил некоторые из них), будет, я не сомневаюсь в этом, возбуждено и потрясено! И какое удовольствие для меня будет видеть, как расцветет в эту минуту твое милое лицо! Какая жалость, что Жорж не знает немецкого! Хоть он и настоящий француз, я уверен, что его бы тоже подожгло это пламя! Нужно, чтобы он снова взялся за немецкий,— кажется, он уже начинал и выговаривает очень недурно те немногие слова, какие знает.

Полночь; и постель зовет меня, хоть мне и не слишком хочется спать. Но вот и конец страницы... остается достаточно места, чтобы ты протянула мне один из твоих красивых пальцев, который я поцелую с величайшей нежностью. Поцелуй всех за меня и — sei gut Deinem unwandelbar treuem *.

И. Т.

Всскресенье утром. Мама только что передала мне вложенное в ее конверт твое милое письмо ко мне. Оно такое славное, что я отвечу на него сегодня же; а пока воспользуюсь возможностью поцеловать тебя еще раз! Твой И. Т.

P. S. Попроси Жоржа прочесть тебе описание похорон Тьера в «XIX веке» месье Эмм. Арена[4]. Это исключительно хорошо сделано — пластично. По-видимому, все было грандиозно, трогательно, восхитительно до конца. Да здравствует народ Парижа! И Республика!

---

[1] Люз — местечко в Пиренеях.
[2] Тьер умер внезапно 3 сентября 1877 года.
[3] Герцог Брольи (см. письмо 13-е) — глава кабинета консерваторов, который был смещен республиканской коалицией в сентябре 1877 года.
[4] Эмманюэль Арен (род. в 1856) — политический деятель, в 1877 году постоянно сотрудничал в либеральной газете «XIX век».

24

Орел
(произносите Армоп).
Главный город губернии того же названия.
Город очень грязный, расположенный на Оке.
Среда, 28(16) августа 1878. (Постой, это же день рождения Гёте! Если бы он жил, ему было бы сегодня 129 лет!)
Сейчас 5 часов пополудни.

Дорогая, нежно любимая и обожаемая Диди, мое сердце, вот каково в данное время мое социальное положение. Я нахожусь в большой комнате постоялого двора, рядом с биллиардом (P. S. биллиард в другой комнате, но я отлично слышу жирные удары шаров, катящихся по сальному сукну (м-ль Валентина, заткните уши!). Я приехал в Орел (в этот город, в котором я появился на свет тому вот уже скоро 60 лет и который не внушает мне никакого чувства симпатии) почти три часа назад, и я уезжаю завтра в $5^1/_2$ ч. утра в Ма-ло-ар-хан-гель-ский уезд, где находится мое имение, называемое Тап-ки [1] (не Тар... cul **), которое я хотел бы выгодно продать одной соседке по имени м-м Му-хор-то-ва, так как мой брат очень осторожен и, как пугливая рыба, не очень-то клюет на удочку Спасского. Я сильно скучаю, и все же я согласен был бы скучать еще больше, если бы можно было избавиться от очень сильного по-но-са, который заставляет меня думать о холере, делает трусливым и т. д. и т. д. Если я подхожу, чтобы отвлечься, к окну, я вижу раскинувшийся передо мной большой базар...

---

* Люби того, кто тебе неизменно верен *(нем.)*.
** Пинок. . под зад *(франц., игра слов)*.

и все, на что ни поглядишь, так грязно, так пыльно, так оборванно, так dejado*, так бедно, так пошло, так скучно, так надоедливо, так жалко, так шатко, так смрадно, и запах, который, наверное, исходит от всего этого и о котором мой нос догадывается через двойные рамы окон, так грязен тоже, что меня, конечно, нужно было бы очень пожалеть, если бы, к счастью, у меня не было другого, очень милого и прелестного развлечения: это очаровательное письмо, которое ты мне послала из Баньер-де-Люшон и которое я получил сегодня на почте, проезжая Мценск. Итак, мои маленькие друзья, вы себе ни в чем не отказываете, вы совершаете прогулки верхом, которые длятся по четыре дня... Надеюсь, ты не подхватила насморка на всех этих высотах! Воображаю, что давным-давно — в 1845,— когда еще, как видишь, и речи о тебе не было, я проделал примерно тот же путь, что и вы... Но так как в те времена я был так беден, что дал бы сто очков вперед Иову, Иисусу и даже Хоакинито [2], я проделал весь этот путь пешком... и даже взбирался на вершину заброшенного пика — где было меньше места, чем в отвратительной комнате, в которой я сейчас живу... И когда, в порыве гордости, я сказал себе, что ступил ногой на надменную вершину этой горы — я заметил простую, обыкновенную белую бабочку, которая, как ни в чем не бывало, летала еще выше меня!.. Ты легко вообразишь себе все нравоучительные раздумья, какие могут явиться по этому поводу.

Ах, ах! Мадам одерживает победы даже над жителями Небесной империи... Бедный Мандарин! Я завидую ему, потому что он видел тебя; и я жалею его, потому что все его понятия о женской красоте опрокинуты раз и навсегда. Маленькие раскосые глазки, вздернутые ноздри, выдавшиеся скулы — все это к черту!.. Потому что, признаться, ты не похожа на китаянку... к счастью!

Наконец, ты ведь могла сделать с него набросок... все-таки польза. Здесь твои карандаши оставались бы невынутыми из записной книжки. А все-таки! — я проходил мимо цыганского табора и видел двух прекрасных молодцов, брюнетов, смуглых, полуголых, глаза как горящие угли, зубы как свежий миндаль, груда ужасных и великолепных лохмотьев — шляпы, превратившиеся в комки грязи,— а вид они имеют лихой! — и потом то, чего я никогда не видал: пряди черных волос, перевитые стеклярусом, длинные, как женские косы, то вздыбленные ветром и бьющие по лицу, то падающие на пояс. Парни имели вид братьев — каждому из них могло быть от 20 до 22 лет,— ты сделала бы с них великолепные эскизы. Их рубахи с длинными и дырявыми рукавами от грязи постепенно приобрели серо-коричнево-зеленоватые тона — вполне удачные... К тому же надо прибавить, что в пятидесяти шагах от них, в овраге, штук двадцать крупных воронов ожесточенно рвали падаль... Ветер, дующий оттуда, приносил запах!! Чему их следовало приписать? Падали? Живым цыганам? Загадка! Загадка!

Итак, ты вернулась в свое гнездо... Будут ли там рады тебя увидеть? Надеюсь, ты найдешь маму вполне здоровой, она нас беспокоила несколько дней. Марианна тоже вернется к семейному очагу... Один я who will lag behind **. Но я рассчитываю, что это ненадолго; половина назначенного времени прошла... Последний срок 15 сентября, и я сделаю все возможное, чтобы сократить его на несколько дней. Ты тоже будешь рада отдохнуть от своих странствий и вновь увидеть Жанну. Ты очень нежно поцелуешь ее и скажешь ей, что это от ее крестного, который привезет ей русского варенья... идеального! Ты увидишь, она немедленно усвоит это слово.

N. B. Прошло три четверти часа, с тех пор как я начал это письмо... и мне кажется, что мой желудок начал успокаиваться.

Поцеловав Жанну — ты поцелуешь и доброго Жоржа — а потом ты позволишь крепко поцеловать тебя твоему старому крестному, который обожает тебя и будет счастлив лишь тогда, когда увидит твою дорогую мордочку. До скорой встречи.

Твой И. Т.

---

[1] Тап-ки — фонетическое воспроизведение названия дер. Топки.

[2] Хоакинито Руис-Гарсия (около 1820—1913) — сводный брат Полины Виардо. В 70-е годы жил гостем в Буживале.

Спасское.

Суббота 26 августа (7 сентября) [18]78

Милая Диди, сердце мое, mein Theuerstes Kind *** (как крестный, я могу тебя так называть). Я получил твое большое очаровательное письмо и нежно целую прелестную руку, написавшую его. Вы развлекаетесь по-царски, ты и твой Жорж. Все было удачно — и мама пишет мне, что Вы оба приехали в блестящем виде, сияющие здоровьем. Провидение было у вас в долгу; ему не так часто приходится покровительствовать такой милой паре — но оно не всегда исполняет свой долг... Словом, я им доволен. Итак, ты вернулась в свое гнездо, и я тоже не замедлю явить там свое старое лицо,

---

* Заброшенно *(исп.)*.

** Буду тащиться в хвосте *(англ.)*.

*** Мое дорогое дитя *(нем.)*.

которое расцветет, увидев тебя. Самое время опять взяться тебе за кисти и карандаши, а?

Кстати о кистях, если бы ты была здесь, я бы не стал, раз уж ты не увлекаешься пейзажем, показывать тебе купы старых берез в моем саду, подобных которым нет нигде на свете,— а какие липы! — но ты нашла бы здесь несколько лиц, достойных того, чтобы их зарисовать. Я никогда не видел более прекрасного лица апостола или патриарха, чем лицо старого крестьянина из деревни **Тапки** (читай как следует), который приходил ко мне в Спасское. Безмятежность была на его лбу, значительность в бороде и мужество — да, мужество — в носе и щеках, смотреть на него было столь же восхитительно, сколь и назидательно. Этот человек мало думал в своей жизни, но у него никогда не было ни одной дурной мысли. Он никогда не удалялся от древних традиций, жизнь его прошла как в храме; и, совсем простой крестьянин, он ходит как бы окруженный всем тем уважением, какое он всегда внушал! Это было действительно прекрасно. В виде контраста я показал бы тебе бедную женщину, которую только что поместили в нашу больницу. Вообрази себе несчастное создание в 80 сантиметров высотой — без рук и без ног; туловище — довольно толстое, над которым голова, а внизу ступни, приделанные, вероятно, прямо к... ну, да — к спине или к животу! Лицо толстое, красное, без морщин — и с почти веселым выражением; глаза косые, серые и большие, рот огромный, голос очень нежный — и все, что говорит этот ублюдок, остроумно и носит печать хорошего настроения. Представь себе — эта женщина шьет, **вышивает** с помощью рта, прижимая свои широкие губы к чему-то вроде нароста, который находится у нее в конце плеча и которым она может двигать. Я привезу в Бужи-валь полотенце, очень мило вышитое ею! Впрочем, вот нечто вроде наброска, изображающего ее:

Вот уж она-то имеет право не верить в Бога и все-таки, наверное, должна верить в него, верить в небо и в райское блаженство и во все то, что должно вознаградить ее за скорбную жизнь, какую она здесь вела. Со всем тем она не выглядит очень несчастной — наоборот.

Сколько раз мы с тобою, ты и я, собирались, еще когда я был в Париже, пойти вместе смотреть картины — и почти никогда это не получалось, не знаю почему! Я описал в одном из писем к маме, какое впечатление произвела на меня на этот раз Дрезденская галерея и особенно «Мадонна» Рафаэля. Как я был бы счастлив смотреть все это вместе с тобой! Ты была однажды в этой галерее... но тогда ты была еще слишком молода (прекрасный недостаток, замечу в скобках), и я уверен, что теперь ты поняла бы все по-иному. Утверждают, что я реалист в своих сочинениях, и я тоже так думаю и люблю реальное в искусстве, реальность поэтическую — то есть настолько правдивую, что она становится прекрасной, но признаюсь, идеализм этой... «Мадонны» меня **ошеломляет** — буквально так,— и я уверен, что это последнее слово **Искусства.** Только чтобы создавать такие вещи, мало быть гениальным — надо быть счастливым; и Рафаэль был именно таким счастливым гением.

О! тут и эстетика, и философия — хватит. Прежде чем уехать из Спасского, я напишу Жанне басню, которую ты ей прочтешь. А пока поцелуй ее покрепче от меня и спроси ее, вспоминает ли она своего крестного? Я вас всех крепко целую, а тебя особенно — со всей нежностью, какую возможно себе представить.

Верный старый
И. Тург.

26

Москва.
Удельная контора.

Воскресенье 16 (4) марта 18 [79].

Моя дорогая, нежно любимая Диди, ты мне доставила большое удовольствие, написав славное письмо, которое я только что получил. Ты не пишешь мне ничего о своем здоровье, и это заставляет меня думать, что твое interesting situation * не приносит тебе никаких неудобств, подобных тем, какие были у тебя в прошлый раз [1]. Я счастлив также узнать, что ты меня читала или перечитывала и что на этот раз ты меня больше оценила. В этом году мне явно везет как литератору (злые языки сказали бы: это потому, что я ничего не пишу и заявил, что больше не хочу ничего писать...). Здесь меня пре-

* Интересное положение *(англ.)*.

возносят до небес — и когда я вернусь, я заставлю вас всех не раз улыбнуться, рассказывая о том, что со мною происходит,— и визиты, и анонимные письма, и адреса, и т. д. и т. д. ...Сегодня вечером студенты Университета сделали мне невероятную овацию [2], с криками «ура», с бросанием шапок вверх, с ошеломляющим спичем, с лавровым венком, таким большим, что сквозь него может прыгать цирковая наездница, с двадцатикратными вызовами, с поцелуями и рукопожатиями. Это очень приятно — но это трудно перенести. Как если бы вас расстреливали конфетами. Впрочем, это случается со мной в первый раз — и наверное, будет в последний: надо принять, если Господь вам это посылает. Но ведь ты тоже — плаваешь в почестях: сделаться женой помощника мэра! Черт возьми! Но я тебе предсказываю более высокую судьбу: через пять лет твой муж станет депутатом, кавалером ордена Почетного легиона — и кто знает, что будет потом?

Я всегда возвращаюсь к своему припеву: ах, если бы Марианна могла найти такого мужа, какого послала тебе твоя счастливая звезда! Терпение, но не будем терпеть слишком долго.

С.-Петербург,
«Европейская гостиница», № 194.

Пятница, 21 (9) марта.

Mein vielgeliebster Didel *, письмо мое осталось незаконченным в Москве — с тех пор я покинул эту, такую радушную и любезную со мной столицу и со вчерашнего утра в Петербурге. Начиная с воскресенья я опять был предметом всевозможных чествований: особенно на одном большом обеде — чудовищном, на сто кувертов [3], где я был, как Калхас, чуть не задушен грудой цветов красноречия, где все закончилось пением старой студенческой песни «Gaudeamus igitur!» и т. д. и т. д. ... Я расскажу тебе это подробно — а сейчас я ошеломлен — и так много дела (я читаю еще сегодня вечером, потом у меня репетиция чтения в 9 ч. — с очень красивой актрисой по имени Мария Савина [4] — я привезу тебе ее фотографию, и т. д. и т. д. ...). К тому же мой проклятый насморк, который не проходит вот уже полтора месяца, совсем не дает мне спать — и я провожу белые ночи с сердцебиением, замедленным и неприятно тягучим, как резина. Впрочем, все это прекратится, как только я вернусь в мой милый Париж — а я очень надеюсь, что это будет через неделю! На другой день после приезда я приглашаю себя присутствовать на вашем завтраке, и тогда — да здравствует разговор!!

А сейчас я удовольствуюсь тем, что обниму тебя со всей силой моей привязанности, рискуя задушить,— я целую также Жанетту и Жоржа.

Mein liebes Kind. Ich liebe Dich sehr!

Der alter ** И. Т.

---

[1] Клоди ждала ребенка. Родившаяся 3 октября 1879 года вторая ее дочь стала в замужестве г-жой Мопуаль, передавшей ныне в Национальную библиотеку в Париже оригиналы публикуемых писем Тургенева.

[2] Речь, произнесенная Тургеневым перед московскими студентами, напечатана в Полном собрании сочинений (т. XV, стр. 57).

[3] Обед на сто кувертов состоялся в Москве в ресторане «Эрмитаж» 6 (18) марта 1879 года.

[4] Известно лишь об одном публичном чтении Тургенева в Петербурге в этот его приезд. 16 (28) марта 1879 года в пользу Литературного фонда он прочел два рассказа из «Записок охотника» и, вместе с Савиной, сцену из «Провинциалки». Мария Савина (1854—1916) в 1879 году, когда с ней познакомился Тургенев, была актрисой Александринского театра.

27

(Сена-и-Уаза)
Буживаль,
Ле Френ.

Воскресенье 13 августа [18] 82.

Слава Богу, хорошее письмо, спасибо vielgeliebster Schatz Didel! ***. Все вы, как мне показалось, плаваете в благополучии, точно маленькие утята в очень прозрачной воде, на поверхности которой можно все же поймать хорошеньких мушек! Продолжайте в том же духе, продолжайте! Я хотел бы, чтобы письма из Этрета были такими же веселыми; но Марианна жалуется на боль в горле, на ревматические боли — она не выходит из дому. Я начинаю думать, что она напрасно отказалась от поездки в Котерэ. Быть может, она еще поедет, тем более что ее палец совершенно вылечился. Здесь все благополучно. Так как я пишу сегодня знаменитейшему доктору в ответ на письмо, которое он соблаговолил прислать мне,— я не сообщаю тебе новостей о себе... в общем, мне лучше (получены также обнадеживающие известия относительно м-м Шамеро [1]).

---

* Моя обожаемая Диди *(нем.)*.
** Мое милое дитя. Я очень люблю тебя! Старый *(нем.)*.
*** Мое любимое сокровище Диди! *(Нем.)*

Вчера все пятеро учеников Буживаля обедали у нас. Вечером их познакомили с «Кракамишем», с текстом и музыкой [2]. Это был неслыханный успех! Приятно было смотреть на все эти молодые лица, обращенные к маме с выражением восторга и умиления. М-м Василенко смеялась как помешанная над глупостями Перлимпинпина. Мне тоже это доставило очень большое удовольствие... Ты знаешь, как я люблю эту поэтическую и грациозную музыку — и потом эти воспоминания, все то прекрасное время (может быть, лучшее в моей жизни) проходило перед глазами. Я видел тебя королевой Эльфов, я слышал твой голос — до малейшей интонации,— и всех других, и Поля, который еще не стал нынешним Полем (P. S. Мы его совсем не видим) и т. д. и т. д. Надо обязательно постараться дать представление «Последнего колдуна» этой зимой.

Вот уже 4 дня Хоакинито [3] живет во «Френ». Крот делает меньше шума, чем он. По вечерам он регулярно играет в вист, одновременно дрожа перед папой, который огорчается и жалуется больше, чем когда-либо,— к счастью, пока он выиграл что-то около пятнадцати су! Это великолепно!

Не помню, писал ли я тебе, что в прошлый вторник у нас обедал Лассен [4]. Он всегда очень мил — но он играл нам отрывки из «Парсифаля», которые нагнали на меня настоящую Katzenjammer *. Никогда не научусь переваривать эту музыку. Нас посетили также Ожье [5] с женой. Он толст теперь и лыс, как биллиардный шар! Она показалась мне очень старой.

Кстати — а 120 франков для твоих поездок верхом? Ты их не взяла. Я прошу Жоржа дать мне их взаймы, т. е. отдать их тебе — а я верну ему их по возвращении. Ведь я не бросаю обещаний на ветер... вот что!

Кончая — я обнимаю вас всех, начиная с пламенной Марсель и кончая тобой; danke für den Schmatz und da hast Du einen, zehn, hundert, von den Zärtlichkeiten.

Dein alter** И. Т.

Тургенев был серьезно болен с начала года, а между тем ничто не выдает его состояния в этом письме к Клоди. Он писал о своей болезни в «Скорбных листах» от 12 и 13 августа 1882 года: «День порядочный — но вечер прескверный. Сильный лом. Спал хорошо до 5 часов утра, а там опять боли, хоть я опять принимал хинины» (A. Mazon. Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. Paris, 1930, p. 178).

[1] М-м Шамеро — свекровь Клоди.

[2] «Последний колдун» — опера-буфф Тургенева и Полины Виардо, колдун Кракамиш и Перлимпинпин — ее персонажи.

[3] Хоакинито — см. письмо 24-е.

[4] Лассен Эдуард (1830—1904) — хормейстер придворного театра в Веймаре. В 1869 году он оркестровал мелодии «Последнего колдуна», возможно, с участием Листа. «Парсифаль» создана в 1882 г.

[5] Ожье Эмиль (1820—1889) — французский драматург.

---

* Зеленую тоску *(нем.)*.

** Спасибо за поцелуй, и вот в ответ один, десять, сто, со всей моей нежностью. Твой старый *(нем.)*.

О. РОССИЯНОВ

—

«МИР ВЫСТРОИТСЯ ВНОВЬ»

(О сопротивлении фашизму в венгерской поэзии)

Венгрия — страна трудной судьбы. На протяжении долгих лет общественная жизнь там была скована жестоким гнетом в результате подавления венгерской пролетарской революции 1919 года, а затем прямого сближения правящей верхушки с державами пресловутой «оси» Берлин—Рим.

Глухое недовольство притеснениями, нищетой, наконец союзом с гитлеровцами, которые грабили страну и презирали ее обычаи, культуру, подспудно все время жило в народе, нет-нет и разгораясь, пламенем возмущения выбиваясь наружу. В конце 30-х — первой половине 40-х годов и в Венгрии известны очаги и поистине героические эпизоды борьбы с хортизмом, фашизмом, войной. Однако столь организованного и широкого, подлинно общенародного движения Сопротивления фашизму, как, скажем, во Франции или Югославии, Венгрия все же не знала.

Тем не менее антифашистская глава в истории венгерской литературы (уже в этом ее своеобразие) открывается, собственно, еще в конце 1919 г.— начале 20-х годов. Тогда, после поражения Советской Венгрии, в стране воцарился разнузданный белый террор. В сущности, это уже была — на венгерской почве — некая ранняя форма той террористической диктатуры самых реакционных и шовинистических буржуазно-помещичьих слоев, которую мы теперь называем фашистской. И тогда же, в дни расправ венгерской фашиствующей власти с народом и особенно пролетариатом, народилась коммунистическая венгерская поэзия, первым словом которой была присяга в верности поверженной, но не побежденной революции и проклятье ее палачам. Это, например, стихотворения Аладара Комьята (как выразительны сами их названия: «Упрямый символ веры», «Мы беспощадны — не ждем и от вас пощады», «Революция умерла — да здравствует революция!»); цикл «На земле контрреволюции» Антала Гидаша, стихи Андора Габора.

Вот лес... Лишь только ветер пробежит,
Об ужасах шепча,— весь этот лес
дрожит...

Правитель Хорти, здесь, в твоем саду,
И иаяву и будто бы в бреду
В отчаянную ночь бушует суховей
И сотни призраков танцуют меж ветвей!...

«Ты, козлоногий, дикий, злой урод,
Ты спишь? Дремота все-таки берет?
Тебя еще кровать не выбросила прочь?» —
Так спрашивают те, кто ослеплен тобой,
Взывают сотни рук, что вырваны тобой...

Деревья жаждут тяжести твоей.
Когда ты на суку запляшешь сам,
Тогда легко вздохнется и лесам...
Но сколько жизней взял себе ты в даиь?
О Оргованы!

(А. Габор. «Орговань»
Перевод Л. Мартынова)

Поэзия эта не знала еще понятия «фашизм» и не называла себя антифашистской. Но обличала она именно фашистское насилие с его невиданной еще жестокостью, рассчитанной на массовое истребление революционных борцов, на их устрашение и политическое подавление. И целью своей ставила поддержать гнев и волю, сплотить лучшие силы народа против торжествующей реакции.

У венгерской литературы конца 30-х — начала 40-х годов, отвергавшей войну и фашизм, были, таким образом, свои высокие революционные традиции. Но они не

[1] Орговань — лес близ гор. Кечкемета, место зверских расправ с революционерами осенью 1919 г.

вошли в нее неотъемлемой составной частью, не стали ее живым лирическим зачином, как могло быть при иных условиях. И Комьят, и Габор, и Гидаш, и другие уже с начала 20-х годов по необходимости жили и творили в эмиграции. Часто произведения самых убежденных и активных антифашистских литераторов оставались неизвестными на родине. И писателям в самой Венгрии в своем неприятии фашизма приходилось в 30—40-х годах во многом как бы начинать «сначала». Другими словами, естественный «теплообмен» между ранней и более поздней антифашистской литературой (и одновременно между прогрессивной литературой вообще и читательской аудиторией) в Венгрии вследствие свирепого угнетения из-за эмиграции революционных писателей был нарушен, задержан.

Все это сыграло свою роль в том, что антифашизм в венгерской литературе как бы дробился, разделяясь на многие русла, группы и течения. Кроме того, протест против фашизма особенно явственно и неуклонно звучал именно в поэзии, в венгерской лирике. И не просто потому, что это вообще один из жанров самых «быстрых», оперативных. Ведь в венгерской поэзии издавна всего сильнее были гражданственно-демократические тенденции; раньше вырос и социалистический (социал-демократический), а затем коммунистический передовой отряд. И вдобавок как раз у поэзии было больше возможностей «выжить» под хортистским цензурно-политическим прессом: она оказалась способнее к неизбежному и необходимому «эзопову» языку, который для распространенной тогда очерковой и бытописательной прозы был гораздо менее доступен.

Вместе с тем бросается в глаза особая окраска венгерской антифашистской поэзии — не менее трагичной, чем немецкая (не говоря уж о французской). Многих поэтов преследует сознание недостатка сил у народа для успешной борьбы, своего кажущегося — и подлинного — одиночества. Гнетущее это сознание, навеваемое относительной слабостью Сопротивления в стране, не чуждо даже такому революционному поэту, как Аттила Йожеф, чье творчество насыщено социально-мятежными настроениями.

Под впечатлением торжества гитлеровцев в Германии (к которым начала подлаживаться венгерская правящая клика), перед лицом нового наступления на народ во второй половине 30-х годов антифашистская лирика Йожефа становится суровой, почти трагически скорбной. Его снедает тревога за судьбу страны, которой грозит реальная участь стать «германским захолустьем» (стихотворение «Родина моя»). Его кошмаром гнетет расползающаяся по Европе коричневая чума, которая отравляет умы и души ядом вероломства, кровожадными «волчьими идеями», сеет бациллы социальной демагогии, иррационализма и пессимизма. Весь «ужас» рабского существования, когда «мысль и право забиты, как в тюрьму» и «неволи грубая машина мозг давит все больней», обступает его, и он порой готов кричать, словно задыхаясь от пытками.

Нет, в этот мир вступал я для иного —
я шел на добрый зов!..
Меня, когда от ласкового слова
я прыгать был готов,
Жестоко били... О, я знал, что где-то
есть у меня семья моя, а в этой
я — как средн волков...
Я не дикарь, не звери!
Мечты-улики бьются, сотрясая
глухого гнета дверь...

(«Воздуха!» Перевод В. Корчагина)

И, как шакал, повернувшийся к звездам,
чтобы обвыть леденящий их свет,—
этот от горя мерцающий воздух
воем своим оглашает поэт...

(«Древняя крыса разносит заразу». Перевод В. Корчагина)

И это, конечно, не какая-нибудь «предсудительная» слабость павшего духом поэта. Эти стоны, вопли человека под пытками — потрясающее свидетельство невыносимых условий существования в стране, где социалистическая революция потерпела поражение, а хортистский режим, боясь и повторения и всякого сближения недовольных, четверть века загонял демократическое движение в подполье и топтал малейшие ростки живой жизни.

■

В таких — а перед войной и во время не совсем невыносимых — условиях жил и творил Миклош Радноти. В его творчестве тоже рано зазвучал скорбный мотив одиночества среди «волков». Вместе с тем сопротивление этим волкам закаляло юношу, сделало его стойким, неустрашимым. «Был нежен, как цветок; но под ножами рос и убийц и вот — привык к борьбе»,— писал он о себе в одном стихотворении. Мотив нежности несгибаемой, неустрашимой очень характерен для Радноти и в годы второй мировой войны возвышается в его стихах до бестрепетной героики. Она и придает им особое обаяние — обаяние нравственной стойкости и чистоты.

Радноти, пожалуй, больше многих заслуживает названия именно поэта-антифашиста. Неприятие фашизма, его террористического господства, всей его подло-бесчеловечной идеологии у поэта — не частная тема, не предмет отдельных талантливых стихотворений, а вся внутренняя сознательная суть зрелого творчества. Ожидание революционных перемен перечеркивается приходом к власти германского фашизма и явным усилением реакции на родине. Обостряется чувство угрозы, роковой незащищенности жизни, из которого и вырастает своеобразный, стоический и вместе возвышенно-мужественный трагизм Радноти. Сознание одиночества, невозможности повлиять на ход событий, все более отчетливое по мере наступления реакции, разгорающейся войны, соединяется с добровольным приятием сурового, может быть, даже мученического морального долга, утверж-

даемого в классически ясной и точной форме:

Поэт, быть чистым должен ты,
как ветры ледников чисты...
Будь тверд и только в твердость верь,
как исходящий кровью зверь...

(«А ты ходи, приговоренный к смерти!» Перевод Н. Чуковского)

Острое ощущение трагизма сложившихся обстоятельств, которых поэту не дано изменить, и одновременно — сознание своего человеческого назначения в этой свирепо-бесчеловечной жизни, от которого еще меньше можно отступиться,— вот благородный идейно-эмоциональный сплав, определяющий силу и вместе антифашистскую направленность лирики Радноти. Стиснув зубы, невзирая на раны идти своим «обрывистым путем», своей опасной «крутой» дорогой; не убаюкивая себя, не закрывая глаз на страшную правду, жить до конца: для будущего. Ибо жизнь и даже гибель поэта будут обвинительным показанием на суде человечества над фашизмом.

И подозренья осторожный взор
меня казнит; он правильно заметил:
поэт, я годен только на костер
за то, что правды я свидетель,

за то, что знаю я, что зелен стебелек,
бел снег и красен мак
и кровь, красна, струится,—

заявляет он в известном стихотворении, завершая его почти вызывающим пророчеством:

и буду я убит за то, что не жесток,
и потому, что сам я не убийца!

(Надпись на экземпляре «Крутой дороги». Перевод Л. Мартынова)

Беспощадная ясность зрения, в которой не пессимизм, а приговор окружающему, предвидение не просто смерти, но и возмездия, даже обещание его — это покоряет в лирике Радноти рубежа 30—40-х годов. Поэт все время как на краю пропасти, которая готова поглотить его; трезво отдает себе отчет в неотвратимости угрозы, но тем заботливей сохраняет все в памяти как урок и предостережение.

Апрель, как сумасшедший,
покоя не дает.
Один писатель пишет,
отчизну предает.

Апрель, как сумасшедший,
снег валит без конца...
Иные уцирают,
но лопнут их сердца...

Апрель, как сумасшедший,
холодный ливень льет.
И друг мой впал в безумье,
людей не узнает.

Апрель, как сумасшедший,
могуч разлив речной.
...Второй мой друг пристрелен
вот этою весной.

А третий арестован.
Я зря его ищу...

Все знаю! Берегитесь!
За всех я отомщу!

(«Пятница». Перевод Л. Мартынова)

«Я», разумеется, в широком, обобщенном смысле. Поэт провозглашает свою угрозу во имя и от имени унижаемой, умерщвляемой жизни как ее малая, почти незримая, но неопровержимо обличающая фашистских убийц частица. Понимание типичности своей судьбы и своей миссии свидетеля, бесспорно, подымало Радноти над многими современными ему прогрессивными поэтами — и одновременно помогало жить.

Помогало, поддерживая убывающие силы, и в 1944 году, когда поэт снова стал одним из обезличенных узников гитлеровских трудовых лагерей (его и прежде дважды отправляли в лагеря, но этот оказался последним); когда он, будто лишенный листьев и стебля «корень» (образ одноименного стихотворения), затерялся, затаился в некой первобытной подземной тьме... Весь смысл его существования сосредоточился в маленькой записной книжке с обращением на нескольких языках на первой странице: «Эта книжка содержит стихи венгерского поэта Миклоша Радноти. Прошу передать ее по адресу...»

Это ведь его послание в будущее: то важное, главнейшее, что должно остаться и заговорить, взойти для потомства. И послание дошло до «адресата»: записная книжка с последними стихами была найдена в общей могиле на теле поэта, застреленного конвоирами.

Что же там, в этой книжке,— в последних стихах Радноти?.. Казалось бы, почти безличная регистрация увиденного, случившегося той осенью 1944 года в лагере и на дорогах Сербии и Венгрии. Но эта кажущаяся регистрация несоизмерима, конечно, ни с каким литературным «натурализмом», простым описательством. В ней — все та же типичность ставшего (вернее, сделанного фашизмом) бытом бесчеловечного и нечеловеческого существования; высшая документальность правды, перед которой праздны все красивые слова. Той правды, которая служит источником, питающим «корнем», по его же слову, всякого мужественно-трезвого (и уже тем самым жизнеутверждающего) реализма.

Чтобы лучше понять это, вспомним: и за колючей проволокой, на лагерных нарах, в темноте, огрызком карандаша Радноти пишет эклоги (седьмую, восьмую). Само название указывает на неистребимую жажду любви, мира, жизни радостно-безмятежной. Многие его лагерные стихи несмотря на то, что на них отбрасывает тень четко сознаваемая близость смерти, удивительны своим нежно-доверительным лиризмом. Все они — прощание с прошлым, со своими оборванными «листьями», спиленным «стволом». И вместе с тем образ прошлого поэт вызывает и носит в себе как залог возвращения — как прообраз «грядущей и свободной дали». В лиризме этих стихов — та частица человечности, из которой, как из кусочка живой ткани, прекрасным цветком

О. РОССИЯНОВ
«МИР ВЫСТРОИТСЯ ВНОВЬ»

вырастет, восстанет его социально-гуманистическая «белоснежная мечта»: чистая гармония. поэзия и правда новой жизни.

...Мир выстроится вновь, и это я постиг;
хоть песни все мои теперь запретны
станут,
у кладки новых стен мои слова
воспряиут...

(«Ни воспоминанье, ни колдовство». Перевод Д. Самойлова)

■

Таким образом, даже в обстановке фашистских лагерей передовая венгерская поэзия развивалась, преодолевая трагическую безысходность окружающего, восстанавливая нарушенную «связь времен» — воинствующе-гуманистическую преемственность в литературе Лирика Радноти наглядно подтверждает это. Но интересно, что под влиянием жестоких уроков жизни к воинствующему гуманизму, хотя не столь определенно и решительно, шли, приближались также многие поэты, первоначально от него куда более далекие

В 30-е годы большинство буржуазно-радикальных по своим взглядам венгерских литераторов (из так называемых «урбанистов») ограничивалось, например, лишь пассивно-интеллектуальной защитой этических и культурных ценностей от разрушителей гуманизма и культуры. Такие поэты и писатели, как Ласло Фенё, Иштван Ваш, редактор известного литературного журнала «Нюгат» Михай Бабич, словно обводили себя, свой духовный мир неким магическим кругом и за этой незримой запретительной чертой строили воздушный замок «чистой» красоты, разума и человечности. В сущности, это было даже отстранением от политики и борьбы во имя иллюзорной «независимости духа»; бегством от действительности в некую новую башню из слоновой кости.

С началом же второй мировой войны и в творчестве литераторов «духовного» сопротивления, апостолов «вечной» красоты, можно наблюдать известный кризис, через который много раньше, в середине 30-х годов по-своему прошел Радноти. Бабич все острее чувствует недостаточность чисто субъективной «свободы»; терзаясь угрызениями гражданской совести, ведет в своих стихах и статьях постоянную борьбу с самим собой. И наконец в поэме «Книга Ионы» борьба эта приходит к неизбежной развязке: лирический герой Бабича принимает на себя гражданскую ответственность. Хотя и стеная, изнывая под ее бременем, призывает он кару на «спесивую Ниневию» фашизма. Подобный же перелом происходит к концу войны в лирике Иштвана Ваша («Будапештская баллада» и другие стихи).

Конечно, это был не боевой, сознательный антифашизм, но все же форма несогласия с фашистским террором. И совершенно пройти мимо такого, морального, сопротивления фашизму тоже нельзя. Ведь и оно создавало определенную духовную атмосферу, которая влияла на самосознание читателей. Пусть их поневоле немного, но достаточно уже, что среди них был и Радноти! Можно с уверенностью утверждать, что развитием своим он был обязан не только Аттиле Йожефу или передовой французской поэзии, но и голосу страдающей гражданской совести, который нет-нет да и раздавался со страниц «Нюгата».

Еще более внятен этот голос в лирике талантливого «крестьянского» писателя Дюлы Ийеша — особенно после захвата власти фашистской партией «скрещенных стрел» во главе с Салаши осенью 1944 года. Какой-либо реальный выход из войны, практически-политические возможности вызволить страну из-под гитлеровско-салашистского ига Ийешу, правда, тоже не ясны. Отсутствие видимого народного противодействия войне, произвол гитлеровцев, опустошающих его родину, угоняющих население, сеют тоску и скорбь в его душе

Рву, что написал вчера я,—
не нашел бы кто-нибудь!
Чтобы не проговориться,
говорю себе: забудь!
И сейчас прерву теченье
всяких замыслов своих,
задушу и тот и этот
зарождающийся стих.

(«Жертва». Перевод Л. Мартынова)

Эта мучительная тревога за будущее, неопределенность и неизвестность выливались подчас в его стихах в фатализм, в некое стоическое приятие неизбежности. Однако даже подавленность и отчаяние несут в лирике Ийеша свой гражданский заряд. За ними стоят тяжкая боль и муки патриота, которого неотступно преследуют картины народного разорения и позора, который горько и беспощадно обвиняет правящую верхушку, швыряющую солдат в кровавую мясорубку, который казнится, наконец, народным и собственным бездействием.

Побыть одиому бы где-то,
но одиночество это
как камень висит надо мною,
тюремной встает стеною.
Я думаю: тот умнее,
кто спит, как зверь, где темнее.
И, словно медведь в берлоге,
проспит позорные сроки...
Захоронюсь я глубоко,
чтоб мне не бросали упрека,
что был я бессильный свидетель
творившегося на свете.

(«Медведь». Перевод Л. Мартынова)

Среди прогрессивных венгерских поэтов были, впрочем, не только не принимавшие войны, фашистского варварства, но и восставшие против них. Это, например, «урбанисты» Йожеф Фодор (ныне коммунист) или Бела Пастор; принадлежавший к «крестьянским» поэтам, но близкий своими лирическими интонациями к Фодору и Пастору Ференц Янкович. В страстных и красноречивых лирических тирадах, филиппиках и мочологах изливали они свое отвращение к расизму, восславляя Свободу, Гуманность и Право с большой буквы (Йожеф Фодор); в полусказочных аллегориях живописали ужасы войны, печальный жребий гонимых (Бела Пастор). В драматической этой приподнятости отзывалось

их нетерпеливое стремление активно противодействовать фашистскому произволу. И не случайно эти поэты искали связи с венгерским Народным фронтом, печатались в различных левых журналах («Гонвдлат», трансильванский «Корунк»), которые пытались сплотить литераторов вокруг его программы.

Все же от политической борьбы во время войны они оказались по разным причинам оторванными, а социально-гуманистические идеалы их в общем страдали отвлеченностью. Поэтому и антифашизм их оставался в значительной мере лишь антифашизмом «чувства».

■

Идейно самыми стойкими и энергичными борцами с фашизмом и войной были поэты коммунистических и близких к ним убеждений — все, кто сознательно принял и сделал основой своей общественной и литературной деятельности программу Народного фронта. Не обладая подчас крупным художественным талантом, поэты-социалисты, поэты-коммунисты были постоянными и деятельными участниками важнейших антифашистских акций — от демонстраций протеста до нелегальных агитационно-публицистических изданий. Они во всех отношениях много сделали для мобилизации общественного мнения против фашизма, поддержав боевую честь венгерской литературы в трудные предвоенные и военные годы.

Были среди них и ветераны социал-демократической поэзии — например, Жени Варнаи. Стихотворение «Выстукивайте!», написанное ею при известии о приближении Советской Армии, нелегально распространялось в конце 1944 года в виде листовки среди борцов Сопротивления в занятом немцами Будапеште. «Жестокая гитлеровская лапа еще на нашем горле,— говорилось в нем,— но... за решеткой уже взошла заря, и окровавленными пальцами выстукиваю я весть о свободе... Всем остальным ее вы передайте... и, напрягши сил остаток, взломайте прутья!» Были в числе поэтов социалистических убеждений и совсем молодые, как Эде Жигмонд, отправленный на принудительные работы на Восточный фронт и там погибший.

Накануне войны их ряды пополнились несколькими даровитыми поэтами из рабочей среды (за ними так и сохранилось в истории венгерской литературы название «рабочие поэты»). Это Золтан Зелк, Золтан Кестхейи, Янош Фёльдеак, Ласло Беньямин и другие (ныне в большинстве коммунисты). Одни из них (Зелк, Кестхейи) выражали скорее смятение и тревогу перед лицом «варварских ужасов», при виде «гнен», которые обступили человека и жаждут его гибели. Стихи других были исполнены прежде всего упорства и вызова. Фёльдеак призывал не отступать, протестовать, даже если силы на исходе и товарищей мало: только борясь, можно выжить. «Поэты — народ упрямый и не обращаются в бегство, хотя бы мир рушился вокруг...» («Особое мнение»). «Погибнет, кто падёт на колени»; «переживу тиранов!» — вторил ему Беньямин («Не ублажай себя»; «Терпение»). Среди фашистского озверения они не склоняли головы, и вера в человека была у них неразлучна с идеалом социального освобождения.

Особенно отчетливо неделимость «лирики» и «политики» выступала у поэтов-коммунистов. Тут следует сказать, в частности, о Ласло Лукаче, еще с начала 30-х годов деятельном члене нелегальной венгерской компартии, замученном в конце войны в гитлеровском концлагере. Ласло Лукач искусно пользовался каждым временным ослаблением политического гнета, чтобы заявить о мыслях, стремлениях Венгрии настоящей, народной в противовес официальной. Делал он это поневоле в аллегорически зашифрованной форме, не терявшей, однако, реалистической пластичности. Так, кратковременное установление дипломатических отношений с Советским Союзом (1941) и возвращение Венгрии захваченных в 1849 г. царской армией национальных знамен послужило ему благовидным предлогом напечатать стихотворение «Цапли». Знамена, которые возвращаются домой, представляются ему летящими из Советской страны белокрылыми вестницами мира. И поэт раскрывает им навстречу сердце еще и потому, что, как он говорит, «у братьев были вы узницами!..» Захват, пленение знамен старой Россией переосмысляется им в духе братства, дружбы с Россией новой — отчизной революционеров и трудящихся.

Подобным же образом известное замешательство официальных кругов и усиление антигерманских настроений после Сталинграда и гибели венгерской армии на Дону в начале 1943 г. позволили Л. Лукачу опубликовать стихотворение «Дровосек» (возникшее еще под впечатлением битвы под Москвой). Торжествующе утверждал в нем поэт, что яворы было легко рубить, но в могучем дубе германский топор увяз, и теперь едва ли его удастся вытащить... В других стихотворениях воздвигал он памятник героям нелегального Сопротивления — например, в «Надгробном слове» (оно посвящено одному из руководителей партии, Золтану Шёнхерцу, который был схвачен и казнен осенью 1942 г.). Распространявшееся подпольно, стихотворение кончалось многозначительным напоминанием: «Время идет — даже с обрубленной стрелкой...»

Страстное «нет!» фашизму сказал и один из заслуженных представителей революционно-пролетарской поэзии 20—30-х годов Ласло Геребьеш. Интересна сама его жизненная судьба: ревностный сотрудник и редактор многих нелегальных и полулегальных изданий венгерской компартии, неоднократно арестовывавшийся, Геребьеш в 1938 г. вынужден был покинуть страну и эмигрировал во Францию. Там он с началом

О. РОССИЯНОВ
«МИР ВЫСТРОИТСЯ ВНОВЬ»

войны добровольцем вступил во французскую армию, чтобы оружием преградить путь германскому фашизму. Уже из немецкого лагеря для военнопленных при вести о вступлении Венгрии в войну против СССР обращается он с горестно-взволнованным призывом к мадьяру: «Стой! Зачем? Назад!..»

Вырвавшись из плена, Геребьеш вместе с другими венгерскими эмигрантами принимал участие во французском Сопротивлении; редактировал в Париже подпольную венгерскую газету («Мадьяр семле»). Участие венгров, нередко самое активное, в антифашистском движении в других странах — не только в Испании, но также во Франции и Югославии, Румынии и Чехословакии во время второй мировой войны — интереснейшая, во многом не исследованная еще страница европейской и собственно венгерской истории и литературы.

Более известна — во всяком случае, у нас в стране — антифашистская деятельность венгерских литераторов-эмигрантов, которые в 20—40-х годах стали товарищами и друзьями советских людей, советских писателей. По московскому венгерскому радио неизменно передавались во время войны остроумные, едкие стихи Андора Габора, который высмеивал третий рейх, Хортн, фашиствующих венгерских заправил. Из Советского Союза к здравому смыслу и совести венгерских солдат, которых погнали воевать против советского народа, обращался Эмиль Мадарас в доходчивых, народного склада стихах. Глубокое горе, свое и народное, взывало из стихотворений Гидаша, у которого на далеком Дунае фашисты в 1944 г. убили отца и мать.

Нет мне покоя в довольстве, в семье и в тепле,
в пище, в работе — ни в чем не найти мне покоя —
Нет мне покоя: убийцы идут по земле.

(«Отвечает сын». Перевод Н. Заболоцкого)

И все стихи, составившие его антифашистский — антипалаческий, антимучительский — цикл «Стонет Дунай», проникнуты этим встревоженным, неутешимым чувством поэта-гражданина. Собственные страданья, воспоминания, раздумья над историческими судьбами своей страны и своего поколения перерастают в требовательно-гуманистический протест, в трагически-возвышенное «memento» всему миру: призыв не забывать злодеяний.

Черные руки вздымают мосты,
Мертвые люди вздымают персты.

(«Дунайские мосты». Перевод Н. Заболоцкого)

Внутренний мир, переживания и чаяния эмигранта-антифашиста раскрывала также лирика Белы Балажа, Шаролты Лани и других. Это светлые чувства, гордость интернационалиста, причастного к освобождению Европы. Это и боль, страдания патриота, чья родина втянута в позорную войну против страны социализма. Уже умершие и ныне живущие, все они достойны самого глубокого уважения за протест против нравственного одичания, за нерушимую верность идеалам коммунизма.

■

Передовые писатели вели своих читателей и всю венгерскую литературу от более узких повседневных горизонтов к общенародным и европейским; от невольного подчинения обстоятельствам к сознательному противодействию историческому «року». С большей или меньшей художественной силой, но всей своей запечатленной в произведениях жизнью внушали, убеждали они, как важно для блага каждого и в конечном счете всех не отстраняться, не замыкаться в созерцательном уединении или размагничивающем скепсисе, а самоотверженно бороться за гуманистические идеи. Лишь в этом — настоящая верность им, верность делом, и настоящее «самосохранение»: единственно возможная и мыслимая в антинародном, враждебном человеку обществе внутренняя цельность и гармония.

Да, в силу разных исторических обстоятельств в Венгрии, к сожалению, не было единого, отчетливо выраженного и обладавшего общей конкретной программой антифашистского направления в литературе. При этом, однако, *сопротивление* фашизму, его морали, идеологии выражалось достаточно ясно и убежденно, а часто и ярко, талантливо. Правда (заметим тут же), в «легальной» литературе преобладало так называемое «духовное» сопротивление (в чем-то подобная, хотя несколько иная позиция писателей в фашистской Германии была наименована потом «внутренней эмиграцией»). И даже произведения коммунистических поэтов, порой трагичные, окрашены горьким сознанием не отвечающей их желаниям, недостаточной массовости политического Сопротивления.

Но все это отнюдь не какая-нибудь «вина», а прежде всего беда лучших, честнейших писателей и поэтов, довлевшее над ними историческое проклятье хортистского режима (и всей европейской политической ситуации конца 30-х — начала 40-х годов). Оно, это проклятье и это несчастье, лишь подчеркивает величие их подвига, весомость вклада в духовный опыт народов, боровшихся с фашизмом. И прежде всего — самого венгерского народа. Сравнительная слабость венгерского Сопротивления — это ведь один из больных вопросов национального прошлого, доныне волнующих писателей, критиков и читателей, особенно молодежь. Он входит в круг более широких задач и вопросов национального «самовоспитания», злободневных для стран, где после исторических надломов гитлеризма или хортизма многое в душах, сознании людей приходилось и приходится строить, возводить заново.

Сегодня венгерская литература знает два способа или пути такого самовоспитания, которые ведут к единой социалистической цели. Один — более острый, даже подчас болезненный для национального самолюбия — род или жанр «национальной самокритики»

выявление каких-то отрицательных, привитых или искривленных веками гнета свойств, особенностей народной психологии и национального характера. Такова, например, гротескно-сатирическая повесть Иштвана Эркеня «Семья Тотов» — злая насмешка над косным, растительным существованием и пассивным обывательским сознанием, над вдолбленной хортистским «начальством» привычкой угождать и слепо повиноваться. Сюда можно отнести и психологический роман Йожефа Дарваша «Пьяный дождь», герой которого мучительно, вплоть до жестоких самообвинений размышляет над бедами недавнего исторического прошлого, пытаясь понять, что упущено, не доведено до конца.

Другой путь, нераздельный с первым в литературе в целом и в пределах творчества одного писателя, даже произведения,— найти в венгерской истории и духовной жизни все ценное, положительное. Лирическим настроем и художественным примером укрепить характер, усовершенствовать социалистическое мироощущение нашего современника. Здесь кроме прозы много сделала и делает новая поэзия от Шимона до Гараи или Ваци.

И в этой двуединой критико-воспитательной работе по-прежнему участвуют венгерские поэты межвоенных и военных лет. Кто, как не они, начал тогда — не в последнюю очередь именно своими антифашистскими произведениями — эту трудную работу, которая в разной мере, в зависимости от сил и склонностей каждого, но так или иначе облегчила и облегчает рост и возмужание социалистической венгерской нации?.. Различия между Йожефом и, скажем, Бабичем, Радноти и Беньямином, Ийешем и Гидашем порой огромны. Но живой нерв их творчества, в антифашистской лирике поистине обнаженный,— беспокойная гражданская совесть; острое сознание неделимости свободы личной и общественной; чувство ответственности за будущее и настоящее; поиски действенно-гуманистических выходов, решений для народа и страны.

Благодаря этому антифашистская лирика их и не умирает, до сих пор интересна. Неотъемлемой частью вошла она в венгерскую литературную классику XX века.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ

«Иностранная литература» постоянно предоставляет свои страницы освещению столь частых в наши дни литературных дискуссий и встреч. Традицией стали и выступления писателей в нашем журнале со своими творческими кредо.

Недавно редакция направила видным писателям разных стран мира просьбу высказаться по старым, но вечно новым вопросам о роли художника, о сущности искусства и его месте в жизни.

1. Каково Ваше мнение о роли литературы в современном обществе?

2. Каким Вы видите будущее литературы в нашем меняющемся мире?

3. Как Вы понимаете задачу писателя и художника в наши дни?

Мы хотим выразить признательность всем, кто откликнулся на нашу просьбу — деятелям литературы около 30 стран мира,— за их внимание к нашей работе. Ответы, как увидит читатель, носят разный характер, и не только по форме; размышляя о судьбах искусства, писатели исходят из разного опыта, личного и общественного, они представляют литературы с разными историческими судьбами; они во многом по-разному смотрят на задачи творчества. Но все ответы свидетельствуют о серьезном, заинтересованном отношении к искусству, о признании его огромной роли в жизни человека и общества.

В этом номере мы начинаем печатать поступающие в редакцию ответы. Как и всегда, завершая публикацию, мы предполагаем обобщить результаты этого заочного «круглого стола» журнала «Иностранная литература» в специальной статье.

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)

1. На долю писателей ложится обязанность освещать путь человека. Литературе принадлежит руководящая роль: она должна быть сегодня как никогда ранее великим оружием правды, великим критическим оружием, которое разрушает старое, дурное, гнилое и создает новое, здоровое, мир, где царят изобилие и радость, к которым стремится человечество.

2. Литература играет в обществе чрезвычайно важную роль, так как писатели во все времена являлись самыми верными глашатаями стремлений народов. Это были мощные голоса, требовавшие изменения режима, крупных экономических, социальных и политических преобразований. Сегодня более чем когда-либо литература является выражением потребностей человека в движении вперед, к завоеванию будущего.

3. Миссия писателя и художника — служить народу, быть его голосом, оружием его борьбы. Служить народу — значит служить правде; стать на сторону будущего против прошлого; угнетенных против угнетателей; независимости и свободы против эксплуатации и тирании; против общества, которое агонизирует и умирает, разлагаясь,— ради общества, которое рождается из надежды и борьбы.

ПААВО РИНТАЛА (Финляндия)

Советский кинорежиссер Марк Донской, будучи однажды в Финляндии, сказал: «Задача искусства — служить человеку. Если оно на это не способно — к черту такое искусство!» Я тоже сторонник этой точки зрения.

Прежде чем ответить на вопрос о значении литературы в современном обществе, я хотел бы вместе с читателем бросить взгляд в прошлое и посмотреть, какова была роль литературы в прежние времена. Взять, например, русскую литературу XIX века — от Пушкина до Горького. Теперь мы знаем, что эта русская литература все время шла об руку с развитием политического самосознания в России. Например, действенная сила романов Толстого не ограничивалась областью чисто литературного восприятия, но оказывала широкое влияние на формирование определенного мировоззрения, гуманистических взглядов. Не говоря уж о Горьком, в чьих произведениях мы находим отображение общественных стремлений эпохи.

Можно сказать, что время высшего подъема европейского реализма было золотым веком романа.

Роль литературы в наши дни далеко не так ясна. Произведения Флобера, Куприна, Чехова играли большую познавательную роль, давали своим читателям и то, что наш современник получает из кинофильмов, работ социологов, психологов, а также через средства массовой информации. В те времена всех этих могучих факторов просто не было или, во всяком случае, их влияние было несравненно меньшим. Литература должна была как-то восполнять этот недостаток. Другое дело теперь. Общественные науки и психология получили широкое развитие, средства массовой информации проникли всюду. Современный писатель уже не может быть для своего читателя социологом, информационным агентством и центром психологических исследований.

К тому же развитие естественных наук и быстрый технический прогресс требуют все большей специализации. Один человек, хотя бы и писатель, уже не может обладать универсальными, всесторонними знаниями. Вспомните «Войну и мир». Ведь Толстой развернул перед читателем полную картину духовной и материальной жизни Европы в эпоху наполеоновских войн. В наше время ни один писатель — будь это даже новый Толстой — не в состоянии охватить в целом явления и процессы таких масштабов.

Поэтому, как мне представляется, роль литературы в наше время стала более ограниченной сравнительно с тем, что было еще в начале века.

Когда читаешь газеты и видишь, какая бурная полемика возникает порой вокруг того или иного литературного произведения — а это приходится наблюдать постоянно,— то нельзя не признать, что литература и в наши дни не утратила своего значения. Она и в наши дни, по-видимому, способна вызывать у людей активную реакцию.

Говоря о роли литературы, о ее задачах и о ее будущем, необходимо учитывать один важный фактор, о котором, на мой взгляд, часто забывают: читателя, которому она адресована. Ведь это же он в конечном счете делает книгу значительной или забытой. Потому что писатель это не жрец, который священнодействует, не священник, который служит своему богу, и не исцелитель. Писатель — это рассказчик, выступающий перед публикой, с которой он привык делиться всем, что видел, слышал и пережил. Он ощупывает своей рукой раны времени, но не пытается лечить их. Он дает своему читателю цельную картину и представляет ему самому судить о ней. Стало быть, именно от читателя зависит, какая книга станет значительной, какая нет.

Итак, подумаем о читателе наших дней. Это человек, который владеет в окружающем нас кипучем и бурном мире лишь одной узкой областью своей специальности. Это, например, учитель, слесарь, лаборантка, командир подводной лодки, сотрудник метеостанции, продавщица, чиновник налогоуправления, специалист по искусственному осеменению, программист электронно-вычислительной машины, гистолог, хирург, врач-кардиолог, детский врач, ихтиолог, инженер по слабым токам, инженер по сильным токам, инженер-механик, инженер-литейщик, инженер-путеец и т. д. Все они похожи лишь в том, что каждый в жизни носит печать далеко зашедшей профессиональной специализации. Они овладели своей профессией после долгих и трудных лет учебы и практики. И вот им доверили какую-то определенную функцию. Они-то и составляют в настоящее время интеллигенцию, которая еще в начале нашего столетия формировалась почти исключительно из представителей высших сословий и занимала привилегированное положение. Нынешний писатель уже не может, не в состоянии из своего кабинета уследить за развитием всех тех отраслей знания, которыми владеют его читатели, то есть вся эта масса узких специалистов. Такова реальность. Но мы, писатели, часто проходим мимо нее слишком легко и пытаемся писать — в 1970 году! — все для той же самой публики, которую волновали когда-то переживания мадам Бовари! Пишем так, словно и не бывало двух мировых войн, прокатившихся в двадцатом веке по всей Европе. Мы не хотим поверить, что наша повседневная реальная жизнь оказалась гораздо сложнее, нежели создаваемая за столами наших писательских келий литературная реальность.

По крайней мере я много раз с изумлением оглядывался на себя, замечая, насколько я сам бываю похож на того героя пьесы польского писателя Тадеуша Ружевича «Картотеки», о котором говорится: «Человеку уже сорок лет, а он не нашел в жизни более дельного занятия, чем быть художественным руководителем оперетты!»

Писатель должен выйти из священного уединения своего кабинета. Литература, основанная на творческом вымысле — то есть на выдумке, фантазии,— больше не может нас удовлетворять. Все современные науки — социология, экономическая наука, психология, история, этнография, педагогика и прочие — используют в своей работе документальный материал. Это считается самоочевидной необходимостью. Научное исследование без этого немыслимо. Но писатели все еще чураются обращаться к подобному методу. И все же это, по-видимому, одно из средств расширить возможности литературы, которая видит свое назначение в том, чтобы служить читателю. Развитие науки все время ставит перед человечеством новые проблемы. Это заставляет также и литературу по-новому определить свои задачи. Будущее литературы зависит от того, насколько писатели окажутся в состоянии ответить на вызов, брошенный развитием науки и техники. Для нас, на западе, этот вызов исходит также от гипертрофии коммерческих, товарно-рыночных отношений. Гонка развития технических средств и боязнь отстать в этой гонке, конкуренция в масштабе целых народов превращают нашу насыщенную техникой жизнь в какой-то сплошной кошмар. То же относится и к различным социальным группам и группировкам внутри каждой страны. И далее — к отдельным частным лицам в больших городах, сельскохозяйственных имениях и на заводах. Многие из них так сосредоточены на выполнении своей рабочей функции, что у них не остается ни времени, ни сил на то, чтобы составить себе сколько-нибудь цельное представление о событиях окружающего мира. В странах Западной Европы есть уже сейчас много сорокалетних людей, которые чувствуют себя — по своим знаниям, профессиональным навыкам и положению — всего лишь стертыми, изношенными детальками в огромном человеческом механизме.

И по мере того как технология и автоматизация бурно движутся вперед, все больше и больше людей чувствуют себя отброшенными назад, ненужными.

Как я понимаю, роль и значение литературы в наш век техницизма и автоматизации прямо пропорциональны ее способности служить самому маленькому, самому обыкновенному человеку.

Человек не может жить одной техникой.

Он нуждается во внимании и участии, чтобы осознать свое человеческое достоинство. И тут литература должна прийти человеку на помощь.

Используя все современные средства распространения информации, литература должна взять за руку этого рядового читателя и повести его за собой. Писатели не могут больше замыкаться в уединении своих кабинетов, в возвышенно-прохладной атмосфере чисто эстетических задач.

В заключение приведу пример — самый маленький и скромный пример такой попытки «взять читателя за руку». Это прямое обращение к читателю было распространено через газеты и с помощью ротатора, принадлежащего профсоюзному объединению.

Сегодня 4.6.1970. Приглашение к вечернему шествию в Кайвопуйсто.

Оставайся дома, в своем привычном кругу, если ты все еще воображаешь, что
Вьетнам, Лаос, Камбоджа — это лишь маленькие, незаметные пятнышки на американском образе жизни
и на здешнем, западном — твоем собственном,—
совсем маленькие пятнышки, которые легко можно не замечать,
вытравить из сознания человечества.
Оставайся дома, где можно говорить о пиве.
Что из того, что какие-то азиаты говорят о свободе?
Нас это не касается, у нас высокий уровень жизни,
и мы можем сравнивать себя с теми, кто выше нас,
и не задумываться ни о чем
даже в этот вечер, когда сознательные
Нью-Йорк, Париж, Осло, Хельсинки, Токио и Васа
выходят на улицы,
отказываясь одобрить
торговлю войной в Юго-Восточной Азии,
отстаивая тем самым и свой дом, и мир, и занятость,
и сохранение уровня жизни.
Так ты оставайся дома, если все это не касается тебя.
Оставайся дома. Выключи телевизор и закрой глаза,
чтобы бездействие «молчаливого большинства»
стало и твоим, сдобрило вкус твоего пива.
Оставайся дома, если ты все еще веришь,
что никсоновские «Б-52» подобно deus ex machina
приносят мир Юго-Восточной Азии.

если ты сознаешь, чувствуешь, понимаешь,
что раны Вьетнама, Лаоса, Камбоджи
становятся все глубже
не только там, где-то в далекой Азии, но и в США, и здесь,
по мере того как время идет и ветшают иллюзии,
которыми были увиты обещания Никсона,
и все явственнее становится это бесчеловечное, этот порочный круг:
сырье, выгода, бизнес, рынки сбыта, прибыль, уровень жизни,—
если ты сознаешь, если чувствуешь, если понимаешь —
приходи в Кайвопуйсто. Сегодня. Погода будет отличная.
Потому что вывод войск Соединенных Штатов —
это альфа и омега, это та решающая мера,
которая только лишь и может открыть перспективу подлинного мира
для всех, в том числе и для тебя!
Только это может положить начало залечиванию ран
в Юго-Восточной Азии, в Соединенных Штатах, в тебе.
Приходи сегодня и осознай. Дома ты можешь побыть и завтра.
Приходи вместе с нами, и ты поймешь:
в мире стало меньше одним стертым бесчувственным колесиком,
стало меньше одной безвольной деталькой в гигантской
человеческой машине, помогающей вести войну в Юго-Восточной Азии.

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (Польша)

1. Я считаю, что литература ни в коей мере не может претендовать на автономное существование, независимое от общего направления жизни, не может взирать на жизнь и общество свысока, словно с королевского трона. Такая позиция не могла бы быть ничем объяснена, кроме как трусливым, легким отказом от трудной, но возвышенной обязанности служить жизни.

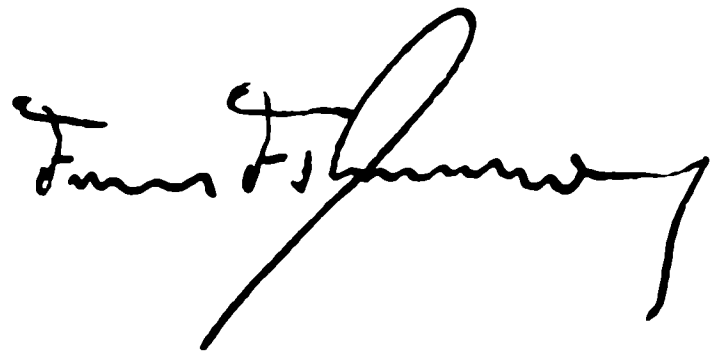
Если рассматривать проблему в целом, то, по моему мнению, именно в этом служении и должна заключаться роль литературы. Сегодня это служение особенно необходимо. Литература в наши дни должна следить за тем, чтобы огромные технические возможности человеческого разума не привели человека к зазнайству и излишней самоуверенности и не уничтожили в нем способности чувствовать и волноваться; чтобы они не иссушили его изнутри; чтобы ценность общества в целом и человеческой личности в отдельности определяли не только технические средства и прецизионный уровень цивилизации, но также внутренняя красота, основанная на гуманизме, справедливости и чувстве.

2. Будущее литературы я вижу прежде всего в том, что она должна показывать всем великие и постоянно растущие возможности человека, и одновременно в том, чтобы предостеречь его, ибо будучи существом всемогущим, бросающим вызов Вселенной, он не должен оказаться слабым и слепым в решении своих земных проблем; речь идет о том, что его гений должен не уничтожать, а созидать и уметь достигнуть не только звезд, но быть также в состоянии отдать должное самым простым, насущным и понятным для любого ребенка человеческим устремлениям; этот гений должен суметь сделать так, чтобы человечество жило в мире и справедливо распределяло свои богатства.

3. На этот вопрос я, собственно, уже дал ответ выше. Писатели и творческие работники являются частицами общества, обыкновенными людьми, и все те главные обязанности, какие несет на плечах общество, в котором они живут, суть также их обязанности. В эти обязанности входит и борьба за мир, но не любой ценой, не ценой унижения и утраты достоинства, не ценой отказа от идеи борьбы за жизнь и справедливость; эти обязанности включают труд на благо человечества. во имя прогресса.

ФРАНЦ ФЮМАН (ГДР)

Я уверен, что неизменная задача литературы и искусства — рассказывать человеку о его жизни и тем самым помогать ему найти свое место в мире. Он не должен оставаться один со своим счастьем и своей мукой, со своими нуждами, надеждами, страхами, радостями, страданиями и горестями.

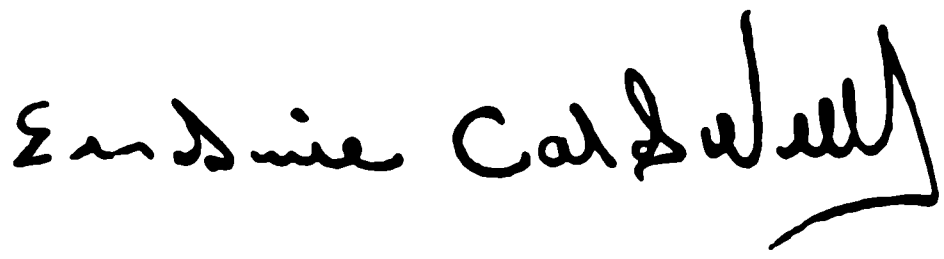


ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)

Нужно уделять больше внимания убеждениям и характерам людей, живущих в разных странах мира. Долг писателя — выразить и надежды, и горести своего народа, потому что без надежды человек не может преодолевать невзгоды. Задачу эту писатель может выполнить лишь тогда, когда поймет, что его собственное «я» не более значительно, чем жизнь его читателя.

Будущее литературы во многих странах мира всегда находится под угрозой со стороны пропаганды и бизнеса. И в том и в другом случае читатель становится жертвой интересов, не имеющих ничего общего с его собстеенными. И ни один серьезный писатель не должен ни поддерживать, ни усугублять эту трагическую ситуацию.

В этом реалистическом мире писатели и художники должны быть реалистами. Нет, может быть, ничего плохого в том, что они всегда немного фантазируют, но существует и вполне реальная жизнь, которую надо прожить, и ее не должно выдавать за то, чем она в действительности не является.



МИХАЙ БЕНЮК (Румыния)

1. В современном обществе, которое неоднородно и, кроме того, втянуто в бурный поток научного прогресса и стремительных изменений производственных и социальных отношений, литература не может играть иной роли, кроме активного участника,— правда, специфическими средствами — этих изменений, которые происходят на наших глазах. Литература является политическим актом, так как она имеет дело по преимуществу с человеческим сознанием, которое складывается: по вертикали— из врожденного социально-исторического опыта, а по горизонтали — из заложенных в каждом непредсказуемых возможностей участия в человеческом сообществе,— при том, что у каждого писателя свои выразительные средства, свой стиль и свои творческие возможности. Уточню, чтобы быть правильно понятым: участие в управлении— дело писателя лишь в том случае, когда он занимает соответствующий государственный пост. Речь идет о литературе как п о л и т и ч е с к о м а к т е, оказывающем влияние на человеческое сознание не путем пропаганды, догматических наставлений или «проработки» читателя, а путем правдивого изображения действительности (пусть даже через аллегории и «мифы»!). Действительность, рассматриваемая в ее диалектическом развитии, всегда драматична. Ведь это борьба между старым и новым, а старое отнюдь не воздвигает новому триумфальных арок. Впрочем, к тому и нет причин, ибо новое не приходит сразу в роли победителя, но с трудом прокладывает себе дорогу к Б у д у щ е м у, этому специфическому и все более быстро меняющемуся творению человека.

2. Нелегко сказать, какой будет завтрашняя литература. Ясно одно, что она будет совсем другой. Данте, Сервантес, Толстой, бесспорно, сопоставимы по значению на бескрайней ниве творчества, но и различны, ибо корни их творчества — в разных эпохах, различны они и по языку, и по проблемам. И все же мы признаем их гениальными, гигантскими звеньями или ступенями восходящей траектории развития человечества. Творчество их, при всем различии, избавляет меня от необходимости дока-

зывать то, о чем я говорил ранее, а именно: что литература является политическим актом.

Но как бы ни изменился облик литературы, через какие кризисы ни прошли бы литературные жанры, литература сохранит свою специфику: воплощение в слове драмы человека, его поражений и побед, его жизни не как материала истории, а как живого, непрекращающегося столкновения разных типов сознания.

3. Если говорить символически и обобщенно, назначение писателя мне видится в умении отличить героизм от героина. Современный человек призван понять, что он — не о д и н в мире, что мы — о д н и и что одни м ы — творцы своих судеб, не войнами и неосмысленной жизнью, а единением и в сообществе. И дорога к тому — через ответственность и небывалый героизм, героизм коллективный. Писатель и художник, не теоретизируя, а воплощая все это в своем творчестве, может внести свой вклад в общее дело нашей эпохи. Писатель призван пробуждать чувства читателей, ворошить глубинные слои его сознания, р а с к р ы в а т ь смысл человеческого бытия.

ПЬЕР ГАМАРРА (Франция)

МОЕ МНЕНИЕ О РОЛИ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. Мне кажется, что следовало бы прежде всего определить, что мы понимаем под словом «литература». Возможно, попытка точного определения смысла этого столь широко распространенного и столь смутного понятия помогла бы нам осознать, чего же мы, собственно, хотим от литературы. Ждем ли мы от нее описания (через посредство романов или же стихов — впрочем, и эти понятия тоже нуждаются в определении...) нашего мира? Его прошлого и будущего? Я полагаю, что дело обстоит именно так. Из тысячи картин, слившихся воедино, слагается критическая оценка.

Если верно то, что литературные произведения часто становились зеркалом общества и как таковые — зеркалом социального неравенства, то при этом надо помнить: великие писатели оставили нам не просто верные, рабски точные копии мира, который их окружал. Нет, они сказали в своих книгах еще и н е ч т о д р у г о е. Что же именно? Рабле, к примеру, ввел понятие гуманистической приключенческой литературы, а Сервантес — плутовского реалистического романа. Великие писатели, заимствуя традиционные формы, взрывают их изнутри. В рамках общепринятого и общепризнанного остаются одни лишь эпигоны.

В общем, я полагаю, что литераторы, достойные этого названия (чье творчество останется жить, переживет века), выражают свое время и вместе с тем как бы отрицают его, подготовляя времена грядущие. Толстой выразил существенные стороны жизни крестьянской России, и им восхищался Ленин. Потому что в творчестве Толстого уже угадывалась иная страна, иные люди.

Вот почему, рассуждая о творчестве выдающихся писателей, следует учитывать не только категории прошлого и настоящего, но и такую важнейшую категорию, как категорию будущего. Даже и тогда, когда на первый взгляд эти авторы отнюдь не ставят себе целью изображать будущее.

Интересным примером в этом смысле служит нам литературный язык. Если писатель остается жить в веках, это значит, что его язык услышан и воспринят потомками. У Корнеля, как и у Мольера, было много современников-писателей, наслаждавшихся в ту пору громкой славой. Но остались жить в веках Корнель и Мольер. Писатели и поэты изобретают язык будущего. Можно, на мой взгляд, даже сказать больше: они изобретают будущее. Они не застревают на уровне временного и преходящего, а идут вперед, дальше, увлекая нас за собой... Чехов обращался не только к своим современникам, но и к нам. Он пытался увлечь своих читателей, своих современников навстречу новому, современному миру. Посмотрите на себя, понимаете ли вы, как вы несчастны? — говорил он. Далеко не все это понимали. Они не видели своего несчастья. Но Чехов упорно возвещал грядущие счастливые времена. Еще и сегодня есть люди, которые не хотят, не могут понять Чехова.

Да, в конечном счете в творениях всякого большого художника сокрыта идея счастья. Это не означает, разумеется, что поэты и романисты вручат нам счастье в готовом виде, на серебряном блюдечке. Счастье — оно в руках людей. Литераторы помогают нам зорче видеть то, что творится вокруг, и лучше, активнее мечтать, активнее критиковать, зная, что мы можем, что мы могли бы быть счастливы.

Жизнь человеческая хрупка и быстротечна. Романы и стихи обогащают ее знанием сотен других жизней, многовековых пейзажей, несчетных страданий, радостей, страстей. Мы — это мы, но в каждом из нас вместе с тем живут Анна Каренина и Эмма

Бовари, Дон Жуан и Квазимодо, Жан Вальжан и Жавер... Мы — люди всех рас, всех времен... Но и это еще не все. Чтение — еще не деяние, но это уже начало мечты, начало деяния. Вот почему чтение не есть пассивное занятие. «Пармская обитель» обязана своим существованием и Стендалю, и читателям.

В слова «мечта» и «волшебство» я вкладываю смысл истинно динамический. Не статистический смысл, навевающий мысли о колдовстве, о гороскопах, о лжеволшебниках. Истинные волшебники — это поэты, вот почему они собратья ученых.

БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ В НАШЕМ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. Литература погибнет, если — по вине людей, охваченных смертоносным безумием,— погибнет мир. Это просто и ясно, и мы обязаны это знать. Писатель должен это знать, потому что он — гражданин и человек.

Ко мне часто обращаются с вопросом о том, не грозит ли смерть письменности и литературе в условиях быстрого развития и распространения аудио-визуальных форм искусства. Что ж, аудио-визуальные формы информации и искусства играют важную роль и могут представить для нас большую ценность. Но, насколько мне известно, они не удушили литературу и письменность. Мы по-прежнему — отчасти это хорошо, отчасти плохо! — живем в мире бумажном, в мире печатного слова.

На мой взгляд, нет между формами подлинной культуры конкуренции, напротив, они взаимно обогащают друг друга. Экранизация какой-нибудь книги на телевидении способствует быстрой распродаже этой книги в книжных магазинах и т. п.

Наконец, я считаю — я уже говорил об этом выше,— что даже, и в особенности, в нашем современном мире, где господствуют техника и наука, писателям и поэтам надлежит играть важную роль. Они — ферменты истинной, плодотворной мечты.

ЗАДАЧА ПИСАТЕЛЯ. Мне кажется, она ясно вытекает из всего сказанного выше.

Поэзия творит будущее — язык будущего, мир будущего. Таким образом, поэт — в этом нет никакого чуда — помогает создавать завтрашний мир. Человеческого бесправия, смерти не создают — от того и другого только погибают...

Мы должны стать творцами человечности, жизни. Под этим подразумевается не примитивный дидактизм, а истинно динамическое видение, конструирование и движение вперед. Жюль Верн не потому остался с нами как живой среди живых, что он предугадал то или иное техническое изобретение (наука уже обогнала его, как, впрочем, обогнала и многие волшебные сказки). Жюль Верн потому навсегда остался с нами, что он верил в светлое будущее человечества. Поэт — полная противоположность вакууму, бесчеловечности, тлену.

Никто не пишет для самого себя. Никто не пишет для нескольких людей. Писатели всегда мечтают о широком круге читателей, и они правы. Они мечтают быть услышанными своими братьями-современниками. Они мечтают о том, чтобы их услышали также сыновья и внуки — люди будущего.

Но для этого необходимы активное воображение и дальновидность. Эти качества не обеспечивают гениальности, но даже гениям без них не обойтись.

ГЕНРИХ БЁЛЬ (ФРГ)

СВЯТОТАТСТВО ХУДОЖНИКА [1]

Мне вспоминается, как однажды вечером во время войны я спешил на вокзал и, проходя через рыночную площадь, увидел это прекрасное здание [2] в огне. На улице стоял человек в офицерской форме и рисовал горящий Гюрцених. Я мимоходом разглядел на полотне обилие красного — для пламени, серое — для каменных стен, черное — для дыма. Я привожу этот эпизод не ради того, чтобы вставить здесь фрагмент своей автобиографии, и не ради того, чтобы в этом славном, с бюргерским вкусом отделанном здании напомнить о его пахнущем гарью прошлом и ввернуть предостерегающее «Не забывайте об этом!». Я привожу его для того, чтобы здесь, в этих стенах, через связанный с этими стенами пример подойти к своей теме. Живописец перед горящим Гюрценихом, с мольбертом и холстом, с палитрой и кистями, которые он поднял таким знакомым артистическим жестом,— мне показалось, что это довольно печальное зрелище: художник перед лицом действительности. Мне по-

[1] Речь при получении литературной премии города Кёльна, присланная автором в качестве ответа на анкету.

[2] Имеется в виду Гюрцених — старинный дом для городских торжеств в Кёльне, где Бёль произносил свою речь. *(Прим. ред.)*

казалось, что этот образ действий вдобавок неверен, неверен по отношению к сознающему свою цель искусству и по отношению к действительности. Кроме того, мне показалось, что этот образ действий непочтителен по отношению к ним обоим.

Проблема, которая мучает нас всех — и молодых художников и тех, кто принимает здесь почести, в том числе и меня,— это проблема превращения предмета в материал искусства и обратное превращение этого материала в достойную предмета и материала новую действительность. Писателю для этого предоставлен в распоряжение язык. Каждый художник, скульптор, композитор стоит перед той же проблемой, но задача писателя особенно деликатна, здесь материализация, двойное превращение, которое должен претерпеть предмет, до крайности осложнены условностями восприятия, моралью, политикой, историей, религией — и соблазнительной, сбивающей с толку иллюзией, будто материал уже лежит на писательской палитре в готовом виде.

Я представляю себе живописца, которому потребовалось бы материализовать свет, этот неуловимый предмет, свет, сумму всех цветов,— и который, намучившись опыта со своим проклятым искусством, берет настольную лампу, становится с ней перед нетронутым холстом и, не скупясь, преподносит зрителю свет — сумму всех цветов. Двойное проклятие состоит в том, что ему принесет мало удовлетворения и пользы, если он будет стоять так один у себя в мастерской, озаряя светом свое полотно. Он должен показать себя и свое произведение публике. Тут у него быстро начинает неметь рука, и вдобавок он зависит от выключателя — даже самый благосклонный директор музея или владелец картинной галереи, помня о безопасности и страховке, велит на ночь гасить свет — и наш находчивый художник, бредущий по дороге домой со своей выключенной лампой, которая делала его холст произведением искусства, представляется мне довольно жалким, потому что этот предмет, лампа в его руке, уже стал ненужным и потому что он закончил свой рабочий день. Конца рабочего дня не существует, это могут себе позволить — будь оно трижды проклято — лишь те, чье дело оценивать, красива или некрасива вещь, и выщипывать лепестки из цветка в своей петлице: «нравится» — «не нравится».

Двойственность нашего положения заключается в том, что мы одновременно не хотим общества, мы его презираем — и все-таки ищем его. В этом отношении нет разницы между консервной банкой с подписью на табличке и акварелью Нольде[1]. Если кто-то объявляет искусство мертвым и в противовес выставляет подобранные и скомпонованные предметы, то ведь эти предметы все же пытаются с жалким эффектом изображать произведения искусства. Предметы, изъятые из нормального употребления, неизбежно оказываются жалкими и лживыми, если они не становятся материалом, чтобы уже в этом качестве подвергнуться компоновке и показу, иначе говоря — превращению. Точно так же не станут более достоверными и обозначающие предметы слова, если кто-то решит, что их выразительность сама по себе — это уже реальность, уже материал. Не будем сейчас произносить слова «литература», и не из высокомерия — из скромности, чтобы хоть на эти несколько минут не усугублять глубоко укоренившегося непонимания, которое существует между теми, кто пишет, и теми, кто считает, что их дело — разместить и скомпоновать слова. Я тоже порой делаю шаг в сторону последних, тоже, более или менее безуспешно, пытаюсь приблизиться к ним — но и про это я бы хотел здесь, на эти несколько минут, забыть.

Намного ли дальше приведут нас антилитература и антиискусство, раз и они должны будут пойти в продажу и на выставки, раз и им будет обеспечена рыночная цена и место? Их, со всей их серьезностью и несерьезностью, убожеством и одиночеством, ждет старый, давно знакомый тупик: презирая общество, они одновременно ищут его, как и все мы, становясь жертвами древнего заблуждения, будто именно они могли бы найти достойное общество.

Печальнее всего в горящем Гюрценихе было то, что он горел, но не был еще сгоревшим. Пламя — нечто по самой своей природе слишком живое, чтобы оказаться пригодным для двойного превращения в предмет и материал, поэтому героическая стойкость художника перед лицом действительности показалась мне потерянным временем. Достаточно увидеть это мимоходом. Интерес для нас представляет сгоревшее, обуглившееся, пепел, будь то пепел воспоминаний или пепел будущего; настоящего не существует; то, что я сказал мгновенье назад,— уже прошло, уже воспоминание. Единственное, что ищет возможности удержаться в настоящем, ухватить хотя бы клочок длящегося времени,— это искусство, которое из пепла, из горсти пыли или грязи творит свой материал. То, чем мы занимаемся,— это, стало быть, чистое кощунство, мы живем, непрерывно святотатствуя, потому что мы не жизнью пользуемся для творчества — мы сами творим жизнь. И еще потому, что мы единственные, кто создает настоящее — настоящее, которое по недоразумению принимается часто за современность. Общество, само не подозревая об этом, принимает участие в самых разных проявлениях нашего святотатства. Порой оно оскорбляется, но всегда невпопад: если нам время от времени удается воплощение и материализация — двойное превращение,— оно решает, что мы открываем его собственные тайны, поднимает

[1] Нольде Эмиль (1867—1956) — немецкий художник-экспрессионист. *(Прим. ред.)*

крик и требует покарать святотатцев. Что любая попытка воссоздать настоящее, продлить его во времени (а несколько лет — уже бесконечный срок, если представить, сколько исторических и политических событий, традиций и религий успевает кануть в Лету за это время), что любая такая попытка сама по себе святотатственна — об этом, наверно, догадывались еще иконоборцы, и мы, пожалуй, способны понять их лучше, чем кто-либо. Так что церкви и музеи сплошь увешаны кощунственными творениями, они напичканы святотатством — дважды превращенной, воссозданной человеческими руками жизнью, способной длиться в настоящем.

Святотатство, которое совершает общество, остается точно так же нераскрытым и неосознанным, как и наше; общество берет мадонн и распятия, пускает их в продажу и отдает в музеи, а потом в уютных залах для заседаний бесконечно удивляется, что религиозное искусство (все же это красиво звучит) находится в кризисе. Святотатство никогда не распознают там, где оно действительно совершается. Продажа предметов, выторгованных однажды у ремесленника или художника за кусок хлеба и объявленных произведениями искусства, которые следует почитать, куда кощунственнее, чем демонстрация или описание собственных гениталий на полотне или бумаге; последнее всего лишь жалко и оттого тягостно — потому что здесь жизнь и предмет даны непревращенными. В остальном такого рода кощунство даже дозволено, если оно обложено налогом и хотя бы формально, то есть, как правило, для вида, благословлено церковью и государством.

Общество делает все словно в расчете на вечность: оно строит на века, объявляет произведения искусства вечно ценными, оно делает то, чего не делаем мы: полагается на будущее. Мы знаем, что все исчезнет, в пепле прошлого мы различаем пепел будущего — и пробуем из того и из другого творить настоящее, пробуждая жизнь. Мы проходим мимо именно потому, что время от времени мы пробуждаем жизнь; то, что называют действительной жизнью, нам дорого,— дорого, ибо мы знаем нечто, чего общество, если оно захочет хотя бы две недели оставаться самим собой, не позволит себе осознать: что бренность и смерть всегда ждут под дверью, все обращается в пепел. Быть может, это звучит пессимистично, однако это не так. Это всего лишь значит, что у нас есть чувство действительности, и, пожалуй, мы единственные, у кого оно есть; все остальные, иногда с большей или меньшей примесью лицемерия и самообмана — это те, кем мы меньше всего позволили бы себе быть: идеалисты. Мы — материалисты в том смысле, как я, надеюсь, только что хотя бы намеком объяснил: мы сами творим для себя свой материал, материализуя предметы и самое жизнь. И вот ведь что значит возведенная на трон непогрешимость: так и остается непонятым, почему же мы в конце концов святотатствуем — потому что мы принадлежим к роду, который вечно находится в становлении: к роду человеческому. И в этом же объяснение нашего свойства, о котором тоже судят еще неверно, немилосердно путая его со скромностью, трусостью, униженностью, верноподданничеством, приспособленчеством и т. п.: нашей почтительности; для нее надо бы найти новое слово, поскольку это вызывает ассоциацию с придворной добродетелью[1], а нам нечего искать при дворе; меньше, чем кто-либо, мы — подданные. Мы почтительные святотатцы, проходящие мимо еретики, и если мы отказываемся от моды, призывающей демонстрировать гениталии, то лишь потому, что жалкая непреобразованная предметность для нас тягостна; это прямая противоположность тому, чего хотим мы.

Heinz von Röll

ИВАН СКАЛА (Чехословакия)

Три вопроса, которые «Иностранная литература» поставила в своей анкете, суть собственно, всего лишь три аспекта одного и того же вопроса. Вопроса основополагающего, касающегося смысла искусства вообще, в конечном счете такого же древнего, как и само искусство,— и все же по-прежнему актуального. На этот вопрос неизбежно, поколение за поколением, отвечали все люди искусства — иногда в плоскости теоретической, программной, но всегда (что куда важнее и существеннее) отвечали творчеством своим, тем, что они создавали, как создавали и для кого создавали.

Уровень ответа на этот основной вопрос всегда был мерилом уровня искусства и его общественного значения — безразлично, в определенный ли исторический мо-

[1] В оригинале непереводимая игра слов: die Höflichkeit — почтительность, вежливость, учтивость; der Hof — двор (в том числе княжеский, королевский). *(Прим. ред.)*

мент или в более широком временно́м смысле. Искусство (в том числе литература) может быть — и на протяжении веков и тысячелетий не раз бывало — большой активной общественной силой, если оно несет прогрессивные идеи и является частью общественного движения своего времени, либо всего лишь легковесным украшением, существующим где-то на обочине, если оно исключает себя из всех общественных событий своего времени, ища силы в самом себе. Эта вторая тенденция породила в XX столетии такие явления, которые, правда, выдают себя за искусство и даже за единственно подлинное искусство, но которые в большой мере или даже совершенно утратили свои коммуникационные функции, вследствие чего, по-моему, они в той же мере или совершенно перестали быть искусством.

Я исповедую «старомодный» взгляд, что искусство есть явление общественное, хочет или не хочет того художник; что всякое искусство — ибо оно интерпретирует действительность или, по меньшей мере, выражает отношение к ней художника и, следовательно, зависит от его общественного сознания, от его места в обществе,— неизбежно содержит общественный и классовый аспект; что искусство никогда не бывает общественно нейтральным, не стоит над борениями своего времени, но в различной степени, в различной мере содействует усилиям прогрессивных сил общества или же в различной степени, в различной мере этим усилиям препятствует, а то и уводит от борьбы.

Если я высоко ценю искусство, то именно за его общественно активную действенность, возвышающую человека, углубляющую его познания, искусство, обогащающее его этические, эстетические понятия, его эмоции, выступающее в борьбе за человека на стороне положительных общественных сил.

Да, деревья цветут, люди любят, солнце каждый день восходит и заходит — как и год назад, как тысячелетия назад. Но и каждый день вступает человек в борьбу с природой, с враждебными ему общественными силами; на протяжении тысячелетий он создал вокруг себя вторую природу и одержал много побед в общественных схватках многих эпох. Может ли искусство, подлинное, великое искусство, стоять в не кого этого? История искусства, история литературы тысячами фактов — а факты эти и есть не что иное, как творения непреходящей ценности,— доказывает: нет, никогда.

Вернусь к изначальной функции песни как ритмического сопровождения трудовых процессов, к изначальной функции рисунка, который чертил наш предок на стене пещеры, сообщая что-то, фиксируя, изображая предметно свое представление о мире. Уже тогда искусство обращалось к самым истокам жизни. Пожалуй, нет нужды пускаться в долгий путь по истории, через эпоху Возрождения к революционному социалистическому искусству XX века, чтобы найти примеры общественной активности искусства, окрыленного великими идеями, великими положительными целями; но точно так же нет нужды подтверждать историческими примерами тот факт, что искусство, которое искало смысл в самом себе, утрачивало не только общественное звучание, но и художественную ценность. Мне всегда казалось, что такое «чистое искусство», хотя бы оно и объявляло себя наивысшим искусством, далеко от всякого гуманизма, что в сущности оно — бесчеловечно.

Мир, унаследованный нами после не очень-то идиллического XIX века, обрел взимоверную динамичность. Ускорились социальные процессы. Противоречия, определяемые классовым делением в мире, непримиримые по самой природе своей, выросли до гигантских размеров: на почве этих противоречий произошли две мировые войны первой половины столетия. Развитие цивилизации, столь стремительно идущее вперед, раскрыло новые горизонты жизни перед человечеством — но оно же приблизило и смерть. Такая поляризация этих двух возможностей повышает ответственность крупнейших социальных организмов — но и ответственность каждого отдельного человека, а следовательно, и художника за будущее человечества. Сознавая меру этой ответственности, ведут борьбу международные силы коммунизма и рабочего движения, ведут ее социалистические страны. Социализм стал для его сторонников понятием интернациональным, почетным, нелегким и обязывающим долгом. Эту нелегкую обязанность взяли на себя крупнейшие мастера культуры разных стран. Тем выше ответственность художников, работающих над словом,— писателей.

Нельзя не обратить серьезнейшего внимания на то, что именно в истекшие годы, в полном соответствии и согласии с идеологическим наступлением империализма, с его ориентацией на идеологическое разложение социалистических стран изнутри, с новой силой возродились теории и тенденции так называемой деидеологизации искусства, попытки идеологически разоружить прогрессивное — и в первую очередь четко выраженное социалистическое — искусство.

В Чехословакии эти тенденции проявились в полной мере в 1967 году на IV съезде чехословацких писателей в ряде выступлений, в которых осуждалось не только то, что как раз и составляет новые качества социалистического искусства, но в которых даже яркая общественная функция классической чешской и словацкой литературы XIX века рассматривалась как недостаток, как нечто неорганичное, что снижало значение и ценность ее и умаляло ее величие. То, что было неотделимо от литературы, то, благодаря чему она завоевала величайшее уважение, любовь и популярность, квалифицировалось как нечто недостойное, даже унижающее, как при-

своение функций, не свойственных литературе, функций, ныне якобы уже полностью изживших себя и совершенно недопустимых.

К сожалению, примечательный и весьма поучительный парадокс заключается в том, что именно глашатаи деидеологизации, деполитизации литературы и искусства всего лишь несколько месяцев спустя сделали свое искусство (и надо сказать, часто очень плохое искусство) инструментом воинствующей политики, причем очень скверной политики, которая была изменой соцнализму и вместе — изменой прогрессивным традициям чешской и словацкой литературы. Вот эта весьма практическая школа жизни еще раз подтвердила, что нет никакой внеидеологической, внеполитической литературы, что есть только вопрос: к а к о й политике, каким общественным силам и целям служит литература.

И тысячекратно подтвердилась правота тех художников, которые талант свой и силы с о з н а т е л ь н о связали с борьбой за новый мир без войн, без голода, без эксплуатации человека человеком — за будущий мир коммунизма.

Думаю, что именно это и есть те критерии, которые определяют роль и значение литературы в современном мире, определяют величие ее миссии в близком и отдаленном будущем и которые вместе с тем определяют миссию писателя как с о з н а т е л ь н о г о творца, как участника общего труда в создании доброго будущего для человечества.

Иван Скала

АНА МАРИЯ МАТУТЕ (Испания)

1. Находя какой-то свой язык, «язык внутри языка», позволяющий выявить невидимую действительность, которая нас окружает, угнетая или вдохновляя, литература, по моему скромному разумению, сводится к трем вещам: вопросу, протесту, размышлению. Для меня литература не может стать ни декретом, ни доктриной — это ведь скорее «красный свет», загорающийся в сознании читателя (а читатель соучаствует в рождении книги, все мы знаем, что книга не существует, пока ее хоть кто-нибудь не прочтет) и заставляющий читателя, в свою очередь, спрашивать, протестовать, размышлять. В его сознании поселятся теперь сомнения и догадки, согласие или мятеж, а в этом и состоит подлинная миссия литературы.

Литература, на мой взгляд, не претендует ни на что, кроме как объяснять и помогать человеку самому объяснить себе — свою реальность, свою эволюцию, свою судьбу в мире. Поэтому я думаю, что функция литературы в наши дни едва ли отличается от той, которую она выполняла в другие эпохи, хотя, конечно, литература пользуется новыми формулами и формами. Все эти новшества вызваны естественной эволюцией — чисто формальной — жанра, который, как и сама жизнь, если не хочет погибнуть, должен следить за пульсом времени. Но — и это кажется мне самым существенным — всякая эволюция должна быть именно естественной и закономерной, а ни в коем случае не насильственной.

2. Как я уже сказала в ответе на предыдущий вопрос, я считаю, что литература меняется — в своих внешних, то есть технических, аспектах — по мере того, как общество переходит к новым формам жизни. Но эта эволюция очевидна, и я не думаю, что нам нужно пытаться запрограммировать ее a priori.

3. В принципе, функцию писателя можно определить теми же тремя задачами, какими я определила функцию литературы,— это ведь одно и то же. Я думаю, что необходимое условие для писателя — быть настоящим писателем. Настоящий писатель может быть хорошим, плохим, посредственным или сносным. Ненастоящий писатель всегда плох. Настоящий романист — ну и, конечно, талантливый — обязательно создаст «новый» роман, хотя бы и не следуя моде и не используя «новых» технических средств,— просто потому, что он связан с людьми и с проблемами своего времени. Когда меняются времена, меняются и внешние формы не только литературного творчества, но и любого другого труда. Сервантес наверняка бы написал «Дон Кихота» в семидесятых годах XX века другим языком и другими техническими приемами, но его книга от этого не стала бы хуже, чем та, которую он написал в свое время. Потому что Сервантес, прежде чем стараться сделать роман «новым» или «непохожим» на все, что было раньше, старался просто сделать роман. (И мы знаем, что он был человеком, связанным со своим временем, и, следовательно, «новым» человеком.)

Я предполагаю, что если писатель отвечает этим внутренним требованиям, то его язык и техника будут эволюционировать естестеенным и логичным образом, без всякого ущерба для него. Я думаю, что только так и не иначе прокладываются новые пути роману (и вообще искусству). Писатель может впадать в разные грехи, он может ошибаться во многом и даже заблуждаться во всем, но он не может и не должен

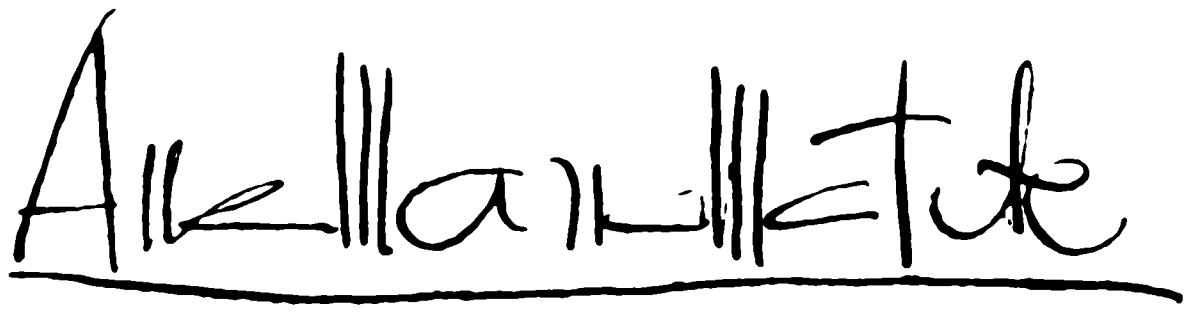
редавать себя. Потому что отсутствие подлинности в писателе — это уже настоящий рофессиональный подлог.

Жизнь, которая выпала ему на долю, агонизирующий, рождающийся и только ще предчувствуемый мир — от этого вряд ли сможет сознательно отвернуться писа-ель. Вот они, перед нами, увиденные сквозь сомнения, а может быть, и сквозь же-ание в чем-то их улучшить. Писателя часто спрашивают, не претендует ли он на то, тобы казаться или даже быть безупречным. Или, по крайности, является ли «при-ерным» его поведение в частной и литературной жизни. Нет, уж, пожалуйста, не удем путать писателя, это вечно сомневающееся и недовольное существо, каков бычно писатель, ни с бродячим проповедником, ни даже с моралистом, ни тем бо-ее с доктринером. В миссию писателя не входит предлагать скорые и непререкае-ые решения или панацеи от всех бед человечества. Писатель-романист просто будо-ажит, потрясает, разоблачает. Что-то разъясняя, он в то же время расширяет и без ого обширное море сомнений. И все же, я думаю, его роль может быть позитив-ой. Ведь роман может проникнуть туда, куда не проникает философия, социология, олитические доктрины. Роман вмещает — может вместить — все. Он может вместить то, что я называю «внутренней книгой», то есть книгой, которую каждый читатель оздает для себя сам в процессе чтения. Писатель и читатель — это неразлучные со-торы произведения, сотрудники в общем деле. Нетрудно понять, что писатель есть более чем просто человек, который спорит и страдает, находясь в постоянном онфликте с миром и с самим собой. Настороженный часовой этой непрерывной суровой революции, он обязан донести свой конфликт — вовсе не частный онфликт — до читателя. Если бы писатель достиг совершенства, если бы он обладал истиной», то ему, наверное, не нужно было бы писать. Подозреваю, то в этом случае ему, как человеку, лучше было бы заняться практической деятель-остью. Но вот потребность думать и заставлять думать, чувствовать и заставлять увствовать, искать и заставлять искать, ничего при этом не навязывая читателю,— вот то, пожалуй, входит в «миссию» романиста или поэта, как я ее понимаю. Неразрыв-о связанный со своим соратником-читателем, он должен снова и снова пытаться раз-ожить, вскрыть все, что кажется привычным или негодным, все, что принимается их ценное или отвергается как вредное. Он должен, повторяю, побудить читателя ысленно написать с в о ю с о б с т в е н н у ю книгу, высказать с в о й протест, в о и сомнения или убеждения. И возможно, более «поучительным» (я употребляю ермин, который мне не нравится) окажется произведение писателя, жестоко и даже аздражающе критикующего все, с чем мирится общество, в котором ему выпало ить,— бесчеловечный мир, сделавший возможным отчаянное одиночество Паскуаля уарте [1], деспотичную пустоту, отъединяющую Мерсо [2], бредовый сплав вины, угры-ний совести и искупления в Раскольникове,— чем преисполненные назидательно-едагогических достоинств какие-нибудь, к примеру, «Образцовые девушки» графини Сегюр. Роман, безжалостно обнажающий грубую человеческую нищету, мораль-ую или материальную, часто обладает куда большей «поучительностью», нежели ико-ические вереницы добрых и злых существ или готовые решения, удобные и легкие, оставляющие читателя, можете в этом не сомневаться, успокоенным и беззаботно равнодушным. Такова ценность протеста, который заключен, безмолвный либо вопи-ий, в книжных строчках. Роман — это отчаянная, или спокойная, или даже холод-ая (зависит от таланта) попытка разорвать туман, скрывающий от нас столь гонимую невидимую действительность», и попытка показать эту действительность при помощи ыка, тоже «невидимого» (то есть ненавязанного), но всеобщего.

Сегодня писателю часто задают вопрос (с добрыми или недобрыми намерения-и, как когда): «Верите ли вы, что литература, в конечном счете писатель, может пособствовать созданию лучшего мира?» Мое замешательство при этом вопросе объ-ясняется личным и боязливым убеждением в том, что такова тайная надежда каждого исателя. Писатель обычно оказывается «неудобным человеком» во всяком обществе, уководствующемся в большей или меньшей степени застывшими, тираническими и конформистскими формулами. Но этот «неудобный человек», вечный бунтарь, тот человек, чье занятие — возмущать, беспокоить, пробуждать, к кому же он бращает свои вопросы, свои отчаянные, не допускающие промедления призывы? ели в наше время из жизни и из литературы изгоняется герой, если мы заменили роя жертвой, то, несомненно, эта жертва должна стать самой неотложной заботой исателя. Но если эта жертва — как часто и бывает — находится в таком положении, то по вполне очевидным причинам не может прочесть и присоединиться к его при-ву, то ведь не к ней должен обращаться писатель. А если его призыв, или во-рос, или недовольстео, или размышление, или протест — одним словом, его Литера-ра — обращены к классу, на котором лежат вина и ответственность, а этот класс ечает писателю мрачным равнодушием (в лучшем случае) или агрессивной нетер-имостью (в худшем случае), то какая же судьба ждет те патетические усилия, кото-ые в глубине души своей каждый писатель отдает построению лучшего мира? Будет действенной работа писателя в таких условиях?.. Этот вопрос я задаю себе каж-

[1] Герой романа Камило Хосе Селы «Семья Паскуаля Дуарте».
[2] Герой повести А. Камю «Посторонний».

дый день. Этого страшного сомнения вкупе с другими бесчисленными сомнениями, составляющими нелегкую профессию писателя,— достаточно ли его, чтобы отказаться от своей профессии? Должны ли мы окончательно убить Литературу и заменить ее кодексами, декретами, доктринами, системами, техническими приборами, пилюлями или компьютерами? Я не чувствую себя обладательницей Абсолютной Истины. Я только знаю, что несмотря ни на что и вопреки всему я писательница и что как писательница я не могу перестать — и не перестану — писать.



ХИРОСИ НОМА (Япония)

НАЗНАЧЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В двух словах совершенно невозможно назвать те области, куда должен обращаться взгляд современной японской литературы. Это чрезвычайно важная проблема. Сейчас я заканчиваю роман «Круг молодежи», и я убежден, что писатели и старшего поколения, и молодые, берясь за перо, испытывают растерянность, наблюдая, как непрерывно меняется социальный облик Японии, и тоже неизбежно задумываются над этой проблемой.

Современность действительно сложна. Основное назначение литературы, это в полной мере относится и к японской литературе, существующей в условиях буржуазного общества,— проникнуть в суть эпохи господства капитализма, выявить коренные противоречия этой эпохи, найти путь их преодоления и воплотить все это в художественном или документальном произведении. В сегодняшней, стремительно меняющейся действительности на плечи писателя Японии ложится эта огромная, трудная задача.

Искусство должно находить новую, неведомую красоту и правду, изображать их и таким путем создавать духовную основу построения будущего. Такова извечная роль искусства. Однако искусство в классовом обществе принадлежит господствующим классам, которые препятствуют тому, чтобы эта красота и эта правда принадлежали угнетенным. Литература, театр, кино, изобразительное искусство монополизируются господствующими классами, в руках которых находятся средства массовой коммуникации. Вот в чем причина загнивания искусства в капиталистическом обществе. Упадок искусства в нынешней Японии дошел сейчас до критической точки, но тем не менее прогрессивные писатели и художники отдают все силы тому, чтобы найти путь, который позволит японскому искусству выйти из создавшегося положения. В капиталистическом обществе выдающиеся писатели и деятели искусств должны иметь ясное представление о методах и средствах господства над искусством со стороны правящих классов, и тогда рано или поздно эта проблема найдет воплощение в их труде.

Многие японские писатели, честные молодые писатели, задумываются над проблемой преступлений, совершенных в годы второй мировой войны старой империалистической Японией, над проблемой личной ответственности за содеянное в годы войны. Им прекрасно известно, что империалистическая Япония, облачившись в новые наряды, совершает агрессию в Азии, и они испытывают гнев и стыд.

Я убежден, что в сегодняшней, беспрерывно меняющейся Японии писатель должен прежде всего задаться вопросом, что означала вторая мировая война, и понять, как империалистические государства двинулись на передел колоний, показать истинную сущность фашизма, потерпевшего крах в попытке уничтожить социалистический Советский Союз, наконец, показать саму эту войну, принесшую смерть множеству людей — и тем, кто боролся с фашизмом, и тем, кто был обманут им и послан на войну. Японские писатели создали большое число произведений, изображающих войну с позиций демократизма, социализма и гуманизма, но и сегодня еще мало произведений, в которых была бы отражена война во всей ее полноте.

Я говорю о литературе, выступающей против войны, об антивоенной литературе — опираясь на эту литературу, японские писатели ведут борьбу против войны во Вьетнаме, и их голос доходит до сердец многих японцев. Когда Америка послала свои войска в Камбоджу, первыми, кто выступил против этого в Японии, были писатели, и их слова проникли в души людей.

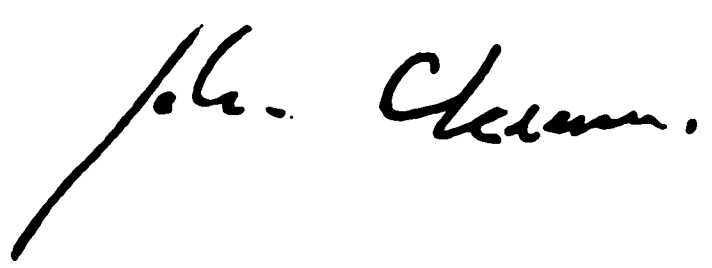
Писатель должен находить новые творческие возможности вторгаться в область, куда еще «не ступала нога человека». Писатель обязан увидеть огромные перемены в обществе за двадцать пять лет после второй мировой войны и понять вместе с тем

что в этом так называемом «обществе благоденствия» происходит множество подлогов, преступлений, психических расстройств, банкротств. Писатель обязан в своих книгах вскрывать все эти противоречия и указать человеку выход из лабиринта высокоразвитого капиталистического общества.

Для этого писатели должны прибегнуть к помощи не одной, а всех наук, охватить своим воображением все общество в целом, обрисовать его всесторонне, показать, что в глубине его таятся огромные силы, рвущиеся к социализму.

ДЖОН ЧИВЕР (США)

Литература, говоря просто, всегда представлялась мне нашей единственной вечной и полезной историей борьбы человека за свою известность.



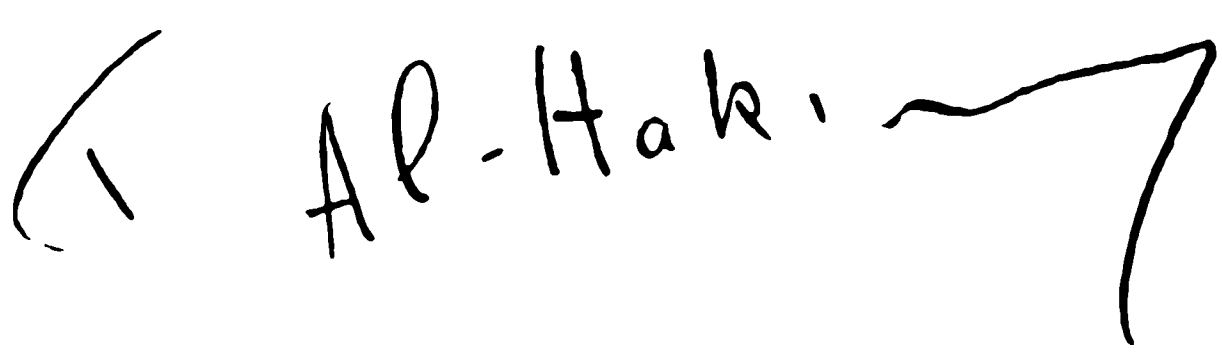
ТАУФИК АЛЬ-ХАКИМ (ОАР)

Искусство есть средство, изобретенное человеком в целях самопознания, чтобы увидеть самого себя и окружающий мир во всех возможных аспектах и во все времена.

Роль литературы в нашем современном обществе состоит в том, чтобы воздействовать на души людей, подготавливая их к миру.

В условиях непрестанно изменяющегося мира литература должна ухватиться за главное, извечное в человеке. Если, к примеру, будущее человечества будет изуродовано господством машин, задача литературы должна состоять в том, чтобы напомнить человеку о его сущности и развить в нем все человеческие задатки — иными словами, гуманность и творческие силы.

Мы живем в эпоху, когда никому не дано отгородиться от современных событий. Более чем кто-либо другой писатели и художники не могут не стать красноречивыми свидетелями своего времени. Существует только одна еще более активная миссия, осуществлению которой могли бы посвятить себя писатели и художники: это побуждать к изменению нашего несчастного, расколотого разрушительными устремлениями мира, чтобы построить другой, основанный на всеобщем благоденствии и не знающий войн.



ЖОРЖ СИМЕНОН (Франция)

Мне трудно дать сколько-нибудь оригинальный ответ на ваш вопрос. В том, что искусство нужно и даже необходимо человеку, сомневаться не приходится. Но почему это так? Должен признаться вам, что в разное время я придерживался разных

мнений на сей предмет, теперь же у меня нет на этот счет определенной точки зрения.

Каждая эпоха была отмечена печатью гения нескольких писателей, скульпторов, музыкантов. Можно ли будет сказать то же самое о нашей эпохе?

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ)

ПРОШЛИ ТЕ СЛАВНЫЕ ВРЕМЕНА

Я думаю, что настало время мерить и оценивать литературу уже не с точки зрения ее изящества, занимательности, увлекательности, приятности или остроумия, ее соответствия эстетическим критериям, но в первую очередь, пожалуй, с точки зрения того, необходима ли она для общества, способствует ли она общественно-политическим переменам или она для него необязательна.

Я хочу этим сказать, что литература, которая уходит в эстетство и формализм, которая критически не анализирует происходящих в обществе процессов, не помогает их понять, не раскрывает наглядно систему принуждения и репрессий,— такая литература ведет лишь к затушевыванию, к ослаблению общественно-политических связей.

Современная литература, которая имеет дело с быстро меняющимся миром, миром техницизма и науки, а стало быть, и с миром обезличивания, как раз и должна выявить суть этого обезличивания, осветить скрытые причины и связи, помочь людям осознать происходящее.

Сегодняшний писатель — я говорю сейчас лишь о капиталистическом обществе, в котором живу,— должен прежде всего стать рупором тех, кто не обучен и не умеет сам как следует сказать о себе,— то есть тех социально зависимых слоев, которые подвержены угрозам и давлению, тех, кого страх потерять работу и заработок держит в подчинении и зависимости, так что они превращаются в беспомощную массу, которую даже можно убедить, что только война явится для них актом освобождения.

Молодое поколение у нас справедливо утверждает, что наша литература буржуазна, что эта буржуазная литература срослась с обществом и, невзирая на всю критику, в конечном счете помогает системе эксплуатации; добавляю, что наша литература академична, книги пишут люди с университетским образованием для узкого круга посвященных, они сами же их и читают, и критикуют, так что для широких кругов народа литература оказывается чем-то экзотическим, чем могут позволить себе заниматься лишь те, у кого есть на это свободное время. Когда многие писатели нынче жалуются, что народ их не читает, то причину надо искать не столько в народе, сколько в самих авторах, которые видят non plus ultra[1] литературы исключительно в обсуждении своих частных проблем.

В том, что литература остается беззубой — в лучшем случае слегка неудобной,— повинны также и критики, чья задача — анализировать, интерпретировать произведения; они живут большей частью представлениями XIX столетия, они без конца обсуждают книги в основном с точки зрения эстетики, формы, но не с точки зрения содержания; они не могут поставить в центре своего анализа содержание уже потому, что литература все больше сосредоточивается на замкнутом круге событий и из этой замкнутости исходит. В суть предмета они не могут углубиться и потому, что предмета не знают, их инструмент — язык, и они судят исключительно о языке автора а не о том, что он сказал и выразил.

Разумеется, это лишает любое высказывание писателя остроты и действенности.

Когда говоришь о сегодняшней литературе, поневоле приходится вести речь и о литературной критике. В журналах и газетах литературе отводится специальное место — называется это отдел литературы или культуры; со страницами, посвященными политике, общественной жизни, хозяйству или науке, литература связана редко или вовсе не связана. Литературе указана этакая лужайка, где она может делать и позволять себе все, что заблагорассудится, покуда это не мешает власть имущим и не затрагивает прибылей заинтересованных групп.

Я считаю, что художнику ни сейчас, ни в будущем недостаточно лишь писать, от него требуется личное участие, а это значит, что он должен сам выйти к людям,

[1] Высший смысл *(лат.)*.

скажем, для чтения, для дискуссий, это значит, что он не молчит во время политических событий, что в особо напряженных ситуациях он поддерживает тех, кого я выше назвал зависящей от зарплаты массой, просвещая их, помогая при забастовках, демонстрациях, при открытых выступлениях, даже сам становится инициатором таких выступлений, если он убежден, что где-то вопиющим образом ущемляется человеческое достоинство, что прибыль ставится выше общественного блага, как это случается в капиталистическом обществе сплошь и рядом.

Молодое поколение мерит и судит сегодня писателя уже не по тому только, как он пишет, но прежде всего по тому, что он пишет. И не только по написанному им, но и по тому, какую он лично занимает общественную позицию, живет ли он сам тем, что пишет; «как» оценивается в зависимости опять же от того, понимает ли его только узкий круг посвященных или написанное им поможет тем, для кого оно предназначено, найти свой лагерь, сделать выводы и уяснить последствия. Критерием становится его личная позиция, но уже не область эстетики.

У нас часто говорят, что это означает пролетаризацию литературы. Пролетаризация — раздражающее слово, ценность такой литературы, само собой разумеется, заранее снижается.

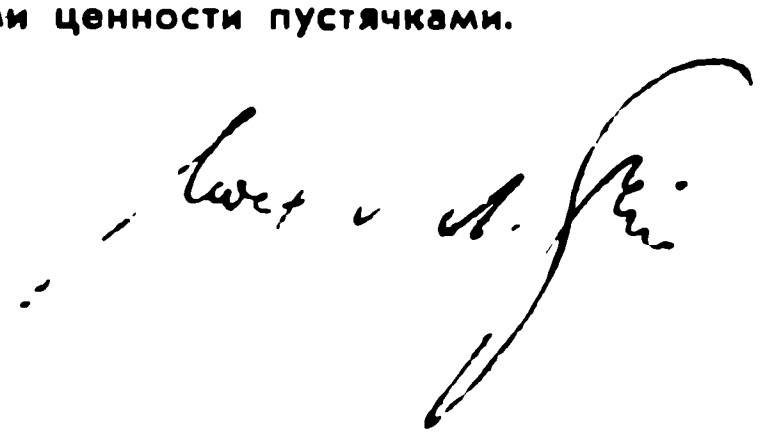
Я твердо убежден, что литература — в более широком смысле это относится и к кино, и к телевидению, и к театру — лишь тогда имеет, будет иметь шансы на будущее, если она перестанет замыкаться в личном «я», если в центре ее внимания окажется уже не проблема одиночки, но если она спросит себя, является ли проблема этого одиночки проблемой поколения или определенного социального слоя, если литература постарается высказать то, что не умеет выразить основная масса, если она будет стремиться просвещать.

Время просветительства не прошло, оно только начинается. У нас считается литературным преступлением, если автор всего лишь рассказывает простую историю, использует для этой истории повседневный язык; критики тут начинают толковать об употреблении клише и не замечают, что они сами штампуют клише сплошь и рядом. Им приходится так говорить, поскольку сами они вряд ли имеют понятие о том, как в действительности говорит сталелитейщик, подметальщик улиц или трамвайный кондуктор. Они усвоили свой эстетский язык, занимаются тем, что культивируют этот язык, и не желают видеть — вероятно, потому, что это лишит их занятия,— как они и здесь помогают напустить тумана, а значит, вредят тому классу, который меньшинство эксплуатирует ради увеличения своих собственных доходов.

Такие писатели становятся верными слугами власть имущих, становятся подспорьем для тех, кто защищает определенные интересы. Так проституируется литература.

Литература будущего, если она не хочет существовать в изоляции и прозябать в бездействии, пользуясь видимостью шутовской свободы, будет литературой политической, литературой просветительской, срывающей покровы; критерии ее будут основываться уже не на одних требованиях эстетики, а на том, что писатель говорит... Литература будущего должна избавиться от своих элитарных претензий, она должна пройти процесс пролетаризации, если хочет, чтоб ей еще верили. Пусть писатель оглядывается не на то, что станут писать и говорить о его произведении профессиональные критики, а только на то, содействует ли он преобразованию общества в духе гуманизма.

Время ничему не обязывающих занятий прошло. Кто этого не понимает, тот занимается литературным рукодельем, лишенными ценности пустячками.



(Продолжение следует)

Публицистика

НОРМАН МЕЙЛЕР

МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

Отрывки из книги

Перевод с английского **МИХ. БРУКА**

Вступление **С. ВИШНЕВСКОГО**

Почти каждая новая книга Нормана Мейлера — одного из самых видных современных писателей США — воспринимается как «хэппенинг» (событие) в американской литературной жизни. Творческая биография его складывалась далеко не гладко: после романа «Нагие и мертвые», одного из лучших произведений американской литературы о годах второй мировой войны, принесшего ему мировую известность,— книги, перенасыщенные психопатологическими, натуралистическими элементами (вроде «Американской мечты»), а потом — новый скачок — большая гражданская антивоенная тематика, жанр боевой публицистики. Он становится признанным летописцем маршей протеста против вьетнамской войны, массово-демократических выступлений. Публицистические произведения Мейлера по праву считаются наиболее значимыми и популярными книгами в Америке последнего периода.

В книге «Майами и осада Чикаго», с отрывками из которой мы знакомим читателей, достоверно и живо описаны бурные месяцы избирательной кампании 1968 года. Это — не просто репортаж о предвыборных съездах республиканской и демократической партий. Наблюдательный глаз автора пытается проникнуть за кулисы политического цирка, рассмотреть механизм «продажи кандидатов» избирателям. Его наблюдения нелицеприятны и бескомпромиссны — и в конечном счете беспощадно разоблачают процесс предвыборной «демократии».

У советского читателя книги Нормана Мейлера появится редкая возможность увидеть жизненно правдивые портреты известных американских деятелей — Никсона и Ригана, Рокфеллера и Хэмфри. Эти портреты не делают чести реакционным деятелям, они показывают «интимный» облик нынешней правящей элиты Вашингтона так, как этого не можем сделать мы, советские журналисты, придерживающиеся правила «не затрагивать личностей».

Читатель становится свидетелем эпизодов «кровавой бани» в Чикаго 1968 года, где американская «демократия» покрыла себя несмываемым позором. Я прочитал множество репортажей о чикагских событиях, но никто не показал трагизма этих событий так выпукло и зло, как Норман Мейлер.

Книги Нормана Мейлера не случайно были внесены в «черный список» Информационного агентства США (ЮСИА). Не потому ли, что острокритический взгляд Мейлера на американское общество колеблет пропагандистские версии империализма?

Никсон в Майами

Майами-Бич, 3—9 августа 1968 года.

В 1915 году перерезали ленточку, вылетела, хлопнув, пробка от шампанского — родился Майами-Бич. Скромный островной поселок стал городом. Остров — на девять десятых тропические заросли — тянулся вдоль побережья, от молодого в ту пору города Майами его отделяла бухта Бискейн. В 1868 году, когда Генри Лам впер

вые увидел остров с борта шхуны, место здесь, будьте уверены, было самое дикое: кокосовые пальмы на песке, у воды мангровые заросли на болотах, карликовые пальмы в трех метрах от берега.

Но к 1915 году остров уже стал золотым дном. Джон С Коллинз, садовод из Нью-Джерси (его именем любезно названа одна из улиц), создал плантации бобовых и авокадо; некто Карл Фишер, миллионер из Индианы (изобретатель престолита), купил у Коллинза большие участки, доставил машины, рабочих и даже двух слонов, расчистил заросли, засыпал болота, слепил островки для жилья из поднятых со дна залива камней и песка, а естественные островки, побольше и поближе к главному острову, благоустроил: замостил улицы, построил тротуары и прочее. Так что в 1968 году, через сто лет после того, как Лам увидел берег, значительная часть береговой полосы спряталась под асфальтом и белыми домами — роскошными белыми отелями и оштукатуренными белыми «клоповниками». Сперва сотни, а затем и тысячи акров бывших зарослей превратились в улицы — землю скрыли мостовые, белые тротуары, белые дома. Словно изо дня в день в течение полсотни лет слой за слоем наклеивали клейкую ленту на буйную шевелюру. И наследие выкорчеванных, некогда буйных зарослей нависло над городом Майами-Бич ядовитой влажной жарой. Призраки загубленной растительности испускали под асфальтом беззвучные стоны, и они поднимались вверх проклятием тропиков — свинцовой невидимой испариной, которая исходила от самой земли, просачиваясь сквозь спекшийся асфальт, и вместе с горячим воздухом заползала в легкие, словно рука в резиновую перчатку...

■

На десять миль от «Дипломата» до «Ди Лидо» вдоль бульвара Халлаидейл-Бич до пристани Линкольна тянутся белые дома-холодильники по шесть, и восемь, и двенадцать, и двадцать этажей, дома как сахарные головы и дома как вздыбленные формочки для льда, дома-мечети, дома-дворцы, дома — наборы белых чемоданов, дома — портативные радиоприемники, тумбы стереодинамиков, пластмассовые пудреницы и пластмассовые кольца, мавританские замки в форме электрических вафельниц или защитных белых пластин на электрическом камине, здания, похожие на гигантские полотна оп- и поп-искусства, или на свадебные торты, или на рулоны белой хлопчатобумажной ткани. На десять миль по набережной вдоль Коллинз-авеню протянулись отели для делегатов.

Реки безвкусицы, извиваясь, впадают в дельту вестибюля в каждом отеле Майами-Бич, и нет ни одного зала, который не был бы похож на фойе кинотеатра — имитацию позднеренессансных подделок под греческое и римское искусство, подделок под барокко, или рококо, или бордели викторианской эпохи. Золотые виноградные гроздь и рога изобилия в современной бронзе кресел, золотая лепка карнизов, которая, словно плющ, вьется из комнаты в комнату, люстры, сложные, как арматура динамо-машины, лестница без острых углов в форме амебы или палитры, бары и салоны для коктейлей глубокого розового или коричневого тона, с потолками в причудливых узорах штукатурки. Все цвета радуги, все оттенки вульгарности и богатой безвкусицы, опиумный притон для долларов средних классов, материальный, как мясо, как пот, как сигара.

Это был первый любопытный факт из сотни других: в тот год, когда республика оказалась на грани революции и нигилизма, когда полчища полицейских вытянулись до горизонта, а в наших городах разыгрывались будущие Вьетнамы,— партия консерватизма и принципа, корпоративного богатства и индивидуальной скаредности, партия чистоты, гигиены и сбалансированного бюджета обосновалась именно тут, среди этого султанского великолепия.

Это был первый любопытный факт из сотен других, но к нему примешивалось и множество тайн. Репортер тихо пробирался через зал конгресса, стараясь остаться незаметным, и настроение у него было тяжелое, мрачное, нервное. Среди республиканцев происходило что-то, чего он не мог определить и не знал, хорошо оно или плохо,— впервые значительное общественное событие — этот съезд — так сбивало его с толку. А ведь он писал о многих съездах. Демократический съезд 1960 года в Лос-Анджелесе, объявивший кандидатом в президенты Джона Кеннеди, и республиканский съезд в Сан-Франциско в 1964 году, когда был выдвинут Барри Голдуотер, послужили материалом для лучших его произведений. Он считал, что обладает даром понимать эти съезды. Но съезд республиканцев в Майами-Бич в 1968 году был чем-то совсем другим: нельзя было понять, происходят ли серьезные вещи или, наоборот, на поверхности ничего не происходит, но зато в глубине идет кипучая деятельность. Разговоры с другими журналистами только навели на него уныние — все единодушно жаловались, что не помнят такого скучного съезда. Эти жалобы отвлекали его от сумрачных раздумий над загадками консерватизма и республиканизма и от надежды распознать, что кроется за ними,— страна билась в судорогах, которые словно вещали о конце света. Романист Джон Апдайк, возможно, и не был любимым писателем репортера, но после убийства Роберта Ф. Кеннеди именно Апдайк сказал, что бог, возможно, лишил Америку своего благословения. Мысль эту нельзя забыть, так как она позволяет проникнуть в планы Сатаны и его политических подручных: левых демонов — белых и черных, которые сделали все возможное, чтобы воспламенить консервативное сердце Америки, в то время как правые дьяволы мучили черных и

заставляли левое крыло и либеральную середину черпать гордость в беспомощности своего положения. А страна ревела, словно раненый бык задыхалась от кашля, словно больные легкие в клубах смога, и металась во сне от рева мотоциклов, дрожала от ужаса, сознавая необходимость новых фаланг правопорядка. Но где же были фаланги, которым можно доверять? Репортер видел слишком много полицейских, чтобы доверить им покой своего сна. Даже напитки в Майами имели дурной вкус в этой жаре и в этом холоде.

■

Свой первый день в Майами-Бич репортер провел в зале заседаний съезда. Он поднялся на трибуну, заглянул в помещение позади трибуны, где ораторам предстояло ждать своей очереди и куда после открытия съезда вход журналистам будет запрещен. Это помещение било все рекорды казенного уныния. Бутылочно-зеленые кресла и диваны, невзрачный серо-голубой ковер, стены, обитые оргалитом с торчащими шляпками гвоздей, стулья, обитые бежевой и коричневой искусственной кожей, скучная скатерть на столе. И каждый тусклый цвет кричаще дисгармонировал с прочими тусклыми цветами — в такой комнате следовало бы играть в бридж старичкам в летнем лагере, где-нибудь среди пыльных равнин одного из внутренних штатов. И вот тут-то, готовясь к выступлению, будут ждать некоторые из наиболее честолюбивых людей Америки и некоторые из самых знаменитых; здесь будут просматривать тексты своих речей Джон Уэйн, Барри Голдуотер, Джон Линдсей, Томас Дьюи, Рональд Риган, губернатор Рокфеллер, Джордж Ромни, сам Ричард Никсон и, уж конечно, Билли Грэхем. Все они пройдут через великолепие этой воистину американской комнаты ожидания. Все осмотрев, репортер внезапно решил, что он все-таки поедет в аэропорт встречать слоненка, которого должен был доставить грузовой самолет в дар Ричарду Никсону от жителей Анахайма, штат Калифорния. Пожалуй, это будет подходящий способ начать репортаж о съезде.

■

Политического деятеля интервьюировать практически бесполезно, если, конечно, не знаешь его хорошо или если этому не предшествовала солидная подготовка. Ум политического деятеля настроен на политические вопросы. К тому времени, когда он решает выставить свою кандидатуру в президенты, он уже ответил на миллион таких вопросов. В том случае, конечно, если он занимается политикой двадцать лет и отвечает в среднем на сто пятьдесят таких вопросов в день — цифра довольно обычная Опытного политика так же трудно подловить на вопросе, как ударить профессионального боксера. Вот почему интервью с кандидатом дает так мало. Зубы его сверкают белизной, манеры обворожительны, а суметь не ответить на вопрос так же просто для его челюстей, как откусить кусок мяса. Проинтервьюировать кандидата в президенты — это почти то же, что смотреть его выступление по телевизору — разница невелика. Поэтому иногда бывает легче понять подоплеку его избирательной кампании, изучая, казалось бы, побочные явления. Вот почему репортер отправился встречать слона.

Как и следовало ожидать, обставлено все было скромно. В тихом уголке международного аэропорта Майами собралось не больше десятка репортеров и дюжины фотокорреспондентов. Здесь же был оркестр и кворум никсонеток в голубых платьях и белых соломенных шляпах, на которах было написано: «Никсон — наш кандидат». Раздали листочки, в которых прессу информировали о том, что животное зовут Ана (в честь Анахайма, штат Калифорния), что его высота равна 52 дюймам, возраст — два с половиной года, вес 1266 фунтов и что оно подарено Никсону счастливыми обитателями города Ана!

Ана прилетела на самолете «локхид-100», четырехмоторном гиппопотаме с четырехлопастными пропеллерами. Грузовой отсек расположен в хвосте, и как только музыканты — Дон Гольди и его Южный оркестр, белые музыканты из отеля «Майами-Хилтон» (аккордеон, труба, тромбон, кларнет, банджо и рожок) — приялись играть, шесть никсонеток начали выбивать чечетку (по виду это были школьницы старших классов), а самолет собрались разгружать, черная туча заволокла небо и хлынул такой тропический ливень, что даже фоторепортерам пришлось спрятаться. И вот никсонетки, кинооператоры, фотокорреспонденты и погонщики слона забились в небольшой автоприцеп, предназначенный для перевозки слона. Внутри фургона стояла влажная духота, и день сразу приобрел изящный оттенок сюрреалистичности: две дюжины любителей и профессионалов, собравшиеся здесь ради одного слоненка (говорили, что слоненок прибудет в балетной пачке), в общем и целом по логике вещей были равны одному политическому съезду; когда дождь через пять минут прекратился, и клетку со слоном вынули из самолета, и она повисла на крюке автопогрузчика, и ее поставили около прицепа и открыли, все громогласно приветствовали Ану, которая вышла из клетки нервной походкой, но грациозно. Она быстро оглядела окружавших ее корреспондентов и кинокамеры, ступила на все еще влажный, дымящийся испарениями асфальт, лукаво взглянула на своего провожатого, уронила на землю небольшую лепешку, чтобы отметить место своего освобождения из плена (а также в качестве отметки — в том случае, если ей захочется вернуться тем же путем), затем сделала настоящую республиканскую стойку, изящно выгнув хобот. Представители прессы испустили одобрительные возгласы, никсонетки завизжали, оркестр Дона Гольди заиграл «Мой Юг», фотоаппараты защелкали, кинокамеры застрекотали на полную мощь, полицейские

ухмылялись (четверо, вооруженных до убов). Затем Ана из Анахайма встала на адние ноги. Полное одобрение. Она сде-ала реверанс, поклонилась и повернулась округ собственной оси, явно довольная обой.

Так продолжалось некоторое время, ник-онетки фотографировались, и одна из них (непохожая на школьницу, скорее всего рофессиональная манекенщица) каждый аз умело оказывалась в объективе. Ник-онетки пытались нахлобучить соломенную ляпу с именем Никсона на Ану, но она се падала и падала. Минут через десять огонщики попытались уговорить Ану вой-и в фургон, но она не пожелала, тогда они овели ее гулять вокруг ангара, а потом апихнули 1200 фунтов ее тела в прицеп, рименив какой-то свой тайный прием. Це-емония закончилась.

Это было приятно — по правде говоря, ораздо приятней, чем ожидал репортер. тмосфера царила самая дружеская, не-мотря на присутствие четырех вооружен-ых полицейских. В какой-то степени это ыло предупреждением о силе Никсона, о ом, что люди Никсона располагали улов-ками, о которых репортер и не подозревал. Это было первым признаком, что появился овый Никсон. Можно было прочитать де-ятки статей, которые подчеркивали одно и о же, и не обратить внимания на них, по-ому что люди, которые их писали, были пециалистами и ошибались так же часто, ак оказывались правы. На специалистов ожно не обращать внимания, если это дастся, но вот Ана явно была счастлива, делав стойку: этот неожиданный факт еще редстояло пропустить через жернова вос-риятия. С другой стороны, пользуясь тем е методом, репортер однажды решил, что Барри Голдуотер может выиграть избира-ельную кампанию 1964 года. Тут метод ерешел в свою противоположность. И все е счастливый слон предвещал удачу Ник-ону и уж во всяком случае гладкий ход ампании.

■

Рокфеллер прилетел в аэропорт Опа-Ло-а на следующий день, и хлынул ливень. Перед дождем небо над Майами бывало рекрасным—кучевые облака громоздились руг на друга, превращались в башни, пи-рамиды, башенки и отели Майами-Бич, вознесенные на две мили в воздух, а чер-ые горизонтальные полосы приближающе-ося тропического ливня рассекали небо, ересекали солнце, расцвечивали золо-ом и чернью облачные башни.

Возможно, сто или сто пятьдесят жур-алистов, операторов и фотокорреспонден-ов толпились у главного ангара, где сто-л автобус прессы в дальнем конце почти устого аэродрома, а над их головами, в изко нависшем небе патрулировали легкие амолеты и вертолеты, и четыре-пять поли-ейских машин настороженно ждали непо-алеку от толпы. У ворот репортеру не ришлось предъявлять удостоверения лич-ности, и теперь у него тоже никто не спро-сил пропуск; потенциальный убийца, кото-рому сообщили бы заранее, что Рокфеллер прибудет в Опа-Лока, мог бы спокойно по-дойти к нему вплотную — после, конечно, скрыться ему не удалось бы. Если бы он ухитрился прорваться мимо двадцати с лишним полицейских, то вертолеты просле-дили бы его машину до самого Майами и, возможно, остановили бы его сверху на внадуке Артура Годфри. Словно куски пло-ти, взлетевшие в воздух от разрыва гра-наты, эхо ужаса, рожденное убийством Кеннеди, отдавалось повсюду: над головой кружили вертолеты, федеральные полицей-ские с автоматами, в металлических шле-мах, полицейские машины, мотоциклы — и никакой реальной защиты, только обеща-ние возмездия. Поневоле проникаешься по-чтением к главным политическим фигурам страны, даже если они совсем бесцвет-ные,— всех их одел особый ореол с тех пор, как стало ясно, что внезапная смерть подстерегает их даже чаще, чем тореадо-ров, а потому они вызывают что-то вроде того боязливого благоговения, которое ис-пытывают крестьяне при появлении еписко-па: одни бегут его потрогать, другие гото-вы вот-вот упасть на колени. Так, по край-ней мере, встречала Рокфеллера пресса. Не успел он сойти на землю, как его окружи-ли и больше не оставляли в покое. Журна-листы и фотокорреспонденты сомкнулись вокруг него пятью плотными кольцами, и операторы держали камеры высоко над го-ловой, нацеливаясь наугад, но благодаря долгому опыту совершенно точно, так что издали можно было сразу определить, где находится кандидат, полумесяц камер устремлялся к общему центру, точно водо-росли, поднимающиеся к поверхности во время прилива, или, вернее, как богомолы, забравшиеся на высокие травинки. Мета-фор хоть отбавляй.

Рокки сошел с самолета со своей свитой и женой. Она оказалась на удивленне при-влекательной, великолепный цвет лица де-лал ее несравненно более красивой, чем она выглядела на фотографиях. В отличие от Рокки, который в жизни выглядел го-раздо хуже, потому что его кожа была се-рой, серой, как нью-йоркские мостовые, се-рой, как у старого шулера; солнце, должно быть, не касалось его в течение всего ме-сяца, а может быть, вся боевая кровь серд-ца отлила в глубины мозга, трудясь над тревожными расчетами, с которыми он, на-верное, приехал в Майами, ибо Никсон по-лучил 600 с лишним голосов, и теперь от выдвижения его отделяло лишь несколько, может быть, десяток, в крайнем случае — всего пятьдесят голосов. И тревогу, долж-но быть, вызывала каждая мелочь: погода, первое незнакомое лицо, которое видишь у трапа самолета, неожиданно пролетевшая птица, истовость, с какой полицейский от-дает честь, или энтузиазм журналистов.

Но если бы это было все, что необхо

НОРМАН МЕЙЛЕР
МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

димо для избрания, он был бы давно избран. Пресса совершенно очевидно отдала бы ему почти все свои голоса, а телевидение — все. Между Рокфеллером и этим средством массовой информации существовала такая общность «химических потенциалов», точно они были созданы друг для друга. Если бы не цвет лица, Рокки с точки зрения внешности был бы идеальным президентом: мужественные, приятные, рубленные топором черты простого человека и все же в чем-то непростого — лицо младшего брата Спенсера Трейси, посвятившего себя политике. У него был лишь один недостаток — странный и неприятный рот, рот сома, широкий, неестественно широкий с очень тонкими губами. В центре этого рта, казалось, живет еще один рот, который говорит, шевеля более толстыми губами, а щелочки уголков основного рта тем временем жили собственной жизнью и не имели к центру никакого отношения. В результате Рокки производил впечатление человека, который получил от советников наставление, каких слов от него ждут, и потому привел в движение лишь середину рта.

Ливень, который было разразился, а потом, к счастью, перестал, опять взялся за свое, и Рокфеллеру удалось выскользнуть из плотного кольца корреспондентов после того, как он ответил еще на полсотни из миллиона политических вопросов, приходящихся на всю его жизнь. И вот уже автобус прессы и автомобили понеслись наперегонки через Майами, к 72-й улице, выходящей на пляж Майами-Бич, туда, где должен был состояться гигантский митинг. Вертолеты в небе двигались с боков процессии, точно ковбои, гонящие стадо. От Опа-Лока до назначенного места миль десять, и уже тридцать минут спустя Рокки под грохот оркестра и звон цимбал прошел полквартала через толпу на 72-й улице и Коллинз-авеню. Прошел, окунувшись в толпу, взвинчивая себя и ее,— толпу несколько странную, если вспомнить, что дело шло о политике, потому что толпа эта щеголяла в купальных костюмах, бикини, купальных халатах, плавках, бумажных платьях, прозрачных рубашках, попирая мостовую босыми ногами, ногами просто в сандалиях и сандалиях на деревянной подметке. Купальщики кричали, перекликались, стояли в очереди за пепси-колой. Добродушная толпа, но не слишком возбужденная, ведь митинг происходил у самого пляжа, и свинцовое молочно-зеленое море прихотливо и нервно бросало пену на берег всего лишь в пятидесяти ярдах отсюда.

Рокки шел в своем серо-коричневом деловом костюме, а повсюду слышался шепот: «Вот идет следующий президент Соединенных Штатов». Но толпа была не настолько велика, чтобы служить подтверждением, и слагалась она скорее из туристов, чем из республиканцев. Эти голоса он, быть может, получит, если его выдвинут. Так он шел через толпу, пожимая руки, бросая направо и налево короткое «Привет, привет», и его рот раздвигался в улыбку при криках «Мы хотим Рокки»; но тут высокий худой негр лет тридцати выскочил вперед, чтобы пожать ему руку, а свободной рукой обзавестись сувениром, и выдернул красный платок из нагрудного кармана Роккн., Рокфеллер показал себя истинным республиканцем. Краткая секунда замешательства — покушение?

Но платок в руке негра поставил все на свое место. Рокки сделал шаг вперед, выхватил платок, укоризненно посмотрел на негра, точно говоря «Ну-ну!» — и тут же разгоряченная, счастливая истеричка туристка выхватила у него из того же кармана картонные солнечные очки, но с ней он, конечно, не мог вступить в борьбу. Отвоевав платок и отдав очки, он взобрался на трибуну — в кузов грузовика с опущенными бортами,— и митинг начался. «Нью-Йорк таймс» потом сообщит, что на нем присутствовало три тысячи человек, и, возможно, половина этого числа там набралась бы. Все, что он говорил, встречалось криками одобрения тех, кто мог его расслышать.

«Для нас, нью-йоркцев, большое удовольствие быть здесь, во Флориде,— сказал он,— а ведь половина из вас наверняка из Нью-Йорка».

Раздался смех, показавший, что он не ошибся.

Половина слушающих его была из Нью-Йорка. Ну, он был искушен в ведении политических кампаний и продолжал, беря быка за все его рога:

«Республиканская партия должна снова стать национальной партией, голосом бедных и угнетенных».

Крики одобрения, довольно внушительные, если учесть размер толпы.

«Республиканская партия не может дольше позволять себе келейности».

Крики одобрения, уже не столь громкие, и некоторое замешательство в толпе. Слово «келейность» имело какую-то смутную связь с католическими учебными заведениями. Голос у Рокки прекрасный, доверительный, как у Трейси и Богарта, с обертонами Кларка Гейбла. Когда сверхбогачи отказываются от патрицианского применения голосовых связок (а другого выхода у них нет, если они хотят заниматься политикой) и решают говорить, как рубахи-парни, чернорабочие или фермеры, они волей-неволей подражают некогда любимым кинозвездам. Можно, например, биться об заклад, что любимым актером Рокки был Спенсер Трейси, которого он наверняка взял бы себе в вице-президенты, если бы выборы происходили на небесах. Это был честный голос, искренний, мужественный, звучный, с легкой хрипотцой, с честной ковбойской силой и честной нью-йоркской горловой тональностью. Это был почти идеальный кандидатский голос, и неясным оставалось одно: ему ли принадлежал этот голос или, подобно тому, как центр его рта функционировал независимо от уголков, он возник только для ведения этой кампании.

«И раз уж мы заговорили на эту тему,— сказал Рокки, показывая, что переходы ему не очень удаются,— то сенатор Маккарти заслуживает хвалы потому, что он снова вовлек в политику восемнадцатилетних. (Неужели этот же самый Рокфеллер однажды пытался навязать атомные бомбоубежища всем жителям пригородов?) И когда я стану президентом, я предложу законопроект, разрешающий голосовать восемнадцатилетним».

Громкие крики одобрения. В толпе были и восемнадцатилетние. Все получали удовольствие от выступления Рокки.

«Я предлагаю выбор,— сказал Рокки,— этот выбор — победа в ноябре... победа на четыре года».

«На восемь лет!»—крикнул кто-то в толпе.

«Я не буду торговаться,— сказал Рокки с ухмылкой. Но затем центр его рта не смог растянуться достаточно широко, и, чувствуя поражение, он сухо добавил: — Тот, кто это сказал, наверное, из Нью-Йорка».

Митинг кончился, и черные тучи минут на десять заволокли солнце и скрыли белые кучевые облака. Начался тропический ливень, когда вода пытается пробить асфальт, добраться до спрятанных под ним джунглей. Все разбежались, одетые — с некоторым опозданием. Ливень усилился. Рокки и его свиту смыло с грузовика.

■

В тот вечер в Фонтенбло, за день до начала съезда, республиканцы устроили банкет, на который не пригласили прессу, но репортеру повезло, и он попал на прием одним из первых. Полиции собралось много, меры безопасности были приняты самые строгие, так как среди гостей находились наиболее известные лидеры республиканцев. Однако, прохаживаясь в вестибюле, репортер вдруг заметил, что следует в кильватере губернатора Ригана, который под надзором агентов тайной полиции двигался сквозь толпу к дверям банкетного зала. Те, кто уступал дорогу губернатору, считали, что репортер — агент в штатском, оберегающий его превосходительство с тыла. И вот, то сдвигая брови, то сжимая губы, изображая на своей физиономии озабоченность безопасностью губернатора, репортер, с надменным пренебрежением офицера секретной полиции к пригласительным билетам, миновал все кордоны и успел одновременно насладиться лицезрением того, как губернатор Риган и его супруга, одетые в соответствии с требованиями момента, улыбались, пожимали руки. И все это — оживленно, напряженно, по-птичьи любезно, без особой привычки к славе, желая как можно быстрее пройти сквозь толпу, никого не обидев и чувствуя себя в толпе неуютно (как большинство политических деятелей) после того памятного июньского вечера в Лос-Анджелесе. Репортер обнаружил, как и следовало ожидать, что мистер и миссис Риган очень похожи на актера и актрису в ролях губернатора и его супруги. Тем не менее Риган все время тревожно подбирал живот, словно его солнечное сплетение было очень чувствительно и даже от легкого удара он распластался бы на полу, как рыба.

Очутившись в банкетном зале, репортер обнаружил, что губернатор прибыл одним из первых. Это усложняло ситуацию, так как затеряться среди еще не появившихся гостей было нельзя — ничего, кроме 240 пустых столов с приборами на две тысячи приглашенных, которые находились еще в пути, в зале не было. Укрыться репортеру было негде, разве что за апельсиновыми деревцами в деревянных кадках (апельсины были привязаны к веткам зеленой проволокой), а потому — поскольку служба безопасности могла впасть в маниакальную ярость, обнаружив его на столь раннем этапе,— он был вынужден занять позицию в двадцати футах от двери, расставить ноги, заложить руки за спину и сверлить глазами всех, кто входил в дверь. Любой офицер службы безопасности, посмотрев на репортера в такой позе, неизбежно должен был прийти к выводу, что перед ним сотрудник еще одной службы безопасности. Как бы то ни было, но репортера никто не потревожил, и следующие тридцать минут он наблюдал тысячу республиканцев, входивших в дверь, у которой он стоял, вторая же тысяча текла в банкетный зал через дверь у него за спиной.

Толпа эта представляла не только элиту республиканской партии. Какие-нибудь бедные делегаты присутствовали тут в качестве гостей, а другие, возможно, предпочли именно теперь внести свою ежегодную тысячу долларов (муж и жена, 500 долларов куверт), а не откладывать этого взноса в партийный фонд до другого раза. И действительно многие входившие республиканцы отличались скромным костюмом и чиной солидностью. Некоторые женщины походили на библиотекарш и учительниц, а судя по виду некоторых пожилых мужчин, для них это был единственный праздник за весь год. В целом, конечно, эти гости не могли бы блеском потягаться с публикой, которая в день премьеры заполняет зал «Метрополитен-опера». Нет, этих благовоспитанных участников подписного банкета осеняла главным образом скромность.

Однако, если оставить в стороне вышеуказанные исключения, ядро гостей составляла все-таки тысяча богатейших республиканцев страны. Здесь, в этих легионах, связанных между собой невидимыми нитями, воплощались сила и влияние американских корпораций. И, конечно, репортер стал жертвой собственного невежества, так как из этой тысячи, кроме кандидатов, политических деятелей и лиц, которые постоянно мелькают на страницах газет и на экранах телевизоров, он не узнал и десяти человек. И тем не менее они были здесь — экономическая сила Америки (в той мере,

в какой экономическая сила остается частной, а не общественной), семейная сила (поскольку положение в обществе все еще важно для средних и честолюбивых американцев), военная сила (поскольку тут присутствовали сановные бряцатели оружием или патриоты, а также служащие корпораций, не связанных с Пентагоном), даже духовная сила Америки присутствовала здесь (ровно настолько, насколько ее воплощают пуританизм, кальвинизм, консерватизм и гольф). Да, пока существует американская вера, мистическая вера в то, что Америка это не просто сумма всех избирательных участков, триллионов долларов и миллиардов акров земли, созвездия фабрик и заводов, сети коммуникаций, гигантской финансовой системы, героики спорта, чудодейственной медицины, гигиены и церкви, пока существует вера в то что Америка куда больше, чем все эти компоненты, вера в то, что Америка — это последний оплот мира и сад божий, пока эта мистическая вера жива в каждой христианской американской семье, до тех пор эти люди, входящие в банкетный зал, хотят они того или нет, остаются столпами этой веры, которую никто из них четко не формулировал, разве что на самом абсурдном безвкусном жаргоне патриотизма, смешанного с религией. Но вера эта существует где-то между сердцем и умом, там, где у некоторых любовь, ненависть, познание благодати, почти утраченное ощущение корней и обожание Америки сливаются в единое целое.

Их собственная ценность заключалась в этой вере, переходившей из поколения в поколение, их связь с ощущением того, что может явиться жизненной силой, заключалась в этой вере. Да, в этом была первобытность, и жизнь предков, и скрытое в их плоти здоровье, источником которого были города, которые когда-то были заселены и благоустроены ими, фермеры, которые процветали, рубежи, которые они — в своих предках — осмелились перейти. Они верили в Америку, как в бога, они не могли бы представить себе, что Америка когда-нибудь может пасть, а бог при этом уцелеет: нет, они зашли так далеко, что вообразили, будто Америка — это спаситель мира, одной рукой несущий еду и лекарства, а другой сжимающий меч. Это была вера, которая достигла своего апогея в Сан-Франциско в 1964 году и забушевала так, что старые, надежные республиканцы чуть ли не с пеной у рта выдвигали Барри, но их герой познал катастрофу поражения, так как был слеп в политике, груб в тактике глупец и неудачник. И если его политика в какой-то мере восторжествовала — в той мере, какая означала эскалацию войны во Вьетнаме,— она же к концу текущего десятилетия охладила пыл американского оптимизма, который опустился на дно этого десятилетия, так как страна получила почти нестерпимый урок: ее история в Азии была почти кончена, и от настоящего желания держать армии на этой земле не осталось и помину; хуже того: страна начала изнашиваться внутри, призрак Вьетнама бродил по пригородам американских городов, а сообщения прессы и радио пронизывал ужас перед тем, что доллар уже не могли удержать никакие экономические якоря, а лучшие представители молодежи, словно взбесившиеся псы, впились зубами в тело самой глубокой республиканской веры. И они присмирели. Пыл безоговорочной республиканской веры поугас, и миссия Америки представлялась более скромной. Требования, предъявляемые к империи, столкнулись с ограничениями. И все-таки было что-то странное и гротескное в том, что репортер должен был стоять в позе агента, охраняющего их безопасность, пока столпы этой последней американской веры входили в банкетный зал, ибо, повторяю, в массе своей они не производили впечатления — во всяком случае на взыскательный взгляд нью-йоркца. Значительная их часть имела какие-то физические недостатки. Конечно, большинство было старше пятидесяти лет, и их тела отражали их характер. Здесь были богатые ссутулившиеся вдовы, мужчины с брюшком но общая напряженность сказывалась в том, как поднимались плечи, будто ожидая удара сзади, как вытягивалась вперед шея, как складывались мышцы рта, готового в любую минуту вгрызться в жесткое мясо сопротивления, как они наклонялись вперед от поясницы, так как ягодицы их были надежно застывшими, но чресла и рассудок были разделены пропастью между бедрами и пупком.

Больше половины мужчин были в очках — и молодые и старые. Репортер начал считать, но бросил, остановившись на 87 мужчинах в очках и 83 без очков. Трудно представить себе республиканца, собирающегося на банкет, который бы не был чисто выбрит уже к восьми утра. Они шли к власти и старались наводить чистоту в любой возникающей ситуации. А потому многие из женщин казались жертвами, принесенными на алтарь гигиены, и даже у значительной части молодежи лица были такие, словно им в щеки впрыснули новокаин.

Однако сердце репортера наполнила необъяснимая печаль. Эти люди не были ему отвратительны, и он не чувствовал себя настолько выше их, чтобы жалеть. Скорее он испытывал к ним печальное и полное сострадания уважение. В их безупречной чистоте, антисептических ароматах их едкой туалетной воды и духов, в самоотреченности их походки и тяжеловесности движений многих из них, словно они были запряжены в сбрую жизни,— во всем этом была немая трагедия «ос»[1]: они жили не для того, чтобы получать удовольствие или любить, они жили для того, чтобы служить, и они действительно служили, представительствуя или занимаясь благотворительностью (хотя те, кого они облагодетельствовали, блевали от злобы и смеялись

[1] По-английски оса — wasp, WASP — белые протестанты англо-саксонского происхождения, республиканцы, считаются наиболее консервативной частью общества.

от презрения), они служили, когда состояли в оперных комитетах, когда отсиживали многие часы у рояля, когда часами восседали в концертных залах, на церковных скамьях, на школьных кафедрах, они служили культуре, они служили финансам, они служили спасению, они служили Америке. И подавляющая часть Америки не желала, чтобы они продолжали служить, а потому многие из них начинали сомневаться в себе, сомневаться в том, что сила их веры может осветить им путь в эти новые ужасные времена. Они все входили и входили в дверь, чисто вымытые, благовоспитанные, преуспевающие и, что самое поразительное, почти все безупречно корректные. Да, в Сан-Франциско в 1964 году они на короткое мгновение позволили себе обезуметь, но сегодня они были тихи, сегодня они были скромны, сегодня они искали лидера, который вернул бы им Америку, их потерянную Америку, землю Иисусову.

Репортер неожиданно сказал себе: «Нельсон Рокфеллер спятил, если думает, что ему удастся взять верх над Ричардом Никсоном». Это была первая твердая уверенность, которую репортер почерпнул на съезде.

■

И тем не менее Рокфеллер делал все, что мог. Он многие недели готовил это массированное наступление. В своих речах, которые чаще всего облекались в форму телевизионных интервью и газетных объявлений на целые полосы, он наводнял Америку рокфеллеровской философией, платя за это рокфеллеровскими деньгами.

О Вьетнаме: страна никогда снова «не должна принимать на себя обязательства, которые потом заставят ее искать оправданий... Война ведется без четкой стратегии и программы достижения мира». Конечно же, совсем недавно он был ястребом среди ястребов. А сейчас, подобно Никсону, он стал ястребом, рядящимся в голубиные перья, ястребом в голубиных перьях, подобно всем республиканцам, не считая Ригана.

А объявления набирались гигантскими шрифтами:

«Мы должны обеспечить американцам два основных права: право учиться и право работать». (Право на образование будет осуществляться в университетах-гигантах, где лекции будут читаться по телевизору, а в гигантских аудиториях скамьи заменят пластиковые стулья. Ну, а право работать? Может быть, имеется в виду право гордиться своей работой?)

О городах: «...уверенность, что мы можем перестроить наши великие города, превратить трущобы старого отчаяния в центры новой надежды...».

Или: «Я представляю себе... идею благосостояния... в виде пола, ниже которого никому не будет дозволено спуститься, но без потолка, который бы помешал кому-либо подняться так высоко, как ему захочется».

Это было лучшим образцом мощной риторики, адресованной благодеиствующему либеральному центру Америки, где развертывался спектакль: строительные контракты, федеральные деньги для создания супершоссе, молодежные программы, благоустройство трущоб, война с нищетой, ханжеством, насилием и ненавистью. (Но как воюют с ненавистью? «На колени, стервец!» — вскричал святой).

Да, стоило Рокфеллеру победить на этом съезде — и тогда уж только бог мог бы помешать ему стать президентом. О таком кандидате могли лишь мечтать избиратели-демократы. Они могли отречься от Джонсона и Хэмфри и все же получить Новый курс, Справедливый курс Стивенсона, Элеоноры Рузвельт, Кеннеди, Бобби Кеннеди, Джина Маккарти и рок-н-ролл с Рокки. Он бы получил три четверти демократических голосов. Конечно, он получил бы только четверть республиканских голосов (остальные получит Хэмфри или Уоллес или избиратели вообще не пойдут голосовать), но он победил бы; он мог объединить всю страну, вплоть до этого центра либерализма, из которого вышли «великое общество», и война во Вьетнаме, и полицейские тревоги, объявляемые в городах сразу на все лето.

Рокки уже потратил и, как говорят, еще потратит десять миллионов долларов, чтобы стать кандидатом в президенты. (Один журналист заметил, что ему было бы проще покупать делегатов — по 25 тысяч долларов на нос дали бы ему 400 голосов.) Во второй половине воскресенья можно было своими глазами посмотреть, как расходуются эти деньги. Некоторые богачи знамениты своей скаредностью — к ним, например, принадлежал дедушка Рокки. Но щедрость для богача — это как истерика скряги: если хоть раз дать ей волю, ей не будет конца. Начав сорить деньгами, где Рокки остановится? После заявлений по телевидению пошли митинги и зафрахтованные самолеты. Теперь в Майами были наняты речные пароходики для доставки на Айленд-крик делегатов, которым хотелось отвести душу за выпивкой, кроме того, устраивались званые вечера. В воскресенье Рокки распахнул двери в отеле «Американа», закатив прием и ужин для нью-йоркской делегации. В понедельник от пяти до семи вечера, после прибытия Никсона, он пригласил на гигантский прием всех делегатов, их заместителей и руководство республиканской партии. Континентальный зал и Бальный зал «Американы» были битком набиты гостями, количество которых невозможно было подсчитать. Пять тысяч человек... шесть тысяч, а по оценке «Нью-Йорк таймс», так и восемь и пятьдесят тысяч долларов на угощение. Возможно, половина жителей Майами-Бич побывала там, чтобы бесплатно поесть и выпить. На столах (там было 8 баров и 16 бу-

фетных стоек) стояли тысячи стаканов с кубиками льда, салаты из креветок, фрикадельки, индейки, ветчина, гуляш, эклеры, жареные поросята, куриная печенка, бочонки с черной икрой, виноград «дамские пальчики», желе, пирожные — не хватало лишь омлета «сюрприз». Чудеса американского чревоугодничества. В каждом зале играл оркестр; в Континентальном зале, в котором было темно, как в ночном клубе (в будние дни это и есть ночной клуб), Лионель Хемптон барабанил, аккомпанируя молодому певцу-негру, отдающему душу Рокки. «Мы хотим Рокки!» — неслось по залу. Так... так... бухал барабан, властно, слегка гипнотизируя, точно подчеркивая движения уже почти раздевшейся танцовщицы. Однако Рокки не показывался, он был где-то в другом месте, но члены его семьи, его старшие дети, и жены его старших детей, и его сестра, и Хелен Хэйс, и Билли Дэниэлс были на сцене рядом с Хемптоном и счастливым молодым негром, который прищелкивал пальцами, и счастливой молодой певицей-негритянкой, в которой так много было души, задора и бюста.

Все ели, пили — младшие члены семьи Рокфеллера на эстраде беззаботно покачивались, обняв друг друга за плечи, а жители Майами-Бич подбадривали их снизу криками, и казалось, Америка готова была грузовиками вывозить свое счастье на вселенское шоссе № 1.

Там и сям делегаты или семьи делегатов из Огайо, или Колорадо, или Иллинойса, с делегатскими значками на лацканах пиджаков, с выражением любопытства, удивления и удовольствия в глазах: «Ну, если он хочет швырять деньги на ветер, мы ему мешать не будем!» А выражение удовольствия в глазах порождалось предвкушением того, как, вернувшись домой, они будут рассказывать домашним об этом пьянстве, и об этом свинстве, и об этом транжирстве: «Половина напитков расплескивалась на пол, до того они торопились их разносить!»

А в коридоре между Карибским залом и Бальным залом — затор гостей. Никто не мог продвинуться ни взад, ни вперед, точно транспорт в час «пик». В первую мировую войну маршал Хейг бросал миллион солдат по всему фронту. Они продвигались на сто ярдов и оплачивали их сотней жизней Возможно, Нельсон Рокфеллер и был маршалом Хейгом среди кандидатов в президенты. Богачи не должны окружать себя богачами, если они хотят выиграть войну.

■

В этот день немного раньше приехал Никсон. Не слишком большая, но и не маленькая толпа — человек в шестьсот — у входа в отель «Майами-Хилтон». Два оркестра, играющие «Никсон — наш кандидат», никсонетки и никсонеры — чистые христианские лица, осененные белокурыми и каштановыми волосами, шатены, те же две негритянки, две тысячи воздушных шаров в воздухе, мазки цвета, точки цвета и, наконец, сам Никсон в центре полумесяца кинокамер и фотоаппаратов, поднятых над головами снимающих. Потом он вошел в отель, подталкиваемый сзади, пожимая руки по пути. Можно было узнать его волосы — более вьющиеся, чем у многих и многих, уложенные волной

Толпа проявляла энтузиазм, без излишнего шума и суеты. Энтузиазм почтительный в смеси с жарким патриотическим стремлением подойти поближе к человеку, который, возможно, станет следующим американским президентом. Их воодушевлял не человек, а пост. И Никсон проходит сквозь них своей странной деревянной походкой Он похож на актера с хорошим голосом и обещающими данными, который приводит в отчаяние руководителя кружка, где он подвизается: «Дик, научись же, наконец, двигаться как следует!» Просто трогательно смотреть, как он это проделывает, словно его чувствительная плоть содрогается, потому что он невольно выдает, как ему претит источать в толпу сердечность и обаяние. И все же он всю душу вкладывает в свою задачу — будто, щедро напрягая волю, можно снискать благодать. Да, он похож на миссионера, раздающего библии индусам. Господи, они грязью заросли, но все же достойны прикосновения! Нет, дело не в том, что Никсон плохой актер (в толпе он излучает всяческие чувства, стремясь вырваться из тюремных стен своих искусственных движений и губительной репутации, показать, что он искренен). Беда, пожалуй, в том, что он прошел актерскую подготовку в школах, хуже которых невозможно придумать: белые перчатки и церковный служка, дискуссионный клуб, молодые республиканцы, плен юридического стиля Айка. Никсон-актер считает, что его задача — значимое самовыражение. А потому, желая выразить симпатию, он неминуемо улыбается, а когда ему требуется выразить неодобрение коммунизму, он хмурится; Америка должна быть сильной — его грудь выпячивается. Пленник старых привычек, он не замечает новых приемов и не в состоянии их постичь. Он не способен увидеть, что молодежь любит Маккарти, потому что тот все время играет против себя же. «Если меня выдвинут, не вижу, каким способом я могу оказаться не выбранным»,— говорит Маккарти мрачным, скромным, кротким голоском; затем его глаза начинают блестеть, оценивая мириады последствий: нотации газет за высокомерие, восхитительные клоуниады тех, кто хочет что-то сказать о его кандидатуре,— да, многие любят Маккарти, в его тонком остроумии они слышат: «Наш диапазон безграничен — от детских рогаток до вечных истин».

Никсон этому так и не научился. Он действует прямолинейно.

Но репортер прямо-таки одержим им. Он никогда не писал о Никсоне ничего хорошего. В течение многих лет он приберегал для него самые острые свои выпады и невзлюбил его еще после его речи в 1952 году о Чекерее. Человеку, способному

засевать сентиментальностью такую трясину, мало что могло бы помешать нажать на любую кнопку, чтобы манипулировать массами,— а в те дни очень боялись кнопок, которые могли вызвать атомную войну. Появление Никсона на экране телевизора вызвало эмоцию, близкую к тошноте. Между человеком, который говорил, и тем, кто скрывался в говорящем, был разрыв, который сулил шизофрению широкой американской публике, если бы она не уловила этой пустоты. Хуже того. Единство было только в том, что самодовольство голоса соответствовало самодовольству идей. Словно Ричард Никсон пытался доказать, что человек, который ни разу не задался вопросом, а нет ли чего-то неладного в семье, в государстве, в церкви и в национальном флаге, вполне может без малейшего риска подниматься вверх от поста к посту, пока не станет президентом.

В 1952 году репортер устроил маленькую вечеринку, чтобы отпраздновать провал Никсона, выставившего свою кандидатуру в губернаторы Калифорнии. Журналистам человек, потерпевший поражение, сказал: «Ну, что же, господа, больше вам не придется лягать Никсона». Это казалось бесповоротным концом карьеры. Жалость к себе, выраженная публично, была так же непоправима, как самоубийство. В 1964 году Никсон стоял где-то за кулисами, а выдвигали Барри. Сейчас, в 1968 году, он должен был вот-вот стать кандидатом сам! Репортер явно чего-то не понял. Его прежнее представление о характере Ричарда Никсона исключало подобное возвращение. Либо Никсон изменился, либо какая-то его черта оставалась незамеченной с самого начала. Поэтому было очень интересно услышать, что он скажет. Репортера даже одолевало нетерпение.

В день прибытия, однако, он не устроил пресс-конференции. На следующее утро в 8 часов 15 минут — вот когда он предстанет перед журналистами.

■

Зал заполнялся медленно. К тому времени, когда Никсон начал говорить, стало очевидным, что зал на 500 мест был явным излишеством. Занята была половина мест и уж во всяком случае не больше двух третей. Тем не менее это была большая пресс-конференция. Никсон явился в серо-голубом костюме спокойных тонов, в белой рубашке, черном с голубым галстуке и черных ботинках, платок из нагрудного кармана не торчал. Он поднялся на трибуну робко, не зная точно, будут аплодисменты или нет. Аплодисментов не было. Он постоял спокойно, с некоторой осторожностью оглядывая аудиторию, а потом сказал, что готов отвечать на вопросы.

Второй пресс-конференции до выдвижения он устраивать не собирался. Его скверные отношения с прессой были притчей во языцех, и последние несколько месяцев он поддерживал освещение своей кампании в прессе на функциональном минимуме. Обработка делегатов шла четыре года и особенно интенсивно — в последние два. Их приверженность подтвердилась за последние шесть месяцев, когда он побеждал на предварительных выборах. Благоприятные интервью ему уже ничего дать не могли, во всяком случае до тех пор, пока он не будет выдвинут; зато одно неблагоприятное интервью могло погубить все. Колеблющийся делегат был способен и вовсе переметнуться из-за неудачной фразы.

В той пропорции, в какой пресса не была республиканской — а больше половины журналистов в глубине души ничего общего с республиканцами не имели,— его ждали встречи не с друзьями, а с решительными врагами. И даже республиканская пресса в значительной своей части будет за Рокфеллера. К тому же по сравнению с другими кандидатами он не имел среди журналистов большого числа личных друзей, что, естественно, влияло на атмосферу этой пресс-конференции. По слухам, он не курил и не пил, и поэтому у него не было собутыльников, как когда-то у Джонсона и Голдуотера, у Билла Миллера и Хэмфри; легенд о его подвигах в борделях не ходило никаких, и поэтому он не вызывал соответствующего восхищенного уважения. Нет, для него пресса была лишь необходимым инструментом, которым он был вынужден пользоваться более двадцати лет, но делал он это без особого удовольствия, чего не мог скрыть, а инструмент (поскольку состоял он из людей) не очень-то его слушался

Возможно Никсон согласился на эту пресс-конференцию только потому, что отказ еще больше ухудшил бы его отношения с прессой. Однако он понимал, что эта операция не обойдется без потерь, и мог рассчитывать лишь на то, что они будут минимальными. Вот почему он мудро назначил ее на 8 часов 15 минут утра — в то время, когда худшие его враги, предположительно пьяницы, бабники и моты, еще будут спать в своих постелях или здесь, но стоя.

Тем не менее его поза — он то опускал руки по бокам, то сплетал пальцы — придавала ему настороженный вид старого бейсболиста, а может быть, даже и старого жулика, когда суд решает, отпустить ли его на поруки. В его тщательно выбритом лице — щеки, несмотря на ранний час, уже отливали первыми оттенками легкой синевы — таилось какое-то неотвязное беспокойство, какой-то намек на внутреннее разногласие относительно его ценности перед вечностью, что-то такое, что свидетельствовало о том душевном просветлении человека, когда он перестает быть похожим на помощника гробовщика и начинает смахивать на старого жулика, твердо решившего вести отныне честную жизнь. Старый Никсон — другими словами, молодой Никсон — сплетал пальцы, немедленно обретая сходство с церковным сторожем (тем са-

мым церковным сторожем, который обязательно дернет за ухо мальчишку, выведя его из церкви). Пожилой Никсон, который стоял теперь перед журналистами, иначе говоря — новый Никсон — наконец, приобрел достоинство старого атлета и старого жулика. Он изведал вкус неудачи и страданий, и это было видно по его лицу; он узнал во всех подробностях боль настоящей потери, и в глазах у него появилось понимание, в котором сквозило воспоминание о бездне, и даже мягкость, обретаемая бывшими пьяницами после многих лет, проведенных в клиниках для алкоголиков. Он отвечал на вопросы, отбивал их с тихой скромностью старого бейсболиста, который уже редко приносит своей команде очки, но все-таки полезен ей (какая печаль написана на лицах таких игроков!). И в этой скромности было свое достоинство. Если в дни Эйзенхауэра его старательная скромность оскорбляла не меньше, чем высокомерие богатого молодого бездельника, так как его презрение к способности аудитории проникнуть за его маску было прозрачным и откровенным, то теперь эта скромность стала иной и принадлежала человеку, который в худшем случае из плохого актера неожиданно превратился в хорошего или из неприятного самодовольного выскочки, но действительно очень везучего, преобразился в человека, который поднимался и падал, но снова находил в себе силы подняться и, по всей вероятности, узнал кое-что о терпении и сострадании.

Будь репортер помоложе, он мог бы сказать: «Никсон снова не поднялся—его подняли. Если бы нового Никсона не существовало, его должны были бы придумать». Но репортер был теперь много старше и, предположительно, лучше разбирался в том, насколько правящий класс способен придумывать то, что ему нужно,— он узнал, как мало у этих людей таланта и терпения. Да, в какой-то момент они — по крайней мере, некоторые из них,— возможно, и решили снова загримировать Ричарда Никсона для этой роли, но никто, кроме самого Никсона, не мог бы поднять его с одра политической смерти, на который его уложил провал в Калифорнии. Итак, он стоял здесь и отвечал на вопросы голосом, который, возможно, был теперь гораздо больше, чем прежде, похож на его собственный голос.

И некоторые из его ответов были не так уж плохи. Во многом чувствовался старый Никсон, который умел исключительно ловко подать обе стороны вопроса так, чтобы обе половины аудитории уносили с собой впечатление, что он — свой, принадлежит к каждой из них. Так он взялся за проблему Вьетнама, начав с альфы и одновременно с омеги, назвав это «двусторонним подходом». Он стоял за урегулирование через переговоры, и он стоял за сохранение военной мощи, потому что это единственный способ «покончить с войной путем переговоров на почетной основе»; позже он заговорит о переговорах с «будущей сверхдержавой, коммунистическим Китаем». Он говорил терпеливо, ясно, мягко — неплохо говорил, не считая не очень удачной полуулыбки, приклеенной к его лицу. Ему бросали вопрос, и он отбивал его тыльной стороной руки в перчатке или ловил его, как все политики, на каждый вопрос он давал заранее обдуманный ответ, но он своим ответам придавал особую структуру и даже как будто любовался их диалектической сложностью. Если когда-то он притворялся, что мыслит лишь сентиментальными пошлостями или лозунгами, то теперь он брался за вопрос, обрабатывая его, разворачивая, усиливал, корректировал его направленность, отклонялся (обычно пытаясь пошутить), вскрывал его противоречивость и только тогда делал заявление. И параллельно с этим — почти осязаемое сознание сдержанного отношения прессы к его характеру, побудительным мотивам и добрым намерениям. Он по-прежнему не находил общего языка с журналистами; полуулыбка, с которой он слушал вопросы, была несчастной, потому что у нее был только один выход: превратиться в улыбку, а его улыбка была фальшивой, как фальшивые зубы, зримо воплощала усилия воли. Вы почти видели, как его мозг давал команду челюстям: «Улыбайтесь»,— и он сверкал зубами в болезненно-радостной гримасе, скорее говорившей о неладах в печени или кишках, которые потом ему придется лечить лекарством посильнее, чем вселенское доброжелательство (возможно, победой на президентских выборах). Он всегда умел насиловать свою природу, если это требовалось его воле,— в американской жизни еще не было столь откровенно фальшивой фигуры, как Ричард Никсон, и никого, кто так преуспел бы с помощью подобных средств. И не удивительно, что половина избирателей в течение многих лет относилась к нему, как к чесотке. Но сейчас фальши поубавилось — в этом и заключалось чудо. С позиции абсолютного честолюбия и полной отчужденности от себя самого (как было во времена его речи в Чекерсе) он перешел на позицию половинчатого возвращения к себе. Говоря, он то начинал расплываться, то вдруг возвращался в фокус: сейчас он был самим собой, затем — фальшивым, а потом спокойно исправлял ложный шаг.

Вопрос: Вы подчеркнули перемены внутри страны и за границей. Изменило ли это ваш образ мышления и как?

Ответ: Конечно. (Слишком быстро ответил. Старый Никсон всегда готов был угодить с эдаким честным американским юношеским энтузиазмом. А потому он сделал шаг назад и унял свой голос.) Когда меняются факты, любой думающий человек (очень твердо, но не выпячивая себя, он включает сюда и журналистов) меняет подход к проблемам (предвосхищая возможную реакцию журналистов). Это не означает, что такой человек — оппортунист (Скромно, рассудительно.) Это означает лишь, что он прагматик, реалист, принципиально подходящий к новой ситуации (Сейчас он пустит в ход нечто из припа-

сенного в ответ.) Например... готовя речь, с которой я надеюсь выступить, если будет выдвинута моя кандидатура в следующий четверг, я перечитал свою речь 1960 года, и, откровенно говоря, она мне показалась неплохой. Но я прекрасно понимаю, насколько многое из того, что я говорил в 1960 году о международных отношениях, неприменимо к сегодняшним. (Поразительное признание. Старый Никсон никогда не ошибался. Нынче он спекульнул политическим сдвигом влево от себя: это чистейший новый Никсон.)

Вопрос: Немногим менее шести лет назад, после вашего поражения в Калифорнии, вы объявили на пресс-конференции, что это — ваша последняя пресс-конференция. Не могли бы вы припомнить сейчас два-три важнейших для вас момента, которые заставили вас отказаться от этого заявления и предложить свою кандидатуру на высший политический пост страны?

Ответ: Если бы не раскол республиканской партии в 1964 году и если бы не вакуум в руководстве, который образовался в результате этого раскола и поражения, я не стоял бы здесь сегодня перед вами... Мне кажется, что мои поездки по стране и за границей в этот период размышлений, в этот период ухода с политической сцены (в его глазах появился темный огонь счастья, словно благодаря этому уходу и этим размышлениям он впервые в жизни испытал истинную радость), когда мне довелось наблюдать не только Соединенные Штаты, но и остальной мир, породили во мне убеждение, что мне следует вернуться на арену (сказано так, словно ему был глас в ночи). Не то чтобы я считал себя незаменимым. (Это сказано мягко, спокойным голосом, как будто он все глубоко продумал и нашел успокоение в сознании, что он не незаменим, нелепое тщеславие, если глядеть на Никсона со стороны, но ведь он стал вице-президентом, когда ему не было еще и сорока лет, а потому довольно рано, возможно, слишком рано—увидел себя мужем рока. Теперь, оговорив это, он мог продолжать.) Но я должен был это делать (попытаться стать президентом), потому что, как мне кажется, время таково, что личность и исторический момент совпали. (Необычное признание для республиканца, учитывая республиканскую, чисто протестантскую неприязнь к философским глубинам и к персонификации истории.)

Я всегда считал, что никто не имеет права стремиться стать президентом и получить этот пост потому лишь, что хочет этого. Я считаю, что выставлять свою кандидатуру может только тот, кто может предложить то, чего в данный момент требует пост президента. (Итак, пост президента обрел мистическое значение.)

У меня появилось ощущение (снова очень приятный и скромный голос — это уже не фальшивый Никсон, он настоящий Никсон), возможно, это было нескромно с моей стороны, что вакуум в руководстве республиканской партии, потребность в руководстве, имеющем опыт в области международных отношений, тот факт, что благодаря моим путешествиям я узнал не только нашу страну, но и мир,— что все это, учитывая требования момента (исторического момента — о, мистика, мистика!), делает мое возвращение на политическую арену желательным и нужным (тут он решил прибегнуть к юмору. Юмор был слабоватый, но для Никсона необычный и негрубый), и между прочим мне этого очень хотелось. (Снова выйти на арену.) Меня не призывали. Пусть это будет абсолютно ясно. Я сам очень этого хочу. И к тому же в Майами-Бич в августе призывов еще никогда не бывало. (Доброжелательный смех среди журналистов — в какой-то мере он завоевал их симпатии. И теперь он завершит свою мысль.) ...Я думаю, что если мое суждение и моя интуиция, так сказать, мое «внутреннее чутье» относительно Америки и американской политической традиции не обманывают меня, в этом году я буду избран.

Речь эта была произнесена в середине пресс-конференции, и ему пришлось парировать вопросы и дальше. Абсолютно уверенным он себя не чувствовал, но его ни разу не застали врасплох. Он был мягок, тверд, рассудителен, в высшей степени собран — возможно, он был одним из самых собранных людей в Америке.

Стал ли он действительно лучше? Репортер поймал себя на желании, чтобы это так и было. Новое и поразительно сложное перевоплощение дьявола или ангел в зачатке? А может быть, и то и другое? Борьба добра со злом в душе одного человека — но как бы то ни было, Никсон, всегда вызывавший почти герметическую скуку, оказался вдруг самой интересной фигурой на съезде, по крайней мере, так решил репортер по окончании этой утренней пресс-конференции во вторник. Позже эта точка зрения значительно усложнилась.

■

И опять о Никсоне. Не потому, что его деятельность пробудила в репортере бурную страсть, просто все остальное слишком уж ясно и понятно. Если бы журналистская жилка была развита в нем сильнее (или, наоборот, слабее), он узнал бы, что силы Ригана пошли в решительную атаку, чтобы переманить и украсть, обратить в свою веру делегатов-южан, отняв их у Никсона, и что силы Никсона перешли в контратаку, которая в дальнейшем определит их выбор вице-президента. Но репортер вел себя, как генерал, находящийся далеко от фронта: раз он не слышал грохота орудий, то и считал, что бой еще не завязался. Ничто не могло убедить его в этот особенно душный день, что силы Никсона испытывают трудности, и, может быть, он был прав; может быть, отсутствие отголосков этой битвы в вестибюлях отелей «Довиль» или «Хилтон» было ис-

тинным предвестием развязки, и длинные тени истории подтвердят, что исход ни на секунду не вызывал сомнений.

Как бы то ни было, репортер отправился на прием, устроенный для делегатов в том же отеле «Хилтон», где утром Никсон проводил свою пресс-конференцию. И если кого-нибудь интересует сравнительная физиология политических приемов, начинать изучение этой науки следует здесь. Когда Рокфеллер давал прием, банкетные залы отеля «Американа», все его проходы и выходы заполнили восемь тысяч делегатов, и там все было рассчитано на то, чтобы ошарашить блеском людей, привыкших к капустному салату,— бокалы наполнялись с верхом, а зернистая икра сползала по скатертям столов и шлепалась на пол. Здесь же в сравнительной торжественности отеля «Хилтон» — только бог мог удержать его на таком уровне — двадцать два часа спустя силы Никсона демонстрировали, каким должен быть прием для делегатов-республиканцев.

И если тысяча мужчин и женщин ждали снаружи, забив вестибюль и подходы к лестницам, и если очередь шеренгами по шесть-восемь человек вползала вверх по лестнице с выматывающей душу медлительностью, наверху их ждало утешение. Там они по двое вступали через узкие двери в зал, огибали вдоль бархатного каната треть круглого зала, наконец достигали небольшого возвышения, на котором господин и госпожа Никсон, встречая гостей, здоровались с каждым очень сердечно, причем не вместе, а по отдельности, после чего спускались с возвышения и попадали в центр зала, где находился бар с напитками и столы с ветчиной и холодной индейкой, традиционный ужин «а-ля фуршет», традиционный оркестр струнных инструментов.

С трех до шести часов прошло, возможно, две тысячи человек, а может быть, и меньше, так как Никсон тратил на каждого делегата или супружескую пару пять, десять, пятнадцать секунд. Приглашения могли быть разосланы делегатам, которые уже намеревались голосовать за него или склонялись к его кандидатуре. Во всяком случае, обрабатывать приходилось немногих, и проблема заключалась в том, чтобы вновь пробудить в делегатах, их женах и детях то ощущение важности их миссии, с каким они покидали свои родные города.

Никсон знал, как это сделать. На это он был мастер Ведь не мог же он провести восемь лет в упряжке самым высокопоставленным лакеем в стране, адъютантом при генерале с пятью звездами, который стал затем президентом, успев в свои натовские дни привыкнуть к такому обслуживанию, что никакой другой слуга уже не мог ему угодить,— да, не мог же Никсон после такой школы не научиться обрабатывать очередь делегатов-республиканцев — и по одному и попарно.

И они не были похожи на богатых республиканцев на банкете у Рокфеллера; тут скорее совершалось паломничество скромных делегатов, которые и в собственных городках, возможно, были известны далеко не всем, это был парад жен, и детей, и мужей, которые владели скобяными лавками или аптеками, старший кассир в банке, хозяин галантерейной лавочки, директор средней школы, местный адвокат, врач, оставивший практику, вдова с приличным доходом, ее духовный наставник и тоже делегат, не очень видные служащие не очень крупных корпораций, владельцы собственных ферм, округлый толстяк, возглавляющий отделение республиканской партии где-нибудь в глуши, редактор маленькой провинциальной газеты, преподаватель баптистского учительского колледжа, школьный библиотекарь, молодой начинающий политик, молодой коммивояжер — солидные и устроенные, средних лет и пожилые, с вкраплением молодежи. Захолустные городки и тихие респектабельные города Среднего и Дальнего Запада и пограничных штатов являлись отдать дань уважения своему верному кандидату, представителю их консервативных упорядоченных сердец; и было очевидно, что он внушает им обожание слишком глубокое, чтобы аплодировать, было очевидно, что семейство Никсона обрело опору именно в этих аккуратно одетых добропорядочных обывателях, которые двигались напряженно по отгороженному кругу, теряя ощущение собственного тела, приличных людей, которые тоже всю жизнь прослужили и теперь хотели побыть рядом с человеком, которому отдадут свои голоса и который сумеет сделать их счастливыми, ибо счастье их было в благоговении, а они благоговели перед Никсоном, преемником Старого Айка — символа счастливейших и лучших дней,— они благоговели перед Никсоном, потому что он служил Эйзенхауэру, потому что он снова был с ними Именно возвращение делало его героем в их глазах, ибо Америка — это страна, где поклоняются Великому Возвращению, и поэтому он уже не был для них Двуликим Диком, а был самым благороднейшим джентльменом в стране, и они гордились тем, что могут поздороваться с ним.

Никсоны говорили с каждым делегатом по очереди Кандидат и его жена пожимали руку или брали за локоть того делегата, который оказывался напротив него или нее, и говорили несколько слов, иногда поглядывая на табличку с фамилией, но чаще узнавая лицо, которое запомнилось с давнего банкета или благотворительного обеда в Платте, или Акроне, или Эвансвилле, Чилликоте или Айова-Сити, в Колумбии (штат Южная Каролина) и в Колумбии (штат Миссури), в Боулдере или Форт-Коллинзе, в Фейетвилле (штат Аркаизас) и в Фейетвилле (штат Северная Каролина), в Гаррисберге, и Кине, и Спокане, и в Форте-Лодердейле, и в Рели, и Батте — да, Никсон вскарабкался по всей вьющейся лозе республиканизма и за прошедшие два года завоевывал делегатов по одному и по два, потратив полчаса здесь, час там

м разговорами, которые, наверное, включа-и и распоряжения, оставленные тетушкой Мэтти относительно своих похорон, и ис-орию семейной фирмы. Два года он тро-ал самые незаметные и скромные струны елегатских сердец, и теперь это сказалось том искусстве удовольствия, с каким он риветствовал каждого делегата, в движе-иях его рук — одних он брал за локоть, ругих хлопал по плечу, третьих переда-ал жене, сопроводив этот жест друже-кими словами, ни разу не повторившись для каждого делегата находя нужную разу. Он все еще был скован в движе-иях, жесты его явно подчинялись коман-е мозга, например: «Возьми этого стари-а за локоть»,— но ему, несомненно, было орошо, так как лучше всего ему удава-ось быть любезным со своими людьми. И Пэт Никсон пом·гала ему, беря на себя лавным образом жен и детей и делая это оже искусно,— ее лицо, напряженное и ысокомерное в юности (упрямство, часто-юбие и безжалостность были врезаны, ловно гримаса наркомана, в яростный при-ус челюстей), теперь смягчилось; она бы-а почти привлекательной — словно рассла-бились всегда напряженные мышцы само-ознания американской женщины,— почти ежной. Они проделали длинный обратный уть вместе, как муж и жена. И где-то на не пропасти она, наверное, простила его за то, что он сказал: «Америка не может топтаться на месте».

И репортер вдруг подумал, что, возмож-но, Никсоны все же повзрослели. Молодые, честолюбивые супруги, опьяненные внезап-но обретенным высоким положением и во-семь лет — ради этого положения — фаль-шивившие в каждом своем движении, ибо никакая молодая чета после такого голово-кружительного взлета не была бы способ-на сохранить ощущение верности себе или хотя бы сознание, что существует такое психологическое состояние, как верность себе,— ведь как может человек обрести такое сознание, когда его жизнь была от-дана служению политике, была служанкой великих людей и пустых людей и жертвой самой власти, которой добилось его соб-ственное честолюбие? Никсон вошел в жизнь Америки лишь наполовину челове-ком, но положение его было настолько вы-соко, власть этого получеловека была на-столько велика, что пока он не пал, он не осознал, что был неполноценным. Ни он, ни госпожа Никсон.

И пока струнный оркестр возле них про-должал играть — пять скрипок (четыре скрипача и одна скрипачка) плюс одна ги-тара, один аккордеон, один контрабас,— пока этот пожилой оркестр продолжал од-ну за другой исполнять те приятные вещи-цы, которые в кинофильмах обычно служат музыкальным фоном к эпизодам в недоро-гих брайтоновских отелях, где старые пол-ковники, служившие в Индии, угрюмо пе-режевывают свой обед, пока тянулся день, и эта музыка, и медленная процессия де-легатов,— репортер, наконец, понял, как Никсон должен видеть свою миссию. Се-годня среди делегатов превалировала скромность, они были средоточием нации, но усмирившие свою гордыню, эти же са-мые врачи и провинциальные адвокаты или другие подобные им всего четыре года на-зад мечтали окриком и кнутом восстано-вить порядок в Америке. Тогда нация пред-ставлялась им сильным, здоровым плодом их чресел. И они готовы были перенести бои куда угодно: во Вьетнам, в Китай, в черные гетто. Они все были за то, чтобы показать и некоторым меньшинствам в Америке, где таится настоящие гроздья гнева. Но последние четыре года привели к краху многие их секретные политиче-ские планы, и они были сбиты с толку. «Осы» построили свое гнездо из статистиче-ских материалов, но при всех ссылках на то, что войну можно было бы вести лучшим способом, цифры вьетнамской войны были никуда не годными. Каким образом получи-лось, что нация, силы которой в пять раз превосходили противника, никак не могла его победить,— если, конечно, господь не решил, что Америка не права? Мраморная переносица праведности треснула от жесто-кого удара. Дело обстояло плохо еще со многим — с молодежью, с неграми, с долла-ром, с загрязнением воздуха и загрязнени-ем рек, с порнографией, с улицами,— и «осы» теперь присмирели. В ближайшее время им, возможно, предстояло вновь сде-лать президентом своего человека, но стра-на была расколота надвое, над ней витали кошмары — и впервые за все свое сущест-вование «осы» смотрели на власть с опас-кой. А вдруг они не будут знать, что с ней делать?

Какое видение должно было теперь ви-тать перед Никсоном, какая мечта спасти страну? Да, репортер готов быть к нему снисходительным — этот человек стал иск-ренним. На это указывало многое. Конеч-но, в таком человеке, как Никсон, который снискал единодушное полупрезрение, не могло не пробудиться страстного желания показать истории, что и он не лишен вели-чия. Какая мечта для такого человека! Очистить гангренозные раны великой дер-жавы, вернуть здравый рассудок психопа-тической эпохе, отвергнуть требование из-лишеств и удовлетворить истинную нужду, добиться равновесия в войне притязаний, очистить от сорняков сад традиций, продемонстрировать тонкое чутье к лучшему но-вому, показать себя великим просветителем, способным помирить две враждующие по-ловины нации, вернуть другим народам ве-ру в великий народ, обретший гармонию в дерзании,— да, такая мечта была бы доста-точно великой для любого лидера; и хотя репортер не верил, что Никсон, бедный Никсон, сумеет воплотить эту мечту в дей-ствительность, он не считал, что его следу-ет лишить даже возможности попробовать. Возможно, даже вероятно, даже необходи-мо, чтобы «осы» снова оказались в центре

НОРМАН МЕЙЛЕР
МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

нашей истории. Они слишком долго оставались проклятым меньшинством, огромным булыжником в обширном пищеварительном тракте всех жвачных демократических администраций. Это безумное республиканское меньшинство, обладающее огромной властью запрета и контроля, меньшинство, управляющее экономикой страны, и половиной финансов мира, и излишне большим количеством внутренних дел для четырехпяти континентов, и Пентагоном, и техническим развитием страны, и большей частью секретной полиции, и почти каждым полицейским в каждом маленьком городе. И все же, в конечном счете, хозяевами страны они не были, они не понимали ее, страна ускользала от них, обгоняла их, и стиль ее жизни сводил на нет их усилия, а жизни лучших американцев, набирая скорость, ускользали от их цепкой хватки. Они были самой мощной силой в Америке, и в то же время они были островом психопатии... Если бы они не нашли моста, они с каждым годом становились бы все безумнее, подобно богатому дворянину в пустом замке, гоняющемуся с палкой за эльфами и людоедами Они обладали всеми видами власти, кроме одной, столь им необходимой,— они не могли приспособить свою философию к истории; аптекарь и президент стальной корпорации должны наконец понять, не крутят ли они одно и то же колесо. Лишенные центра политической власти, корпорация и маленький городок оставались в идеологическом браке многие десятилетия. Лишь обладая властью, могли бы они решить, какие концепции консервативной философии жизнеспособны и какая ее часть — безумие. Можно предсказать: их бюджет окажется безумием, их праведность окажется безумием, их любовь к порядку и четкому мышлению будет искажена и исковеркана, интеллектуальная основа их антикоммунизма разлетится на отдельные куски. А вера маленького городка в маленькое свободное предпринимательство разобьется о неумолимую власть корпораций в стране техники, их любовь к мещанской культуре придет в столкновение с безумной эстетикой новой Америки; их безудержная страсть к военному превосходству разобьет себе нос о невозможность такого превосходства без новых правительственных затрат; их любовь к природе должна будет восстать против врага, оскверняющего природу,—против них самих же, против их личности, их собственного большого бизнеса.

...Итак, репортер находился в самом центре Американской Сцены — удивительно, как маленькие драмы Америки находят подходящую сцену, словно птицы свое гнездо...

Возможно, Никсон и мечтал объединить нацию, но сперва ему предстояло лицом к лицу столкнуться с силой правого крыла его же собственной партии, с самыми ярыми и злобными из «ос», увидеть их бычьи мышцы и загривки убийц — хватит ли в Никсоне твердости противостоять им? Или же его скрутят бешеные из его же собственной партии, которых сейчас нет в Майами, которых на этой неделе что-то не слышно. Слишком мирно проходит съезд, что-то слишком уж мирно.

■

В среду вечером Алабама уступила свою очередь Калифорнии, и Риган был выдвинут первым. Речь произнесла Айви Бейкер Прист (теперь ее звали Айви Бейкер Прист Стивенс), красивая женщина, которая в правительстве Эйзенхауэра занимала пост министра финансов и с тех пор стала помощницей Ригана. Ее личности была присуща двойственность. Оратором она была никудышным. Сухим, гнусавым, подленьким, язвительным, ядовитым, понукающим голосом типичной ораторши-республиканки она вещала: «Человек, который грудью встретит университетских радикалов и грабителей на улицах и скажет им: «Повиновение законам». Ее гнусавые вскрики начали нарастать, и немного полегчало: это был верный признак, что сейчас она произнесет имя Ригана. «Человек, под стать нашим горам и равнинам, человек, проникнутый славными традициями прошлого, человек, прозревший неограниченные возможности новой эры. Да, судьба обрела достойного избранника». Через минуту она кончила, и началась довольно внушительная овация. Послабее и не столь внушительная, чем восторги, обращенные к Рокфеллеру и Никсону, но во всяком случае, в ней раскрылась вторая личность этой дамы. Теперь она выглядела уверенной, полной энтузиазма, пухленькой, пикантной и удивительно жизнерадостной— эдакая белокурая мать семейства. Она дирижировала пением «Дикси» и «Калифорния, я с тобой!», с энтузиазмом хлопала в ладоши, узрев лозунг вроде «Только он — Рон!», словно никогда в жизни ничего великолепнее не видела, и улыбалась, улыбалась, улыбалась, точно конферансье. Было выпущено пять ящиков воздушных шаров, и Риган поймал один из них, они сразу же каскадом посыпались вниз — в каждый капнули воды для балласта, шары опускались быстро, словно поролоновые подушки, их взрывали горящими сигаретами и топтали ногами, так что казалось, будто одна за другой рвутся шутихи.

А когда это кончилось, на вечер опустилась тяжелая пелена скуки. Хикел из Аляски и Уинтроп Рокфеллер из Арканзаса были объявлены любимыми сынами своих штатов, причем последний был поддержан двумя ораторами и восьмиминутной овацией Его собрату ничего не перепало. Ромни использовал все сорок минут, и оркестр Нельсона Рокфеллера поддержал его овацию, а отряды Ромни в свою очередь поддержали овацию Рокфеллера. Сенатор Карлсон от штата Канзас, затем Хайрам Фонг от Гавайи также были объявлены любимыми сынами. Уже в десятом часу губернатор Пенсильвании Шаффер взял слово, чтобы внести в списки Нельсона Рокфеллера. Между выдвижением Ригана и началом выдвижения Рокки прошло больше двух с половиной часов. Журналисты покинули зал заседаний и сгрудились за кулисами, где давали бесплатные бутерброды и пиво; и все

думали о том, как хорошо было бы вернуться в отель, выписаться, сесть на ближайший самолет и добраться до дому еще до конца выдвижения кандидатов и начала голосования. Они могли бы увидеть все это по телевизору, что сильно омрачало ситуацию. Съезд показал, что больше ни один журналист не может угнаться за событием, если не будет периодически обращать свой взор к голубому экрану. Ведь сами политические мужи кидались к телеоператорам, отталкивая плечом журналистов. И в период этого затишья один ожесточившийся представитель прессы — плотный южанин в роговых очках — произнес самые весомые слова за весь вечер. Потягивая пиво и грызя бутерброд, заключавший в себе тонюсенький ломтик пересохшей индейки, он сказал: «Да, единственное, что могло бы оживить съезд, это если бы Айк загнулся сегодня вечером»[1].

Шафер выдвинул Рокфеллера «...потому, что он отвечает нуждам момента. Он всегда находил отклик у людей молодых и старых, богатых и бедных, черных и белых. Он ни разу не проиграл на выборах... Дамы и господа, мы должны выдвинуть Нельсона Рокфеллера потому, что он республиканец, имеющий больше всего шансов на победу...» Это была пресная речь — имя Рокки повторилось семь раз, прежде чем делегатам подали сигнал и напряженность рассеялась. Впрочем, значения это не имело ни малейшего. Все и так знали, что Рокфеллеру устроят оглушительную овацию и что она не будет иметь ни малейшего значения. Прошли те времена, когда овация могла повлиять на исход съезда. Ее участники знали, что на следующий день их побранят в газетных передовицах, и поэтому в самый разгар воплей и топота слегка смущались. Скоро съезды будут устраивать прямо в телестудиях.

Затем Спиро Агню выдвинул Никсона. Если бы на следующий день его не выдвинули кандидатом на пост вице-президента, его речь прошла бы незамеченной: «Я имею честь выдвинуть кандидатом на пост президента Соединенных Штатов единственного человека, на которого указывает сама история, того, в ком вся Америка признает человека, чье время настало, человека 1968 года, досточтимого...»

Овация Никсона почти не уступала рокфеллеровской. Шум и гам, два ящика воздушных шаров, лопавшихся с пулеметным треском,— и никакого подъема в аудитории, никакого искреннего подъема. В этот вечер ничто и отдаленно не напоминало тот дух варварства и воинской истерии, который в 1964 году пробудил Барри Голдуотер.

И все же эти демонстрации показали все три кандидатуры еще с одной стороны: у людей Ригана были коротко остриженные, прямые волосы; Ромни поддерживали солдаты и полицейские; разбитные республиканцы — насколько республиканцы способны быть разбитными — шли за Рокки; что же касается Никсона—то настроение в зале напоминало разгар рождественского веселья в главной конторе большой корпорации.

Еще выдвижения. Гарольд Стассен — в седьмой раз. Сенатор Кейс от Нью-Джерси, губернатор Роудс от Огайо, сенатор Тэрмонда, который немедленно отказался в пользу Никсона. В семь минут второго ночи, через восемь часов семь минут после начала заседания оно было закрыто, и зал охватило убеждение, что сегодня вечером ничего не произошло. С самого начала Никсон был впереди, и он остался впереди до самого конца. Едва первой проголосовала Алабама (14 — за Никсона, 12 — за Ригана), как рассеялись последние сомнения, хотя в воскресенье, по оценке «Нью-Йорк таймс», Никсон мог твердо рассчитывать лишь на девять голосов. И когда Флорида из 34 голосов отдала ему 32, а Джорджия 21, хотя еще несколько дней назад их ожидалось всего 12,— уже можно было не ломать голову над исходом. Висконсин, отдав Никсону 30 голосов, обеспечил ему окончательный перевес — всего 692 голоса. Остальные голоса распределялись следующим образом: Рокфеллер — 277, Риган — 182, Роудс — 55, Ромни — 50, Кейс — 22, Карлсон — 20, У. Рокфеллер—18, Фонг — 14, Стассен — 2, Линдсей — 1.

■

А теперь покинем съезд, бросив взгляд на Ригана. Он взял слово, как только был подан первый голос, и призвал к тому, чтобы выдвижение (вице-президента.—*Ред.*) было единодушным. При этом Риган улыбался. И, что примечательно, он выглядел более счастливым, чем за все время съезда, словно вспомнил, как Барри Голдуотер отказался от выдвижения в 1960 году и какими выгодами это для него обернулось, а может быть, ему было просто приятно, так как актер в его душе распорядился, чтобы он играл именно эту роль. В кино он многие годы играл положительных героев и гордился этим. И если ему не доставалась героиня, то потому лишь, что он был слишком уж положительным. Но он не падал духом, а стискивал зубы и уже в следующий раз обязательно покорял ее. Поскольку вполне возможно, что таков внутренний конфликт жизни половины респектабельной Америки, он пользовался необычайной популярностью среди республиканцев. Для партии, которая гордится своим здравым смыслом, они были удивительно, даже возмутительно сентиментальны.

Сейчас, призывая к единству, Риган говорил мягко, с простотой, напоминающей простоту хорошего актера-профессионала средних лет: знаете, ребята, я вот играю интеллектуала, а собственный мой мозг устроен так, что и бридж для меня сложноват.

---

[1] В период съезда Д. Эйзенхауэр (Айк) лежал в госпитале.

НОРМАН МЕЙЛЕР
МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

Его шумно приветствовали, и вид у него был такой счастливый, словно он сумел чего-то добиться. В четверг, когда объявили о кандидатуре Агню на пост вице-президента, было много поводов вспомнить о нем; и по мере того, как история этого выдвижения прояснялась, репортер волей-неволей думал о том, каким он увидел Ригана во вторник, после приема, устроенного Никсоном для делегатов.

Во вторник репортер нашел Ригана в «Ди Лидо», в центре Майами-Бич, где поселились делегации Алабамы и Луизианы. После совещания с руководством луизианской делегации губернатор дал короткую пресс-конференцию, на которой заявил, что ничего о своем положении не знает. Слушая его, трудно было поверить, что ему пятьдесят семь и что он на два года старше Никсона,— просто юноша с виду, и ни единого седого волоска в шевелюре (по слухам, он красит волосы), а грим, к которому он прибегает (если верить разговорам), настолько великолепен, что его невозможно заметить.

И все же, в отличие от Никсона, Риган чувствовал себя с журналистами свободно. Они прежде всегда хорошо с ним обходились, они будут обходиться с ним хорошо и в будущем — в нем была уверенность избранного губернатора большого штата, как раз та, какой не хватало Никсону; к тому же Риган с давних пор проникся уверенностью актера, популярного среди тех, кто его интервьюирует, короче говоря, он умел держаться с людьми так естественно, что мелкие натяжки и несоответствия сходили ему с рук. В свои пятьдесят семь лет он казался тридцатилетним, и в нем чувствовался почтительный энтузиазм, ясный, но надежно неоригинальный ум коммерческого директора, который благодаря своим способностям получил повышение через головы тех, кто был старше.

Его, кроме того, отличала аккуратность и элегантная скупость жестов человека, недостаточно массивного, чтобы быть президентом, он был как-то слишком легок, и ему не оставалось ничего, кроме как маневрировать. Конечно, он мог взять да осчастливить генералов, чтобы доказать, насколько он весом, а потому его возможная политика не внушала доверия. Кроме того, он обладал второй личностью, которая была моложе первой, очень юной, мальчишеской, лет тринадцати-четырнадцати, с веснушками, чубом, ребячьей конфузливостью. Тогда, во вторник днем, его засыпали вопросами о том, удается ли ему переманивать делегатов от Никсона, а он повторял одно: «Я не знаю. Я просто не знаю. Я так загружен и встречаюсь с таким количеством делегаций, что у меня не остается времени читать газеты».

«А что говорят делегации, губернатор?»

«Право, не знаю. Они очень вежливо меня слушают, а потом я ухожу, и они обсуждают, что я им сказал. Но я не могу сказать вам, берем мы верх или нет. Думаю, что да, но точно я не знаю. Честное слово, не знаю, господа,— и белозубо улыбнулся.— Я просто не знаю»,— словно тринадцатилетний мальчишка, словно, господа, он и *в самом деле* не знает. Журналисты и делегаты, слушавшие его, смеялись вместе с ним, будто Рональд Риган — безобидная божья коровка.

Возможно, смущало Ригана то, что Юг стоял за Никсона. Наверное, в тот день он получил от делегатов двойную порцию любви — он был им симпатичен, но в то же время они не были готовы отдать ему свои голоса, а потому любили его вдвойне. А он не ощущал реальных приобретений, и поэтому он ничего не знал, просто ничего не знал.

■

Никсон сделал все, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Когда он вошел в зал, чтобы произнести перед делегатами речь, в которой давал согласие баллотироваться в президенты, он был опьянен успехом и счастлив; говоря с журналистами об Агню, он соблюдал величайшую осторожность, но к попытке взбунтовавшихся умеренных в знак протеста выдвинуть на пост вице-президента Ромни он отнесся весьма снисходительно. Ромни получил 186 голосов против 1128, и его багровое лицо и серо-зеленый огонь в глазах показывали, как его оскорбило предпочтение, оказанное человеку столь незначительному, как Агню. Однако перед тем, как войти в зал, Никсон специально подошел к Ромни и направился к трибуне под руку с губернатором Мичигана.

«Схватка на съезде — вещь очень полезная,— сказал он журналистам,— она оздоровила партию, помогла очистить атмосферу. Теперь мы сплотимся еще крепче».

Перед тем как Никсон начал свою речь, в нем чувствовалось страшное напряжение и было видно, что он намеревался сделать все, чтобы это была самая сильная речь в его жизни.

Когда его представили делегатам съезда, раздались аплодисменты — длительные, но не слишком бурные. Просто съезд официально приветствовал своего кандидата. Но ему на трибуне эти аплодисменты звучали музыкой, так как длились они несколько минут, и у него хватило времени подозвать жену и детей, а также Спиро Агню с женой и двумя дочерьми, а потом еще постоять на трибуне одному, приветственно помахать руками, улыбнуться улыбкой победителя, подбежать к краю трибуны и получить поцелуй от старой чопорной дамы, которая вчера вечером и сегодня во время баллотировки оглашала названия штатов, и еще у него хватило времени, чтобы снова и снова широко улыбаться, хватило времени, чтобы дать собравшимся оценить строгость своей позы и короткие, жеманные жесты, чем-то напоминавшие некоего диктатора из далекого прошлого. И опять встал вопрос: окажется ли Никсон достаточно силен или следовало опасаться, что слабость заставит

Никсона доказывать всем, что он очень, очень силен?

Наконец он жестом, улыбкой и смехом попросил тишины. А затем начал свою речь, к которой готовился много недель, вложив в нее всю свою энергию; речь, написанную, по-видимому, большей частью им самим, ибо в ней был весь человек, прежний и новый, со всеми старыми фокусами и новыми мечтами, обветшалыми идеями и яркими проблесками новой мысли — в этой речи был он весь. Он начал с воспоминания о том, как пятнадцать лет назад он тоже стоял «перед делегатами этого съезда, когда вы выдвинули меня вместе с одним из величайших американцев нашего, да и любого другого времени — Дуайтом Эйзенхауэром...»

Айк тем временем лежал тяжело больной в госпитале Уолтера Рида.

«Ничто так не поддержит его, как наша победа в ноябре. И я говорю: давайте одержим победу ради Айка».

Возможно, он ожидал громовой овации, но ответом ему были лишь жидкие аплодисменты. Айка уже использовали, и не раз, и не два, и не три.

Речь продолжалась. Он говорил о том, что Вашингтон должен вернуть власть штатам и городам, похвалил Рокфеллера, Рейгана и Ромни за их упорную борьбу и выразил уверенность, что в ноябре они будут драться еще упорнее за победу.

«Партия, которая сумеет сплотиться сама, сумеет сплотить и Америку»,— сказал он.

До сих пор он обхаживал старых республиканцев, действуя простыми, испытанными и безотказными методами, теперь же его слушали миллионы независимых, среди которых много молодежи, и он это знал. А потому дальше воззвал ко всем избирателям вообще.

«Когда мы смотрим на Америку, мы видим города в дыму и пламени. По ночам мы слышим вой сирен. Мы видим американцев, умирающих на далеких полях сражений за рубежом. Мы видим американцев, ненавидящих друг друга, дерущихся друг с другом, убивающих друг друга у себя на родине... Неужели мы прошли свой длинный путь ради этого? Отвечу вам...»

И мы услышали «...спокойный голос среди шума и гама, воплей... голос подавляющего большинства американцев, забытых американцев — не крикунов, не демонстрантов. Они не расисты и не больные; они не повинны в преступлениях, которые стали бедствием для страны; среди них есть черные, есть белые...»

И он стал усердно развивать тему забытых американцев, которые трудятся на фабриках, руководят фирмами, работают в правительственных учреждениях, идут в солдаты и погибают за родину.

«Они поддерживают дух Америки... осуществляют мечту Америки... являются хребтом Америки... хорошие люди... добропорядочные люди... работают и откладывают на черный день... (и смотрят сейчас на экраны своих телевизоров), платят налоги... и они не апатичны... они знают, что наша страна не будет хорошим домом ни для кого из нас, если она не станет хорошим домом для всех».

Затем он обрушился на лидеров, которые разбазаривали то, что является достоянием Америки и ее гордостью, неумело вели войны, развалили экономику.

«...настало время... полностью пересмотреть политику Америки в каждом уголке мира». Истина неоспорима.

«Я обещаю вам сегодня... добиться почетного окончания войны».

Что касается гражданских прав, он пойдет вправо, а в вопросах внешней политики влево, по сравнению с демократами, но при этом он тут же постарался поддержать жар патриотических душ.

«Друзья мои, мы живем в эпоху революции в Америке и во всем мире... обратимся же к революции, которая никогда не состарится, самой великой в мире непрерывной революции, к Американской революции».

Далее он похвалил прогресс и напомнил, что прогресс опирается на порядок. Но тут он был просто циничен, так как честное служение идее, чистой и цельной, было ему чуждо. Нет, для него идеи были клавишами, с помощью которых он хотел бы программировать американское мышление. А ведь с американским мышлением дело обстояло из рук вон плохо: лучшая в мире система образования привела к такой обработке сознания, какой не знала история культуры, подобно тому, как высочайшая ступень развития медицины может еще обрушить на человечество невиданный доселе мор. Отсюда явно следовало, что если бог пожелает спасти Америку, то кого, как не Ричарда Никсона, может он избрать сейчас своим орудием? Конечно, если бы дьявол захотел столкнуть Америку в пропасть... ну, для этого сошел бы и Хэмфри.

Он ударяет по другой клавише:

«Первое из гражданских прав каждого американца — это право быть избавленным от насилия у себя на родине».

Финт вправо, финт влево.

«Тем, кто говорит, что «законность» и «порядок» — это кодовые обозначения расизма, я отвечу: наша цель — справедливость, справедливость для каждого американца...»

Он перешел к заключительной части своей речи.

«Я вижу день»,— начал он, и эти слова послужили ему зачином для нескольких периодов. Когда-то Мартин Лютер Кинг произнес знаменитые слова: «У меня есть мечта...» Никсон взял на вооружение все ораторские приемы, которые оказались эффективными в последнее время. «Я вижу день» — эти слова он повторил девять раз. Он увидел день, когда президента будут уважать, «день, когда каждый ребенок в этой стране, независимо от своего происхождения, сможет получить самое лучшее

НОРМАН МЕЙЛЕР
МАЙАМИ И ОСАДА ЧИКАГО

образование... сможет подняться в жизни до таких высот, какие будут соответствовать его дарованиям».

Никсон — социалист!

«Я вижу день, когда жизнь в сельской местности будет привлекать людей, а не отпугивать...»

Затем он увидел день, когда удастся покончить с проблемой трущоб, уличного движения, загрязнения биосферы, он увидел день, когда доллар будет стоять твердо, день избавления от страха—в Америке и во всем мире... И за все это он просил голосовать.

Речь его уже близилась к концу, но тут он сделал второй заход:

«В этот вечер я мысленно вижу ребенка... мексиканца, итальянца, поляка... неважно, какого он происхождения... он — американский ребенок».

Но он лишен будущего. Как искажается болью лицо ребенка, когда он познает нищету, пренебрежение, отчаяние.

Тут Никсон мысленно увидел другого ребенка:

«Он слышит шум проходящего поезда. По ночам он мечтает о далеких местах, где ему хотелось бы побывать... на жизнеином пути ему помогали многие... отец, который вынужден пойти работать, не окончив шестого класса... заботливая мать-квакерша, страстная поборница мира... прекрасиая учительница... замечательный футбольный тренер... мужественная жена... преданные дети... обеспечнть ему успех на избранном им политическом поприще помогали сперва десятки, потом сотни, потом тысячи и, иакоиец, миллиоиы людей. И вот сегодия он стоит перед вами, он выдвинут кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Теперь вам понятно, почему я так глубоко верю в американскую мечту... помогите же мне сделать ее реальностью для миллионов людей — всех тех, для кого сегодня это всего лишь иесбыточиая мечта... Американцы, сограждане мои, долгая темная ночь, спустившаяся иа Америку, скоро кончится... пора нам покинуть долину отчаяния и взойти на вершину горы... (Тут явственно слышится страстный возглас Мартина Лютера Кинга в последней его проповеди: «Я взошел на вершину горы — я видел вершину». Нет, у Никсона не было стыда и не было страха, а каких демонов будил он!)... На вершину горы, чтобы мы смогли увидеть славную зарю нового дня Америки, новую зарю свободы и мира на земном шаре».

Он кончил, и кто измерит добро и зло, силу и слабость, искренность и лицемерие его слов? Вверх взмыли воздушные шарики — их выпустили целый ящик (33 цента за штуку),— раздались крики ликования и аплодисменты, заиграл оркестр, и Никсон с семейством выглядели очень счастливыми, и Агню с семейством выглядели ошеломленными и очень счастливыми, и вот уже стали смолкать аплодисменты, ие слишком громкие, не слишком тихие, аплодисменты, награждавшие Ричарда Никсона за его высшее достижение на поприще ораторского искусства. А тем временем в Майами, в шести милях от зала, где проходил съезд, в районе между 54-й и 79-й улицами и Седьмой и Двадцать седьмой авеню иачались негритянские волнения, и трое убиты, а пятеро в критическом состоянии в результате перестрелки между полицейскими и снайперами; и пятьсот вооруженных национальных гвардейцев заняли позиции в ста городских кварталах; и со среды, когда все это иачалось, были арестованы сто пятьдесят черных; и губернатор Кэрк пошел с преподобным Абернети (тот сказал: «Я поведу вас»), чтобы урезонить взбунтовавшихся. А сегодня вечером в ответ на вопрос, как успокоить волнения, губернатор заявил: «Силой, любой силой, какая бы ни потребовалась». Это были первые крупные волиения в истории Майами.

К этому времени репортера отделяли от места событий 1500 миль, и он уже ие мог описывать их как очевидец. Впрочем, в Чикаго предстояло то же самое. Быть может, Чикаго подскажет ему, на какую лошадку ставить в этих скачках, где призом будет самый высокий пост в стране. Ему вдруг пришло в голову, что разумный американский избиратель находится сейчас в положении бедного негра-южаниина, который на протяжении последних пятидесяти лет вынужден был выбирать между расистом явно скверным и расистом, который, быть может, окажется ие таким уж скверным. Хэмфри против Никсона!

(Окончание следует)

Заметки на полях
зарубежных газет и журналов

ЖИВОЙ «ПОКОЙНИК» РОМАН

В мире, полном проблем, от которых у литератора болит голова, дискуссиям о романе, казалось бы, следует тихо растаять. У читателей литературных журналов сложилось впечатление, что так и произошло. С улыбками вспоминали баталии вокруг новых и старых романов и, глядя в газеты с корреспонденциями из Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии, читая уверенные статьи о конечной смерти искусства и манифесты Сартра о благодатности немедленных действий и о вреде рассуждений, кое-кто из западных литераторов, наверно, думал: «Боже. Скорее на киностудию или в колледж. Хватит не только дискуссий, но и самих романов».

Однако дискуссии возникают вновь и вновь. В последнее время, несмотря на всю катетичность и грандиозность событий в мире, старомодное слово «роман» вновь упрямо замелькало в журнально-газетных статьях.

С этой точки зрения любопытна подборка «Распад романа» в лондонском журнале «Букс энд букмен».

Хитрая улыбка Джека Тревора Стори, смотрящего куда-то мимо читателя с фотографии над текстом выступления, весьма соответствует содержанию самого выступления. Дж. Стори издевается, острит, эпатирует. Раблезианские метафоры, словечки так и пляшут в абзацах эссе. Не прочь он и по традиции ущипнуть классиков: «Я никогда не мог читать Диккенса, Шекспира, Библию и вообще что-либо из так называемой классики». Тут же он ругает и «модерн»... Но за журналистской клоуиадой видна тоска по концептуальному, ответственному искусству, с которым у Стори внутренне ассоциируется проблема романа:

> «...книга есть книга... Писатель может быть фрагментарен и субъективен, как ему вздумается, но ведь ему приходится ставить под этим свое имя».

Остальные участники обсуждения не очень поддерживают выпады Дж. Стори против расхожего «модерна» и не разделяют его еле заметную, нервически скрываемую печаль по свежести и простоте. Слова «подсознание», «Джойс», «новый роман» то и дело мелькают в текстах выступлений. Б. С. Джонсон очень сердит на «рассказывание историй», которое будто бы составляет специфику старого романа:

> «Езда верхом — приятное хобби или игра для тех, кто этим интересуется, но серьезные путешественники используют сегодняшние средства сообщения: самолет, автомобиль, поезд. Никто не отговаривает людей ездить на лошади, если они того желают, но равным образом никто их не примет всерьез как путешественников... Если главный интерес писателя состоит в рассказывании историй... то лучшее место для этого — телевидение, которое технически сильнее и обращается к большему числу людей, чем нынешний роман». У романов же другие задачи: «Писание романа ныне не может быть ничем иным, кроме как «делом веры» в художественной форме...»

Здесь Б. С. Джонсон невольно проговаривается: начав со слов о распаде романа, он тут же утверждает, что Джойс не разрушил романа, а только «указал форму, которую роман приобретет в будущем» (можно спорить с самим этим утверждением, но это другой вопрос); заговорив о формальных проблемах, приходит к тому, что стоит за ответственными словами «дело веры», то есть к категориям духовным, к факторам

целостности, жизненной позиции человека. Правда, он понимает их как чисто внутренние:

«Серьезный романист все более и более вынужден писать лишь о том, что он может найти в себе самом».

Однако же дело не в этой конкретной интерпретации, а в общей скрытой тенденции выступления.

Так или иначе эта тенденция сквозит и у Джерарда Уэрсона, и у издательницы Мэрион Бойерз, которая в заключение выражает робкое предположение, что Энтони Бёрджес, Элен Бёрнз, Б. С. Джонсон и другие останутся романистами, и никем иным. И лишь Элен Бёрнз настойчиво повторяет классическую фразу:

«В наше время не осталось идей, они так же редки, как оспа. Но ясно и без слов, что еще можно ловить образы...»

Тот самый Энтони Бёрджес, которого упоминает М. Бойерз, печатает в «Нью-Йорк таймс бук ревью» статью «Роман в 2000 году н. э.». Названне, как видим, свидетельствует о несколько «легкомысленных» намерениях. И верно, автор много толкует о технике искусства, как он ее мыслит через 30 лет, об отношении в те далекие времена типографского знака и зрительных видов творчества, то есть обо всем том, о чем, как говорится, не нам судить (хотя чисто спортивно эти фантазии любопытны). Словом, тут много острот и экстравагантностей; но, несомненно, главное, ради чего написана эта статья, выражено в строчках такого рода:

«Мы должны отбросить сомнения на тот счет, что роман — это литература. Это не означает, что надо следовать г-ну Апдайку, чья высокопоэтическая проза испорчена столь вялыми ритмами. Это означает использование тех контрапунктных источников — иронии, юмора, пафоса и так далее,— которые скрыты в любом символическом творчестве...»

Эти мысли проскальзывают не раз и по разным поводам. Автора не устраивает тот или иной писатель, но он думает о том же, о чем размышляют прочие романисты: о целостном смысле романа. Вновь о человеке. Вновь о духовном наполнении творчества.

Французский писатель Жорж Коншон гораздо решительнее своих стыдливых и немного манерных собратьев по перу ратует в еженедельнике «Фигаро литтерер» за «простые истины» в сфере романа и откровенно сетует в связи с этим по адресу Бютора и Роб-Грийе и «нового романа» во всем его антураже. В отличие от молодого Б. С. Джонсона, отстаивая сюжетность, «рассказывание историй» как признак здорового начала и синтетизма, Коншон замечает:

«Я знаю, что роман сейчас на той стадии, когда он может обойтись без историй, развивающихся по всем правилам, имеющих начало и конец, провалы и подъемы. Я вовсе не вздыхаю по этим толстым томам. Способности Бальзака... направлять их мощными ударами киута оставляют меня скорее холодным... И все же, когда выходит мадам Шатле и это обещает, что она вскоре столкнется на аллее с Левеном, сердце начинает у меня биться, как у дурачка».

Отдав поклон Бальзаку, Жорж Коншон возвращается к «новому роману». И тут уж автор не стесняется в выражениях:

«Я не очень старался шагать в ногу с этим авангардом, поскольку темп его движения был слишком вялым для моих нервов... Оставьте в арьергарде собственный авангард; просто жалко смотреть на это бывшее передовое подразделение, бившее копытом от нетерпения в шестидесятые годы, а теперь, на повороте к семидесятым, остановившееся в тени, забытое всеми в овражке, где оно устроилось со всеми удобствами, точно ему уже и не предстоит никогда снова выйти на марш. И если поражение сейчас так очевидно, надо думать, что яблочко всегда было «червивое».

Как английские литераторы, так и Жорж Коншон не чужды целей саморекламы, отсюда чрезмерный эпатаж и хлесткость; но за этим видна и искренность.

В чем причина столь крепких упреков? Чем так уж досадил Коншону «новый роман», отрицающий роман в исконном значении этого слова? Неужто и верно — вся суть в сюжете?

«...Вы дошли до геркулесовых столпов неразумья, требуя, чтобы вас любили за вас самих, за то, как вы говорите, а отнюдь не за то, что вы говорите. Отсюда ваше стремление ходить нагишом из страха, как бы какой-нибудь бантик не лишил вас благосклонности, на которую вы твердо рассчитывали».

Как видим, сюжет — лишь внешняя форма, лишь символ идеи существенности и синтетизма художественного мышления, которые в столь энергических выражениях отстаивает Коншон.

Но мало этих разрозненных выступлений; недавно в Страсбурге прошел... специальный коллоквиум по «скончавшемуся» роману, под вполне оптимистическим деви-

зом «Тенденция и техника французского романа после 1945 г.». Не все было спокойно на коллоквиуме. Некоторые все же настаивали на том, что нечего гревожить покойника, другие доказывали, что он еще жив. Первые не заметили, что, собравшись на коллоквиум, они тем самым поставили свою идею в несколько неловкое положение. Впрочем, как утверждают корреспонденты «Монд» и «Фигаро литтерер», было не две, а три основные позиции. Одни видят в романе прежде всего повествование о событиях (традиционалисты!), вторые — просто «текст» (как легко догадаться, это и есть отрицатели). Показательнее всего, однако, третья позиция: роман — исповедь, вскрытие душевных стихий. Это говорил, например, Веркор, который, по словам корреспондента,

> «был очень патетичен, настаивал на «чуде таланта», побуждающего человека заниматься высшей формой литературной деятельности — писанием романа, в котором он видит возмущение сознания человека перед агрессией современного мира, героическую попытку противодействовать всеобщему падению, усилие, направленное к тому, чтобы поделиться своей тревогой и объединить тех, кто встревожен; этот призыв направлен, по его мнению, к «очеловечиванию» — то есть к обострению самосознания и солидарности рода человеческого».

Думается, «патетичный» Веркор, не боящийся впасть в риторику (то есть одолевший один из самых болезненных комплексов интеллигента XX века), наиболее четко выразил то, что не хотели прямо сказать и Стори, и Коншон, и Бёрджес, и те, кто робко защищал роман на коллоквиуме.

И верно: разве дело в самом романе? Разве о внешней форме идет тут речь?

По сути, «технологически» спор о романе и правда надуман. Да, это форма прозы, возникшая исторически в сравнительно позднее время. Да, нынешний роман (в его непровинциальных образцах) не похож на прежний. Но разве роман того же Бальзака походил на «Дон Кихота» или «Манон Леско»? Разве внешне «сопоставимы» «Война и мир» и произведения Фильдинга? Можно сказать просто: движутся, развиваются, варьируются жанровые формы, но остается жанр.

Кстати, и в нашей литературе прошедшие год-два подтвердили жизнеспособность романа. У нас не было теоретических споров, подобных тем, что кипели лет десять назад, однако же были — романы. Слуцкис, Бондарев, Окуджава, Владимов... Можно немало спорить о качестве, стиле и прочих чертах и принципах этих очень разных произведений, но это уже другой спор. А факт есть факт: писатели вновь обращаются к роману, чтобы выразить нечто такое, что им не позволяют выразить ни поэзия, ни эссе...

Пока в человеке жива потребность в цельном мировоззрении, пока он не устал от поисков «общей гармонии» в нынешнем сложном и бешеном мире, в душах собратьев, в своей душе; пока в нем жива мечта о нормальном человеке в нормальном и равномерно освоенном мироздании — будет жив роман, наиболее синтетическая и универсальная форма зрелой художественной мысли, выражение упорной потребности человека в цельности бытия, в единении «истины, красоты и добра» посредине бушующего и темного моря.

С тем возник роман, с тем и живет.

Это прямо или косвенно подтверждают и споры, и практика творчества.

Да, дело не в сюжетах, не в названии жанра...

Вл. ГУСЕВ

«ДРУЗЬЯ НАРОДА» БРОСАЮТ ВЫЗОВ

Примерно год назад в различных газетах Стамбула и Анкары появились анонсы, сообщавшие о скором выходе в свет нового революционного ежемесячника, посвященного вопросам культуры и искусства,— «Друзья народа». И вот первые номера журнала появились на прилавках.

Основатели и издатели его Атаол Бехрамоглу и Исмет Озель — наиболее активные поэты молодого поколения, которое заявило о себе в середине шестидесятых годов в эпоху так называемой «либерализации», наступившей в Турции после свержения диктатуры Мендереса. Большинству этих литераторов, так же как издателям журнала, нет еще и тридцати лет, они выпустили по одной-две книжке стихов и множество литературных деклараций. В одной из таких деклараций, подписанной тридцатью двумя поэтами, в том числе А. Бехрамоглу и И. Озелем, решительно утверждалось, что в наш век единственным истинно художественным методом является новый или научный реализм». Эти поэты противопоставили свое всему предшествовавшему литературному развитию Турции.

Во времена диктатуры Мендереса (1950—1960 гг.), когда преследовалась всякая живая мысль, когда десятки прогрессивных художников и писателей были брошены в

тюрьмы, в турецкой поэзии появилась группа поэтов, выдвинувшая на первый план формальные достоинства стиха; играя словами, символами, намеками, они объявили «смысл принадлежностью прозы, а не поэзии». Поэты этого направления, получившего наименование «второе новое», будучи жертвами реакции, стали одновременно и ее орудием, ибо, замкнувшись в кругу формалистического искусства, отвратили широкого читателя от поэзии вообще.

Свержение режима Мендереса дало толчок развитию демократического движения и общественной мысли в Турции. На книжных прилавках появилась социалистическая и марксистская литература. Назым Хикмет, некогда писавший:

В моей Турции
По-турецки
Печатать меня запрещено! —

начал издаваться на родине большими тиражами. Необычайный размах приобрело антиамериканское движение, движение за выход Турции из НАТО. Все это вызвало к активной политической жизни молодежь Турции, перед глазами которой, кроме того, стояло широкое молодежное движение, охватившее Европу.

«Новые реалисты» и журнал «Друзья народа» объявили своей задачей: преобразовать поэзию в революционном, антиимпериалистическом духе, привести ее в соответствие с теми идеями, которые овладели молодым поколением страны. И первый свой удар они нанесли по «второму новому» — абстрактному — направлению в турецкой поэзии. Это сразу же привлекло к себе внимание писателей старшего поколения. Не осталось в Турции ни одного литературного журнала, который не выступил бы со статьями о молодой поэзии и о молодых поэтах.

Но прошло время, а «Друзья народа», или «новые реалисты», как они себя называют, неоднократно повторив, против чего они выступают, так и не смогли сколько-нибудь убедительно показать, что же они понимают под новым, «научным», реализмом.

И вот журнал «Ант», пытаясь выяснить для читателя, а может быть, и для самих молодых поэтов, как они представляют себе задачи революционного искусства и его роль в жизни общества, решил провести беседу с четырьмя наиболее известными из них.

«По-моему, главная задача искусства,— ответил Атаол Бехрамоглу,— состоит в том, чтобы показать современного человека. Литература сегодняшней Турции — отсталая литература: она не отражает истинного положения человека... Формалистическое искусство должно утратить ведущую роль. Мы, представители искусства социалистического, решили начать борьбу. Мы бросаем вызов формалистическому искусству, и наша цель — оградить молодое поколение писателей, которое последует за нами, от вредных влияний».

«В сегодняшней Турции, если художник не прогрессивен, он не может считаться хорошим,— поддержал его Исмет Озель.— Если художник занимается какими-то маловажными вещами и игнорирует жизнь народа — это непростительно».

«Во всех жанрах турецкой литературы сегодня наблюдается застой,— решительно заявил Сюрейя Берфе.— Основная причина этого — оторванность литературы от ее корней... Многие годы турецкие литераторы подражали западным образцам и пытались копировать проблемы Запада... Нынешние крупные писатели никак не способствуют социальному пробуждению, начавшемуся после 1960 года».

«Революционная литература неотделима от революционной борьбы,— считает Озкан Мерт.— Поэт-революционер — это поэт, который смотрит на мир с марксистско-ленинских позиций. Буржуазные поэты отделяют личную жизнь художника от общих процессов, происходящих в мире, и называют это свободой... Нет никакой свободы только для поэта или поэзии. Свобода общества есть свобода поэта. Истинная свобода искусства наступает только тогда, когда у власти находится пролетариат...»

Выдвигая подчас совершенно верные общие положения, «новые реалисты», судя по всему, весьма смутно представляют себе конкретные задачи искусства и реальное соотношение общественных сил в стране. Что такое «социалистическое искусство», к представителям которого причисляет себя и своих друзей А. Бехрамоглу? Неужто любое искусство, противостоящее формалистическому? Что вкладывает И. Озель в понятие «прогрессивный»? На эти и подобные вопросы читатель безуспешно будет искать ответа. И у многих, не без оснований, может сложиться впечатление, что «новые реалисты», следуя очередной европейской моде — а такой модой ныне в буржуазной Европе стала среди молодых художников «р-р-революционность»,— стремятся поскорей отвоевать свое место на литературном Парнасе.

Между тем это не совсем так, ибо как условия общественной борьбы в Турции значительно отличаются от условий в Западной Европе, так и искусству, в особенности поэзии, в этой борьбе принадлежит здесь куда более значительная роль.

Из ответов молодых литераторов на вопрос: «Может ли искусство использоваться как средство пропаганды?» — явствует, что они искренне стремятся поставить свою

поэзию на службу демократическому движению, хотя и побаиваются подмены поэзии рифмованными лозунгами.

Сюрейя Берфе:

«...Искусство не просто одна из форм пропаганды, ибо чем ближе искусство к пропаганде, тем больше теряет оно свою ценность. Но это не значит, что искусство совсем свободно от элементов пропаганды. Искусство должно и будет заниматься пропагандой».

Исмет Озель:

«В обществе, где бурно развивается революционное движение, растут возможности развития революционного искусства и революционной литературы. Лично я, как поэт, ощущаю необходимость агитации. Я не говорю о лобовой конкретной агитации: подвигнуть кого-то на взрыв моста или на захват фабрики... Мы не должны сбиваться на служение политике одного дня, которая постоянно меняется. Мы, художники, должны сплотить людей, утверждая ценность человека, иначе говоря, мы должны пробуждать людей, открывать им глаза на жизнь».

Атаол Бехрамоглу:

«Влияние искусства сказывается не мгновенно. Искусство не ограничивается описанием настоящего, в нем заложены зерна будущего. Это не означает, что искусство оторвано от текущей революционной борьбы. Мы не пишем стихов специально для митингов. Но, если надо, мы читаем наши стихи и на митингах. Здесь искусство смыкается с пропагандой».

Можно только порадоваться, что молодые турецкие поэты не разделяют модные ныне среди определенной части молодой западной интеллигенции теории, сводящие искусство к «лозунгам, крикам и лохмотьям», а также взглядов ультралевых теоретиков, вообще отрицающих необходимость искусства.

Заслуживают интереса и их высказывания о связи литературы с революционным демократическим движением.

«Подумайте о русской литературе XIX века,— говорит Бехрамоглу.— Можно ли без этой литературы представить себе революцию в России в XX веке? Литература воспитала целые поколения революционеров».

«Социалистическая революция теснейшим образом связана с искусством,— вторит ему С. Берфе,— искусство наполняет ее, без него революция была бы безжизненной и немощной».

В своих высказываниях и декларациях молодые поэты широко используют марксистские термины: базис и надстройка, класс, пролетариат, социализм... Однако, к сожалению, ознакомившись лишь с азами марксизма — это не вина их, а беда, ибо даже употребление слова «социализм» еще недавно грозило в Турции долгими годами тюрьмы,— молодые поэты сочли себя теоретиками революционного искусства. На деле же весьма скоро выясняется, что марксистско-ленинские положения странным образом сосуществуют в их головах с маоистскими теориями «культурной революции», с сектантскими и анархистскими взглядами как в области политики, так и в области эстетики. Озкан Мерт, например, приводит в подтверждение своих соображений цитату из Мао: «Мысли каждого носят печать класса, к которому он принадлежит», не видя ее сектантской убогости. Ведь как же тогда быть с Марксом и Энгельсом, которые, как известно, не принадлежали к пролетариату ни по происхождению, ни по положению, как быть с диалектикой отношений искусства к действительности?

В этом смысле весьма показательно и отношение «новых реалистов» к реалистической турецкой литературе прошлого.

«Я — против всех турецких поэтов старшего поколения, кроме Назыма Хикмета, Ахмета Арифа и Джейхуна Атуфа Кансу»,— заявляет Сюрейя Берфе.

«Наши стихи надо рассматривать отдельно от социальных стихов, написанных до нас»,— вторит ему Исмет Озель.

«Мы взяли на себя ответственность создания хорошей, здоровой и прочной литературы... Мы дадим литературе новую силу, вдохнем в нее новое дыхание» (Берфе).

«Новые реалисты» в пылу полемики не замечают, что, зачеркивая литературу прошлого, они отрываются от тех самых литературных корней, приверженностью к которым они так часто клянутся. Все они с уважением произносят имя Назыма Хикмета. Мало того, журнал «Друзья народа» начал публикацию статей молодого Назыма из серии «Развенчиваем кумиры», которые были написаны им в 1929 г. Но, имея в виду эти статьи, сам поэт впоследствии писал: «В молодости я тоже отдал дань сектантству. Я интересовался прежде всего результатом, вместо того чтобы передавать идеи в художественных образах. Сектантство — разновидность нигилизма. Сектант отрицает всякое иное суждение, кроме своего. Зло, причиняемое сектантством, неизмеримо велико».

«Мы порождены социальными условиями сегодняшней Турции»,— заявляет О. Мерт.

И это совершенно справедливо. В последнее десятилетие турецкая интеллигенция, долгое время находившаяся в идеологической изоляции, получила возможность ознакомиться со всем многообразием современной политической и литературно-критической мысли. Но прочитанная залпом, глубоко и серьезно не осмысленная марксистская литература наложилась на изобилие разновидностей псевдомарксистской продукции и создала ту неразбериху в умах, которая, в частности, проявляется в некоторых декларациях «новых реалистов».

Кое-кто из них, пусть смутно, но, кажется, начинает это понимать.

«Если в прошлом столетии было лишь несколько литературных течений,— говорит А. Бехрамоглу,— то в XX веке их в десять раз больше, и довольно трудно понять, какие из них прогрессивны, какие реакционны».

Что ж, разобраться в художественной и идейной жизни современного мира воистину нелегко. Но, как ни сложна эта работа, ее необходимо проделать тому, кто хочет быть революционным художником, кто берет на себя благородную и ответственную задачу «создания культурного фронта борьбы против империализма и реакции», как сформулировали свои цели молодые турецкие поэты, начиная издание журнала «Друзья народа».

В. ФЕОНОВА

Наши гости

СУАН МИЕН, АНЬ ТХО, НОНГ КУОК ТЯН

ВСТРЕЧА С ПОЭТАМИ ВЬЕТНАМА

Мне не впервые доводится писать для журнала о встречах в редакции с писателями из Вьетнама. И всякий раз, принимаясь за работу, я ловлю себя на мысли о том, как трудно передать в информативной статье сердечность этих дружеских бесед, обаяние людей, родившихся и выросших в стране древней неповторимой культуры и великого ратного мужества, тысячелетиями отстаивавшей в боях свою независимость и свободу и продолжающей сегодня сражаться с захватчиками. И все же, вероятно, даже короткий пересказ того, о чем говорится на таких писательских встречах, для читателя небезынтересен...

У троих вьетнамских поэтов, бывших на этот раз гостями редакции, разные судьбы, разные литературные почерки. Поэтесса Ань Тхо родилась в Хай-зыонге, небольшом городе Северного Вьетнама; первая книга ее стихов, вышедшая в 1940 году, принесла ей известность, и с тех пор она занимает видное место во вьетнамской литературе, где вот уже два столетия женщины-поэтессы пользуются заслуженной славой. Нонг Куок Тян, выходец из народности тай, живущей в горах Севера и имеющей свой язык, свои обычаи и культуру, пришел в литературу в начале пятидесятых годов. Суан Миен, долгие годы проведший на Юге, начал свой творческий путь в середине сороковых годов.

Стихи Ань Тхо, лиричные и изящные по форме, воспевают красоту родного края, самоотверженность и трудовой порыв женщин Вьетнама, силу и благородство материнской любви. Поэмы Нонг Куок Тяна, близкие по своему музыкальному строю и образности к песням его земляков, рассказывают о новой жизни, пришедшей в забытые некогда горные селения, о братских узах, связавших ныне народы Вьетнама. Мужественные, четкие по ритмике стихотворения Суан Миена, офицера Народной армии, доносят до нас простоту и величие солдатского подвига и могучую поступь всенародной войны.

Но есть у всех троих и немало общего. Они родились в начале двадцатых годов и на своем опыте узнали, что такое колониализм. В сорок пятом восторженно встретили они революцию; а когда через год колонизаторы вновь развязали войну, они ушли вместе с первыми отрядами Народной армии в джунгли. После победы, в пятьдесят четвертом, Суан Миен остался в армии, а Ань Тхо и Нонг Куок Тян, возвратившись домой, стали активными участниками «движения в жизнь», много ездили по стране, подолгу жили среди крестьян и рабочих. Можно сказать, на глазах у всех троих складывался новый социальный строй, новые отношения между людьми, новые характеры; именно «новое» становится их основным поэтическим интересом, предметом их неустанного поиска.

Главное, о чем идет разговор,— это, конечно, Вьетнам, жизнь страны, литературные новости. Гости рассказывают, что сейчас в ДРВ особенно велика тяга к книге, к художественной литературе. Культурная жизнь республики проходила в этом году под знаком четырех юбилейных дат: 40-летия Партии трудящихся Вьетнама, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 80-летия со дня рождения Хо Ши Мина и 25-летия ДРВ. Говоря о Ленинском юбилее, гости называют приуроченные к этой дате книжные издания и публикации в литературной печати: сборник «Ленин и искусство», книгу советских рассказов о Ленине, переведенных на вьетнамский, очерк М. Горького об Иль-

иче в газете «Нян зан» («Народ») — органе ЦК ПТВ и др. В проходивших дискуссиях о ленинизме и искусстве особое место уделялось взглядам Ленина на партийность и народность литературы, его отношению к классическому наследию и национальным культурам. Нонг Куок Тян достает из портфеля номер журнала Союза писателей «Так фам мой» («Новые произведения»), целиком посвященный Ленину. Открывает номер написанная десять лет назад статья Хо Ши Мина «Путь, который привел меня к ленинизму». Журнал публикует также подборку «Ленин о литературе». Далее идут очерк То Хоая «Имя его — имя всей планеты» об Ильиче и о Советском Союзе, стихи Те Ханя «Шалаш в Разливе» (с пометкой «Ленинград, декабрь 1969 г.»), Фам Хо «Фотография Ленина», Суан Хоанга «Огни Сибири», Нгуен Ван Тоая «Кремлевский пропуск»; статьи поэта Дао Суан Куи «Образ Ленина в сердце поэтов Вьетнама» и критика Ле Динь Ки «Свет ленинизма и литература и искусство»; стихи о Ленине Н. Заболоцкого, Бертольта Брехта, Пабло Неруды и других зарубежных поэтов и отрывок из «Третьей патетической» Н. Погодина...

Ань Тхо рассказывает о постановке «Кремлевских курантов» Н. Погодина в Ханойском драматическом театре. Дополняя ее рассказ, Суан Миен вспоминает о длинных очередях, которые неизменно выстраивались перед театральной кассой накануне каждого представления «Кремлевских курантов». Спектакль из здания Городского театра был перенесен на сцену открытого, более вместительного Народного театра. Но и здесь все места всегда заняты. Люди приезжают на спектакль из других городов.

Продолжая разговор о театре, наши гости отмечают, что переводные пьесы занимают пока незначительное место в его репертуаре. Однако шедшие в Ханое советские пьесы «Люба» (так называли здесь «Любовь Яровую» Н. Тренева), «Иркутская история» А. Арбузова, «Барабанщица» А. Салынского пользовались большим успехом.

Драматических (так называемых «разговорных») трупп в стране еще очень мало, большинство коллективов работает в традиционных музыкальных жанрах, в которых все шире отражается современная героическая тема.

Сейчас театр, по словам наших гостей, приобрел особое значение как искусство, непосредственно обращенное к массам. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах создаются десятки самодеятельных театральных коллективов. Проводятся различные конкурсы и фестивали. Основная тема нынешних постановок — героизм солдат и ополченцев и трудовой энтузиазм крестьян и рабочих. Из последних пьес особой популярностью пользуется драма «Фронт зовет», по которой сейчас снимается фильм. Вообще же, лучшие вещи для театра, написанные за эти годы, вошли в сборник «Антиамериканские пьесы», опубликованный полтора года назад в Ханое в издательстве «Ван хаук» («Литература»). С успехом идут и пьесы на исторические темы, раскрывающие истоки патриотических традиций Вьетнама. Среди новых работ поэтов наши гости назвали прежде всего последнюю поэму То Хыу «По стопам дяди Хо», посвященную жизни и деятельности выдающегося вождя вьетнамского народа и видного руководителя международного рабочего движения Хо Ши Мина. Поэма эта, печатавшаяся в газете «Нян зан», вышла недавно отдельным изданием. Нонг Куок Тян добавил, что любители поэзии во Вьетнаме ожидают с нетерпением новых книг Те Ханя и Суан Зиеу, выход которых объявлен издательством «Ван хаук» на ближайшие месяцы. Ань Тхо и Суан Миен рассказали о недавнем поэтическом конкурсе еженедельника «Ван нге» («Литература и искусство»). Подобные конкурсы проходили и в самые напряженные годы антиамериканской войны, благодаря им в литературу пришли новые дарования. Ань Тхо отметила большой успех, выпавший в последнем конкурсе на долю молодых поэтесс. Сегодня заслуженной популярностью пользуются стихи лауреатов прежних конкурсов — поэтесс Суан Куинь и Тхань Нян. Хорошо была принята читателями вышедшая недавно книга стихов двух других поэтесс — Тхюи Бак и Минь Тхай. Ань Тхо рассказала и о детском поэтическом творчестве. Многие из юных поэтов завоевали уже популярность у читателей — маленьких и взрослых. Так, книжка стихов школьника Чан Данг Кхоа вышла отдельным изданием, а журнал «Так фам мой» поместил в прошлом году подборку стихотворений юных поэтов, в том числе и 10-летней дочери Ань Тхо. Вышел также сборник детских стихов о Хо Ши Мине.

Среди новинок прозы наши гости назвали вторую книгу романа Нгуен Динь Тхи «Рушатся берега», большого эпического полотна, отобразившего становление и развитие освободительного движения во Вьетнаме. Готовятся к печати новые повести То Хоая «Хоанг Ван Тху» и «Затерянный остров» (первая — посвящена легендарному герою-революционеру, вторая — построена на старинных вьетнамских преданиях), а также рассказы Буи Хиена и очерки Нгуен Кхая и Нгуен Туана.

Ань Тхо вспоминает, как они вместе с Нгуен Туаном ездили в командировку в 4-ю зону, лежащую на юге ДРВ у пограничной 17-й параллели. «Хотя в это время,— говорит она,— бомбежки уже почти прекратились, вдоль дорог продолжали взрываться бомбы замедленного действия. Машины шли, соблюдая дистанцию, точно следуя путевым знакам, так, словно бомбардировки продолжаются по-прежнему... А сейчас,— добавляет Ань Тхо,— Нгуен Туан уехал на Черную реку, о которой он написал несколько лет назад интересную книжку...»

Суан Миен, продолжая тему, поднятую Ань Тхо, рассказал о том, как строится жизнь и работа писателей ДРВ в условиях войны. Писатели выезжают в длительные командировки в воинские части, подолгу

вают на самых опасных участках — в транспортных колоннах и ремонтно-дорожных бригадах: ведь в годы воздушной войны дороги стали линиями фронта. Все это дает возможность литераторам республики собрать богатый материал о всенародном ратном и трудовом подвиге и отобразить его в своих произведениях. Большой вклад в освоение этой темы внесли военные писатели — как профессиональные прозаики и поэты, сотрудничающие в журнале «Ван нге куан дой» («Литература и искусство армии» — органе Главпура НА), так и начинающие литераторы, которых немало во всех родах войск. Армейская литературная молодежь с успехом участвует во всех поэтических и прозаических конкурсах. Молодые прозаики и поэты из армии занимаются и на литературных курсах, давно уже существующих при Союзе писателей и не прекращавших своей работы даже в годы самых ожесточенных бомбардировок, участвуют в различных творческих встречах и семинарах.

«Литература и война» — вопрос этот, как отмечали наши гости, особенно остро стоит сейчас перед писателями Юга. В Южном Вьетнаме преобладающее большинство талантливых и честных деятелей культуры работает в освобожденных районах. Писатели, художники, кинооператоры сражаются и трудятся бок о бок с солдатами, партизанами, земледельцами и рабочими. Несмотря на крайне тяжелые условия развязанной американцами и их марионетками варварской войны на истребление, в освобожденных районах печатаются журналы и книги, выходят кинофильмы, ставятся спектакли, проходят художественные выставки.

Из последних работ литераторов Юга гости назвали выпущенную издательством «Зиай фаунг» («Освобождение») книгу Нгуен Тхи «Рассказы и очерки», повествующую о боевых делах солдат Освободительных сил, о всеобщем наступлении 1968 года и боях на улицах Сайгона, в которых автор книги принимал участие; сборник очерков другого участника этого наступления, писателя Чан Хиеу Миня, «Вот он, наш Сайгон!» и его же роман «Лес У-минь» о действиях бойцов Освобождения в труднодоступном лесном крае Юга; сборники стихов Зианг Нама «Герой Медной цитадели» (так называют Юг) и Ле Ань Суана «Цветы кокосовых пальм», а также поэму Ле Ань Суана «Нгуен Ван Чой» о прославленном героеподпольщике. Интересен сложившийся за военные годы фольклор малых народностей, живущих в горах Юга,— стихи и песни о борьбе за свободу, о героях-партизанах.

«У нас, во Вьетнаме,— сказал Нонг Куок Тян,— 60 народностей, каждая со своим языком, обычаями и культурными традициями... В Союзе писателей,— продолжал он,— я как раз занимаюсь литературами национальных меньшинств. В своей работе мы часто прибегаем к советскому опыту. Сейчас в ДРВ ведется большая работа по собиранию и изданию фольклора и классики нацменьшинств. Изданы поэма народности тхай «Сказание о любовных чувствах», поэтические предания народности мыонг о сотворении земли и воды и о том, как создавалось первое поле, поэма народности тай «Нам Ким и Тхи Дан» о трагической судьбе влюбленных, разделенных условностями и несправедливостью старой жизни. Надо сказать,— говорит Нонг Куок Тян,— что многие из малых народностей лишь после революции 1945 года получили письменность. Но у многих из них сейчас уже есть писатели и поэты, чьи произведения пользуются популярностью по всей стране». В качестве примера он называет имена поэта Бан Тай Доана (народность ман), прозаика Нонг Минь Тяу и драматурга Нонг Ить Дата (народность тай). Представители малых народностей успешно работают и в таких видах искусства, как кино, театр и живопись. Нонг Куок Тян подчеркнул, что тематика творчества писателей и поэтов из национальных меньшинств наряду со своими, местными проблемами охватывает проблемы общенациональные и произведения их пользуются популярностью по всей стране.

Наши гости рассказали о новых, возникших в последние годы формах общения писателей с читателями. Поэты и прозаики нередко выступают на предприятиях, в сельхозкооперативах и воинских частях. В ханойском Храме литературы, где в старину слагали свои стихи придворные поэты, проводятся сейчас поэтические вечера, собирающие много слушателей. Большую роль играет радио ДРВ. В литературной печати ведется постоянная рубрика, под которой публикуются ответы писателей и поэтов на читательские письма. Однако, по словам наших гостей, в области развития контактов между литераторами и читателями многое еще предстоит сделать.

Суан Миен рассказал о том, что Союз писателей Вьетнама уделяет особое внимание переводам художественной литературы. «Мы хотим,— сказал он,— сделать лучшие произведения мировой литературы достоянием нашего читателя. Русская классика и многие книги советских писателей и поэтов переведены у нас и пользуются заслуженным успехом».

Гости подчеркнули, что писатели Вьетнама придают большое значение той работе, которая ведется за рубежом по переводу и изданию вьетнамских книг. «Мы,— сказала Ань Тхо,— очень признательны вашим издательствам и журналам, систематически знакомящим советских читателей с лучшими произведениями наших прозаиков и поэтов, и расцениваем эту деятельность как немаловажную духовную поддержку борьбы, которую ведет народ Вьетнама — на Севере и на Юге — против американских империалистов и их приспешников, за независимость и свободу, за воссоединение нашего отечества».

МАРИАН ТКАЧЕВ

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА

ИРЖИ ТРНКА—ХУДОЖНИК-ПОЭТ

«По-моему, Трнка — гордость чешского народа. По моему скромному мнению, он — гордость человечества». Эти слова Назыма Хикмета мы произносим сегодня с оттенком грусти: накануне вступления в 1970 год человечество потеряло Иржи Трнку в возрасте всего лишь 57 лет. То, что оставил нам Трнка, исполнено радости, света, жизнеутверждения. Этот крупный, полный человек с мужественным лицом гусита, при всей серьезности отношения к жизни и глубине понимания ее законов и «тайн», не утерял до конца дней своих свежести восприятия и любовного отношения к миру. Может быть, поэтому он и стал детским художником...

Трнка сделал своим героем любимую детьми куклу. Возможно, кукла вошла в его сознание еще в детстве, когда он маленьким мальчиком помогал матери и бабушке мастерить деревянные и тряпичные игрушки для продажи. Встреча Трнки-школьника с прославленным чешским кукольником Й. Скупой приобщила его к многовековой национальной традиции кукольного театра.

Как самостоятельный художник, Трнка осовременил старинный язык кукольного представления — куклы Трнки стали «играть» в кино. Это случилось после 1945 года, когда национализация кинопромышленности открыла для художника широкие возможности работы в кино. Трнка, по существу, и явился одним из пионеров чешского кукольного фильма, одним из тех, кто определил особое «лицо» этого фильма и принес ему мировую славу.

В своих кукольных фильмах Трнка обращался не только к детям. Он говорил на традиционном языке кукол и со взрослыми, при этом не имитировал детский язык. Трнка был верен традиции национального кукольного театра и не просто развлекал, но говорил о серьезном и важном. Он создал монументальную историческую эпопею «Старинные чешские сказания» (1953), тонкую поэтическую поэму «Сон в летнюю ночь» (1959). Ему принадлежит одна из самых удачных киноверсий прославленных «Похождений бравого солдата Швейка» (1954). Трнка был ироничным рассказчиком одной из новелл «Декамерона» («Архангел Гавриил и синьора Гусыня», 1965), метко и зло пародировал американский «вестерн» («Ария прерий», 1949). И при этом всегда оставался прежде всего художником. Режиссер, а нередко и сценарист, он продумывал фильм с карандашом в руке, сам рисовал и создавал своих кукол. Его фильмы отличает подлинная пластическая и колористическая культура. Фильмы Трнки — это красочные феерии. «Жизненная среда» его кукольных героев продумана до мельчайших деталей, и ничто в ней не лишнее. Детали кукольного «быта», фактура и орнамент фона и одежды сообщают происходящему на экране обаяние и достоверность, не лишая истинной меры условности, необходимой для кукольного представления.

В книге Трнка был в основном художником для детей. Он и сам написал для маленьких читателей книгу «Сад» (1962).

При всем неоспоримом новаторстве Трнки-кинематографиста, его роль иллюстратора вряд ли менее значительна. Как и создатель фильма, Трнка-иллюстратор несет детям познание красоты мира. В сущности, между фильмом и книгой у Трнки никогда не было пропасти. Трнка был целостной

Иллюстрация к книге И. Трнки «Сад».

Иллюстрация к книге Ф. Грубина «Посадил дед репку»
по одноименному мультипликационному фильму И. Трнки.

Иллюстрация к книге Ф. Грубина «Зверушки и разбойники»
по одноименному мультипликационному фильму И. Трнки.

Иллюстрация к сказкам «Тысяча и одна ночь» в пересказе Ф. Грубина.

Иллюстрация к книге Ф. Браниславa «Приходите к нам, музыканты».

атурой и находил выражение своим пред-
тавлениям то в форме кукольного или
исованного фильма, то в форме рисунка
книге; иногда же он решал одну и ту же
му и в кино, и в иллюстрации.

Герои детских книжек напоминают кукол
го фильмов: та же мера условности в про-
орциях, в пластике, в выражении лица...
ю не фильм, а кукольный театр опреде-
ил мировосприятие Трнки. Кукольный
пектакль развертывается и на экране, и
книжной странице. Самым маленьким
ителям Трнка предлагает не только
ассматривать красочные книжные страни-
ы, но и играть самим. Бумажные кукол-
и — герои книжки «Красная шапочка» —
огут быть извлечены из кармашка на
нижной обложке. Пространство страницы
помощью несложных деталей, приклеен-
ых к ней, становится трехмерным. Дети
огут передвигать героев со страницы на
траницу, помещая то в одну, то в другую
декорацию». Страница становится сце-
ой, ребенок — актером. Детская страсть к
гре и живое воображение принимают
орму театрального действия.

Художник не только делает своими ге-
оями в книге кукол и игрушки. Трнка
аделяет детей чертами кукол; с больши-
и головами, пухлыми маленькими тельца-
и и словно ватными руками и ногами, они
родни деревянным или тряпичным кукол-
ам его детства. У них условные и вместе
тем выразительные «живые» лица. Их
вижения непосредственны и естественны.
укол Трнки не спутаешь ни с какими
ругими и вместе с тем их встре-
аешь как старых знакомых. Тот, кто знает
ешское народное искусство, театр Кашпа-
ека, кто видел рисунки М. Алеша к на-
одным песням, читал книги Б. Немцовой,
е может не понять, что Трнка кровь от
рови и плоть от плоти чешского народа.
вязь Трнки с традицией — в самом суще-
тве, в сердцевине его творчества. Трнку
ожно считать носителем той мощной поэ-
ической струи, которая в XIX веке окра-
ивала романтические полотна Й. Манеса
непритязательные сцены крестьянской
изни у М. Алеша, а на рубеже XIX и XX
еков отчетливо проявила себя в пейзаже
ак выражении человеческой души у Анто-
ина Славичека, в картинах-видениях Яна
рейслера. Эта традиция «перешла» и в
ешское искусство XX века, самобытно
реломилась в красочном фольклорном
рестьянском юморе и поэзии Йозефа
ады, в пейзажах-экспромтах Макса Швах-
инского — в легком наброске облаков,
бабочки на цветке репейника, рыбы в воде,
цветка в поле...

Из всех явлений XX века Трнке, пожалуй, ближе всего поэзия В. Незвала или современника Трнки Франтишека Грубина — оба поэта неоднократно привлекали внимание Трнки-иллюстратора. Трнка сам был поэтом, притом поэтом особого рода. Он был способен, говоря словами Ф. Грубина, «пробуждать в себе и во всех людях такую широкую гамму чувств, в которой в волшебном соседстве окажутся и простая лягушка, и искусственный спутник Земли».

«Мелочи жизни» никогда не представлялись Трнке незначительными. «Героями» его детских книжек становились полевые цветы, резвящиеся на зеленой лужайке козлята, ласковое солнышко, отражающееся в воде, золотые колосья, кочан капусты, молнии, пересекающие тьму неба, разорванный башмак, паровоз, умывальник, пастух, чашка и рогалик, старый корень, одуванчик, взъерошенные вороны, разноцветные зонтики, осенние листья, пушистые зверушки...

Самые простые, привычные вещи художник видел в поэтическом свете. Все эти мелкие «осколки» слагались в волшебную красочную картину мира. Иногда красота становилась таинственной. Таковы пейзажи художника — не просто фон действия, а эмоциональная среда. Они свободны по исполнению, очень часто детали в них не обозначены, а лишь намечены и только угадываются. Зато предмет, наложенный на такой фон, необычайно осязаем. Трнка-кукольник привык иметь в руках кусочки материи, дерева, бумаги — и в рисунке он мастерски передает пушистые волосы, кружева, переливы и упругость ткани, перья птиц...

Маленькая хрупкая кукла Трнки и камерный рисунок в книжке оказались способными вместить окрыляющие идеи, представления о героизме, мечты о прекрасном, радость бытия, полет фантазии... Они воспели мир во всем его многообразии. Наследие Трнки — одна из самых ярких страниц современного чешского искусства. По всей видимости, ей не грозит опасность забвения: она не покроется пылью — к ней часто будут обращаться.

В память о создателе чешского кукольного фильма имя Трнки получила пражская Студия кукольных фильмов; на фестивале фильмов для детей и юношества была установлена главная премия имени Иржи Трнки.

Среди книг

Издано в СССР

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СВОБОДНОЙ КУБЫ

Хесус Диас. Трудные годы. Рассказы. Перевод с испанского и предисловие Ю. Погосова. Москва, «Молодая гвардия», 1970. 93 стр.

Стремительный бег событий рождает стремительность строк. Каждый день — еще один пройденный рубеж, и некогда писать тома, чтобы все это выразить. Будни страны укладываются в экспрессивно сжатые сроки коротких рассказов, и за ними — целая эпоха. Обрывистые, взволнованные, порой даже сумбурные фразы, несколько реплик короткого диалога — и рождается образ, точный и законченный. Люди, делающие революцию, понимают друг друга с полуслова. Они не стесняются в выражениях — в тонкостях разберемся потом. Грохот выстрелов, кровь, пот, усталость и беспощадное солнце над головой.

Так видит людей своей родины молодой кубинский писатель Хесус Диас — так он их и описывает. Его книга «Трудные годы», удостоенная премии латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас Америкас» в 1966 году,— это цикл небольших рассказов, связанных между собой как единое целое. Это книга о первых годах жизни свободной Кубы.

О чем бы ни писал Диас — за всем стоит его личный опыт, тот или иной эпизод из его собственной, столь богатой биографии. Он сам, как и герои его рассказов, призывал на студенческих забастовках к свержению Батисты, сам рубил тростник во время ударной сафры, сам преследовал в горах Эскамбрая недобитые банды контрреволюционеров.

Сборник открывается циклом рассказов о прошлом («Встреча», «Безногий», «Капитан»). Это рассказы о разных путях, которыми люди шли в революцию. О том, как одни из них делали эту революцию, другие — напрасно и яростно ей сопротивлялись. А некоторые пока еще выжидали, не понимающие и не принимающие происходящего.

Далеко позади остались первая забастовка в институте, первый арест, после которого так широко разошлись жизненные дороги трех приятелей-студентов. И вот они встретились снова: Бобби, долгое время проживший в США, откуда «он вернулся совсем другим», Чино, изувеченный полицией, одержимый идеей отомстить выдавшему его «подонку», профессору Саласу, и Роло Бородач, капитан повстанческой армии. Встретившись, они уже не находят общего языка. Каждый из них по-своему понимает и оценивает события минувших лет, и из их рассказов-монологов воссоздается тревожная, полная недоверия и страха атмосфера последних лет диктаторства Батисты.

Они вспоминают старенького инженера Переса, требовавшего, чтобы революционеры знали Декарта, и доктора гражданского права Параду, которая повторяла вместе со студентами: «Голову Батисты, голову Батисты...» — для них, настоящих интеллигентов, был естественным переход на сторону революции.

Ружья сменили на мачете — и вот уже солдаты революции рубят тростник на поле без конца и без края, где «лучами, словно ногами, упирается солнце в плечи рубщиков и бьет их по головам». «Зверская работенка», ужасно тяжелый с непривычки труд, на который идешь как на бой («Сам господь не выдержит это»). Все понимают, что это политически важно, и тем не менее — от тяжести работы, от этого проклятого солнца, от нестерпимо ноющей раны на правой ладони — рождаются капитулянтские

мысли. Кажется, что все лишь притворяются героями, а сами только и ждут повода убежать. Что ж, повод придумать можно, например, срочная телеграмма от якобы заболевшей жены — и ты уже снова в Гаване, пьешь холодное пиво... Но сафра — это все тот же бой, бой за революцию, и в конце концов никто из них не станет дезертиром.

Сражаться приходится не только с контрреволюцией или за урожай, но прежде всего — за души людей, которые еще находятся в плену невежества и отживающих воззрений, за таких, как верующий новобранец по прозвищу Боженька, выводящий из себя сержанта своим нежеланием учиться стрелять («Боженька»). В сущности, он такой же, как все парни, твердит о боге с чужих слов, сам толком не понимая, при чем же здесь бог. Ему и пострелять-то хочется, и когда он, наконец, ие выдерживает, стреляет и попадает в цель,— он радуется как ребенок:

«— Двадцать шестой, а двадцать шестой!
— Чего тебе?
— А я в яблочко...»

Солдаты посмеиваются над ним и делают ему подарки: ведь ему всего только шестнадцать, и у него еще все впереди.

А вот те, кто остался по ту сторону новой жизни: озверевшие, потерявшие человеческий облик, бандиты-контрреволюционеры прячутся в горах и лесных чащах, убивают друг друга из-за фляги воды; ненавидящие всех и всеми ненавидимые... («Острым камнем», «Бандиты») Бывшие сутенеры и карманники, привыкшие к «легкой жизни», садисты-палачи из батистовских застенков, вдруг оказавшиеся «не у дел». Так часто мучившие других, они подыхают теперь как собаки, до последней минуты грызясь и припоминая друг другу совершенные злодеяния. И понятно, что не дрогнула рука солдата повстанческой армии Карменати, расстреливающего осужденных бандитов («Отказ»).

Творческую манеру Диаса отличает динамичность повествования; эпизоды сменяют друг друга, как кадры киноленты; преломление одного и того же события через восприятие различных, нередко антагонистическнх, участников его.

Эта талантливая книга — заметное явление в развитии кубинского рассказа. При всем ее своеобразии в ней ясно видно и продолжение определенных традиций. Особенно это относится к постановке извечной для большинства писателей Латинской Америки проблемы «природа и человек»: природа в рассказах Диаса сурова и иной раз враждебна людям, она изматывает, иссушает, убивает человека, доводит до безумия жарой и жаждой. С ней тоже приходится бороться. И в рассказе, завершающем книгу, утверждена основная, соединяющая сборник в неразрывное целое мысль. Мысль о том, что борьба продолжается. Борьба за будущее свободной Кубы.

Т. ГОНЧАРОВА

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО

Ежи Жулавский. На серебряной планете. Рукопись с Луны. Предисловие С. Лема. Перевод и послесловие А. Громовой и Р. Нудельмаиа. Москва, «Мир», 1969. 368 стр.

В 1956 году в Кракове был переиздан роман Ежи Жулавского «На серебряной планете». Сейчас он появился на русском языке. Это воскрешение старого романа доставило, как свидетельствует в своем предисловии Станислав Лем, живую радость тем, кто читал его в детстве. Русскому же читателю явился писатель, мало ему прежде знакомый.

Ежи Жулавский был известным поэтом, эссеистом, переводчиком того периода польской литературной истории, когда страна в лице Станислава Выспянского, Казимежа Тетмайера и других представителей «Молодой Польши» приобщилась к неоромантизму — течению достаточно сложному, противоречивому, имевшему множество модификаций, но, во всяком случае, объединенному одной общей чертой: неоромантики остро ощущали изжитость многих представлений, составлявших основы общественной и личной морали уходящего века, и чувствовали, что мир находится в состоянии какого-то огромного перехода. С чем мир расстается, они знали. Каков будет его завтрашний день, могли только догадываться. Не отсюда ли (впрочем, и от романтической традиции в целом) интерес неоромантиков к фантастическому?

В Англии Роберт Льюис Стивенсон пишет «Странную историю доктора Джекилла и мистера Хайда», Герберт Уэллс создает в неоромантической манере повесть «Аргонавты Хроноса» (в пределах которой можно, кстати, найти темы почти всех его фантастических романов девяностых—девятисотых годов), Джозеф Конрад и Форд Мадокс Форд трудятся над «Наследниками». Во Франции Вилье де Лиль-Адан делает

шаг в сторону научной фантастики в своей «Еве будущего»...

«На серебряной планете» (1903) — тоже фантастический роман. Он был первой (и наиболее в литературном отношении интересной) частью «лунной трилогии» Жулавского. Две другие части — «Победитель» и «Старая Земля» вышли в свет в 1910 и 1913 годах.

В известном смысле Жулавский даже больше принадлежит истории фантастики, нежели многие другие неоромантики. За пределами Польши фантастические традиции были достаточно глубоки. Жулавский открывал новое, его принято считать родоначальником польской научной фантастики.

Рассмотренный в этом ряду понятий, роман Жулавского может, при поверхностном взгляде, вызвать разочарование. Он начат в год, когда появились «Первые люди на Луне» Уэллса, однако его герои попадают на спутник Земли точно так же, как и герои Жюля Верна, совершившие полет за тридцать шесть лет до них,— выстрел из огромной пушки, отлитой прямо в земле, и вот уже герои летят в огромном снаряде (способном, впрочем, в отличие от снаряда, выпущенного колумбиадой Жюля Верна, перестраиваться в некий самоходный «вагон») к ночному светилу... Да и манера повествования даже для начала девятисотых годов не была, надо думать, достаточно современной.

Очень по-деловому изложенные географические и (реже) технические подробности оказываются рядом с романтическими тирадами героя; последние в таком соседстве начинают звучать не столько возвышенно, сколько выспренно. И автор предисловия, и авторы послесловия (они же переводчики — а значит, люди, очень хорошо вчитавшиеся в текст) справедливо обращают внимание на эти открывающиеся современному читателю недостатки романа. И все же в этом произведении больше находок, чем просчетов.

На Луну летают давно, причем не только для того, чтобы изучать свойства лунной поверхности. Сатирик, философ, провидец — словом, любой (за редким исключением) писатель искал и находил на Луне обитателей, знакомство с которыми оказывалось в высшей степени поучительным для путешественников, прибывших с Земли. Но наука не только открывает новые области для фантастов. Она столь же решительно закрывает старые. С момента, когда необитаемость Луны стала несомненна, фантастам пришлось перебраться в другие миры: Луна слишком близко от нас.

Впрочем, этот ее порок неожиданно обернулся достоинством. Отчаявшись найти на столь близкой к нам планете собственных жителей, фантасты стали населять ее землянами. У Хенлейна и Артура Кларка Луна превратилась в пригород Земли — весьма благоустроенный у одного и чрезвычайно пыльный у другого, но и в том и в другом случае населенный выходцами с нашей планеты. Удивительным селенитам, впечатляющий реестр которых дан в известной книге американской исследовательницы Марджори Хоуп Николсон «Путешествия на Луну» (1948), пришел конец. Их место заступили земные колонисты.

Время для подобной колонизации наступило уже в 1903 году. Об этом свидетельствует роман Жулавского.

Речь в данном случае идет не о формальном «открытии новой темы» — колонизации Луны. В литературе далеко не всегда столь важно, «кто первый сказал «э», и американские историки научной фантастики, чрезвычайно увлеченные этой стороной проблемы, немало, думается, в результате теряют как историки литературы. Нет, речь идет о чем-то гораздо более важном.

Литература прошлого века — то наиболее ценное ее направление, которое принято определять как критический реализм,— блестяще показала отношения человека с социальной средой, но ее мало интересовали его отношения со средой природной. В наше время интерес к этой, второй стороне проблемы снова возрос. Это нетрудно понять: грандиозная научно-техническая революция, переживаемая человечеством, подвела его, по мнению многих ученых, к новому этапу пространственной эволюции — космическому. Роман Жулавского находится в самом преддверии этой огромной темы, так или иначе отразившейся на многих сторонах современной литературы.

Фантастика — гораздо более философичный жанр, чем может показаться читателю, увлеченному описанием чужих планет и бесчисленными приключениями героев. В отношении фантастики неоромантиков это особенно заметно. Иногда они тяготели к сатире, но чаще — к философии. «На серебряной планете» — произведение последнего рода. В этом романе рассказана история о том, как группа энтузиастов из разных концов Земли — среди них и поляк, от имени которого ведется повествование,— высадилась на Луне, проникла с помощью своего самоходного «вагона» на обратную ее сторону, пригодную, по мнению Жулавского, для жизни, и основала там маленькую колонию. Из первых поселенцев некоторое время спустя остается в живых только один — сам рассказчик. На старости лет, почувствовав приближение смерти, он заново совершает трудное путешествие на обращенную к Земле сторону Луны, где они оставили пушку с полыми снарядами, закладывает в снаряд дневник и стреляет. На Земле снаряд удается найти...

Тот или иной аспект этого рассказа вдруг поражает своим сходством уже не с прошлым, а с будущим научной фантастики, притом фантастики философского толка.

Герой романа — один из тех, кто заложил основы цивилизации на Луне, но чувствами его нераздельно владеет родная Земля. И эта постоянная тоска по Земле заставляет его (забыв о тех реальных конфликтах, что терзают и еще долго будут терзать родную планету, или, может быть, провидя то будущее, когда эти конфликты давно уже разрешатся на пользу человечеству) почувствовать себя прежде всего су-

ществом с планеты Земля. «Давным-давно, огда я жил там, слово «Земля» означало ля меня разные континенты, разные стра-ы, государства, народы — сейчас все это лилось в единую мысль, в единую любовь тоску. Я не могу уже различить на та-ом расстоянии во времени и пространстве и государств, ни народов, отличающихся о языку и религии, и даже человечество ливается в душе моей в нераздельное един-тво с животными, растениями и всей гро-адой планеты, и так это все сияет и свер-ает в моих мыслях, как там, в черном не-е над пустынями»,— записывает в своем невнике Ян Корецкий (рассказчик). В год, огда начинал работу над романом Ежи Кулавский, неожиданная мысль о том, что, порвавшись от Земли, он стал представи-елем всего человечества, появлятся в моз-у скромного коммерсанта Бедфорда, уле-евшего на Луну вместе с мистером Кейво-ом («Первые люди на Луне»), а потом озникнет и сложный символ «планеты-ор-анизма», выражающий единство природы и ечту о мировой гармонии.

Столь же обычной сделалась для совре-енной фантастики и мысль о том, что под лиянием иных условий жизни на чужих ланетах потомки людей, их заселивших, олжны изменить свою природу. Правда, у Кулавского эта мысль предстает в своем ессимистическом варианте — новое поко-ение на планете низкорослo, практично, ли-ено развитой духовной жизни, а также нтереса ко всему, что выходит за рамки овседневности, но для этого есть особые ричины. Неоромантизм вообще связан с ротестом против позитивизма с его куль-ом пользы, а в Польше, где позитивизм утвердился поздно, борьба с ним приобре-ала очень острые (и порой, поскольку это жазывалось связанным с протестом против аучного взгляда на мир, ретроградные) формы. Однако Жулавский не оставляет нтателя без надежды. Вызванное не-ривычными для человека условиями жизни уховное вырождение, свидетелем которого становится Ян Корецкий, может оказаться лишь этапом истории селенитов. В следую-щих частях трилогии автор нечто подобное и утверждает — правда, в форме религиоз-ного мифа, рациональные основы которого (почитание Старого Человека — Яна Корец-кого, сказание о Земле, откуда он пришел и куда он, бессмертный, вернется) Жулавский показывает уже в пределах романа «На се-ребряной планете».

Но только ли в этих совпадениях причи-на того интереса, с которым читается этот роман? Нет, разумеется. Как замечает в од-ном из своих рассказов Станислав Лем, «хо-рошие книги всегда правдивы, даже если в них описываются события, которых никогда не было и не будет». А Жулавскому, если он выступает в полную силу своего таланта, веришь даже в тех случаях, когда он пове-ствует об обстоятельствах весьма необыч-ных и событиях, которые, как доказало будущее, никогда не произойдут.

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ

РАССКАЗЫ О ЛИСЬИХ ЧАРАХ И ДРУГИХ ВЕЩАХ НЕОБЫЧАЙНЫХ

Пу Сун-лин. Лисьи чары. Рассказы Ляо Чжая о чудесах. В переводах с китайского академика В. М. Алексеева. Иллюстрации китайских художников. Предисловие к сборнику «Лисьи чары» и комментарий В. М. Алексеева. Составление и подготовка текста Л. З. Эйдлина. Москва, «Художественная литература», 1970. 383 стр.

В истории китайской прозы новелла — самый распространенный и традиционный жанр. Истоки его — народное творчество, которое на протяжении многих веков благотворно и мощно воздействовало на развитие китайской новеллистической литературы. От неприхотливых и наивных фольклорных новелл-притч и новелл-анекдотов — к замечательной танской новелле, к народным новеллам-повестям сунской эпохи, к изощренным новеллам Пу Сун-лина, к психологической новелле Лу Синя — таков долгий. многовековой путь развития китайской новеллы, какого не знает ни одна из лнтератур мира.

Одним из великих новеллистов Китая был Пу Сун-лин (1640—1715). Три столетия назад он создал книгу «Рассказы Ляо Чжая о чудесах». Есть сведения, что Пу Сун-лином написано около пятисот новелл, несколько десятков из них до нас не дошли. Писатель всю жизнь собирал рассказы о необычайных случаях, об удивительных вещах, а также народные анекдоты. В предисловии к своему сборнику он писал: «... я любил и собирал волшебные сказки... Каждый раз, услышав такую сказку, я записывал ее и позднее использовал этот материал, когда писал свои новеллы. Кроме того, в течение долгого времени мои друзья посылали мне из раз-

личных мест страны записи сказок, таким образом моя коллекция все время пополнялась».

Ни один китайский прозаик не знает такого разнообразия форм короткого рассказа — иногда это обработки народных сказок и легенд, иногда притча или анекдот, иногда парафраз древней истории или новеллы.

В новеллах Пу Сун-лина действуют самые фантастические и неожиданные персонажи: лисы-оборотни, монахи-волшебники, небожители и привидения; в них действуют звери и птицы, гады и насекомые: тигры, волки, крысы, жабы, попугаи, вороны, пчелы, муравьи — и представители растительного царства: пионы, хризантемы, орхидеи.

Рядом со сказочными персонажами и выходцами из потустороннего мира легко уживаются и существуют персонажи самые земные — торгаши и чиновники, крестьяне и высокопоставленные правители, бандиты и прелестные женщины и многие другие обитатели подлунного мира.

Пу Сун-лин — отменный знаток народного творчества, более того — влюбленный в него чудак: ведь устная литература народа испокон веков считалась в Китае достоянием неграмотных крестьян, лодочников, рыбаков, и всякий мало-мальски уважающий себя грамотей чурался ее. Вместе с тем великий старец до мельчайших деталей — едва ли не наизусть — знал все, что было написано мастерами новеллы до него.

До наших времен дошла 431 новелла Пу Сун-лина. Уже триста лет назад, по выходе в свет, книга «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» получила очень высокую оценку, современники признавали, что среди книг о лисах-оборотнях и привидениях сборник Пу Сун-лина — первый. Под влиянием старца Пу и его книги находились многие писатели последующих поколений, написавшие необозримое колнчество рассказов в подражание новеллам Пу Сун-лина.

Большинство новелл Пу Сун-лина заканчиваются своеобразным, всегда назидательным авторским постскриптумом, в котором рассказчик дает оценку событиям, имевшим место в новелле. Это хорошо нацеленные и беспощадные удары плетью по ненавистной физиономии существующего режима. Некоторые новеллы, без сомнения, написаны ради этих едких концовок.

Новеллы Пу Сун-лина никак нельзя спутать с новеллами другого автора, они имеют свое неповторимое лицо, только им свойственную архитектонику, свой оригинальный язык. Следует отметить, что язык Пу Сун-лина необычайно труден — в нем присутствуют цитаты из конфуцианских текстов и пародии на них, простонародный язык и язык ученых и многие другие напластования. И тем не менее новеллы Пу Сун-лина были притягательны для читателей самых различных званий и сословий.

В разное время некоторые литературоведы — были среди них и китайские и западноевропейские — считали Пу Сун-лина только эпигоном, который ничем не обогатил китайскую литературу. Конечно, это — неверное и предвзятое истолкование творчества великого писателя. Виртуозные парафразы Пу Сун-лина на темы древних авторов (в заимствовании тем, надо признаться, он не стеснялся) могут вызвать брюзжание и негодование лишь у ханжей и педантов. Ведь никому из современных литературоведов не придет в голову причислить к эпигонам Мольера, Пушкина, Мериме, Байрона, Блока за их гениальные вариации на тему о Дон Жуане.

Были попытки — главным образом у некоторых западноевропейских исследователей — узреть в книге Пу Сун-лина некий «китайский Декамерон», ибо в ней, действительно, многие новеллы несут более внушительный заряд эротики, чем десятидневные разговоры флорентийских дам и кавалеров.

Выдающийся советский китаевед академик В. М. Алексеев (1881—1951) много сил и времени отдал изучению творчества Пу Сун-лина и переводу его новелл на русский язык. Всего он перевел и снабдил подробнейшим комментарием около ста пятидесяти новелл. В. М. Алексеев издал четыре сборника переводов новелл Пу Сун-лина — «Лисьи чары» (1922), «Монахи-волшебники» (1923), «Странные истории» (1928) и «Рассказы о людях необычайных» (1937), которые переиздавались в 50-е годы.

К тому времени новеллы Пу Сун-лина уже были переведены на некоторые европейские языки, а перевод их на английский язык, выполненный известным синологом Г. Джайлсом, почитался на Западе чуть ли не классическим. В этом заочном единоборстве переводчиков В. М. Алексеев одержал убедительную победу, его переводы намного серьезнее, они глубже и точнее передают дух оригинала, нежели полулюбительские переводы Г. Джайлса.

Свои взгляды на творчество Пу Сун-лина В. М. Алексеев высказал в двух интересных работах — «К истории демократизации китайской старинной литературы» и «Трагедия конфуцианской личности и мандаринской идеологии в новеллах Пу Син-лина (Ляо Чжая)».

В недавно вышедшую книгу Пу Сун-лина «Лисьи чары» включена примерно одна треть переведенных В. М. Алексеевым рассказов Пу Сун-лина. Переводам предпослано предисловие В. М. Алексеева к первому изданию «Лисьих чар» (1922).

При чтении этой книги не следует забывать, что почти пятьдесят лет назад, когда В. М. Алексеев начал публиковать свои переводы новелл Пу Сун-лина, в Советском Союзе, да и на Западе не было подлинно художественных и в то же время строго научных переводов китайской классической прозы. В те времена имели хождение вместо переводов маловразумительные подстрочники — слепки, даже отдаленно не напоминающие оригинал, или гладенькие пересказы, ничего общего не имеющие с подлинником. Существовали и переводы, выполненные различными миссионерами — типа Легга,— но эти филологические упражнения нельзя назвать переводами, в них оригинал отражается словно в кривом зеркале.

Переводы В. М. Алексеева дали возможность многим поколениям советских читателей познакомиться с подлинным Пу Сун-лином, что не было доступно читателям других стран. Именно с переводов В. М. Алексеева новеллы Пу Сун-лина были переведены на языки народов СССР и на некоторые языки европейских стран.

В настоящем сборнике тексты переводов В. М. Алексеева даны в их первозданном виде. Вот что пишет об этом составитель книги Л. З. Эйдлин: «На взгляд составителя, они превосходны. В них терпкость и аромат подлинника, в них удивительное проникновение средствами алфавитного письма в иероглифический «зрелищный» текст».

Уже возникала прекрасная мысль об издании всех «Рассказов Ляо Чжая о чудесах». Хочется надеяться, что советский читатель в конце концов его получит.

А. ТИШКОВ

Издано за рубежом

АМЕРИКА РАССЕРЖЕННЫХ

Arthur Adamov. Off limits. Paris, Gallimard, 1969.

Несколько лет назад, делясь замыслом своей новой пьесы, Артур Адамов сказал, что она будет посвящена Америке и что ее предполагаемое название «Вход воспрещен». «Off limits» — такие таблички стоят у входа на территорию американских военных баз. Вероятно, драматург хотел вынести уже в само название одну из характерных примет современной Америки, разославшей свои войска во многие точки земного шара. И вот в 1969 году пьеса была закончена и с успехом шла на сцене одного из самых популярных театров парижских предместьев Театра Коммуны Обервилье и на сцене знаменитого миланского «Пикколо театро». В рецензиях на этот спектакли отмечалась необычайная злободневность новой пьесы Адамова, но основной акцент в них делался на постановочных атрибутах, воспроизводивших сегодняшнее лицо Соединенных Штатов: хэппенинги, стриптиз, наркомания, иу и конечно же молодые люди, бунтующие «между делом» против войны во Вьетнаме. По этим рецензиям, особенно на спектакль итальянской труппы, могло показаться, что «Off limits» — это некое шоу на тему «США сегодня».

Перед нами текст пьесы, опубликованный уже после того, как пьеса увидела свет рампы. Когда читаешь «Off limits», то действительно обнаруживаешь в ней полный американский «джентльменский набор», но это отнюдь не хэппенингообразное бессвязное действо, как может показаться по рецензиям на спектакли. И дело здесь даже не столько в том, что в пьесе Адамова есть отчетливо выраженный сюжетный стержень, а в том, что в ней последовательно раскрывается мысль, высказанная Адамовом в предисловии к пьесе: «Я не верю, что возможна настоящая жизнь в «метрополии», пока существует кошмар войны и угнетения, не говоря уже о других кошмарах».

Героями своей пьесы Адамов сделал семнадцатилетнего юношу без определенных занятий, Джима О'Саливана, и его шестнадцатилетнюю подружку Салли, которая до встречи с Джимом занималась проституцией в нью-йоркском Центральном парке. Оба они уже давно пристрастились к наркотикам, и, чтобы избавиться от наркомании, Салли готова даже лечь в больницу. Оба остро чувствуют фальшь и лицемерие окружающего их общества, где давно уже обесценены слова о равенстве и свободе, чудовищную несправедливость войны, которую ведет их родина, такая сытая и процветающая, против маленького стойкого народа. Джим рвет свою призывную карточку и вынужден скрываться от полиции. При попытке перейти мексиканскую границу Джим и Салли были убиты. По свидетельству Адамова, он встречал в Нью-Йорке немало таких Джимов и Салли, разочарованных и постоянно бунтующих.

Для произведений современной западной драматургии, особенно английской и американской, характерным положительным героем стал человек из самых низших общественных слоев, человек «дна». Именно он наделен обостренным чувством несправедливости, именно он искренен в своих привязанностях и антипатиях, в противоположность многочисленной среде людей, руководствующихся в жизни только соображениями расчета и преуспевания.

В «Off limits» Джима и Салли окружают продюсеры и режиссеры. Один из них пред-

СРЕДИ КНИГ

лагает девушке петь рекламные песенки, и хотя Джим понимает, что заработанные Салли деньги для них единственное средство существования, участие в рекламных передачах, то есть сотрудничество с людьми, служащими интересам официальной Америки, он считает сделкой с совестью. Персонажи «фона», все эти супруги Уоткинсы, О'Дугласы, Роаны, их родственники и знакомые, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками (в перечне действующих лиц нередко встречается такая характеристика: «наркоман, почти всегда смертельно пьяный»), в большинстве своем поразительно циничны и равнодушны ко всему, за исключением войны во Вьетнаме, которая кажется им неоправданной и невыгодной с экономической и моральной точек зрения. «Расходовать 322 тысячи долларов на каждого уничтоженного вьетнамца, в то время как приличное существование одного американца обходится в 50 тысяч!» — возмущается кто-то из гостей Хэмфри О'Дугласа. «Я не понимаю, почему наши Джи Ай[1] должны сражаться и умирать на войне, цели которой им чужды»,— говорит один из них. И как наглядная иллюстрация этой мысли появляется знакомый Салли, один из Джи Ай, без ноги, на костылях.

Он стремится проявить свою политическую активность где бы то ни было, пусть даже на вечеринках. Именно на серию таких вечеринок, «party», и распадается композиционно пьеса Адамова (любопытно, что книга французского литератора Пьера Буржада о современной Америке так и называется — «New York party»). То это вечеринка в доме Уоткинсов, то у главного телебосса Хэмфри О'Дугласа и т. д. Полупьяные и совершенно пьяные гости устраивают очередной хэппенинг, участники которого должны думать о цифре 6, или лаять по-собачьи, или танцевать твист. Адамов пишет, что не придумал эти хэппенинги, а либо видел их сам, либо читал описания.

И для погруженной в подобные развлечения публики Джим и его приятель Питер устраивают политический спектакль. Каждый играет несколько ролей, иногда реальных персонажей, например, президента Джонсона или генерала Уэстморленда, иногда воплощают абстрактные собирательные понятия: Организация Объединенных Наций, Фронт Национального Освобождения, американские крайние левые. Перевоплощение происходит быстро и просто, достаточно снять с себя одну табличку с указанием действующего лица или политических сил и надеть другую. Естественно, что действия как такового нет в этом импровизированном спектакле, Джим и Питер как бы выявляют позиции различных сторон, явно отдавая свои симпатии силам, противоборствующим политике Вашингтона. Максимализм молодежи непонятен представителям старшего поколения, ни во что не верящим, ни на что решительное не способным.

Пропасть между ними и молодыми бунтующими людьми с особенной ясностью обнаруживается в эпилоге пьесы. Дельцы от телевидения решили не упускать хороший «сюжет» и создали сусальную мелодраматическую телепередачу о неразлучных влюбленных Салли и Джиме, которые отправились к «истокам жизни», в Мексику. В этой призванной растрогать чувствительного американского телезрителя передаче Дороти (одна из неизменных участниц «party»), играющая Салли, произносит слова, совершенно немыслимые в устах реальной подружки Джима: «Когда мы много узнаем, мы вернемся к тебе, Америка. Я вижу тебя, отчий дом, такой радушный и прохладно-тенистый». Но именно Дороти, во всем разуверившаяся, постоянно думающая о самоубийстве, находит в себе силы посмотреть правде в лицо. Выйдя на авансцену, она обращается к зрителям, проклиная тот обман, в котором участвовала: «Салли, ты никогда не вернешься, прости меня. Мы все в тебе извратили и нейтрализовали, превратили тебя в приукрашенный труп». Посылая проклятья Нью-Йорку, она кричит: «Джим, Салли, Вьетнам победит! Мне стыдно!»

Но драматург не ограничивается этой сценой, чтобы показать, какой след оставили Джим и Салли. Не только Дороти растревожили они. В финальном эпизоде пьесы один из персонажей читает свежую газету: «Пораженцы за работой. Десять студентов Йельского университета разорвали свои призывные карточки посреди 152-й улицы, остановив уличное движение». Перечисляются имена, среди которых Питер Леркинс, тот самый Питер, который устраивал вместе с Джимом политический спектакль. И если когда-то муж Дороти, Жорж, назвал Джима «комнатным революционером», то теперь товарищи Джима и Салли выплеснули свой протест на улицы Нью-Йорка.

Адамов далек от идеализации своих юных героев. Он убедительно показывает, как много они еще не понимают в окружающем их мире, как индивидуалистичен их бунт. Например, Джим ненавидит негров, и когда Салли хочет помочь прячущемуся в доме смертельно раненному белыми негритянскому юноше, он удерживает ее и уговаривает девушку не жалеть «этих черномазых», пытаясь оправдать свое презрение к ним тем, что негры соглашаются воевать во Вьетнаме, становятся таким образом лакеями империализма.

Пожалуй, наибольшей политической прозорливостью наделен в пьесе английский журналист Джеймс Эндрюс. Правда, ему драматург отводит роль резонера. Но именно он, проникший в эту среду, чтобы собрать материал для книги о современной американской молодежи (прототипом Эндрюса послужил Адамову Джеймс Мильс, автор книги «На перекрестках наркомании»), произносит в конце некоторых сцен «речитативы», своей разъяснительной и подытоживающей манерой напоминающие знаменитые брехтовские зонги. Как и брехтовские зонги, они лаконичны и очень экспрессивны. «Гуманизм. 325 раненых вьетнамцев на излечении в американских госпи-

[1] Прозвище американского солдата.

талях. 135 тысяч раненых вьетнамцев прикончены пулей в затылок»,— так раскрывается перед зрителями истинное лицо «гуманной» политики Вашингтона.

Пьеса кончается символической немой сценой: нагромождение многих вдребезги разбитых статуй Свободы, оглушительная музыка, шум, возвещающий о «конце этого мира».

«Off limits»— последняя законченная пьеса Артюра Адамова, умершего в марте 1970 года. Драматург, переживший сложную эволюцию от ранних произведений, входящих в «классику французского театра абсурда», до созданных в 60-е годы остросоциальных, политических пьес, завершил свой творческий путь пьесой об одной из самых жгучих проблем XX века, о том, что происходит «здесь и сейчас». Так Адамов назвал когда-то сборник своих критических статей, в котором утверждал необходимость искусства, активно вмешивающегося в жизнь.

Т. ПРОСКУРНИКОВА

ГОРЬКОЕ ПРАВО НЕ СПАТЬ

Изет Сарајлић. Вилсоново шеталиште. Сарајево, «Свјетлост», 1969.

Осенним вечером в чудесном горном городке Требинье в Герцеговине с импровизированной сцены во дворе древнего ханского сераля читал свои стихи Изет Сарайлич. Автор многих книг, первая из которых вышла в 1949 году. С этой трибуны выступили уже и готовились выступать такие поэты, как Десанка Максимович и Густав Крклец, Стеван Раичкович и Весна Парун, Мак Диздар и другие. Они прибыли сюда отметить юбилей поэта старшего поколения самым дорогим, чем каждый из них располагает,— стихами.

Уже второй день им аплодировали инженеры, рабочие, учителя, ученики, врачи, библиотекари всей округи. В аплодисментах, обращенных к Сарайличу, когда он прочитал стихотворение «Элегия, которая просит: не становись маркизой!», прозвучала и радость, и, как мне показалось, нечто особенное, я бы сказала — пристрастное. Так аплодируют еще, когда поэт высказал то, что переполняло тревогами или радостями и тебя, что заставило и тебя напряженнейше размышлять.

Что же затронуло людей в этом на первый взгляд просто лирическом обращении к любимой, горьковатом, насмешливом и упрямом? Поэт просил ее оставаться верной себе. Верной главному в своих и его, поэта, убеждениях. Верной главному в своих и его чувствах ко всему, что окружает человека. Верной во времена, когда очень многие торопятся не отстать со всяческими переоценками, когда преуспевающий мещанин не прочь вновь утвердить свои мерила человеческой ценности:

Ты можешь написать и «Человеческую комедию»,
но только с валютным счетом в банке
будешь признан Бальзаком...

Это стихотворение само по себе достойно было бы отдельной статьи. По выразительности настроения. По емкости. По глубине. По тому, как широкими кругами разбегаются от него волны ассоциаций. Уж очень незамысловатые, взятые из разговорного обихода слова, став у Сарайлича рядом, на свой манер передают предельную напряженность чувств поэта. Они передают органическую, как в живой плоти, переплетенность самого интимного — прошедшей не одно испытание большой любви — с самым общим, с нежеланием отступиться в извечном вопросе: иметь или не иметь, с приобретателем ты или с созидателем. В этом стихотворении, осознавая свое нравственное превосходство, и поэтому даже снисходительно, и поэтому еще более уничтожающе, сквозь боль посмеивается человек, всей силой души презирающий мещанина.

В новой книге Изета Сарайлича «Вильсонов бульвар» это стихотворение одно из многих. В ней — лирический дневник поэта. В ней дышит, торопится на работу, в школу, в университет, поднимает зонтики в непогоду, встречается в заветных уголках прекрасный город Сараево, столица Боснии и Герцеговины.

Конечно, прочитав стихи поэта, вы не увидите, как к продольным проспектам города с двух сторон с горных откосов сбегают улицы, улички, переулки, где минаретами, приземистыми харчевнями, постукиванием потомственных чеканщиков мусульманской Башчаршии напоминают о себе времена турецкого ига. Нет. Но скипевшаяся в веках страсть к независимости и упорство, почти ставшие уже чертой характера, и тут же, как в восточной песне, повторы, почти хикметовская конкретность образа, всегда привязанного к тому самому вечеру, к той самой улице, к тому самому углу комнаты,— все это вместе составляет своеобразную настроенность стихов Сарайлича:

Вот этот порог, что я перешагну, прежде
чем отправлюсь в Париж или на службу,
Вот эта береза перед окном, что сгибается
под ветром осени,
Вот этот двор с детьми, которых я — за то,
что шумят,—
тысячи раз посылал к чертовой матери,
Вот эта прихожая, что зимой заполняется
шубами моих друзей,
Вот этот столик с проигрывателем, который
я все реже и реже завожу,
Вот эта комната — ее углы забиты
игрушками моей дочки и моими мечтами,—
всего этого мало, но ведь это тоже моя
Югославия!

(«Моя карманная Югославия»)

И еще: вы, пожалуй, не встретите в стихах Сарайлича описания набережной милой речушки Миляцки и того, как из-за угла респектабельного строения времен австрийского владычества выстрелом в ненавистного властителя, вовсе и не предполагая этого, обозначил начало первой мировой войны мятежный юноша Гаврило Принцип. Но в том, как поэт Сарайлич видит и слышит

мир сегодня, живет и его безоглядная решимость, и решимость тех юношей и девушек, что позднее в тайниках городского подполья готовились, вооружались, что мучились в тюрьмах, воевали в партизанских отрядах, гибли. В памяти поэта они все время рядом, живые, тут же. Продолжают мечтать о новых законах отношений между людьми, а может быть, и сопоставляют сегодняшнее своей страны с мечтой. «Вы знаете только улицу его...» — вспоминает поэт одного из них:

А я помню его с той поры,
когда из старых моторов и досок он
мастерил самолет,
который никогда не взлетел,
когда отцу говорил,
что в этой схватке кому-нибудь придется
и голову сложить,
когда между одним арестом и другим
спрашивал мать:
«Мам, ты меня любишь?»
И поверх ее затуманившихся глаз
долго глядел вниз,
вдоль улицы,
той,
что сейчас носит его имя...

(«Его улица»)

Чистой совестливостью этих юношей и девушек, их социальной совестливостью, их ревнивой мечтой собственными руками делать счастье для человека пропитаны стихи Сарайлича. Эти юноши и девушки чутко соразмеряли свои действия с тем, что творилось под Мадридом, под Москвой, под Сталинградом, под Берлином. Их дух — он был заразителен и неодолим. И о нем тоже Сарайлич в своих стихах, казалось бы, не говорит. Но даже в том, как поэту видится обычный дождь в обычный день на обычных улицах родного города, вы услышите и их тревогу.

Скучный, долгий сараевский дождь.
. . . . . : : :
Мы проклинаем его, ругаем, и все-таки —
он льет.
А мы — мы назначаем свидания. Будто на
улице самый майский из маев.
Мы проклинаем его, ругаем, ведь нам
известно, что никогда
не сделать ему Миляцку Гвадалквивиром
иль Сеной.
Ну и что ж. Разве от этого буду тебя я
меньше любить, Сараево?
Меньше мук твоих перестрадаю?
Разве из-за этого меньше будет моя
голодная тоска по тебе?
Меньше мое горькое право
не спать, когда миру грозит чума иль
война?
Когда единственными словами остаются
«Не забуды!» и «Прощай!»

Это стихотворение я привела не из книги «Вильсонов бульвар», а из предыдущей, из «Избранного» — оно вышло в 1968 году. Привела в подстрочнике, как и все стихи до сих пор. Мне кажется, прав Хикмет, который считал, что «настоящие стихи должны звучать и в подстрочнике... даже без одежды из ритмов и рифм».

Так вот, это «горькое право не спать, когда миру грозит чума иль война...», пожалуй, еще упорней, еще естественней слышишь в «Вильсоновом бульваре». Слышишь, когда поэт говорит о собственной большой любви (ей в книге посвящено не одно стихотворение). Слышишь, когда он говорит и о собственном отцовском чувстве, когда вспоминает мать, казненного брата, детство, друзей. Слышишь, когда поэт проходит по сегодняшнему Вильсонову бульвару, где в былые дни «будущий муж моей жены вместо собрания сочинений носил тетрадки, и мечты были для него единственной действительностью...», когда он бродит по московским Чистым прудам, по Варшаве, по Берлину, когда ведет поэтический разговор с турком Хикметом, с нашими — Щипачевым, Евтушенко, с македонцем Шоповым, с самим собой.

В книге «Вильсонов бульвар» — разные стихи и о разном. Здесь и элегическая «Ода будничному дню», в которой «ничего особенного не случается... но наше бессмертие в нем...» Здесь и насмешливое, не без доброй зависти сочувствие месяцу марту, «вечному первокурснику», которому так и «не выбиться никогда в руководители кафедры».

«По праву того, кто, быть может, умер бы без этого города», «по праву того, кто пел о нем», поэт, у которого «кроме любви, нет никакой другой специальности», чтоб отстоять набережную своей юности, бросается на помощь ей — песней. В этой книге есть и такое стихотворение:

Мне не дано сменить направление ни
одной подводной лодки.
Вожак полковничьего режима в соседнем
государстве —
напиши я стихи против его диктатуры —
даже бровью не поведет.
Тем более не прекратит он своих гонений.
И все же,
если вы мне поверите,
я тоже многое смогу.
Я смогу, например,
вашу зиму
сделать летом.

Разные стихи в этой книге. Есть и такие, с которыми можно было бы поспорить. Есть в ней и проза. Лирическая проза. Всем своим существом связанная со стихами. Сарайлич — давний друг нашей литературы, составитель и переводчик антологии совет-

кой поэзии — рассказывает здесь, как писали разных стран, и советские — в качестве гостеприимных хозяев,— целым караваном путешествовали по пушкинским местам: Псков, Михайловское, Ленинград. И в этом путешествии то в разговоре с соседом по машине, по автобусу, по вагонному купе, то в застольной беседе, во взаимном чтении стихов, в песнях, в шутках узнавание переходило в дружбу, в привязанность, в братскую любовь. И расставаться уже стало нелегко. И теперь разлука точно окутывает все дымком тоски.

Рассказ этот вроде совсем непритязательный. Несколько отрывочный. В нем больше душевности, чем наблюдений или размышлений. Но в каждой строчке здесь неизменна поэтическая сгущенность настроения, неизменна тяга к людям. Точно так же, как и в стихах. Тяга, в которой и доброта, и памятливость, и твердость убеждений, и нежность человека, стесняющегося громкости слов, и склонность уравновесить шуткой энергию своих чувств.

ИДА РАДВОЛИНА

К БОЛЬШЕМУ НЕБУ

John Wain. A Winter in the Hills. London, Macmillan, 1970.

Английский ученый средних лет внезапно бросает лабораторию и семью, привычный — внешне вполне благополучный — уклад жизни и прячется на одном из больших лондонских вокзалов. Приливы и отливы совершенно анонимных толп здесь его успокаивает.

Безумец Джири или бунтарь? На этот вопрос в маленькой повести Уэйна «Меньшее небо», вышедшей три года назад, нет прямого ответа. Джири гибнет, пытаясь спастись от преследующих его «нормальных» людей. Очевидная добыча психиатрической больницы, он к тому же источник сенсации, а потому и прибыльного бизнеса. Вступив на стекло вокзального свода, он рушится вниз на железнодорожные пути, так и не дотянувшись до открывшегося ему огромного свода небес — «большего неба».

Написанная с предельным лаконизмом, повесть Уэйна волнует своим опущенным глубоко «под воду» трагическим подтекстом. Смысл этого подтекста угадывается легко: Джири должен погибнуть, потому что идет по «стеклу одиночества».

Когда читаешь новую книгу Уэйна «Зима в горах» первый раз, ничто даже отдаленно не напоминает трагическую повесть о безумном Джири. Совсем иные герои, иное место действия, иной музыкальный ключ. Впрочем, всякий, знающий Уэйна, привык уже к тому, что каждая книга этого незаурядного писателя — большая неожиданность. Чаще радующая и обогащающая («Соперники», 1958; «Убей отца», 1962; «Меньшее небо», 1967), а порой очень досадная (достаточно вспомнить «Молодых гостей» 1965 года, роман, сотканный из дешевых клише). Но таков уж Уэйн — его творческий путь напоминает качание маятника, что не мешает ему все же быть «одним из крупнейших прозаиков Великобритании», как справедливо заметил однажды Боб Лисон, литературный обозреватель «Морнинг стар».

И вот перечитываешь «Зиму в горах» — книга настолько интересна, что испытываешь желание еще раз над нею подумать,— и делаешь открытие: Уэйн в чем-то очень важном, а может быть даже самом важном, продолжает здесь «Меньшее небо». И дает ответы на те вопросы, которые остались там без ответа. Маленький психологический этюд представляет как бы увертюру к большой полисимфонии «Зимы в горах».

Если пользоваться термином «герой произведения» в его привычном смысле, подразумевая главное действующее лицо повествования, то герой романа — молодой еще ученый-лингвист Роджер Фернивал. Он решает провести академический отпуск у подножия горного хребта северного Уэльса, с тем чтобы изучить один из древнейших языков Европы—валлийский. Его личная жизнь неустроена: в сорок лет Роджер еще не женат, у него нет ни родных, ни близких, ни дома.

Книга начинается с похорон: лучшие годы Роджера были отданы уходу за неизлечимо больным братом, пострадавшим во время одной из бомбежек Лондона в годы второй мировой войны. Теперь, когда брата не стало, можно подумать о себе.

В Кэрфенай — маленький приморский городок, окруженный кольцом суровых и сумрачных валлийских гор,— Роджера забрасывает случай. Случай же сводит его и с владельцем небольшого автобуса Гаретом, ведущим упрямую, обреченную на конечное поражение борьбу с богачом и хищником Шарпом, скупающим весь местный транспорт, принадлежащий мелким владельцам.

Портрет Гарета — одна из больших удач Уэйна-художника, как и портрет его слепой матери, столь же стойкой, как сын; такая же удача — описание их жилища в горах, скорей лачуги, чем дома, безупречно опрятного и такого же гордого в своей чистоте, как горды живущие в них свободолюбивые бедняки. Ключ к психологии Гарета, уважаемого всем поселком человека, у которого учатся выдержке и стойкости, спрятан в эпизоде из раннего детства, рассказанном от лица самого Гарета. Его учил мужеству отец — коренной валлиец и всегда независимый труженик, учили потом годы, полные лишений и борьбы. В автобусе для Гарета был заключен весь смысл жизни. Он любит его как живое существо. К тому же утрата автобуса означает для него и матери нищету.

Уэйн не объясняет, почему лондонский «интеллектуал» решает остаться в Кэрфенае на неопределенный срок, предложив Гарету безвозмездно работать у него кондуктором. Но это объяснение приходит ближе к концу книги, когда одинокий, замкнутый в себе молодой интеллигент, ввязавшись в

справедливую борьбу, находит себя и преодолевает свое гнетущее одиночество. Эпизод его любви к Дженни — жене журналиста Туайфорда — по сравнению с историей этой борьбы бледен и менее убедителен.

Неторопливо показывает Уэйн Кэрфенай, горы Северного валлийского хребта, разбросанные среди них поселки и спрятанные от глаз копи. Постепенно и не спеша знакомит он с местными жителями, неразговорчивыми и сумрачными, с англичанами, экспансивными и великодушными по отношению друг к другу и к своим.

Медленно и неторопливо раскрывает Уэйн характеры людей, вынужденных терпеть присутствие «этих англичан». Он показывает, с каким трудом простые люди Уэльса сдерживают раздражение против англичан, по-хозяйски расположившихся на их земле. Раздражение иногда ощущается не только в словах и поступках, но даже в жестах и непроизнесенных словах.

Ненависть тлеет в каждом из потомков древних кельтов, превыше всего любящих свою независимость. Достаточно крохотной искры, чтобы она загорелась пламенем большого пожара, пустяковой ссоры, чтобы она выросла в принципиальный конфликт.

Когда Фернивал — он начал лучше понимать язык, на котором говорят между собой друзья Гарета,— обращается к ним по-валлийски, они отвечают ему... по-английски. Они оживленно говорят о каком-то волнующем всех событии, попытка его вступить в беседу или задать вопрос всеми игнорируется.

«Мы здесь не колония!» — возбужденно кричит Марио в день национального праздника святого Дэвида. «Сегодня никто здесь не будет говорить по-английски. Мы готовимся к тому дню, когда сбросим наконец англичан». «Англичане даже не хотят задуматься над теми несправедливостями, которые повсюду творят»,— говорит местный бард Мадог, автор иносказательной поэмы об обездоленных индейцах. Все в Кэрфенае отлично понимают, что, поддерживая Гарета в его неравной борьбе против Шарпа, они поддерживают слабую сторону, но их девиз, иногда высказываемый вслух: «Если предстоит национализация — пусть будет, но лучше Кардиф, чем Лондон». И лучше национализация, чем грабеж «акулы».

«Если его автобус купят люди из Кардифа, то он станет управляющим и будет по-новому делать прежнее дело. А если машину купят из Лондона, над ним поставят англичанина, а он будет подметать пол в гараже»,— объясняет Мадог точку зрения друзей Гарета. Объясняет он ему и смысл своей поэмы о племени чероков, согнанных с их исконных земель: «Вам не понятно, что сделали англичане валлийцам, что оправдало бы сопоставление? Извольте: великодержавие. Внутренняя экспроприация... Взрывали долины Южного Уэльса и рыли там шахты, превращая население в троглодитов, извлекали огромное богатство из валлийской земли, а Уэльсу не возвращали назад ни одного пенни».

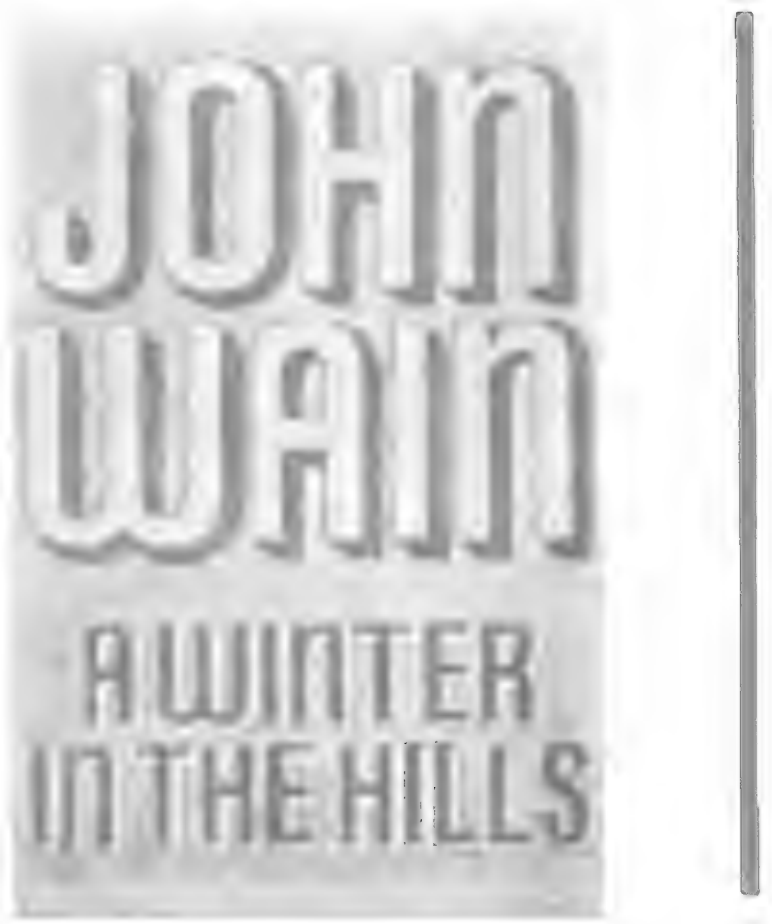
По мере чтения книги начинаешь понимать, что подлинные герои романа — Кэрфенай и его люди. Роджер становится одним из них лишь в той мере, в какой «ввязывается» в происходящую в городе и его окрестностях очень сложную борьбу. В поле зрения автора — разные валлийцы и разные англичане: те, что делают конструктивное дело, люди труда, и те, что присваивают плоды этого труда, пользуясь правом сильного.

Вместе с Гаретом, Айво, Джито, Мадогом дерутся Роджер и любимая им женщина, Дженни Туайфорд, а вместе с Диком Шарпом, валлийцем, предавшим своих,— такие англичане, как Дональд Фишер, продающий перо журналиста тому, кто больше платит.

Сегодня, когда Северная Ирландия стала ареной острейшей борьбы, резко обозначились национальные противоречия и в других районах Британии. Особенно остры они издавна в Уэльсе. Никогда национальная гордость валлийцев не была столь ранимой, никогда английское владычество не тяготило столь ощутимо, как в последние годы. Уэйн взялся за остроактуальную тему.

Весной 1970 года, когда роман был в верстке, автор шутил: «Я написал о валлийцах, потому что жена моя валлийка — а Welsh girl!» Когда же он заговорил о романе всерьез, то сказал по-другому: «Я давно хотел написать настоящий социальный ро-ман. «Зима в горах» — опыт такого ро-на». И опыт, надо сказать, удался.

Как ни различны характеры Айво и Дж-то, разоренных Шарпом (один экспанси-и эмоционален, обладает богатыми способ-стями рассказчика и мима, другой бо-сдержан и замкнут),— в обоих ощуща-огромная сила товарищества, способно-прийти на помощь в беде, поддержать оказать помощь тому, кого настигает справедливость. Оба вначале упрямо зак-ваются от Роджера: он для них чело-привилегированной профессии, да к то-же, к несчастью, англичанин. Порой недо-рие прорывается наружу. «Нечего шпион-за нами, а потом стряпать на нас стате-в лондонские газеты»,— отрезает Айво. Р-



жеру нелегко сломать вежливую враждебность почти всех обитателей Кэрфеная — упрямую и неподатливую, как горная порода валлийского хребта.

Английские рецензенты, которым новый роман Уэйна пришелся не по душе, пытались обвинить автора в том, что поступки его персонажей психологически немотивированы. На самом же деле Уэйн блестяще показывает, как и почему меняются люди, как происходит смена их отношения к Роджеру. Проходит время, и единоборство Гарета и Шарпа идет уже не на жизнь, а на смерть: упрямый владелец автобуса мешает Шарпу осуществить аферу и получить большой куш. Циничный делец все меньше стесняется в средствах. И вот когда на карту ставится жизнь и Гарета и Роджера, стена недоверия рушится, отношение к нему валлийцев меняется.

В «Зиме в горах» есть несколько смешных эпизодов: неудачный пикник Роджера в горах, крестовый поход английской вдовы миссис Аркрайт против мусорщика. Но их немного, как, впрочем, и во всех последних книгах Уэйна. Есть в романе тонкие лирические раздумья, порой проникновенные внутренние монологи. Хороши описания валлийского ландшафта, темно-синих гор, крутых дорог и дорожек, кроваво-красного заката, старых копров, охраняющих убогие лачуги от злых духов ночи... Видишь и ощущаешь краски различных времен года — осени, зимы,— часов дня, особенно сумерек и рассвета. Но мастерство автора особенно очевидно, когда Уэйн рисует людей, их различные судьбы и различные характеры. За последние десять лет Уэйн прошел большой путь — путь неровный и пестрый. Менялись не только его манера и художественный почерк прозаика и поэта: пять лет назад писатель отметил свое сорокалетие и уже тогда следа не осталось от той анархической «рассерженности», которая владела им в середине 50-х годов. Но пришла рассерженность другая—более зрелая и целенаправленная, как у Роджера Фернивала, «ввязавшегося» в борьбу Гарета, Айво, Джито и Мадога — валлийских патриотов.

«Воспитание» Роджера происходит не сразу, оно начинается тогда, когда столичный интеллигент внезапно ощущает отвращение к той комфортабельной гостинице, в которой он остановился. «Настоящая жизнь была не здесь... Во всяком случае, гостиница с ее буржуазным комфортом, ее претенциозным и пресным столом, трескотней и суетой, была тривиальна. Настоящим был Гарет с его автобусом. Именно здесь можно было искать скрытый потенциал трагического».

Щемящая тоска, неудовлетворенность и одиночество отступают, когда Роджер входит в «настоящую жизнь» Постепенно рождаются новые настроения — острое счастье признания товарищами. Когда нанятые Шарпом убийцы подло пытаются разделаться с Роджером, он испытывает только негодование. Позднее он вспоминает этот эпизод как счастливый случай, который привел к его приятию в круг товарищей. «Те, что ненавидели Шарпа, полюбили теперь Фернивала. А чтобы быть так любимым, стоит быть предметом ненависти». Товарищество, не испытанное прежде никогда, ощущается острее, чем любовь Дженни. Недаром оно и рисуется в значительно более теплых красках.

Следующая стадия «воспитания» Роджера — новое понимание радости борьбы, «боевого духа» — «лучшего, что у нас есть в жизни».

Впервые в творческой биографии Уэйна в романе «Зима в горах» появляется попытка сформулировать положительную программу.

Сначала, споря с Марио о гомруле, о том, кто должен управлять Уэльсом, Роджер говорит: «Я хочу, чтобы люди были всюду свободными, равными и великодушными». Гомрул для него — «искусственная проблема». Настоящая — «преодоление жестокости, жадности, произвола, власти богатых, которые в любую минуту могут прижать бедняка к стене...»

Столкнувшись на деле со всем этим злом, Роджер, уже в финале романа, объясняет своей любимой существо того, что он понял в Кэрфенае все дело в пропасти, разделяющей таких людей, как ее муж, Туайфорд и Дик Шарп,— и простых неимущих валлийцев, с другой стороны. Это люди, которые «выполняют свое дело. Они не манипулируют, не ловчат, не заставляют, взобравшись наверх, работать на себя тех, которые внизу. Они работают и не боятся пота и грязных рук».

Если все это понял Роджер, то понял и автор книги, так как, на чьей стороне симпатии его в романе, совершенно очевидно. Автор «Зимы в горах» разделяет гнев и убеждения нарисованного им английского интеллигента. Его новый роман лишен грусти, столь острой в предыдущем. И, мне думается, потому, что писавший его нашел выход к бóльшему небу. И прежде всего на путях преодоления одиночества. Именно в этом смысле «Зима в горах» может рассматриваться как разрешение трагического конфликта «Меньшего неба».

В. ИВАШЕВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ СИ МОХАНДА

Mouloud Mammeri. Les isefra, poèmes de Si Mohand-ou-Mhand. Texte berbère et traduction française. Paris, François Maspero, 1969.

Мулуд Маммери выпустил новую книгу — собрание сочинений и исследование творчества большого поэта Алжира — кабильского барда Си Моханда.

Устное творчество Си Моханда было лишь однажды записано при его жизни, в конце прошлого века, алжирским ученым Саидом Булифой. В 1904 году он опубликовал «Сборник кабильской поэзии», куда вошли сделанные в латинской транскрип-

СРЕДИ КНИГ

ции записи берберских текстов стихотворений нескольких кабильских поэтов, в том числе ста стихотворений Си Моханда. Спустя пятьдесят лет Мулуд Фераун, один из основоположников новой литературы Алжира, тоже занялся изучением и собиранием творчества Си Моханда и выполнил тщательный перевод на французский язык сорока поэм Си Моханда, как собранных Булифой, так и записанных самим Ферауном со слов немногих оставшихся в живых друзей и современников Си Моханда, читавших по памяти его произведения.

И вот сейчас перед нами — почти пятисотстраничный том, в котором собраны 286 стихотворений Си Моханда, переведенных на французский язык, а также параллельный берберский текст, данных в латинской транскрипции,— кабилы не имеют своей письменности.

Широко образованный историк литературы, этнограф, знаток фольклора и ученый-лингвист, впервые в Алжире начавший преподавание в университете берберского языка и его диалектов, Мулуд Маммери проделал огромный труд, познакомив читателей с замечательным примером устной литературы своей страны, расширив и горизонт исследований исторического развития африканских литератур. Осознавая всю сложность передачи на индоевропейские языки поэтической структуры языка кабилов, Маммери, тонкий знаток как своего родного, так и французского языков, сумел сделать достоверные и изящные переводы берберских оригиналов, снабдив книгу Моханда ценными комментариями и библиографией.

Что же привлекло внимание нашего современника, крупнейшего алжирского писателя, земляка Си Моханда (Маммери по происхождению кабил) к творчеству умершего в 1906 году бродячего поэта, который даже не смел записать на родном языке свои творения?

В Кабилии — обширном горном районе Алжира — имя Си Моханда известно каждому. Это имя, как и жизнь поэта, стало легендой, которую передают из уст в уста, подобно его коротким и звучным терцинам-изефра, что по-кабильски значит «прозрение»[1].

Тому, кто знаком с обычаями Кабилии, может показаться удивительным, что мирской поэт, поэт-бродяга, воспевавший лишь боль и страдания своей души, заслужил еще при жизни признание народа, в вековых традициях которого отнюдь не была в почете поэзия лирическая. Кабилы делили поэзию на «легкую» (лирическую) и «серьезную» (эпическую, воспитательную, «обучающую»). И легкую считали низким жанром, называя изефра «пастушьими стишками». Серьезный жанр, отличавшийся сдержанностью и строгостью чувств, напротив, был в чести — короткие стихи или длинные песни о доблести и отваге предков, о жизни пророка и всех святых. На городских и сельских площадях, на общих собраниях, в коранических школах, в мечетях и на базарах — всюду, куда стекалось много народу, всегда было место и время послушать рассказы и песни седых мудрецов о подвигах и славе былых времен. Лишь в дни семейных праздников можно позвать в дом обыкновенного, мирского поэта, послушать нехитрые песни о любви, о страданиях обманутого сердца или меткие стихи, высмеивающие порок — жадность, трусость, лень.

Но стихи Си Моханда не знали участи забвения. До сих пор их хранят в памяти, собирают и переписывают в дневники и тетради, пользуясь буквами арабского или латинского алфавита; и до сих пор книга Булифы, в которой была собрана различная кабильская поэзия, называется в народе «книгой Си Моханда» (по сути дела она стала первой книгой на берберском языке) — так велика признательность и любовь народа к своему поэту. Поэту глубоко земному, «личному». А это было под силу лишь тому, чья судьба была слита с судьбой народной и движения души были созвучны душе простого народа.

Вот как писали о Си Моханде его современники, в частности Саид Булифа, первый собиратель его творчества: «Народный бард Большой Кабилии... — настоящий бродячий поэт. Он не распевает свои стихи, как это делают его коллеги, в публичных местах — на площадях или в кофейнях. Он не торгует своим искусством, не оскверняет его. Страстно любя простор и свободу, он идет туда, куда влечет его звезда. И если ему приглянулась долина или склон горы, он останавливается и любуется ими. Лишь тогда звучат струны его сердца, лишь тогда он слагает стихи. И если он встретит на пути своем гостеприимство и доброту, он отблагодарит хозяина и от всей души посвятит ему свои стихи. Он прошел Большую и Малую Кабилию, он посетил Тунис и большую часть Алжира. Везде его узнавали, принимали и чествовали, особенно молодежь, сердце которой он так хорошо знал и так хорошо умел выразить все его порывы... В стихах он оплакивает свои беды и беды своего времени, утраченную веру и разбитые надежды... В конце жизненного пути он будет упрекать себя во многом, вернется в родные края и будет просить богов простить ему ошибки и заблуждения молодости. В его стихах — вся прямота и страстность его души, печаль и плач его сердца, вечно молодого и жаждущего счастья».

М. Фераун и М. Маммери добавили к портрету Булифы важные детали, которые освещают творчество поэта в его взаимоотношениях с историей, с трагическим и смутным для Алжира временем.

Предполагают, что Си Моханд родился после 1840 года. Сказать точнее о дате его рождения невозможно — ведь до 1891 года в Кабилии не существовало регистрации актов гражданского состояния. Семья Аит-Хамадуш, откуда родом Си Моханд, жила в местечке Шерайуа, жители которого — преимущественно негры — славились тем, что представляли убежище всем, кто при-

[1] Изефра, изфра — множественное число от азефру — называют в Кабилии также всякое небольшое лирическое стихотворение.

нимал их образ жизни. В 1857 году Кабилия была завоевана французами. Колонизовав еще в тридцатые годы север Алжира, завоеватели продвигались на юг, к самому сердцу Алжира. Шерайуа, подобно другим деревням, была сожжена и разрушена дотла. От старой Шерайуа остались камни кабильского кладбища да мозаичные плиты полов старинной мечети. Люди разбрелись по окрестным селам. Поэту было тогда немногим больше тринадцати лет.

В 1871 году не смирившиеся с порабощением горцы подняли восстание; оно было жестоко подавлено колонизаторами. Отца поэта, как и других повстанцев, казнили, имущество конфисковали. А у Си Моханда началась бродячая жизнь. Потом он горько высмеял в своих стихах всех тех, кто отказался протянуть руку помощи и дружбы в тяжелую годину испытаний ему и его товарищам по несчастью. Он будет долго странствовать, но нигде не обретет пристанища, подобно листу, гонимому ветром, он обречен искать ту ветвь, от которой оторвала его буря.

Я видел всех в пути
И всем сказал «прости»,
Не говоря, зачем я ухожу так скоро.

Лишь те поиять смогли,
Кто, как и я,— одни,
И в чьих сердцах — как у меня — одна
лишь горечь.

Тридцать лет поэт бродил по стране: «Я вслед за солнцем шел. Оно клонилось к родине моей».

Он умер в больнице для бедных, похоронен на средства тех, кого утешал своими стихами в последние дни жизни. После его смерти в памяти его слушателей осталось множество стихов, и в них, как в зеркале,— смятение и тревога того времени, когда ломалась и рушилась привычная жизнь, привычные представления о ней, когда по городам и селам Алжира вместе с поэтом бродила в поисках работы огромная армия крестьян, «сосланных на муки», «детей гнева и горя».

С каждым днем поэт ощущал все больше и больше, что он один из тех, кто побежден. Ему уже казалось, что время, когда его страна была свободна, ушло безвозвратно, так велика была горечь поражения. Подавление восстания означало для поэта разрушение самой жизни:

Мир рухнул,
И разбито то, на чем держалась жизнь.

В обществе, которое возникало вместе с колонизацией, поэт не находил себе места, он видел повсюду лишь измену и предательство, коррупцию и преступления. Стихи Си Моханда становятся исповедью души, которой суждено страдать. Вот почему так часто в его поэзии возникает образ надломленной ветви, подбитой птицы, осыпавшегося сада — еще вчера цветущего и благоухающего,— засохшего дерева, растрескавшейся земли.

Не было у поэта спокойной и ясной любви к жизни (повсюду лишь рушатся мечты и надежды, и нет никакого выхода из тупика блужданий), он любил жизнь «злой и яростной страстью до отчаяния и боли». Пессимизм Си Моханда, справедливо отмечает М. Маммери,— это горечь и скорбь человека, который видит, как лишили жизнь естественных и необходимых очертаний и красок, лишили свободы и радости.

«Си Моханд,—писал Мулуд Фераун,—стал для своих современников... зеркалом своего поколения, смятенного, грубо оторванного от своих традиций и социальных установлений, которые успели разрушиться у него на глазах, в то время как новые еще не успели прийти к жизни». «Моханд,— продолжает Фераун,— не деклассированный бродяга, он голос своего народа, пока еще с болью в сердце смотрящего на мир глазами бессильного зрителя».

На протяжении столетий существовавшая лишь в устной форме, поэзия в Кабилии всегда должна была непосредственно обращаться к народу, к слушателям. И в зависимости от реакции слушателей творчество поэта оставалось в памяти народной или бесследно исчезало. В эпоху, когда творил Си Моханд, в Кабилии жили и другие поэты: Хадж Моханд Ашур, Измаил Азикью, Мохаид Муза Ауагнуи, по-своему талантливые и оригинальные. Но в отличие от поэзии Си Моханда их поэзия служила в основном для развлечения слушателей. А для Си Моханда поэзия была состоянием души, которая особенно чутко откликалась на то, что всего более волновало тогда людей.

Вот почему, делает заключение М. Маммери, творения Си Моханда так много говорят нам едва ли не целое столетие. Поэт, уставший от страданий, пел песни для своего народа, жаждущего освобождения. Вот почему сегодня Мулуд Маммери обратился к творчеству поэта. Народ, который строит свое будущее, не может оторваться от своего прошлого. Он всегда будет узнавать себя в нем, будет учиться на его — пусть горьких и трагических—уроках и черпать силы для борьбы и надежды.

С. ПРОЖОГИНА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

СТОРМ ДЖЕЙМСОН О ТРУДЕ ПИСАТЕЛЯ

Известная писательница Сторм Джеймсон, пришедшая в английскую литературу еще в 20-е годы, выступила на страницах английского еженедельника «Аутор» со статьей «Сейчас и тогда», в которой поделилась своими мыслями о положении английского писателя. «Даже знающему свое дело романисту все реже удается создать бестселлер,— писала она.— Вполне вероятно, что умный, хорошо написанный или ставший модным первый роман принесет автору 200, 300 фунтов, но почти невероятно, что на таком романе он заработает 20 тысяч и больше,— если по счастливой случайности или благодаря связям писатель не пробьется с этим романом в высшие сферы мира кино и книг в мягких обложках. То, что этот роман, быть может,— ничего не стоящее произведение, а люди, изображенные в нем, вовсе даже и не люди, никакого отношения к делу не имеет».

Джеймсон обратила внимание читателей на то, что современному английскому писателю приходится тратить много времени и энергии на окололитературную работу — на радио, телевидении и в кино. Поиски заработка заставляют его присматривать «теплое местечко» в культурном «эстеблишменте», что, по мнению Сторм Джеймсон, означает конец независимого творчества. Гораздо лучше, писала она, заниматься любой профессией, не имеющей никакого отношения к литературе, которая дает полную возможность узнать мир и людей и «избавляет от нестерпимой муки заставлять себя из года в год выступать в роли развлекателя публики, сплетая

Лондонский «Юнити-тиэтр» показал спектакль об апартеиде «Южная Африка-70». Режиссер спектакля и автор сценария Пол Томлинсон использовал при его постановке песни, стихи и музыку Южной Африки. Высокую оценку спектаклю дал рецензент газеты «Морнинг стар»; оттуда же заимствован воспроизводимый снимок.

словесную паутину, бесконечно повторяя свои трюки и получая все меньше и меньше интеллектуального удовлетворения и денег».

Писатель не должен, по убеждению Сторм Джеймсон, заниматься литературой как ремеслом. «Ныне, когда ему приходится конкурировать со священными чудовищами — телевидением и кино, эта истина во сто крат справедливее».

Размышления о творчестве писателя и судьбе романа — тема вышедшей прошлой осенью книги Сторм Джеймсон «Парфийские слова», в которой писательница задает волнующие ее вопросы: «Перечитывает ли кто-нибудь современные романы? Пришел ли этот вид искусства в упадок? Стоит ли вообще писать? Не пустая ли это трата времени?» Отдавая должное мастерству современных английских писателей, Сторм Джеймсон считает, что их книги не оставят значительного следа в английской литературе. Рецензент газеты «Морниг стар» подчеркивает, что сама Сторм Джеймсон безусловно не сомневается в жизнеспособности современного романа, но книга ее вскрывает проблемы, стоящие перед современным писателем, проблемы, о которых и не подозревали писатели довоенного поколения.

СТРАСТИ ВОКРУГ «ПОП-ФЕСТИВАЛЯ»

Три предприимчивых брата Фоулк немало заработали на организации фестиваля «поп-музыки» в 1969 году. Они решили повторить эксперимент. С этой целью на острове Уайт, у южного побережья Англии, они арендовали площадь для сцены и зрителей, пригласили известных исполнителей «поп-музыки» из стран Европы и Америки, а также заключили контракт с Голливудом на съемки фильма о фестивале.

Все, казалось бы, благоприятствовало задуманному мероприятию, но неожиданно на остров хлынули полчища хиппи из Европы, Австралии и Америки. В ожидании выступлений своих кумиров они убивали время с присущей каждому выдумкой: купались и загорали нагишом, совершали кражи, женились, торговали наркотиками.

В день открытия фестиваля тысячи хиппи, не пожелавших уплатить три фунта стерлингов за входной билет на огороженную забором арену, расположились на склоне соседнего холма. Все старания устроителей заставить их приобрести билеты не дали результатов. Не помогла и полиция, насчитывавшая в своих рядах свыше пяти тысяч констеблей и детективов, а также несколько десятков служебных собак.

Когда начались выступления, хиппи без труда преодолели железный забор и хлынули на арену. На этой «операции» устроители фестиваля потеряли, по оценкам газет, 50 тысяч фунтов стерлингов.

О самом фестивале газеты почти не писали: ничего нового там показано не было. «Время фестивалей «поп-музыки» прошло»,— с горечью констатировали братья Фоулк.

После окончания «поп-фестиваля» тысячи хиппи застряли на острове из-за отсутствия денег на проезд. Терзаемые муками голода, они начали грабить палатки и автофургоны. На помощь поклонникам «поп-музыки» пришли благотворительные организации, снабдившие шатавшихся от голода хиппи жидким супом и галетами. Вездесущая церковь позаботилась о душах «заблудших» — денно и нощно около 200 священников обращались к страждущим со словами утешения и молитвы.

Многие представители английской общественности публично заявили по поводу фестиваля на Уайте, что подобного рода мероприятия способствуют лишь распространению наркомании и плохих вкусов среди молодежи. Член парламента от острова Уайт подал петицию в Вестминстер с требованием прекратить в дальнейшем проведение на острове «поп-фестивалей».

АРГЕНТИНА

РАССКАЗЫВАЕТ ХУЛИО КОРТАСАР

Хулио Кортасар, аргентинский писатель с мировым именем, покинувший родину в 1951 году, живет сейчас в Париже. Он — автор нескольких романов и многих рассказов, в том числе фантастических, по одному из которых М. Антониони поставил фильм «Blow up» («Крупным планом»), высоко оцененный критикой.

«Кажется, фильм далек от оригинала?» — спросил Кортасара корреспондент редакции журнала «Кензэн литтерер», опубликовавшего интервью с писателем.

Кортасар: «Антониони случайно прочел этот рассказ по-итальянски и написал мне: «В этом рассказе я нашел идею, за которой тщетно гоняюсь уже в течение пяти лет... По вашему рассказу мне хотелось бы поставить фильм, зайдите, пожалуйста, ко мне». Когда я пришел, Антониони сказал: «Я не люблю жанр фантастики и делаю психологические фильмы, меня интересует внутренняя жизнь человека. Если вы разрешите, я сделаю по вашему рассказу не фантастическую, а психологическую картину». Я ответил, что Антониони сделает фильм, достойный мастера кино. Когда, спустя два с половиной года, я купил билет и пошел в кинотеатр, то увидел превосходный фильм, о котором перуанский писатель Марио Варгас Льоса, по-моему, совершенно справедливо сказал: «Хотя Антониони исключил фантастический элемент рассказа, в этой картине чувствуется атмосфера, совершенно не свойственная другим произведениям режиссера. Это значит, что Антониони в какой-то мере проникся духом рассказа».

Далее Кортасар заявил, что в последние годы он оставил фантастику, которую в какой-то мере считает уходом от действительности. «Уже в романе «Марселла»,— сказал писатель,— я коснулся сферы жизни, имеющей непосредственное

отношение к проблемам, с которыми сталкивается моя страна и большинство стран Латинской Америки». Главы в романе «Марселла» расположены несколько необычным образом, и сделано это не случайно. «Чтобы вырвать читателя из плена привычных представлений о временной последовательности (действие романа протекает одновременно у истоков христианской цивилизации, в современном обществе и в обществе будущего),— пояснил автор,— я решил начать с того, что заставил читателя изменить обычной манере чтения. Этот прием характерен для так называемой «комбинированной» литературы, получившей последнее время довольно широкое распространение. В современном романе, сколько бы мы ни пытались задержать движение вещей во времени, при описании что-то уходит вперед и что-то остается позади. Как разрешить эту проблему? Однажды, забавы ради, я расположил текст на отдельных нескрепленных страницах и убедился, что проблема времени может быть в какой-то степени решена, так как появились «до» и «после». Тенденция подобного комбинирования в литературе очень привлекательна...»

Однако, отдавая дань модным литературным течениям, Кортасар не считает формальный поиск главной целью художника и заявляет, что для него «самое важное то, что роман «Марселла» был принят молодежью. Судя по всему, представители молодого поколения нашли в книге если не ответы на какие-то вопросы, то хотя бы уяснили, какие перед ними стоят проблемы».

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В КИНО

Известный болгарский писатель Николай Хайтов, работающий в последнее время для кино и телевидения, дал интервью корреспонденту журнала «Филмови новини».

На вопрос, оказывает ли работа над сценарием влияние на писательское творчество, Хайтов ответил: «Да, работа над сценарием может оказать известное влияние на творчество писателя. Иногда я сознательно включаю художественную прозу в самый сценарий, веря, что она поможет режиссеру почувствовать нужную атмосферу. Когда после работы над сценарием человек возвращается к художественной прозе, он с большей «подозрительностью» относится к слову, стремится к большей краткости и к напряженности действия.

Иногда одним словом выражается самое главное, а передать его в кино мимикой или жестом — невозможно. В этом преимущество беллетристики. Такое слово может передать содержание половины фильма. А если оно будет фигурировать в прямой речи — потеряет смысл. В кино слово всегда нечто второстепенное».

Хайтов подготовил для экранизации две свои новеллы: «Ибрям Али» и «Голая совесть», которые составят полнометражный фильм.

Писатель не против творческих поисков в кино, но некоторые эксперименты ему показались неубедительными: «Смотрел я «Прошлым летом в Мариенбаде», и на меня удручающе подействовала «суматоха» на экране. Вероятно, подобные фильмы имеют какую-нибудь ценность — не только историческую и не только экспериментальную,— но я воспринимаю все иначе, и нет у меня «антенны» для «приема» таких картин. А вот фильмы «Баллада о солдате» и «Человек на все времена» не нуждаются ни в пояснениях, ни в рекламе. Если фильм настоящий, ему не нужны никакие подпорки, никакие «особые» углы зрения. Главное — было бы что сказать и как можно проще (в лучшем смысле слова) выразить это. Таков идеал».

В Софии прошла выставка работ женщин-художниц, получившая в целом высокую оценку критики. На снимке: «Родопчанка» Елки Найденовой.

(Еженедельник «Народна култура»)

В заключение интервью Хайтов ответил на вопрос о взаимоотношениях писателя с кино и телевидением: «Предпочтительнее, чтобы писатель создавал художественную прозу. Но и от кино он не должен отказываться. Книга в лучшем случае выходит тиражом в 30—40, пусть 50 тысяч экземпляров. Кино и телевидение (при удачной постановке) способны наилучшим образом передать творческий замысел и идею автора. Современный писатель не должен сторониться кино и телевидения».

ВЕНГРИЯ

СТАРЕЙШИЙ ВОСТОКОВЕД АБД ЭЛЬ-КЕРИМ ГЕРМАНУС

Известный иорданский писатель Иса ан-Наури поместил на страницах журнала «Аль-Адиб» публикацию о большом друге арабов, старейшем венгерском востоковеде Абд эль-Кериме Юлиусе Германусе, с которым он встретился «в покрытом декабрьским снегом прекрасном городе Будапеште»

в 1965 году. До этого ан-Наури несколько лет переписывался с Германусом.

Ученый сохраняет бодрость и энергию, несмотря на свои 86 лет, пишет ан-Наури. Германус ездит по странам Европы и Арабского Востока, читая там лекции. Он продолжает писать книги и статьи на различных языках. (Помимо своего родного венгерского, Германус владеет немецким, английским, французским, итальянским, арабским, турецким, персидским и хиндустани.)

Германус родился в 1884 году в Будапеште. Обучался в университетах Стамбула, Будапешта и Вены. Находясь в 1903 году в Турции, юный Германус вступил в нелегальную партию младотурков, боровшуюся против деспотического режима султана Абдула Хамида II. Германус был арестован и приговорен к смертной казни. Только благодаря вмешательству австро-венгерского правительства молодому ученому удалось спастись.

В 1930 году во время пребывания в Дели Германус перешел в ислам, приняв мусульманское имя Абд эль-Керим. Одним из первых европейцев он совершил паломничество в Мекку и Медину, познакомившись с королем Саудовской Аравии Ибн-Саудом. Впоследствии венгерский ученый объездил много стран Европы, Азии и Африки в качестве лектора, а в 1939 году по приглашению Рабиндраната Тагора возглавил кафедру исламоведения в основанном Тагором университете. Начиная с 1920 года до ухода на пенсию в 1964 году Германус был профессором истории ислама и арабской литературы в Будапештском университете.

В настоящее время Абд эль-Керим Германус — депутат венгерского парламента и член венгерской Академии наук. Он является членом-корреспондентом многих иностранных академий, в том числе нескольких академий арабских стран.

Абд эль-Керима Германуса связывают тесные узы дружбы с писателями и учеными Арабского Востока, с которыми он переписывается и обменивается книгами. Ему принадлежит много работ, в которых он исследует и популяризирует достижения древней и современной арабской культуры.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БАРТОКА НА СЦЕНЕ БУДАПЕШТСКОЙ ОПЕРЫ

В нынешнем театральном сезоне на сцене Будапештской оперы поставлены три произведения выдающегося композитора Белы Бартока: опера «Замок герцога Синяя Борода», а также балеты «Деревянный принц» и «Чудесный мандарин». Ввиду краткости этих произведений они даются в программе одного вечера. Новая постановка оперы осуществлена Андрашем Мико, балетов — Ласло Шереги в связи с отмечавшимся недавно 25-летием со дня смерти Белы Бартока (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 9, 1970).

Сцены из балетов Бартока, поставленных в Будапештском оперном театре: «Чудесный мандарин» и «Деревянный принц» (внизу).

(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

«Из трех произведений Бартока для сцены последнее — «Чудесный мандарин»,— как по художественному замыслу, так и по изобразительным средствам, пожалуй, самое совершенное произведение. Оно глубоко вскрывает кризис и трагедию современного мира,— писал музыкальный критик Иштван Хомоя.— По основной своей мысли «Чудесный мандарин» — продолжение и развитие двух более ранних произведений Бартока».

Над балетом «Чудесный мандарин» Барток работал в 1918—1919 годах, однако доработка произведения затянулась до начала 1925 года. Первая постановка балета была осуществлена 27 ноября 1926 года на сцене Кёльнской оперы. Как пишет И. Хомоя, «это был один из самых шумных скандалов в жизни Бартока». Консервативные круги во главе с церковны-

ми сановниками выступили с резкими нападками на произведение, которое они заклеймили как «аморальное». В результате бургомистр Кёльна запретил представление балета.

Венгерская премьера балета после многолетних проволочек состоялась лишь после окончания второй мировой войны — 9 декабря 1945 года.

В интервью, опубликованном в журнале «Синхази элет» в марте 1919 года, Барток следующим образом кратко изложил сюжет «Чудесного мандарина»: «Трое апашей заставляют красивую молодую девушку завлекать в притон мужчин, которых они затем грабят. Первым в притон попадает юноша-бедняк, второй посетитель тоже не лучше, третий же — богатый китаец. Уловка удается, девушка развлекает танцем мандарина, и в нем просыпается желание, вспыхивает страстная любовь. Но мандарин наводит на девушку страх. Апаши нападают на мандарина, грабят его, душат подушкой, протыкают насквозь саблей — все тщетно, им не удается справиться с мандарином. Влюбленным, жаждущим взором смотрит он на девушку. Помогает женская находчивость, девушка удовлетворяет желание мандарина, и он, расставшись с жизнью, падает бездыханным».

«Чудесный мандарин» — одно из величайших созданий и в творчестве самого Бартока, и в музыке XX века в целом»,— пишет в заключение Иштван Хомоя.

Кадр из фильма «Доктор медицины Зоммер II».

(Еженедельник «Зонntаг»)

ГДР

КЛУБ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

164 работы 127 молодых писателей были представлены на конкурс, объявленный издательством «Нейес лебен». Среди них — рассказы, фельетоны, репортажи, очерки. Премии авторам произведений, признанных лучшими, вручались в Доме молодых талантов в Берлине. Участники торжественной церемонии много говорили о произведениях молодых писателей, особенно о романах Иоахима Вальтера и Петера Абрахама. Молодым авторам не всегда хватает чувства художественной меры, отмечали выступавшие, их герои порой наивны, а романом недостает философской глубины. А потому им нужна дружеская помощь; публикации таких произведений должны предшествовать дискуссии и обсуждения. Собравшиеся с одобрением встретили предложение руководителя издательства Ганса Бенцина, вручавшего премии, создать при издательстве клуб молодых писателей. Здесь молодые авторы будут читать свои произведения, обсуждать их, подготавливать к печати. «В клубе не будет зарегистрированных членов,— писал корреспондент газеты «Нейес Дейчланд», сообщавший об этом событии.— «Входным билетом» в клуб будет служить каждая новая рукопись, представленная для обсуждения».

ДЕБЮТ КИНОРЕЖИССЕРА ЛОТАРА ВАРНЕКЕ

«Когда меня спрашивают, каков основной конфликт нашего нового фильма «Доктор медицины Зоммер II», я не сразу нахожу, что ответить. Мне кажется, что такая постановка вопроса искусственно сужает проблематику фильма. Мы ставили себе задачу рассказать о развитии личности в нашем обществе, хотели показать, как молодой человек берет на себя определенную ответственность, как он находит свое место в нашем обществе»,— сказал в интервью корреспонденту газеты «Нейес Дейчланд» режиссер Лотар Варнеке, дебютировавший этим фильмом. Вместе с Ганнесом Хюттнером он написал сценарий «Доктора медицины». Фильм рассказывает о молодом враче, о его первых шагах на медицинском поприще, о трудной профессии хирурга, ставит вопросы врачебной этики.

В процессе работы над фильмом Варнеке много времени проводил среди медиков, знакомился с их работой, жизнью. Он присутствовал на операциях, интересовался бытом больниц, изучал истории болезней. Он привлек врачей и сестер к съемкам, и они помогли создать правдивую и во многом документально точную картину. «Трагическое и веселое в фильме рядом,— сказал далее Варнеке.— Это, как мне кажется, свидетельствует о его реалистичности».

В рецензиях, помещенных в прессе ГДР, отмечается, что новый фильм студии «ДЕФА» «Доктор медицины Зоммер II» далеко выходит за рамки «медицинского» произведения. «Это

ный дебют Федерико Феллини и Луиджи Коменчини, после долгих лет решительных отказов в телестудии пришли Анна Маньяни и Марчелло Мастройянни. Они уже с успехом снялись в двух телефильмах, привлекших огромный интерес телезрителей, — среднеметражных лентах «1870 год» (из эпохи борьбы за освобождение и объединение Италии) и «Певичка» (о годах первой мировой войны). Во втором фильме Маньяни играет роль эстрадной певицы, выступающей в госпитале перед ранеными солдатами. Партнер Маньяни в этом фильме — популярный певец Массимо Раньери, недавно начавший сниматься в кино. Здесь он играет молодого итальянского солдата. Постановщик этих лент— режиссер Альфредо Джаннетти, до сих пор известный как талантливый писатель-кинодраматург (он автор сценария фильма Джерми «Развод по-итальянски»).

Анна Маньяни и Марчелло Мастройянни в телефильме «1870»; внизу — Маньяни в фильме «Певичка».

(Газета «Паэзе сера»)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША РИМА

Отличительная черта нынешнего театрального сезона в итальянской столице— преобладание в репертуаре произведений современной прогрессивной драматургии и мировой классики. Как отмечает печать, в центре внимания театров в этом году — пьесы Бертольта Брехта. Брехтовские спектакли ставит милаиский Малый театр («Пикколо ди Милано»), гастролирующий в Риме. Среди них — «Святая Иоанна скотобоен» в постановке Джорджо Стрелера, «Мамаша Кураж», «Господин Пунтилла и слуга его Матти». Театр поставил также пьесу Пабло Неруды «Звезда и смерть Хоакина Муриэты» (см. «Иностранную литературу» № 2, 1968 г.), уже шедшую в прошлом сезоне на миланской сцене. Джорджо Стрелер силами областного театра Тосканы осуществил постановку пьесы М. Горького «На дне». На афишах римских драматических театров — «Калигула» Альбера Камю, «Трамвай «Желание» Теннесси Уильямса (с Рафом Валлоне в главной роли) и несколько других пьес современных иностранных авторов. Классика представлена шекспировским «Отелло» (режиссер Вирджилио Пуэкер), «Дамой с камелиями» Дюма-сына, пьесой Стриндберга «Отец». Готовятся также две инсценировки по романам «Милый друг» Мопассана и «Три мушкетера» Дюма. Современная итальянская драматургия представлена пьесами Эдуардо Де Филиппо «Памятник», Диего Фабри «Соблазнитель», Витальяно Браикати «Гувернантка». Состоится премьера пьесы «Жизнь — мечта» Альберто Моравиа

(режиссер Паоло Боначелли).

Много шума наделала постановка в театре Систина американского мьюзикала «Волосы» Джерома Раньи и Джеймса Радо в переводе и обработке итальянского драматурга Патрони-Гриффи. Итальянский «вариант» этого спектакля поставил режиссер Виктор Спинетти. Признавая антибуржуазный характер этого спектакля в целом — истории американского хиппи, восставшего против родителей и бездушного «общества благоденствия», — прогрессивная критика указывает, что нотки протеста, в частности, против войны во Вьетнаме, прозвучали недостаточно громко и четко, что попытки добиться некоторых ассоциаций с современной итальянской действительностью, предпринятые автором итальянского текста и режиссером, также не слишком вразумительны. Постановщики увлеклись чисто внешними элементами «протеста» хиппи, в спектакле на первый план вышли эротика, голые тела, кривляние и оглушительная «поп-музыка», что и вызвало справедливые упреки со стороны части зрителей.

ИНТЕРВЬЮ БЕВИЛАККУА

«Почему я снимаю фильм? По двум причинам: во-первых, потому что хочу работать в кино, а во-вторых, потому что печатное слово ныне переживает кризис»,— заявил в интервью корреспонденту газеты «Паэзе сера» писатель Альберто Бевилаккуа, который, как уже сообщалось, сейчас сам ставит фильм по своему роману «Халифка». Это история одного промышленника, который осознает невозможность сохранять напряженные отношения с рабочими на своем предприятии; когда же он пытается как-то их улучшить, достигнуть с рабочими хотя бы простого человеческого взаимопонимания, этого достаточно, чтобы против него ополчились крайне правые и убили его. Главные роли в «Халифке» исполняют Уго Тоньяцци и Роми Шнейдер.

Обращение писателя к кино вызвало удивление критики, так как, казалось, Бевилаккуа только что достиг успеха как писатель, его книги пользуются популярностью у читателей, награждены несколькими литературными премиями. «Кино — прямое, непосредственное изображение действительности,— говорит писатель.— Оно дает возможность окунуться с головой в жизнь, увлечь за собой людей, непосредственно общаться с рабочими, промышленниками, полицейскими. Мы, в Италии, живем в атмосфере хаоса, сейчас между литератором и жизнью — глубочайшая пропасть. Сегодня жизнь принимает самые драматические и сложные формы, в то время как усталый, ожесточившийся и замкнутый мирок остается бесконечно далеким от событий жизни».

Писатель отметил далее, что итальянская литературная критика в целом стоит на устаревших позициях; известные, уже утвердившиеся авторитеты не одобряют провозглашения молодыми писателями своей независимости, не дают им дороги. «Это пережитки эпохи владычества Бурбонов в Италии — старшие поколения привыкли рассматривать молодого человека с позиций своего преклонного возраста, который должен внушать всем мысль об их духовном превосходстве».

Задача критики, сказал писатель,— создать мост между автором и читателем. Но главное в том, что «положение писателя в Италии ужасно. Необходимо иметь по крайней мере еще две профессии, чтобы как-то прожить... У меня была безумно трудная жизнь, мне пришлось приносить неслыханно тяжкие жертвы, чтобы иметь возможность писать. Я вышел из кварталов нищеты, был хроникером, всегда боролся за существование, прошел путь, что называется, с самых низов. Мой отец погиб на войне в Испании, у нашей семьи позади годы ссылок, преследований, нищеты и болезней».

ЛАОС

«СПАСЕННЫЕ КАДРЫ»

Так назвала свой кинорепортаж, снятый в Лаосе, известная французская журналистка Мадлен Риффо. Впервые зрители увидели его на празднике «Юманите» осенью 1970 года. Фильм снимался в условиях непрерывных бомбежек — отсюда его название. Многие кадры пострадали — это заметно на экране и как бы подчеркивает достоверность кинодокумента.

Фильм рассказывает о том, как, несмотря на варварские бомбардировки (авиация США ежедневно сбрасывает на Лаос по 3000 тонн бомб), крестьяне продолжают возделывать свои поля, строятся каналы, работают госпитали и типографии, перенесенные в пещеры, идет подготовка новых кадров учителей и медицинских работников.

По словам рецензента газеты «Юманите», в репортаже Мадлен Риффо достигнуто удивительное сочетание лаконичности, умения избегать громких слов с глубоким гуманизмом, способностью взволнованно рассказать об увиденном.

ЛИВАН

«ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЖУБРАНА»

Джубран Халиль Джубран (1883—1931) был крупнейшим ливанским поэтом. В детстве он эмигрировал с семьей в Америку, где впоследствии возглавил группу арабских писателей-эмигрантов, получившую название «сирийско-американской школы». Эти писатели сыграли немалую роль в становлении современной арабской литературы, и Джубрану принадлежит среди них одно из первых мест.

Ливанцы чтут память своего знаменитого земляка. На родине поэта, в местечке Бшарра, устраиваются в его честь литературные фестивали. Фестиваль 1970 года был назван «всемир-

ным», хотя, по свидетельству ливанской прессы, он был далеко не таким представительным, как можно предположить по его названию.

В связи с фестивалем Джубрана журнал «Ат-Тарик» вышел со специальным литературным разделом. В трех статьях в нем анализируются демократические и освободительные мотивы в творчестве Джубрана и разоблачаются взгляды реакционных литературоведов, желающих видеть в Джубране прежде всего символиста-мистика.

К фестивалю Джубрана в Ливане вышло несколько книг, посвященных этому большому художнику. Среди них — «Политическое содержание идей Джубрана д-ра Халиля Ахмада Халиля» и «Джубран Халиль Джубран. Избранные произведения и исследования».

МАВРИТАНИЯ

ПЕСНИ И ЛЕГЕНДЫ СТРАНЫ ШИНКЫТ

Тунисский журнал «ИБЛА» поместил рецензию на книгу английского африканиста Х. Т. Норриса «Народная литература и песни Шинкыт».

Шинкыты — небольшой город, центр караванной торговли в Исламской Республике Мавритании, по названию которого вся территория нынешней Мавритании прежде называлась страной Шинкыт.

Население Мавритании — в основном потомки пришедших с Востока арабских кочевых племен, смешавшиеся с жившими здесь раньше берберами. Говорят они на особом арабском диалекте «хассания», впитавшем в себя многие берберские слова. Небольшая часть мавританцев на юго-западе страны, однако, продолжает говорить на берберском диалекте «знага». (Некогда на территории Мавритании бытовал еще третий язык — «азайр», на котором говорили древнейшие негроидные обитатели страны, покоренные берберской династией Альморавидов. О существовании этого языка ныне свидетельствуют только древние легенды мавританцев.)

В книге Х. Т. Норриса представлено несколько образцов устной и письменной литературы берберов — «знага», которые используют для письма арабский алфавит. Однако основное внимание уделено им арабской культуре и литературе Мавритании, поэзии и прозе, создаваемым на классическом арабском языке и на диалекте «хассания». В книге приводится много образцов этой литературы в арабском оригинале и точном английском переводе, что позволяет в общих чертах проследить развитие литературы Мавритании, в особенности поэзии, достигшей наивысшего расцвета в XVIII—XIX веках.

Специальная глава книги посвящена жанрам мавританской поэзии и особенностям стихосложения, в котором обнаруживаются как классическое арабское, так и андалузское и местное берберское влияние. Соседство с культурами народов Западного Судана также оставило заметные следы в поэзии и музыке мавританцев.

Хотя время расцвета мавританской народной поэзии прошло, еще и сейчас бродячие мавританские барды «иггауэн», свидетельствует автор, приглашаются на народные праздники и торжества. Перебирая струны древнего музыкального инструмента тидинит, напоминающего лютню, они повествуют о подвигах древних героев и о событиях нынешних дней.

ОАР

КОНКУРС АКАДЕМИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

«История ас-Садд аль-Али — Асуанской плотины» — такова тема литературного конкурса, объявленного Академией арабского языка в Каире. Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Хиляль», в конкурсе могут участвовать ранее не печатавшиеся рассказы и пьесы, авторами которых могут быть представители всех арабских стран.

ХУДОЖНИКИ ИЗОБЛИЧАЮТ ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ

В Каире с большим успехом прошла выставка «Израильская агрессия глазами сирийских художников». Все без исключения работы, представленные на выставке, рассказывают о жизни оккупированных израильскими захватчиками арабских территорий. Художников Сирии волнует судьба своего народа, и особенно — подрастающего поколения. Многие картины посвящены арабским детям. Таковы «Беда» Махмуда Каштана, на которой изображены женщины с детьми на руках, спешащие в бомбоубежище; на картине «Жизнь в Иерусалиме» Нашата Зааби перед зрителями предстает мать, которая, прижав к груди ребенка, прикрывает ему рот рукой в ожидании, пока пройдет израильский патруль. Мечты арабских детей о мире и безоблачном небе воплощены в картинах «Возвращение оливковой ветви» (Ильяс Заяд), «Дети в апельсиновых рощах» (Махмуд Хаммад), «Детская кровь» (Наим Исмаил). Среди полотен — немало таких, которые посвящены теме «Палестинское движение сопротивления».

Выставка была организована по инициативе молодых художников арабских стран. Вскоре ее увидят также в Ливии и Алжире.

Молодой сирийский художник Гази эль-Халиди, полотна которого экспонировались на выставке работ сирийских художников в Москве в 1966 году, заявил, что основная цель выставки — политическая. «Мы хотели показать, какие беды несет мирному населению, и прежде всего детям и женщинам, империалистическая агрессия,— подчеркнул он.— В данном, конкретном случае — на примере израиль-

ской агрессии против арабских народов».

СМЕРТЬ АБД АЛЬ-ХАЛИМА АБДАЛЛАХА

В городе Даманхуре на 58-м году жизни скончался известный писатель Абд аль-Халим Абдаллах. Покойный писатель был автором многочисленных романов и повестей из жизни египетских феллахов. Произведения А. Абдаллаха не раз отмечались премиями. Его роман «Подкидыш», например, получил премию министерства социальных дел. Другой его роман — «После заката» был отмечен премией министерства просвещения. Абд аль-Халим Абдаллах был также удостоен премий Академии арабского языка в Каире и поощрительной государственной премии. Некоторые произведения писателя, как, например, роман «Подкидыш», были экранизированы.

На родине А. Абдаллаха в деревне Кафр Булии (провинция Бухейра) будет открыт музей с библиотекой, где будут храниться книги покойного писателя.

ПАКИСТАН

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТИХИ ГАЛЕБА

В номере лахорского ежеквартального литературно-художественного сборника «Нукуш» («Взгляды»), посвященном столетию со дня смерти великого поэта Востока Галеба, опубликованы бывшие неизвестными до сих пор его ранние стихи, написанные в 1809—1816 гг. Издатели сборника поместили в нем фоторепродукции галебовских рукописей. Как оказалось впоследствии, это был довольно предусмотрительный шаг.

Рукописная подборка, ныне известная под названием «Рукопись из Амроха», предшествует наиболее ранней из известных до сих пор материалов «Рукописи из Бхопала», относящейся к 1821 году, но сейчас утерянной.

«Рукопись из Амроха» была приобретена почти за бесценок одним букинистом этого города у аристократической мусульманской семьи. Букинист, знакомый с творчеством Галеба, предложил эту рукопись Хакиму Абдул Маджиду из общества Хамдарда Давакхана, занимавшегося организацией торжеств по случаю столетнего юбилея Галеба. Сообщение об этом было распространено также агентством «Пресс траст оф Индиа» 16 апреля 1969 года. Подлинность рукописи была удостоверена сотрудником архива Соединенных провинций, знакомым с почерком Галеба, характерными особенностями которого являются каллиграфическая четкость и соединение обычно несоединяемых букв арабского алфавита.

Изучение найденной рукописи одним из знатоков урду Низаром Ахмедом Фаруки позволило исправить некоторые неточности, замеченные ранее, в известной поэме Галеба «Диван-и-Галеб». Однако ученым недолго пришлось иметь дело с оригиналом «Рукописи из Амроха»: во время проведения над ней исследовательских работ в Индии она пропала.

УСПЕХИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

В 1969 году кинопромышленность Пакистана выпустила на экраны страны около ста фильмов (в 1948 году был выпущен всего один фильм). Кинокритики подчеркивают, что за это время выросло не только количество фильмов, но, что главное, значительно улучшилось их качество. В настоящее время выпуск фильмов осуществляется почти на всех языках, на которых говорит население Пакистана,— урду, бенгали, синдхи, пенджаби, пушту. Заметный прогресс отмечается в кинематографии на языке синдхи, которая свои первые шаги сделала лишь два-три года назад. Успех ее объясняется тем, что содержание многих фильмов основывается на богатом фольклоре Синда.

ПОЛЬША

О ЛИТЕРАТУРЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОГО ПОДПОЛЬЯ

В Варшавском государственном научном издательстве вышло обширное исследование «Библиография подпольных книжных изданий, выпущенных во время гитлеровской оккупации в 1939—1945 гг.». Работа эта принадлежит Владиславу Хойнацкому, доценту Института истории Польской Академии наук.

Всего во время второй мировой войны в Польше было нелегально издано примерно 1 500 книг, не считая подпольных газет и листовок. Свыше 1000 из них удалось отыскать В. Хойнацкому. Во время оккупации в Польше печатались в подполье учебники, а также художественная, политическая, научно-популярная литература, стихи и ноты, а также руководства по организации диверсий. В стране было 200 подпольных типографий, половина которых находилась в Варшаве.

Издание, распространение и чтение подпольных изданий было связано в тех условиях с риском для жизни. Поэтому на титульных листах и обложках были указаны вымышленные издательства, авторы выступали под псевдонимами. Указывались также фиктивные адреса типографий и даты издания. Все эти конспиративные приемы в наши дни серьезно осложнили сбор и научную обработку полной библиографии. Некоторые издания выходили тиражом всего в несколько экземпляров — это также затрудняло поиски.

Среди продукции подпольных издательств было немало художественных произведений, написанных во время войны. Большой популярностью пользовалась книга Аркадия Фидлера «Дивизион 303». В подполье она выдержала семь изданий! Набор последнего издания был захвачен гестапо в 1944 году в Варшаве.

Выходили переводы зарубежной прозы и поэзии, а

Кадр из фильма «Польский альбом».

(Еженедельник «Фильм»)

также ноты и песенники: «Контрданс» Ф. Шопена, сборник солдатских песен под невинным названием «Домашний песенник Станислава Монюшко» и другие.

Работа В. Хойнацкого, как отмечают рецензенты, позволяет составить достаточно полное представление о деятельности польских подпольных издательств.

«ПОЛЬСКИЙ АЛЬБОМ»

...В наши дни начинающая журналистка Анна (ее роль исполняет Барбара Брыльская) находит фронтовой снимок, на котором запечатлена группа польских солдат, в том числе—знакомый ее матери. Из надписи на обороте Анна узнает, что снимок был сделан в Поморье, близ старой польско-германской границы, весной 1945 года. Анна решает разыскать людей, изображенных на фотографии, проследить их жизненные пути. Таково начало нового художественного фильма «Польский альбом».

Далее действие развертывается в двух хронологических планах — в дни войны и мира. Постепенно повествование теряет камерный характер, обогащается многими побочными сюжетными линиями и наконец превращается в эпопею, посвященную людям, осевшим на возвращенных Польше Западных и Северных землях. Как отмечают критики, авторам фильма удалось на отдельных, порой отрывочных эпизодах показать зрителю целостную картину переломных месяцев 1945 года и наших дней. На экране проходят поставленные с размахом батальные сцены, эпизоды освобождения городов и деревень, установления народной власти, борьбы с бандами реакционеров, освоения новых земель, национализации промышленности, открытия школ и вузов, участия населения в референдуме и в первых выборах в Сейм.

Панорама жизни воссоединенных земель, вновь обретших польскую государственность, показана в фильме, как об этом пишут критики, с подлинным мастерством: динамические массовые сцены чередуются с лирическими кадрами; одни из них выдержаны в нарочито суровом документальном стиле, другие — художественно отточены. И на этом фоне —множество запоминающихся человеческих образов — как в альбоме с фотографиями.

«ПРОТИВ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА»

В Варшаве прошла большая выставка живописи, скульптуры и графики «Против войны и фашизма», в которой принимали участие художники и скульпторы европейских социалистических стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии. Целью выставки было представить антифашистское и антивоенное направления в искусстве стран социалистического лагеря за четверть века после окончания второй мировой войны. Были лишь незначительные исключения: некоторые работы относились к периоду межвоенного двадцатилетия и второй мировой войны, а одна — ко времени первой мировой войны.

Работы польских художников, по отзывам критиков, составляли как бы художественную хронику лет войны, оккупации и освобождения. Среди экспонировавшихся полотен были две впечатляющие картины: Анджея Врублевского «Расстрел» и картина Константы Маркевича «Нет» (руины Варшавы); работы Бронислава Линке, составляющие цикл «Кричащие камни». Были представлены также освенцимские работы выдающегося скульптора Ксаверия Дуниковского.

Открывая выставку, заместитель министра культуры и искусства К. Русинек подчеркнул, что девиз выставки «Против войны и фашизма» «стал основным содержанием всех наших усилий, направленных к тому, чтобы не допустить повторения трагедии, ставшей участью многих народов в годы второй мировой войны».

ЭНТОНИ КУИН О ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА

Корреспондент журнала «Фнлмз энд филминг» взял интервью у известного американского киноактера Энтоии Куина в связи с выходом на экраны фильма режиссера Стэнли Крамера «Тайна Санта-Виттории», в котором артист исполняет одну из центральных ролей. Куин тепло отозвался о Стэнли Крамере и итальянских актерах, в особенности об Анне Маньяни, с которой ему уже приходилось вместе сниматься.

— В 1959 году вы поставили фильм «Пират». Не хотите ли вы еще раз выступить в качестве режиссера? — спросил корреспондент.

— Очень хочу. Видите ли, у каждого художника есть своя тема. Марлон Брандо, например, в своих фильмах говорит о проблеме «коммуникабельностн», связи личности с окружающей средой. Пожалуй, это его главная тема. Моя постоянная тема — ответственность. Сейчас я ее связываю с темой любви. Мне бы хотелось исследовать природу любви, проследить те изменения, которые она претерпела хотя бы за последние 50 лет, показать, как понятие «любовь» приобретало новые значения и оттенки. Я не уверен, что любовь в ее чистом, истинном смысле еще существует. Будет величайшей трагедией, если она исчезнет совсем. Вот о чем мне хочется сделать фильм. Я работаю над сценарием уже десять лет и надеюсь, что скоро его закончу. Это одна из причин, почему я сейчас так много снимаюсь. Ведь мне понадобятся деньги, чтобы позволить себе роскошь в течение года снимать собственный фильм. Но если кто-нибудь придет ко мне с хорошей ролью, я, возможно, отложу свой замысел еще на год, хотя мне будет стыдно, если я это сделаю.

— Будете ли вы участвовать в своем фильме как актер?

— У меня очень маленькая роль. Я сыграю человека, который мысленно заиово «проживает» свою жнзнь. Для этого мне необходимо найти еще трех молодых исполнителей. Правда, две кандидатуры у меня уже есть. Я собираюсь попросить моего сына, которому сейчас 24 года, сыграть моего героя в молодые годы и, наверное, одного из моих младших детей — изобразить его в шестилетнем возрасте. Главная трудность сводится к тому, чтобы найти актера, который бы «прожил» жизнь моего героя от 30 до 40 лет.

В заключение беседы были затронуты проблемы профессионального мастерства.

— Я профессиональный актер и люблю работать с профессиональными режиссерами, такими, например, как Стэнлн Крамер,— сказал Куин.— Все эти разговоры о «приходящем вдохновенни» по большей части чепуха. «Счастливые случайности» происходят случайно.

Взять, к примеру, теннисиста, треннрующегося изо дня в день, из года в год, вроде Панчо Гонсалеса. Мы знаем, что он устал, что ему за сорок, а он продолжает участвовать в чемпионатах. Это пример профессионализма. Вот что отличает профессионала от дилетанта. Такой профессиоиализм имел в виду Хемингуэй, когда говорил о писательском труде. Это же свойственно профессиональным режиссерам, не зависящим от моментов «счастливого вдохновения». Именно поэтому мне так нравится работать с Лоуренсом Оливье — он фантастически профессионалеи. Поучительно следить за тем, как он готовится к съемке. Моим кумиром был Спенсер Трейси. Мы с ним постоянно переписывались: я ему напишу, а он мие обязательно ответит. У меня как-то спросили: «Почему вы с ним ни разу не встретились? Вы бы наверняка понравились друг другу». Я ответил: «Мне бы не хотелось разрушить его иллюзии, точно так же, как ему — мои».

ДЖОН РОДЕРИГО ДОС ПАССОС: 1896—1970

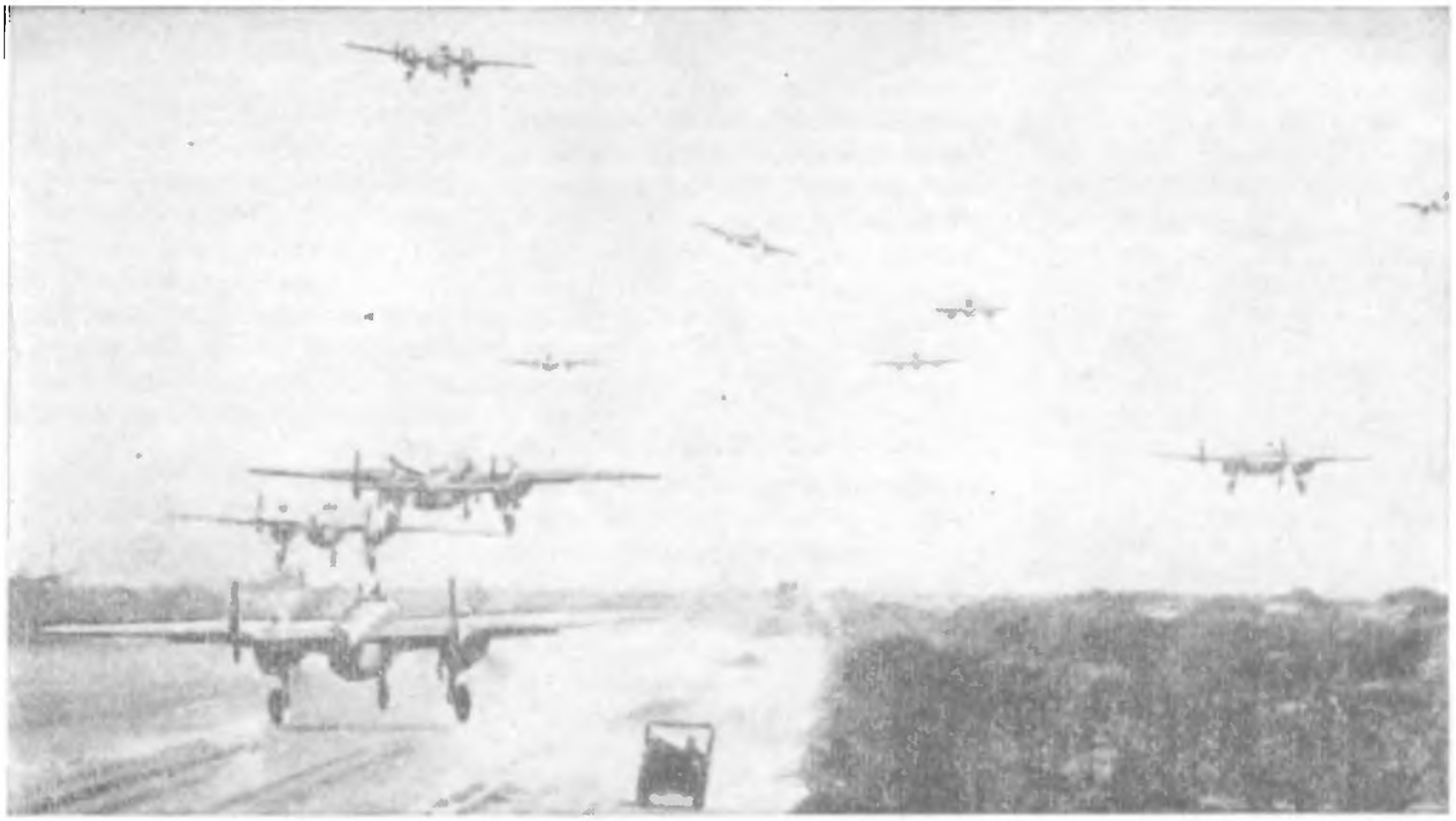
Когда умер Дос Пассос, газета «Нью-Йорк пост» сообщила: «Не стало автора известнейшей «антикапиталистической трилогии» «США», не стало человека, столь беспокойно и ненасытно любившего американский народ».

В начале первой мировой войны Дос Пассос отправился из США во Францию и стал работать шофером «скорой помощи». Некоторое время спустя он был выслан назад в Соединенные Штаты за «явные аитивоенные взгляды».

Закончив в 1916 году Гарвардский университет, Дос Пассос написал одному из своих друзей: «Моя единственная надежда связана с революцией — одним махом уничтожить всех государственных деятелей, капиталистов, поджигателей войны, шовинистов... разрушить весь механизм индустриального мира». Писатель был связан с революционным журиалом «Нью мэссиз» — «Новые массы» и радикальным «Театром двух драматургов». За выступлеиие в защиту Сакко и Ванцетти Дос Пассос был арестован и посажен в тюрьму. В тот же период он начал работать по «спартанскому» графику — писать по семь дней в неделю. От этого режима писатель никогда более не отступал.

Самыми значительными из напнсанных Дос Пассосом 39 книг считаются, по общему мнению литературоведов, три романа, составившие трилогию «США»: «42-я параллель», «1919 год» и «Большие деньги». В этой литературной панораме писатель, по выражению корреспондента «Ньюсуик», «взял Америку за загривок и хорошенько встряхнул ее». Магнаты, проститутки, продавцы, фермеры, городские жулики, моряки, модельеры — представители всех слоев населения проходят перед читателем.

Критикн называют эту трилогию «яростным порт-



Эпизод фильма «Уловка 22».

(Журнал «Филмз энд филминг»)

ретом индустриальной Америки 1898—1929 годов». «Цель книги — уловить напев, тои, злободиевность в голосе эпохи,— писал известный американский критик Альфред Кейзии.— Ее плоть — это типичный случай и типичный человек, голос которого доносит до нас звучные колебания истории, мастерски воспроизведениой этим типизированием». Кейзии назвал трилогию «многостраничной летописью разочарования в американских надеждах».

«Жизнь и творчество Дос Пассоса отмечены смещением слева иаправо»,— пнсал обозреватель газеты «Интернэшиел геральд трибюн».— После гражданской войны в Испании он ополчается на свой былой идеализм, либералов, социалистов и коммунистов. Бывший друг Драйзера, Хемингуэя и Говарда Лоусона становится сторонником Уильяма Фостера и Голдуотера».

Большинство своих романов Дос Пассос написал после «США», но уже не смог создать ничего, равного этой знаменитой трилогии. Известный американский критик Максуэлл Гайсмар написал о ромаие «Округ Колумбия» слова, которые могут быть отнесены ко всему творчеству позднего Дос Пассоса: «Можио только сожалеть, что столь совершениая литературная техиика вскрывает столь узкий взгляд на жизнь, что эта яркая звезда в литературном созвездии 20-х годов мерцает сейчас как в тумане».

«УЛОВКА 22» — РОМАН, ПЬЕСА, ФИЛЬМ

Роман американского журналиста Джозефа Хеллера «Уловка 22» вышел в 1961 году и сразу же стал бестселлером. В 1968 году Хеллер переработал роман в пьесу «Мы бомбили «Нью-Хейвен», которая с успехом шла на американской сцене (см. сообщения в «Иностранной литературе» № 3, 1968, № 6, 1969 и др.). В коице 1970 года на экран вышел фильм «Уловка 22», поставленный Майком Никольсом, сценарий которого написан Баком Генри.

Роман «Уловка 22», как отмечала прогрессивная критика, это не просто книга о бесчеловечности войны, ее трагизме; война для героев романа бессмысленна, ибо их противник — не немецкий фашизм, а вся американская военная система. Действие романа и фильма происходит на маленьком острове в Средиземиом море в конце второй мировой войны, когда ее исход уже предрешен. Комаидоваиие готово уложить в землю весь личный состав американской авиабазы, лишь бы получить еще одну награду и попасть на страницы иллюстрированных журналов. Более того, война не мешает американскому начальству торговать с иемцами, а однажды договориться «по сходной цеие» о налете на собственный аэродром. Героям Хеллера довольно трудно почувствовать себя рядовыми армии, несущей на своих крыльях свободу, если сегодня они бомбят немецкие позиции, а завтра — свой собственный аэродром. Сегодня совершают боевой вылет, а завтра их посылают грузить хлопок в Египет или свежие фрукты на Мальту. Все это превращает для них войну не только в трагедию, но и в ужасающий фарс. Главное действующее лицо — капитан Есарьян, стремясь выйти из этой бесчестной игры, симулирует помешательство, ибо по инструкции № 22 невменяемые подлежат демобилизации (отсюда название «Уловка 22»)...

Злободиевиость и аитивоеиный пафос фильма привлекли вниманне критнки. Рецензент англнйской газеты «Морнинг стар» Нина Хиббин, отмечая неоспорнмые достонпнства фнльма и среди них «проникнутую комнческим пафосом» нгру исполнителя ролн капнтана Есарьяна — Алана Аркина и мастерство других актеров, (в фильме снималнсь Энтонн Перкинс и Орсон Уэллес), счнтает, что хотя фнльм слабее романа, он все же верно передает атмосферу книги. Рецензент английского еженедельника «Обзёрвер» Том Милн, напротив, полагает, что местами режиссер даже несколько сгустнл краски, усилив то, что было дано в ромаие намекамн, до гротеска. Так, например, после бомбардировкн Рнма, произведенной «в снлу стратегической необходимости», Есарьян блуждает по городу, как по седьмому кругу ада, преследуемый виденнями человеческой трагедии, наснлия, смерти...

СОЗДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ В МОНРО

Минувшей осенью в парке американского города Монро (штат Нью-Йорк) были установлены памятнники—А. С. Пушкина и Т. Г. Шевченко. Памятники поэтов были прнвезены из Советского Союза в качестве символического дара народов Российской Федерацин и Украины американскому народу. Газета «Дейли уорлд», сообщившая об этом событии, писала, что памятники двух великнх поэтов — это «дар тем американцам, которые честно стремятся к миру и дружбе со своими славянскимн братьямн».

На торжества в Монро съехалось около 4000 энтузиастов из Нью-Йорка, Чикаго, Питтсбурга, Детройта, Ньюарка, Флориды, а также из Канады и Советского Союза. Среди выступавших с речами были представнтели посольства СССР в США, Организацни Объединенных Наций, Комнтета американо-советской дружбы.

Как сообщает печать, в этом же месте будут установлены статуи выдающегося поэта Америки Уолта Унтмена и певца Польшн Адама Мицкевича. Парк в Монро станет международным парком культуры.

ФИНЛЯНДИЯ

«КАНСАНКУЛТТУУРИ» ИЗДАЕТ СОВЕТСКИЕ КНИГИ

По нницнатнве Союза писателей Финляндии н другнх демократнческнх организацнй в стране прошла Неделя советской литературы. В послевоенные годы изданием книг советских авторов в Финляндии занимается издательство акционерного общества «Кансанкулттуурн», находящееся в Хельснпки. За 25 послевоенных лет было издано немало книг советских писателей, и в том числе — М. Горького, А. Толстого, Н. Островского, Л. Леонова, К. Симонова и другнх, а также эстонскнх писателей— Ф. Тугласа, Р. Сирге, П. Куусберга.

По свндетельству директора издательства Тойво Терянне, переведенная на финскнй язык советская литература составляет около 30 процентов всей книжной продукцни, нзданной этой фнрмой за четверть века.

Стремясь удовлетворнть спрос читателей на марксистскую литературу н в связн со 100-летнем со дня рождения В. И. Ленина издательство выпустнло два сборника ленинскнх работ под названием «Марксизм» н «Идеологическая работа».

Книги советскнх авторов продаются в специализированном магазине дома «Койтто» («Заря») в центре Хельснпки, где находится и само издательство акционерного общества «Кансанкулттуурн».

ФРАНЦИЯ

РОМАН О ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

В издательстве Галлимара вышел новый роман Жан-Пьера Шаброля «Братство». В основе сюжета романа — малонзвестный исторический факт. Жители парижского предместья Бельвиля собрали бронзовые су для того, чтобы купить пушку н защнщать Парнж от пруссаков. Купить пушку не удалось. Тогда собранные су были переплавлены н из них была отлита пушка. Народ дал ей имя — «Братство». Необычная отлнвка пушки придала ей поразнтельное свойство — при выстреле она нздавала громоподобный н в то же время мелодичный звук, повергавшнй неприятеля в панику. Впоследствнн Тьер подарил ее Бисмарку в благодарность за оказанные услуги, и она была помещена в берлинском военном музее. В 1918 году восставшнй немецкнй народ переплавил ее на пулн. «Их бронзовый резонанс повергал в бегство берлинскнх версальцев: такова была последняя песня бронзовых су Бельвиля»,— пишет автор романа.

Однн нз центральных персонажей книги — юный коммунар Флоран Растель — ведет дневнпк, в который записывает все события Коммуны. В течение своей долгой жизни Флоран не раз перечитывает дневник — в последний раз он делает это в 1939 году. Рядом с запнсью о разгроме Коммуны он помечает на полях: продолженне было перенесено на более поздний срок— на Октябрь 1917 года. О гимне «Интернацнонал» герой романа пишет: «Его надо слушать сейчас: ни одна ндея, нн одни образ, ни одно слово его не устарели. Невозможно сказать больше и сильнее в столь немногих словах».

ПАМЯТИ БУРВИЛЯ

В Парнже в возрасте 53 лет скончался известный комическнй кнноактер Бурвиль (Андре Рембур), которого советскне зрнтели знали по фильмам «Все золото мира», «Ноэль Фортюна», «Разиня», «Вескне доказательства», «Призрачное счастье» и «Большая прогулка». Он был участником Московского кинофестнваля 1967 года.

За 25 лет работы в кино Бурвиль снялся в 54 фильмах, многие из которых вошли в сокровищницу французского кино. Бурвиль не дождался выхода на экран последнего фильма с его участием — «Атлантическая стена».

Бурвиль взял свой псевдоним от названия родной деревушки на севере Франции, где его детство прошло в большой крестьянской семье. Он дебютировал сначала в мюзик-холле, выступая с песнями в кинозалах и рабочих пригородах французской столицы. Свое подлинное призвание он нашел в кино, где полностью раскрылся его многогранный сценический талант комического актера.

Широкое признание пришло к Бурвилю на кинофестивале в Венеции в 1956 году: за исполнение главной роли в фильме «Через Париж» ему была присуждена Большая премия.

«Смерть Бурвиля — большого народного актера — огромная утрата для французского кино, для его зрителей»,— писала газета «Юманите».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«КАПИТАН КОРДА»

Режиссер Йозеф Пинкава заканчивает съемки фильма под таким названием. Сценарий по книге Марии Кубатовой «Капитан III ранга Корда» написали Милан Шимек и Йозеф Пинкава. В главной детской роли снимается дебютант Михал Ваврушка.

...Воспитанник детского дома Пепик знакомится в больнице с дежурным по станции Кордой. Новый знакомый берет мальчугана к себе домой на каникулы. Пепик великолепно чувствует себя в новой обстановке и привязывается к Корде и к его жене, а в школе находит новых друзей. Однако неожиданно права на мальчика предъявляет его родная мать. Она снова вышла замуж и решила, что сынишка мог бы помогать ей по хозяйству. Пепик вынужден вернуться к человеку, которого он не знает и который остается ему чужим. Его друзьями становятся домашние животные. После конфликта с отчимом мальчуган возвращается в семью Корды.

В роли капитана Корды выступает Владимир Брабец, его жены — Милена Дворска.

Авторы этого номера

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ (род. в 1903 г.).

Видный болгарский поэт, дважды лауреат Димитровской премии, заслуженный деятель культуры. Перу Х. Радевского принадлежит множество сборников стихов, в том числе «К партии» («Към партията», 1932), «Сто басен» («100 басни», 1950), «Цветущая родина» («Китна родина», 1962), «Небо близко» («Небето е близо», 1963), «Стихотворения» (1965). Поэт известен и как автор стихов для детей.

Произведения Х. Радевского переводились на многие языки. Советским читателям поэт знаком по двум вышедшим на русском языке сборникам: «Басни» (1954) и «Стихотворения и басни» (1957), а также по стихам, публиковавшимся в «Иностранной литературе» и других периодических изданиях.

Стихи, которыми открывается этот номер, взяты из сборника «Освобожденная страна» («Разоковена страна», 1966) и из журнала «Септември».

■

ЗАХАРИЯ СТАНКУ — ZAHARIA STANCU (род. в 1902 г.).

Известный румынский писатель, академик, лауреат Национальной премии, председатель Союза румынских писателей.

Литературную деятельность начал в двадцатые годы как поэт и журналист. Его стихи — лирические, наполненные впечатлениями детских и юношеских лет,— составили несколько сборников. В послевоенные годы Захария Станку прочно утвердился в новой литературе Румынии как прозаик. Широкую известность получили его романы «Босой» («Desculț», 1948), пятитомная социально-политическая эпопея «Горькие корни» («Rădăcinile sînt amare», 1958 — 1959). Затем вышли романы «Игра со смертью» («Jocul cu moartea», 1962), «Безумный лес» («Pădurea nebună», 1963), «Цыганский табор» («Șatra», 1968) и др.

Книги З. Станку представляют собой как бы единый цикл романов, в которых рассказ главного героя о своей нелегкой и богатой событиями жизни соединен с широкой картиной нравов, быта, истории страны и жизни румынского общества на протяжении нескольких десятилетий.

Произведения З. Станку переведены на многие языки мира. В Советском Союзе на русском и украинском языках издан роман «Босой». Перу З. Станку принадлежат переводы на румынский язык стихотворений Есенина.

В этом номере З. Станку представлен повестью «Как я тебя любил» («Cemult te-am iubit», 1968), по отзывам румынской критики, являющейся значительным литературным событием в румынской прозе последних лет.

■

АЛИ ЛАМЕДА — ALÍ LAMEDA (род. в 1924 г.).

Венесуэльский поэт, лауреат латиноамериканской литературной премии «Каса де лас Америкас», автор многих поэтических произведений, в том числе большой поэмы о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне «Помня о России» («Evocación de Rusia», 1945), поэмы «Великий индейский вождь» («El gran cacique», 1963), поэмы о борьбе венесуэльских индейцев против испанских конкистадоров, «Сердце Венесуэлы» («El corazón de Venezuela», 1966), сборника стихотворений «Пылающие тростники — децимы Вьетнаму, героическому и страждущему» («Los juncos resplandecidos — Décimas al Vietnam heróico y mártir», 1969). Переводчик на испанский язык поэзии Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме.

Публикуемые сонеты были напечатаны в газете «Эль насьональ» (Каракас).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), М. А. ШОЛОХОВ.

Художественный редактор С. И. Мухин. Технический редактор Л. Д. Фарафонтова
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 11340. Сдано в производство 4/XI-70 г. Подписано к печати 29/XII-70 г. Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 27,76. Зак. 3792.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.